

Толшевская
Библиотека

Б. ГОРБАТОВ

НЕПОКОРЕННЫЕ

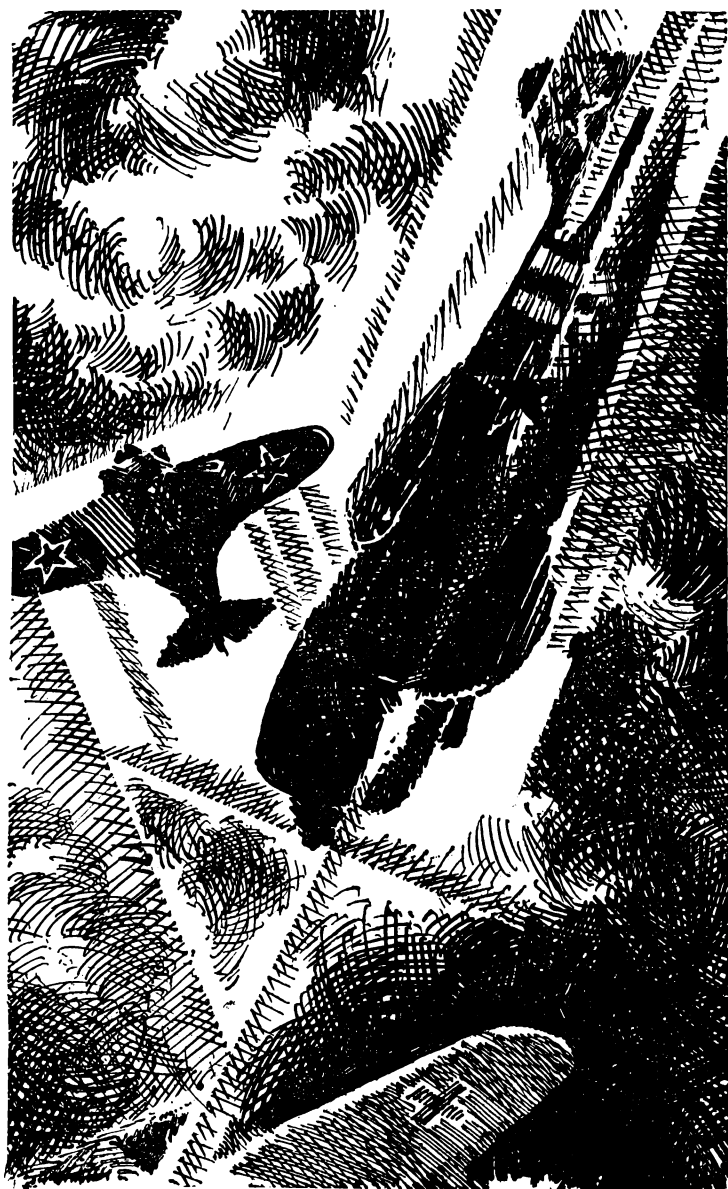
Б. ПОЛЕВОЙ

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Б. ГОРБАТОВ Б. ПОЛЕВОЙ







Б. ГОРБАТОВ

НЕПОКОРЕННЫЕ

Б. ПОЛЕВОЙ

**ПОВЕСТЬ
О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ**

«Непокоренные», «Повесть о настоящем человеке» — в самих названиях уже обозначена главная тема советской литературы о Великой Отечественной войне: тема стойкости, тема непобедимости нашего народа. Высокие нравственные качества советских людей, молодого поколения предвоенных лет достойно прошли суровое испытание огнем. Эта тема неисчерпаема, но среди многих уже написанных книг и тех, которые еще будут созданы, повести Б. Горбатова и Б. Полевого останутся значительными произведениями о том, ценой какого беспримерного мужества кавалась Победа.

Художник Н. Горбунов

Общественная редколлегия
серии книг «Юношеская библиотека»:

А. П. Климова, О. Д. Коровин,
Л. И. Кузьмин, А. П. Лебедеко,
Т. С. Рослякова, О. К. Селянкин
(председатель), В. М. Ширинкин

БОРИС ГОРБАТОВ

НЕПОКОРОЕННЫЕ

(СЕМЬЯ ТАРАСА)

Часть первая

1

Все на восток, все на восток... Хоть бы одна машина на запад!

Проходили обозы, повозки с сеном и пустыми патронными ящиками, санитарные двуколки, квадратные домики радиостанций; тяжело ступали заморенные кони; держась за лафеты пушек, брели серые от пыли солдаты,— все на восток, все на восток, мимо Острой Могилы, на Краснодон, на Каменск, за Северный Донец... Проходили и исчезали без следа, словно их проглатывала зеленая и злая пыль.

А все вокруг было объято тревогой, наполнено криком и стоном, скрипом колес, скрежетом железа, хриплой руганью, воплями раненых, плачем детей, и казалось, сама дорога скрипит и стонет под колесами, мечется в испуге меж косогорами...

Только один человек у Острой Могилы был с виду спокоен в этот июльский день 1942 года — старый Тарас Яценко. Он стоял, грузно опершись на палку, и тяжелым, неподвижным взглядом смотрел на все, что творилось вокруг. Ни слова не произнес он за целый день. Потухшими глазами из-под седых насупленных бровей глядел он, как в тревоге корчится и мечется дорога. И со стороны казалось — был этот каменный человек равнодушно чужд всему, что свершалось.

Но, вероятно, среди всех мечущихся на дороге людей не было человека, у которого так бы металась, ныла и плакала душа, как у Тараса. «Что же это? Что ж это, товарищи? — думал он. — А я? Как же я? Куда же я с бабами и малыми внучатами?»

Мимо него в облаках пыли проносились машины, — все на восток, все на восток, — пыль оседала на чахлые тополи, они становились серыми и тяжелыми.

«Что же мне делать? Стать на дороге и кричать, раз-метав руки: „Стойте, куда же вы? Куда же вы уходите?“ Упасть на колени середь дороги, в пыль, целовать сапоги бойцам, умолять: „Не уходите! Не смеете вы уходить, когда мы, старики и малые дети, остаемся тут...”».

А обозы все шли и шли — все на восток, все на восток — по пыльной горбатой дороге, на Краснодон, на Каменск, за Северный Донец, за Дон, за Волгу.

Но пока тянулась по горбатой дороге ниточка обозов, в старом Тарасе все мерцала, все тлела надежда. Вдруг навстречу этому потоку людей откуда-то с востока из облаков пыли появятся колонны и brave парни в могучих танках понесутся на запад, все сокрушая на своем пути. Только б тянулась ниточка, только б не иссякала... Но ниточка становилась все тоньше и тоньше. Вот оборвется она, и тогда... Но о том, что будет тогда, Тарас боялся и думать. На одном берегу останутся Тарас с немощными бабами и внучатами, а где-то на другом — Россия, и сыны, которые в армии, и все, чем жил и для чего жил шестьдесят долгих лет он, Тарас. Но об этом лучше не думать. Не думать, не слышать, не говорить.

Уже в сумерках вернулся Тарас к себе на Каменный Брод. Он прошел через весь город и не узнал его. Город опустел и затих. Был он похож сейчас на квартиру, из которой поспешно выехали. Обрывки проводов болтались на телеграфных столбах. Было много битого стекла на улицах. Пахло гарью, и в воздухе тучей носился пепел сожженных бумаг и оседал на крыши.

Но в Каменном Броде все было, как всегда, тихо. Только соломенные крыши хат угрюмо нахохлились. Во дворах на веревках болталось белье. На белых рубашках пятна заката казались кровью. У соседа на крыльце раздували самовар, и в воздухе, пропахшем гарью и порохом, вдруг странно и сладко потянуло самоварным

дымком. Словно не с Острой Могилы, а с работы, с завода, возвращался старый Тарас. В палисадниках, навстречу сумеркам, распускались маттиолы — цветы, которые пахнут только вечером, цветы рабочих людей.

И, вдыхая эти с младенчества знакомые запахи, Тарас вдруг подумал, остро и неожиданно: «А жить надо!.. Надо жить!» — и вошел к себе.

Навстречу ему молча бросилась вся семья. Он окинул ее широким взглядом — всех, от старухи жены Евфросиньи Карповны до маленькой Марийки, внучки, и понял: никого сейчас нет, никого у них сейчас нет на земле, кроме него, старого деда, он один отвечает перед миром и людьми за всю свою фамилию, за каждого из них, за их жизни и за их души. Он поставил палку в угол на обычное место и сказал как мог бодрее:

— Ничего! Ничего! Будем жить. Какнибудь... — И приказал запасти воды, закрыть ставни и запереть двери.

Потом взглянул на тринадцатилетнего внука Леньку и строго прибавил:

— И чтоб никто-никто не выходил на улицу без спросу!

Ночью началась канонада. Она продолжалась много часов подряд, и все это время ветхий домик в Каменном Броде дрожал, точно в ознобе. Тонко дребезжала железная крыша, жалобно стонали стекла. Потом канонада кончилась, и наступило самое страшное — тишина.

Откуда-то с улицы появился Ленька, без шапки, и испуганно закричал:

— Ой, диду! Немцы в городе!

Но Тарас, предупреждая крики и плач женщин, строго крикнул на него:

— Тсс! — И погрозил пальцем: — Нас это не касается.

2

Нас это не касается.

Двери были на запоре, ставни плотно закрыты. Дневной свет скупо струился сквозь щели и дрожал на полу. Ничего не было на земле — ни войны, ни немцев. Запах мышей в чулане, квашни на кухне, железа и сосновой стружки в комнате Тараса.

Экономя лампадное масло, Евфросинья зажигала

лампадку пред иконами только в сумерки и каждый раз вздыхала при этом: «Ты уж прости, господи!» Древние часы-ходики с портретом генерала Скобелева на коне медленно отстукивали время и, как раньше, отставали в сутки на полчаса. По утрам Тарас пальцем переводил стрелки. Все было как всегда — ни войны, ни немца.

Но весь домик был наполнен тревожными скрипами, вздохами, шорохами. Изо всех углов доносились до Тараса приглушенный шепот и сдавленные рыдания. Это Ленька приносил вести с улицы и шептался с женщинами по углам, чтоб дед не слышал. И Тарас делал вид, что ничего не слышит. Он хотел ничего не слышать, но не слушать не мог. Сквозь все щели ветхого домика ползло ему в уши: «Расстреляли... замучили... угнали...» И тогда он взрывался, появлялся на кухне и кричал, брызгая слюной:

— Цытёте вы, чертовы бабы! Кого убили? Кого расстреляли? Не нас ведь. Нас это не касается.— И, хлопнув дверью, уходил к себе.

Целые дни проводил он теперь один, у себя в комнате: строгал, пилил, клеил. Он привык всю жизнь мастерить вещи — паровозные колеса или ротные минометы, все равно. Он не мог жить без труда, как иной не может жить без табака. Труд был потребностью его души, привычкой, страстью. Но теперь никому не нужны были золотые руки Тараса, не для кого было мастерить колеса и минометы, а бесполезные вещи он делать не умел.

И тогда он придумал мастерить мундштуки, гребешки, зажигалки, иголки — старуха обменивала их на рынке на зерно. Ни печеного хлеба, ни муки в городе не было. На базаре продавалось только зерно — стаканами, как раньше семечки. Для размола этого зерна Тарас из доски, шестерни и вала смастерил ручную мельницу. «Агрегат! — горько усмехнулся он, оглядев свое творение.— Поглядел бы ты на меня, инженер товарищ Кучай, поглядел бы, поплакали бы вместе, на что моя старость и талант уходят». Он отдал мельницу старухе и сказал при этом:

— Береги! Вернутся наши — покажем. В музей сдадим. В отделение пещерного века.

Единственным, что мастерил он со страстью и вдохновением, были замки и засовы. Каждый день придумывал он все более хитрые, все более замысловатые и

надежные запоры на ставни, цепи, замки и щеколды на двери. Снимал вчерашние, устанавливал новые, пробовал, сомневался, изобретал другие. Он совершенствовал свою систему запоров, как бойцы в окопах совершенствуют оборону, каждый день. Старуха собирала устаревшие замки и относила на базар. Раскупали моментально. Волчьей была жизнь, и каждый хотел надежнее запереться в своей берлоге.

И когда однажды вечером к Тарасу постучался сосед, Тарас долго и строго допытывался через дверь, что за человек пришел и по какому делу, и уж потом неохотно стал отпирать — со скрежетом открывались замки, со звоном падали цепи, со стуком отодвигались засовы.

— Дот,— сказал, войдя и поглядев на запоры, сосед.— Ну чисто дот, а не квартира у тебя, Тарас.— Потом прошел в комнаты, поздоровался с женщинами.— И гарнизон сурьезный. А этот,— указал он на Леньку,— в гарнизоне главный воин?

Соседа этого не любил Тарас. Сорок лет прожили рядом, крыша к крыше, сорок лет ссорились. Был он слишком боек, быстр, шумлив и многоречив для Тараса. Тарас любил людей медленных, степенных. А сейчас и вовсе не хотел видеть людей. О чем теперь толковать? Он вздохнул и приготовился слушать.

Но сосед уселся у стола и долго молчал. Видно, и его придавило, и он притих.

— Оборону занял, Тарас? — спросил он наконец.

Тарас молча пожал плечами.

— Ну-ну! Так и будешь сидеть в хате?

— Так и буду.

— Ну-ну! Так ты и живого немца не видел, Тарас?

— Нет. Не видел.

— Я видел. Не приведи бог и глядеть! — Он махнул рукой и замолчал опять. Сидел, качал головой, сморкался.

— Полицейских полон город,— вдруг сказал он.— Откуда и взялись! Все люди неизвестные. Мы и не видели таких.

— Нас это не касается,— пробурчал Тарас.

— Да... Я только говорю: подлых людей объявилось много.

— Думают, как бы свою жизнь спасти, а надо бы думать, как спасти душу.

— Да...

И опять оба долго молчали. И оба думали об одном: «Как же жить? Что делать?»

— Люди болтают,— тихо и нехотя произнес сосед,— немцы завод восстанавливать будут...

— Какой завод? — испуганно встрепенулся Тарас.— Наш?

— Та наш же... Какой еще!

— Быть не может! Где же немец руки найдет?

— Тебя заставит.

— Меня? — Тарас медленно покачал головой.— Моими руками завод строился, моими — разрушался. Не будет моих рук в этом деле. Нехай отсохнут лучше.

— Могут заставить,— тихо возразил сосед. Он поднялся с места, сгорбленный, старый, стал прощаться.

— Ну, бувай, Тарас. Живи. Сиди. Гарнизон у тебя сурьезный,— грустно пошутил он уже на пороге.

Тарас тщательно запер за ним двери — на все засовы, на все замки. «Нас это не касается!» — сказал он себе. Но это была неправда. Весть, принесенная соседом, слишком близко касалась его. Дверь запереть можно, душу как запрешь?

Семья и завод — вот чем была жизнь Тараса. Ничего больше не было. Семья и завод. Что же осталось? Семья? Где они, сыны мои, мои подмастерья? Нет сынов. Одни бабы остались. Сурьезный гарнизон. Завод? Где он, завод, цехи мои, мои ровесники? Нет завода. Развалины. Вороньи гнезда.

Что ж осталось? Одна вера осталась. Моими руками строилось, моими рушилось, моими и возродится. Немцы, как болезнь, как лихолетье, помучают и исчезнут. Это временное.

А сейчас впервые с ужасом подумал Тарас: «А что, как надолго?...» И тотчас же отбросил эту мысль: «Того быть не может!» Но она назойливо лезла в душу: «А что, как это навсегда? И завод задымит, как прежде? И может, еще Гартман объявится или его наследники? И словно ничего не было, ни Клина, ни Пархоменко, ни Острой Могилы, ни эшелонной войны восемнадцатого, ни голодной ярости двадцать первого, ни штурмовых ночей тридцать первого?» Он ходил по комнате, думая все об одном и том же: «Неужели это навсегда? Неужели подлые руки найдутся?» И отвечал себе: «Может, найдутся, да не мои! Сыны мои в обороне не устояли.

Я устою. Я дождусь». И он все ходил да ходил по комнате, и ветхие половицы тихо скрипели под его тяжелыми ногами. А с циферблата древних часов, из-под копыта коня генерала Скобелева, с тяжким стуком падали в вечность секунды, капля за каплей, капля за каплей...

3

Капля за каплей, капля за каплей...

Ровно в шесть часов утра пронзительно-резко звенел будильник в комнате Тараса и будил его. Старик торопливо вскакивал и вспоминал: торопиться некуда. Но он вставал и первым делом сверял часы и переводил пальцем стрелки на ходиках, отстающих на полчаса. Начинаясь день, а с ним и тревоги. И каждый новый день приносил новые тревоги.

Немцы объявили, что все работники бывших городских учреждений обязаны немедленно выйти на работу на свои места. Антонина, жена среднего сына Андрея, сказала об этом Тарасу. Но он только отмахнулся рукой:

— Нас это не касается!

— Но меня касается... — робко возразила она. До немцев она была бухгалтером жилотдела.

— Не касается, не касается! — свирепо закричал на нее Тарас и не стал больше слушать об этом.

Через несколько дней Антонина получила повестку. Городская управа строго предлагала ей явиться на работу. «Началось! — екнуло сердце Тараса. — Подлых рук ищут!» Он отобрал у Антонины повестку, скомкал ее и выбросил.

— Не будет моя фамилия служить немцу! Не будет! — закричал он на Антонину, словно она во всем была виновата. — И тебе не позволю. И себе не позволю. Так и знай!

А еще через несколько дней домик в Каменном Броде затрясся от ударов в дверь. Пришла полиция. Запоры Тараса не помогли — пришлось отворять.

Они вошли в его дом, как к себе в хату, прямо в комнаты, в шапках, в черных шинелях. На Тараса и не поглядели. Сели без спосу.

— Кто Антонина Яценко?

— Я, — дрожа всем телом, отозвалась Антонина.

— Паспорт!

Она отдала паспорт. Рыжий, кривой на один глаз полицейский взял паспорт и сунул его в карман. Потом молча встал и пошел к дверям.

— А паспорт? — кинулась к нему Антонина.

— Получишь на бирже.

Тарас, еле сдерживаясь от ярости, попробовал было вступить:

— Не знаю, как величать вас, господин...

Но полицейский сверкнул на него единственным глазом.

— Ты сюда не касайся, старик. Твой черед будет. Ты у меня на заметке! — Потом рванул дверь так, что замки и цепи загремели. — Ишь, запираются еще от власти! — И вышел.

Пять минут продолжалась эта сцена, а Тарасу показалось, словно двадцать пять лет. Словно отбросило его на двадцать пять лет назад, и опять ночные стуки в Каменном Броде, хриплые голоса через дверь: «Телеграмма!» — и бряцанье шашек о сапоги...

— А я думал, — сказал он, скривив губы и качая головой, — что так и умру, не услышав больше слова «полиция»...

Утром Антонина ушла за паспортом на биржу труда и вернулась только к вечеру. Тарас взглянул на нее и ни о чем не спросил. Спрашивать было нечего.

Антонина молча опустилась на лавку и словно застыла. Так сидела она в сумерках кухни, бессильно опустив руки, и молчала. Бабка Евфросинья под села к ней.

— Били? — шепотом спросила она.

— Только что не били, а то всего было, — отозвалась Антонина. — За всю жизнь на коленях наполнилась.

— Отпросилась?

— От Германии отпросилась, а на службу — идти.

— Идти? — всплеснула руками бабка. — Что старик скажет? Да ты б им, поганым, в рожу плюнула...

— Плюнешь! Как же! Кровью плюют на этой бирже люди. Сама видела. Нет, мама, не героиня я. Я ползала.

В эту ночь она плохо спала. Все чудились ей за стеной тяжелые шаги Тараса. «Ходит и ходит. Ходит и ходит, — мучилась она. — Меня прокликает». А потом мерещился Андрей, весь в крови, он глядел не на нее, а

куда-то сквозь нее, словно была она пустая и прозрачная. Она падала на колени перед ним. «Никогда я тебе не изменяла, Андрей, ни душой, ни помыслом». Но он все глядел через нее и ничего не говорил, словно ее не было. А за дверью все звучали шаги Тараса, и чей-то насмешливый голос дразнил: «Измена в твоём гарнизоне, Тарас! Измена!»

Утром, собираясь на службу, она старалась не встречаться глазами с Тарасом, но всею кожей чувствовала, как он следит за ней. Следит молчаливым, тяжёлым взглядом — никуда от него не скрыться.

И, уходя уже, взявшись рукой за щеколду двери, Антонина умоляюще произнесла:

— Не судите меня, Тарас Андреич!.. Я... я не могу, когда бьют...

4

«Я не могу, когда бьют». Она жила теперь в вечном страхе и ожидании ударов. Каждый громкий окрик заставлял ее спину вздрагивать. Спина была сейчас самой чуткой частью ее тела. Все притупилось и одеревенело в ней. Только спина жила.

День на бирже труда лишь оглушил и растоптал ее, все остальное пришло потом.

Служба в жилотделе управы сначала успокоила ее. Работать никто не хотел. Сидели и грызли семечки. Шелуху сплевывали в пустые ящики письменных столов.

— Плюйте, девочки, плюйте,— говорила им Зоя Яковлевна, главбух отдела.— Только убедительно вас прошу, когда немец войдет, делайте вид, что вы работаете. Делайте вид, убедительно вас прошу.

Но появлялся комендант. Требовалось вставать и кланяться и ждать, пока немец ответит кивком. Он медлил. Он нарочно медлил. Обводил ледяным взглядом спины, ждал, пока склонятся еще ниже.

— Ниже, ниже! — шептали Антонине подруги. Она не умела кланяться, она никогда не кланялась так. И спина ее начинала дрожать, ожидая удара.

У старика архитектора была одышка. Когда он склонялся в поклоне, кровь прилиwała к его дряблым щекам и его начинал мучить кашель. Он давился им и склонялся еще ниже. «Когда-нибудь я так и умру!» — думал он при этом.

Наконец комендант отвечал небрежным кивком и проходил мимо, к себе. Антонина старалась не глядеть на подруг, подруги не глядели на нее. Старик архитектор грузно опускался на стул и принимался долго и мучительно кашлять.

Постепенно Антонина успокаивалась, только спина настороженно вздрагивала при каждом стуке дверей. «Только бы не били! Только бы не били!» Подруги успокаивали ее: «Дурочка, кто же станет нас бить? Мы же служащие городской управы». Городская управа казалась им убежищем.

Но однажды утром в жилотдел ворвался синий от злости немецкий лейтенант. Брызгая слюной, он кричал что-то бессвязное и все тыкал в свои часы. Инженер Марицкий попытался объяснить с ним. Дрожа всем телом, он бормотал, что через полчаса, всего через полчаса, рабочие придут на квартиру господина лейтенанта и сложат печь. Он сам, инженер, придет и, если угодно, сам все сделает. Если он и опоздал на полчаса — всего на полчаса, господин лейтенант,— то только потому, что господин полковник приказал послать людей на его квартиру, а рабочих рук нет, и хотя мы объяснили господину полковнику, что господин лейтенант...

Лейтенант слушал его оправдания и медленно расстегивал свой поясной ремень. «Что он хочет делать?— удивлялась Антонина.— Зачем он расстегивается?»— И вдруг услышала свист ремня в воздухе и крик. И тогда она сама закричала в ужасе и закрыла лицо руками. Ее спина мучительно заныла, словно это били ее. А в воздухе все свистел и свистел ремень и с тяжелым стуком падал на что-то мягкое.

Все, кто был в комнате, отвернулись или потупились, чтобы не видеть, как хлещут ремнем большого, взрослого, всем в городе известного человека. Было стыдно... Было невозможно смотреть. И только молоденькая Ниночка, счетовод, широко раскрытыми от удивления и ужаса глазами смотрела на эту сцену. Впервые в своей жизни видела она, как бьют человека.

А немец все продолжал и продолжал хлестать Марицкого ремнем, и теперь уже не со злобой, а методично, деловито, как машина, по лицу, плечам и спине. Инженер стоял перед ним согнувшись, большой, широкоплечий. Он не уклонялся от ударов, не кричал, не плакал. Он только втянул голову в плечи, съежился и ста-

рался руками закрыть лицо. Плечи его вздрагивали. Странная тишина царила в комнате. Молчали люди у своих столов. Молча бил немец, молча принимал удары инженер. Страшное, постыдное молчание.

Потом немец спокойно и медленно надел ремень, одернул мундир и вышел. Все продолжали молча стоять у своих столов. Антонина плакала. Марицкий смущенно поднял глаза. Он попытался улыбнуться, чтобы скрыть смущение и боль, но мускулы его лица судорожно дрогнули, не выдержали, и вместо улыбки получилась жалкая больная гримаса. Он закрыл лицо руками и разрыдался при всех.

С тех пор и стала вздрагивать спина Антонины при каждом громком окрике, при стуке дверей, при звоне шпор на лестнице. Она не ходила теперь по улицам, а шмыгала. Прижималась к стенам. Боялась перекрестков. Она теперь всех боялась, даже Тараса. Ей было страшно в городе, вчера еще, до немцев, родном и веселом. Ей было страшно дома, вчера еще, до немцев, уютном и милым. Ей было страшно на земле.

Она плакала теперь часто и по всякому поводу. Плакала на службе, плакала дома, глядя на Марийку, дочку, плакала в постели, слыша шаги Тараса. Она подурнела и состарилась от слез. Боялась глядеться в зеркало. «Нельзя плакать! — убеждала она себя. — Я совсем стану старой. Как я покажусь Андрею, когда он вернется?» Но при мысли об Андрее она снова принималась плакать.

А за стеной всю ночь напролет шагал Тарас. Его шаги гулко отдавались в скрипучей тишине домика. «Все ходит и ходит. Все ходит и ходит. Меня прокликает». Но Тарас теперь редко думал о ней.

Б

Он думал теперь о Насте, о дочке. Он следил за нею тайком, исподлобья, острым, внимательным взглядом. Она удивленно спрашивала:

— Вы чего, папа?

— Ничего, — отвечал он и вздыхал.

Но какая-то тайная мысль мучила его, не давала покоя. Он спросил однажды жену, недовольно морщась:

— Не пойму я, мать, вроде наша Настька красивой стала? А?

— Хорошая,— гордо ответила Евфросинья.— И похвалиться не грех,— хорошая.

— Да-да...— гордо вздохнул Тарас.— И я гляжу... В другой раз он спросил:

— А сколько ей лет... нашей Настьке-то?

— Восемнадцать, отец. Неужели забыл?

И опять он тяжело вздохнул:

— Да, восемнадцать, как забыть, помню. Ох-хо-хо!

Раньше Тарас и не замечал Настю среди других ребят, наполнявших дом. Своя и чужая детвора шумела и возилась во всех углах, он глядел только, чтоб его инструмента не касались. Всем остальным занимались школы да комсомол. Дети росли, стаптывали сапоги, сами находили свое счастье. А сейчас никого не было — ни комсомола, ни школы. Он был один, Тарас — глава фамилии. И судья, и учитель. Он один отвечал за души детей.

На беду, некстати, не ко времени вдруг расцвела и созрела в эту горькую весну Настя. Налилось весенним соком тело, стало упругим и жадным. Пришла ее пора любить, страдать, ждать своего девичьего счастья.

Какого счастья? У Тараса сердце ныло, когда он глядел на Настю. Ее дома не видно было и не слышно. Она ходила тихо, и работала тихо, и разговаривала тихо, больше молчала. Сядет у окошка на лавку — и молчит.

Сидит и молчит. «Почему молчит?» — мучился он. Сидит и молчит. Сидит и молчит. И странно так, тяжело молчит, о своем думает. О чем? О каком счастье мечтает? Молчит все.

Он следил за ее каждым шагом.

— Не ходи на улицу,— строго говорил он, заметив, что она надевает платок.

— Хорошо,— покорно отвечала она, аккуратно складывала платок и садилась у окошка на лавку. А он ходил тяжелыми шагами по дому и мучился. Потом напускался на дочь:

— Ты чего сиднем сидишь? Пойди прогуляйся. Да старенькое платье надень, чего наряжаться не по времени!

И она покорно надевала старенькое, повязывала голову рваным платочком, обувала стоптанные туфли. Но и из этих обносков, всему наперекор, неукротимо и победно рвалась ее молодая краса. И Тарас тревожно

вздыхал: «Вот до чего дожил! Красе родной дочери не рад!»

Но душа ее оставалась для него загадкой. «Что они за племя такое, что за народ эти молодые, нынешние?» Совсем он их не знал. Незнакомое племя. Но и не зная, он сомневался в них. «Где уж им! На папашины деньги учились, горя не видели, с Александром Яковлевичем Пархоменко в поход не хаживали, почем фунт лиха — не знают». И теперь он проклинал себя, что раньше детьми не занимался, и как с ними говорить — не знает, и как в их душу войти — не знает, а отвечать за них перед людьми и миром придется ему.

— Ты чего молчишь? Чего молчишь все? — крикнул он однажды на дочь.

Настя удивленно подняла глаза и, пожав плечами, ответила:

— А чего мне говорить, папа? Вы спрашивайте.

А он и не знал, о чем и как ее спросить. Он присматривался к Настиным подругам строго и придиричиво. Всякие были, хорошие и плохие. Но одну он люто невзлюбил, Лизку. Впрочем, она уже называла себя Луизой.

Когда Тарас впервые заметил и разглядел это взбалмошное существо, он от удивления даже рот раскрыл. И наряд на Луизе был какой-то пестрый, крикливый, и юбка выше колен, и прическа какая-то не русская — белобрысые локоны как-то смешно и нелепо скручены на лбу, — и все в ней было и не русское, и не немецкое, а какое-то обезьянье.

— Ты чья такая? — уставился на нее Тарас.

— Антона Лукича дочка... Луиза, — бойко ответила Лизка.

— Брысь, паскуда! — гаркнул Тарас. — Вот я твоему отцу, старому дураку, скажу, чтоб он тебя выдрал. — Но тотчас же опомнился и украдкой виновато глянул на Настю.

Настя молчала. Тарас хлопнул дверью и вышел.

Луиза, однако, продолжала бывать в доме Тараса. Сначала она старика побаивалась, околачивалась где-то на кухне, поближе к порогу, разговаривала с женщинами шепотом и все поглядывала с опаской на двери Тараса, — ее самое еще смущали и наряд, и локоны, — потом она осмелела, обнаглела даже. А однажды набралась храбрости и напустилась на Тараса:

— Вы что ж, Тарас Андреевич, Настю на улицу не пускаете? Ее дело молодое, ей гулять хочется.

Тараса чуть удар не хватил от бешенства. Но он сдержался. Подошел к Насте и посмотрел на нее грустным-грустным, долгим взглядом.

— Тебе гулять хочется, дочка? — спросил он ласково, так ласково, как никогда не говорил с ней, и голос его дрогнул.

Она удивленно подняла на отца глаза и тотчас же опустила их.

— Нет, папа.

— Слышишь? — обратился к Лизе Тарас.— Не хочется ей гулять. Не такое, Лиза, время, чтоб гулять.

— Измена! — фыркнула Лизка.

— Измена,— так же коротко и серьезно ответил Тарас.— Хуже измены. Вот умер бы у тебя отец, горе в доме, пошла б ты гулять? А у нас нынче в каждом доме — горе. Не до гулянок. Не простят нам наши, если мы гулять тут будем.

— Война все спишет!

— Нет! — убежденно покачал головой Тарас.— Нет, врешь, Лиза. Не спишет. Все запишет война. Ничего не простит, ничего не забудет. Поимей это в виду, девушка! Вернутся наши, поставят нас перед собой и своими чистыми глазами в душу глянут. В самую душу. И все увидят: кто ждал, кто верил, а кто — продал, забыл.

— Когда ж они придут?

— Не могу тебе сказать, девушка. Но придут. И имей в виду — обязательно придут.

— А молодость пройдет! — вздохнула Лизка.— Самая лучшая пора пройдет. Наши вернутся и на нас, старух, глядеть не станут. Нет,— тряхнула она локонами,— уж лучше хоть как-нибудь, а отгулять...

А Настя молчала.

Откуда-то из темноты вынырнул Ленька — главный воин гарнизона Тараса — и, озорно усмехаясь, сказал:

— Дедушка! Тут про таких,— он сверкнул на Лизку глазами,— песня сложена, в городе поют. Я всю знаю.

— Какая песня?

— Называется «Позор девушке, гуляющей с немцем».

Он встал в позу и мальчишески звонким голосом запел:

Молодая девушка немцу улыбается.
Позабыла девушка о своих друзьях.
Только лишь родителям горя прибавляется,
Горько плачут, бедные, о милых сыновьях.
Молодая девушка, скоро позабыла ты,
Что когда за Родину длился тяжкий бой,
Что за вас, за девушек, в первом же сражении
Кровь пролил горячую парень молодой.
Где-то там над речкою, над широкой Волгою,
Был убит за Родину молодой герой.
Только ветер волосы развеивает русые,
Словно их любимая теревит рукой.
Вымоет старательно дождик кости белые,
И засыплет медленно мать сыра земля.
Так погибли юные, так погибли смелые,
Что дрались за Родину, жизни не щадя,
Лейтенанту-летчику молодая девушка
Со слезами верности весною поклялась,
Но в пору тяжелую сокола забыла ты
И за пайку хлеба немцу продалась.
Под немецких куколок ты прическу сделала,
Красками нарисилась, вертнись иглой.
Но не нужны соколам краски твои, локоны,
И пройдет с презреньем парень молодой.
Да, вернутся соколы, смелые, отважные,
Как тогда ты выйдешь молодца встречать?
Ведь торговлю ласками и торговлю чувствами
Невозможно, девушка, будет оправдать...

Слушая эту песню, бабка Евфросинья вздыхала. Антонина тихо плакала, Лиза краснела и ежилась, а потом вдруг сама разрыдалась и убежала вон.

А Настя побледнела и сказала:

— Не все девушки такие. И другие бывают.

Больше она ничего не сказала. И опять не мог понять Тарас, что за этими словами скрыто, как не понимал раньше, что скрывается за ее молчанием. О чем она думает, о чем молчит, чего ждет? «Ох-хо-хо! — вздыхал он. — Посматривать за нею надо, посматривать!»

Да как уследишь за ними! Даже бабка Евфросинья ушла тайком куда-то утром и вернулась только в обед, злая, весь день плевалась и грохотала горшками.

— Ты чего плюешься, чего плюешься? — не выдержав, спросил Тарас. — Ты где все утро была?

— В церкви.

— Ну?

— Тьфу!

— Что ж тебе не понравилось в божьем храме? — усмехнулся Тарас.

- Тебе, безбожнику, все одно.
Но вездесущий Ленька вылез и тут:
— Ей, дедушка, поп не понравился.
— Поп? Какой поп?
— А немцы своего попа поставили.
— Откуда ж взяли?

— А из сада. Костя, что в саду, в бильярдной шары подавал, теперь немецкий поп.

— Костя? Этот старый пьянчуга — поп? — удивился Тарас и посмотрел на жену.

Евфросинья молча двигала горшками в печи. Тарас рассердился:

— Над тобой немцы издеваются, дура. Над богом твоим, над храмом твоим и над верой твоей, а ты ходишь. Молись дома, если надо, а к немецкому попу не ходи! Слышишь?

В другой раз, вечером, вся в слезах пришла Антонина. Была в кино. Пошла с подругами, чтоб не идти домой. В этот вечер она особенно боялась Тараса: ее измучили его шаги за стеной.

В кино показывали немецкую военную хронику. Под пронзительные вопли фанфарных маршей двигались по экрану немецкие танки, били немецкие пушки. По всем углам зала сидели полицейские в черных шинелях и настороженно, как кобчики, следили за публикой: боялись демонстраций. Но никто не кричал, не свистел, не шикал. Случилось другое, странное: зал начал плакать. И чем громче били пушки, тем горше рыдал зал.

Немцы никак не могли понять, отчего русские женщины плачут, когда на экране так весело, совсем не как на войне, бьют пушки. Офицеры злились на русских женщин, а русские женщины плакали все громче и громче. Каждой казалось, что это в ее мужа, сына, брата бьет немецкая пушка. И каждая плакала о своем. Кричать было нельзя — они плакали.

Офицер из гестапо не выдержал, вскочил и заорал:

— Прекратить слезы! Здесь не похороны! Улыбайтесь! Улыбайтесь же, русские свиньи!

Зажгли свет в зале. Из всех углов выползли полицейские. Офицер, размахивая стеклом, кричал:

— Улыбайтесь, ну! Улыбайтесь, свиньи, свиньи!

А женщины продолжали плакать...

— Что ж ты не улыбалась? — криво усмехнулся Тарас, выслушав рассказ Антонины. — Раз уж пошла в не-

мецкое кино — улыбайся! А со своими слезами дома сиди. Не видишь разве — издеваются немцы над твоими слезами!

Они над всем издеваются — над Евфросиньиной верой, и над Антонининым горем, и над молодостью Лизы-Луизы, и над ее локонами; они все топчут, они и Настю растопчут, если не уберечь, и Леньку, и маленькую Марийку — раздавят душу каблуками своих кованых сапог и пройдут... Как уберечь, как уберечь их?

— Каждый думает, как бы спасти свою жизнь, а надо бы думать, как спасти свою душу.

6

Каждый думает, как бы спасти свою жизнь, а надо бы думать, как спасти свою душу...

Тарас «спасался» в своем доме. Он по-прежнему сидел дома, за закрытыми ставнями. Что там творилось в городе — того он не знал.

Но город властно тянул его, звал, мучил: ты видел меня в славе, погляди — вот я распят на кресте. Коснись моих ран, Тарас. Раздели мои муки.

Он не мог больше сидеть за замком, взял палку и пошел.

И вот открылся перед ним город на холмах, ни на какой другой в мире не похожий, но такой, каким был всегда: крыши и трубы, крыши и трубы; те же улицы, падающие с окраин вниз, в центр; те же дома под железом и черепицей; те же акации в городском саду. И так же, в назначенную пору, летит с тополей веселый и легкий пух, кружится над улицами и падает на крыши. Как снег. Как теплый, розовый снег.

— Все как было! — горько покачал головой Тарас. — Все как было!

А хозяином в городе — немец!

Оскорбленный и потрясенный, шел Тарас по городу. «Что ж это за люди? Что ж это за люди?» — гневно думал он и только сейчас заметил, что людей на улицах нет. Пусто и тихо. Так тихо, словно и не в городе, а на кладбище. Словно у города вырвали язык и не может он ни кричать, ни петь, ни смеяться, а только тихо стонет, как глухонемой, которому от его немоты больно.

Какие-то тени мелькают вдоль заборов, торопливо перебегают перекресток, скрываются в подворотнях.

Где-то там, за закрытыми ставнями, шевелится, ворочается жизнь, но ни громкий голос, ни песни, ни плач не пробиваются сквозь щели. Даже дым из печей — тощий и бледный, может быть, оттого, что топить нечем, может быть, оттого, что варить нечего. Дымок подымается, дрожит в небе и тает быстро и пугливо.

Мимо Тараса пробежали несколько знакомых, он окликнул их почему-то шепотом, словно и на него уже действовала скрипучая, тоскливая тишина улиц, и он уже говорил шепотом в своем родном городе, — они не услышали его и не обернулись. У людей появилось какое-то странное движение шей, такого и не было никогда — быстрое, испуганное от привычки озираться. Люди боялись встреч.

Подле пепелища городского театра Тарас лицом к лицу столкнулся с доктором Фишманом, лечившим всех его детей и внуков. Тарас по привычке снял картуз, чтобы, как всегда, поздороваться, но увидел на рукаве Фишмана желтую повязку с черной шестиугольной звездой — клеймо еврея — и поклонился низко-низко, как не кланялся никогда.

Этот поклон испугал врача. Он отпрянул в сторону и инстинктивно закрылся рукой. Тарас молча стоял перед ним.

— Это вы мне... мне поклонились? — шепотом спросил наконец врач.

— Вам, Арон Давыдович, — ответил Тарас. — Вам и мукам вашим.

— А... да... да... растерянно пробормотал Фишман. — Здравствуйте... Мое почтение... Как поживаете? Я — ничего себе... — Но что-то сдавило вдруг его горло, он взмахнул руками и вскрикнул: — Спасибо вам, человек! — И побежал прочь, не оглядываясь.

Тарас долго смотрел ему вслед. На пустынной улице все маячила согбенная спина врача, подпрыгивала и дергалась... А вокруг как всегда: крыши и трубы, крыши и трубы, те же дома под железом и черепицей, и улицы, падающие с окраин вниз, в центр, и акации в городском саду. И так же, как всегда, в назначенную пору летит с тополей веселый и легкий пух, кружится над улицами и падает на крыши, как снег.

«Куда же тебе еще пойти, Тарас? На что тебе еще поглядеть? Не довольно ли видел?» Но он все шел да шел по мертвым, распятым улицам города, из которого

вырвали веселую живую душу. Вырвали и растоптали. И нет ее, ничего нет,—город глухонемых и нищих.

Один Тарас идет, и громкий стук его палки о камни тротуара будит и скликает воспоминания. Они как эхо слетаются к нему со всех сторон, от каждого камня, от каждого дома, с каждого перекрестка. Здесь он родился. Здесь женился. Здесь состарился. Бывало, здесь, на площади, шумели горячие митинги. Клим говорил, потрясая рукой. Пархоменко уходил отсюда в бессмертие. Комсомольцы пели «Паровоз» и делали паровозы. И день и ночь висели над городом веселый звон железа, и песня за рекой, и детский смех в саду.

Нынче все стихло: задавили песню, расстреляли смех. Воспоминания — единственно живое, что оставалось здесь.

Тарас и не заметил, как нечаянно забрел на базар. Бывало, скрипели тут возы и суетились, толкались люди. Башни полосатых арбузов высились рядом с горами теплого, дымящегося мяса; в горшечном ряду сияли глиняные солнца обливных макитр, глечиков, кувшинов; продавец игрушек на все лады пробовал свои свистульки — незатейливая музыка вплеталась в базарный гам, и, покрывая все шумы, голоса, свисты и скрипы, гремел над базаром отчаянно ликующий, радостный, оголтелый крик петухов из птичьего ряда — без петуха нет базара.

И хоть был Тарас заводской человек, базары он любил. Он любил в воскресенье, после получки, приходить сюда с женой и важно шествовать вдоль рядов, чувствуя себя хозяином всех вещей, выставленных на продажу. Он все мог купить. Базар был богат, но богат был и Тарас-мастер.

Сейчас покупать было нечего и не на что. У редких возов стояли понурые очереди: постаревшие, осунувшиеся женщины в стоптанных туфлях, небритые мужчины, обросшие седой щетиной. На лотках одиноко лежали бородавчатые картофелины, похожие на старушечьи лица, и сморщившаяся морковка, недоступная, как заморский апельсин. Здесь зерно продавали стаканами, картофель штуками, сахар кусочками — горькою мерою нищеты.

Нищета разоренных сел пришла сюда, на базар, и встретила с голодной нищетой распятого города. Нищета принесла на базар все, что еще можно было вы-

скрести со дна заветных сундуков. Подвенечное платье с увядшими цветами, кацавейку, усыпанную серебряной мишурой нафталина, потертый коврик, детское одеяльце с голубыми ленточками, последнюю рубашу с тела. А те, у кого и этого не было, принесли на рынок совсем бесполезные, никому не нужные вещи: подсвечники, поржавевшие от старости и плесени, зеленые самовары с побитыми боками, детские игрушки — какого-нибудь облезшего плюшевого зайца или нелепо счастливую куклу.

Владельцы этих никому не нужных вещей и сами сознавали их ненужность и даже не предлагали их покупателям. Молча стояли они весь день на рынке, вытянув перед собой свои тускло-зеленые подсвечники, и с тоскливой мольбой глядели на прохожих. И казалось, каждая вещь кричит за своего хозяина: «Купите! Это последнее, что у него есть. Завтра он умрет с голода».

Страшный язык нужды! Перед Тарасом словно вернули внутренности города, сведенного судорогой голода и отчаяния. Он узнавал людей и вещи, тени людей, обломки вещей. Эти самовары он видел некогда на чайных столах в палисадниках, под тихими акациями; мирные, счастливые субботние чаепития! Он узнавал коврики, безделушки с комодов, камчатные скатерти, фарфоровые статуэтки, патефонные пластинки — символы простого, сытого счастья. Он знал, что за этими символами скрыто — частная жизнь целого поколения. Нынче это за горсть зерна продается на рынке. Нищий покупает у нищего, голодный обменивается с голодным. Они делают это молча. На толкучке не слышно былого шума, нет веселой суеты. Тишина отчаяния. Какой-то пожилой человек в пенсне и с пустой кошелкой долго стоит перед лотком с картошкой, потом медленно снимает с себя пиджак, вертит его в руках, зачем-то встряхивает и отдает продавцу. Тарас узнает человека в пенсне и отворачивается. Это директор техникума, где учился Никифор.

Тарас встречает здесь много знакомых — горькие встречи! Люди не узнают друг друга, все стыдно и скверно. Знаменитый мастер литейного цеха продает свой патефон-премию. Химик из заводской лаборатории торгует самодельными спичками. Где-то здесь и Евфросинья меняет на хлеб замки Тараса.

Тут же на базаре, под ногами живых людей, где-нибудь у тротуара, лежат, скорчившись, мертвые. Живые

осторожно обходят их и отворачиваются, стараются не глядеть — в стеклянных глазах покойника им чудится их собственный завтрашний день. В городе привыкли к мертвым.

Растрепанные цыганки в грязных цветастых платках пристают: «Дай погадаю!» Мужчины грустно отмахиваются. Бабы соглашаются. Озираясь по сторонам, нет ли немца или полицейского, гадалки бормочут страстным, убежденным шепотом:

— Твой сокол жив, голубушка. Жди, вернется. Многие муки принял он. В реке тонул — не утонул, в огне горел — не сгорел, враг его не убил, и пуля не взяла, и бомба пролетела, не задела. Вернется он, голубушка, с первым снегом, по санному пути, ты надейся.

— Дай-то бог! — вздыхают и крестятся бабы.

Подле слепца, гадающего по выпуклой книге, особенно много баб. Слепец водит пальцами по невидимым буквам и пророчит.

Бабам жутко.

— Кровавые реки прольются, — монотонно читает слепец, — и в тех реках захлебнется враг рода человеческого. И случится это... — Он с усилием нащупывает выпуклые буквы, а бабы, замерев от страха и надежды, ждут ответа.

Над базаром, как и над городом, висит больная, немощная тишина: голосам и звукам не хватает силы, словно здесь не люди бродят, а призраки. И только итальянские солдаты торгуют шумно и весело. Они великолепны, эти королевские мушкетеры в шапочках с перьями, когда, обвешанные бабьими тряпками и барахлом, кипят они в торговом азарте, продают свое и ворованное, меняют, покупают и тут же продают купленное.

Но вдруг взламывается, раскалывается тишина базара.

Кто-то исступленно крикнул: «Облава!» — и все всполошилось и заметалось вокруг. Мимо Тараса побежали люди. Он увидел искаженные ужасом лица. Он услышал выстрелы и вопли. Кого-то били головой о мостовую. Страшно кричала женщина с рассеченным лбом, ее черные волосы слиплись от густой крови. Над базаром низко и тревожно летали галки. Схваченный автоматчиками парень бился в железных лапах, не веря еще тому, что схвачен. Он рвался из цепких рук мол-

ча и иступленно, скрипел зубами, не желая тратить силу в бесполезных криках, но все его большое тело кричало, выло о свободе и рвалось из плена. Его били зло, ожесточенно, а он все рвался, все не верил, что это конец. И вдруг, обессилев, обмяк и затих. В последний раз обвел парень страстно-тоскующим взором вольный мир молодости. Все было кончено для него. Теперь Германия, каторга — и вероятнее всего смерть.

А мимо Тараса все бежали и бежали охваченные ужасом люди. Они бежали, вины за собой не чуя. Вся вина их была в том, что они — люди, а это охота на людей. И Тарас был человек, и за ним охотились, и он бежал, хрипя и задыхаясь, ожидая, что вот-вот лопнет, не выдержав, сердце. Он вбежал в какую-то подворотню и там перевел дух. Мимо него пронеслась вся свора и где-то затихла вдали.

Под воротами и во дворе столпилось много людей. Все они тяжело дышали. Кто-то сказал, сплевывая кровь:

— Автоматов бы нам! Автоматов!

— Ничего! — отозвался Тарас. — И топоры годятся.

По улице прошел немецкий патруль, и все затихли. В тишине было слышно, как стучат о камни тротуара кованые сапоги немцев. Казалось, камни стонут под сапогами, камни кричат. А из всех окон, щелей, ворот глядят немцам вслед глаза, горячие, ненавидящие.... Немцы идут по мертвым улицам. Пустынны площади. Молчит глухонемой город. Страшная тишина висит над ним — тишина затаенной ненависти. В этой тишине — как проклятье, как кошмар, как бред — цокот кованых сапог о камни. И, услышав этот цокот, — днем ли, ночью ли, — испуганно замирает жизнь, прячется все живое, затихают дети, скрываются в погреба женщины. Мужчины сжимают кулаки: «Не за мной ли? Не мой ли черед?» Уже невозможно слышать этот тяжелый ненавистный стук сапог. Уже невыносимо видеть немца... Даже женщина, из-за куска хлеба разделившая с немцем постель, задыхается от острой, горячей ненависти. С ужасом глядит она на рыжую, волосатую грудь немца, и слушает его храп, и задыхается от его запаха.

Над всем городом висит этот страшный солдатский запах — запах казармы и вонючего немецкого табака.

Жить было невозможно.

Жить было невозможно.

На семью Тараса еще не обрушился топор немцев. Никого не убили из близких. Никого не замучили. Не угнали. Не обобрали. Еще ни один немец не побывал в старом домике в Каменном Броде. А жить было невозможно.

Было невозможно дышать в этом воздухе, отравленном запахом немца. Не убили, но в любую минуту могли убить. Могли ворваться ночью, могли схватить среди бела дня на улице. Могли швырнуть в вагон и угнать в Германию. Могли без вины и суда поставить к стенке, могли расстрелять, а могли и отпустить, посмеявшись над тем, как человек на глазах седеет. Хорошая немецкая шутка! Они все могли. Могли, и это было хуже, чем если б уж убили. Над домиком Тараса, как и над каждым домиком в городе, черной тенью распластался страх.

Законов не было. Не было суда, права, порядка, строя. Были только приказы. Каждый приказ грозил. Каждый запрещал. Приказы точно определяли, каких прав лишен горожанин. Это была конституция лишения прав человека. Человеческая жизнь стала дешевле бумаги, на которой было напечатано: «Карается смертью...»

Дом больше не служил убежищем человеку. Замки не оберегали ни его жизнь, ни его имущество. Люди редко жили или спали в домах. Они прятались в погребах и сараях. Заслышав цокот кованых сапог, они забивались в щели. Если б были пещеры в городе, люди ушли бы в пещеры, зарылись бы в норы, только б не жить под «новым порядком».

Вся жизнь обывателя состояла теперь в том, чтобы спрятаться. Спрятаться от немца, посторониться, когда он шагает по улице, укрыться, когда он входит к тебе в дом, уклониться, когда он тебя ищет.

А немец шагал и шагал по городу, выпятив грудь, вытянув, как цапля, ноги, надвинув на низкий лоб каску, шагал с тупым воодушевлением автомата и все давил, мял, топтал — жить было невозможно.

Жить было невозможно, но надо было жить.

Как жить? От этого вопроса нельзя было отмахнуться.

Нельзя было сказать себе: «Нас это не касается». Перед каждым человеком в городе встал этот вопрос: как жить, что делать? И каждый человек должен был сам его решить для себя и для своей совести.

Теперь часто по вечерам приходил к Тарасу сосед, Назар Иванович. Сорок лет прожили рядом, крыша в крышу, сорок лет ссорились. А сейчас общая беда соединила их — сидели все вечера вместе, курили, вздыхали.

Обычно разговор начинал Назар. Беспокойный человек, он целыми днями слонялся по городу.

— Иду я сегодня по улице, — рассказывал он, — вижу, тротуар чинят. Сердце у меня так и упало. Боже ты мой, думаю, неужто навсегда, навеки упрочается в нашем городе немец?

— Этого быть не может. Тротуары! — фыркал Тарас. — Тротуары — видимость. Тротуар они могут переделать, а душу мою переделать могут? Могут они меня или тебя в немцев превратить? Память мою они вытоптать могут? Нет! — Он с силой качал головой. — Нет, не хозяева они в нашем городе — пришельцы. Как пришли, так и уйдут.

Назар пожимал плечами.

— Давно и стрельбы не слышно, и самолетов наших не видать. Хоть побомбили бы нас, что ли, все на душе веселее б стало. Далеко фронт ушел, ох далеко! Под Волгу.

— Фронт ушел, фронт и придет. Верить надо.

— Ох, верить, верить!

Махорочный дым полз по низкому потолку, бился о ставни...

— Как жить, Тарас Андреич? — тоскливо спрашивал Назар. — Нет, ты мне скажи: как жить? Что делать?

— А это решай каждый, как совесть велит, — отвечал Тарас.

— Совесть драться велит! А драться чем? Безоружные мы с тобой старики, Тарас.

— Топор есть, стариковское оружие, верное. — Тарас задумчиво качал головой. — К партизанам бы путь найти! Хоть и стары мы с тобой, Назар, а все послужили б! — Наклонялся к Назару и шептал: — Надо выход душе дать, ой надо! Терпеть, Назар, у меня мочи нет.

И каждый человек в городе о том же думал: «Как жить, боже мой, как же жить, что делать?»

— Если я правильно понимаю политическую обстановку,— сказал своей жене Старчаков Яков Васильевич, бывший завхоз треста,— сейчас настало мое время, время коммерции. Мы открываем комиссионный магазин!

Жена не удивилась. Она знала, что в заячем теле ее мужа живет душа тигра. Может быть, и в самом деле настало время Старчаковых — золотое время частной коммерции? В местной газете появилось объявление: «С разрешения немецкого командования господин Старчаков открывает комиссионный магазин». Объявление было набрано жирным шрифтом.

Ковры и подсвечники изменили свой маршрут, они плыли теперь не на рынок, а в магазин Старчакова. Они плыли густой и плотной массой, как бревна по реке в большую воду. Старчаков не успевал выписывать квитанции. Он ликовал. Он принимал, щупал, ласкал, оценивал вещи. Ему казалось, что все эти вещи принадлежат ему. Ему уж было тесно в этом городишке. Он мечтал о магазине в Берлине, на Унтер-ден-Линден.

Вещи запрудили маленький магазин. Старчаков объявил, что прием вещей на комиссию прекращен. Теперь он ждал покупателей. Покупателей не было.

Он ходил по своему магазинчику, переставлял вещи в витрине, ждал. Он ждал покупателей. Покупателей не было. Коммерция не произрастала на скудной почве голодного города. Комиссионера все чаще стало искушать странное желание: взять и повеситься на антикварной люстре, среди текинских ковров, которые все хотят продать, а никто купить не может.

В местной газете появилось новое объявление: «С разрешения немецкого командования господин Старчаков ликвидирует свой комиссионный магазин. Просьба ко всем сдавшим вещи на комиссию получить их обратно». Объявление было набрано бледным петитом. Между этими двумя объявлениями протекла и отшумела вся недолгая карьера первого поднемецкого коммерсанта — его величие и падение.

Когда владельцы вещей, сданных на комиссию, явились за своими вещами, они увидели: магазин был пуст. Немцы «конфисковали» вещи, ненужные переломали. Под ногами хрустели осколки фарфора. На стене, на

одном крюке, качалась распоротая ножом картина: «Бой у Острой Могилы».

Эту картину написал местный художник. Он издавна жил и работал здесь. Во многих Дворцах культуры, клубах и школах висели его панно. Каждое воскресенье, бывало, он ходил на свидание с ними. Он надевал праздничный пиджак и шляпу. «Я иду на свидание с моими детьми»,— говорил он. Они жили теперь своей жизнью — его картины, его дети. Каждая имела свой возраст, свой характер, свою биографию. Одни дались ему легко, другие, рождаясь, измучили его. Он любил их неодинаковой любовью — одних больше, других меньше. Были любимцы и были уродцы. Но все они были дороги ему. Когда немцы обосновались в городе, он захотел узнать, что случилось с его детьми.

И он их увидел. Растоптанные, загаженные, вырванные из рам, они корчились и умирали на свалке — ему осталось только плакать над их трупами.

Он хотел умереть в эту ночь, его спасли близкие. Кто-то сурово сказал ему:

— Вы должны жить, чтоб написать то, что видели. Страшную картину должны написать вы для потомков.

— Да, да...— бормотал он.— Надо жить... Надо жить...

Он не умер. Он остался жить, чтобы видеть и запомнить. Он бродил по улицам, кладбищам, пустырям и видел страшные картины. Но сейчас он не мог писать: его руки были в плену, его тело было в плену, и только память художника, горячая, честная, была свободна и проклинала скованные цепями руки.

Чтобы не умереть с голоду, он писал пестрые акварельки, изображавшие украинский пейзаж, каким он никогда не был, но только это и покупали итальянские солдаты. Они посылали их в Италию: вот земля, которую завоевал ваш сын.

Механически фабриковал художник эти мельницы, речки и хатки, а в воскресенье на базаре продавал их поштучно и оптом, как продают капусту. Надо жить, надо жить, говорил он себе. Надо жить, чтобы видеть и запомнить.

Однажды его пригласили в гестапо.

— Нам нужны хорошие художники,— сказали ему там.— Пишите для нас плакаты, и мы сделаем вам сытую жизнь.

Он усмехнулся:

— Я не умею писать плакаты. Только акварельки... речки... хатки...

— Жаль. Вы могли бы быть сыты.

— Я сыт,— задыхаясь, ответил он.— Я по горло сыт.— И вспомнил свои картины, распоротые немецкими ножами.

Он пришел к себе домой в мастерскую и там один, в пустой, гулкой комнате, долго плакал. «Плакаты? Да, я умею писать плакаты. Я буду писать плакаты. Я сам буду развешивать их на площадях. Я сам готов висеть рядом с ними. Страшные плакаты буду я писать!»

Распятый, окровавленный город. Вокзал, омытый слезами. Синие руки матерей. Зеленые вагоны с решетками. Черные тополя, заплаканные, как вдовы. И девушки, прощающиеся с отчиной, с молодостью, с волей. «Плач полонянок» — вот как будет называться эта картина. Он станет ее писать немедленно. Он не может больше не писать.

Плач полонянок. Он стучится в его душу. Он стучится в его сердце. Над всею Украиною звенит этот горестный девичий вопль. Вдовый плач матерей. Горький крик полонянок.

Все чаще и чаще уходят на запад невольничьи эшелоны. Все пустыней и пустыней становятся города. Из десятого класса «б», где до немцев училась Настя, шесть девушек уже распростились с родиной. Их везут сейчас в вагонах с решетками. Что ждет их в неволе? Что ждет Настю? Что всех их ждет, девочек из десятого «б»?

Их было пятеро подруг, боевая пятерка: Настя, Лариса, Лиза, Галя, Мария. В эту весну они должны были окончить школу. Они ходили обнявшись по парку и мечтали. Жизнь казалась им прямой и ясной, как эта аллея, небо — близким и доступным, как вершина этого тополя, будущее — веселым и кудрявым, как эта береза.

Пришли немцы. Под тяжелыми гусеницами танков хрустнули девичьи мечты и надежды. Девочки из десятого «б» не успели даже собрать осколков. «Прощайте, девочки! — писала Галя с дороги.— Крылья оборваны, руки скованы, надежд нет. Прощай, жизнь, прощай, молодость, прощай, родина!»

Чей завтра черед? Лариса, чтоб ее не угнали в Гер-

манию, поступила в театр «Кабаре», открытый немцами. Она всегда собиралась стать актрисой. У нее был нежный девичий голос. Она пела грустные песенки и всегда, когда пела, плакала. И ее подружки тоже.

Но Ларисе ни разу еще не удалось спеть до конца свою песенку в театре,— немецкие солдаты, шикая и свистя, прогоняли ее со сцены. Им не нужны были ее песни. Им нужны были ляжки. Они аплодировали только ляжкам. На холодной сцене окоченевшие девочки тоскливо плясали. Немцы недовольно кричали: «Живей! Живей! Кобылы!» Офицер щелкал стеклом, как наездник кнутом. Девочки ожесточенно дрыгали синими ногами. Только бы не угнали в Германию!

За кулисами все время толпились немецкие и итальянские офицеры. Кулисы казались им цирковой конюшней. Они бесцеремонно хлопали девушек по спинам и приглашали ужинать.

— Свиньи, свиньи! Боже, какие это свиньи! — с отвращением и ужасом говорила Лариса Насте. — Я умру, если один такой приблизится ко мне. Лучше в петлю!

Лиза-Луиза перестала бывать у Насти в доме. Немецкий офицер подарил ей кофточку. Великолепную кофточку из голубой ангорской шерсти; ни у кого в городе не было такой. Когда Лиза-Луиза прогуливалась по главной улице, на нее все смотрели. Какая-то женщина неотступно следовала за нею три квартала и глаз не отрывала от кофточки.

У этой женщины были сумасшедшие глаза, тоскующие, черные. Лиза-Луиза возмутилась. Это нахальство — идти за ней и смотреть! Слишком много сумасшедших развелось в городе.

— Вы что на меня смотрите? — прикрикнула она на женщину.

— У вас красивая кофточка, девушка.

— Ну? А вам что?

— Ничего, — растерянно улыбнулась женщина. — Носите. Носите. Это была моя кофточка. Мне когда-то подарил ее муж. Потом его убили, и я перестала носить. К нам в дом пришел немец и взял ее. И другие вещи тоже. Моя девочка Ирочка заплакала, глупенькая, и немец убил ее. Но это ничего, ничего... Вы носите кофточку... Она красивая. На ней пятна Ирочкиной крови, я потому и смотрю. Это очень красиво — красное на голубом...

Луиза в ужасе отшатнулась от женщины и убежала.

«Это очень красиво на голубом!» — кричала ей вслед женщина. Луиза прибежала домой и разрыдалась. Она долго не могла успокоиться. Кофточку она сняла. Но ей казалось теперь, что и на юбке, и на чулках, и на ботинках черные пятна крови. И на губах не помада, а кровь. И на ногтях не лак, а кровь. На всем ее теле — пятна, пятна крови...

— Что ж подружек твоих не видать у нас? — насмешливо спросил как-то Настю Тарас. — Тихо даже стало. Небось устроились?

— Да... — коротко ответила Настя. — Устроились.

— То-то я и гляжу — нет их. Куда же они устроились, твои Катьки, Машки?

— Галю в Германию угнали.

— А-а!

— А Мария здесь устроилась лучше всех. — Настя грустно усмехнулась. — У немцев она теперь на всем готовом. На казенных харчах.

— В тюрьме? — удивился Тарас. — За что ж такую девочку в тюрьму?

— Не знаю... Говорят, за листовки... — нехотя ответила Настя и отвернулась.

Тарас попытался вспомнить Марию. Вспомнилось что-то курносое, веснушчатое, озорное... А может, он путал? Много их тут, босоногих, бегало. «В тюрьме! — произнес он про себя. — Ишь ты!» В первый раз с уважением подумал он о незнакомом молодом племени. А Настя?

Какой путь изберет Настя, каким пойдет? Путем Гали, Луизы или Марии?

Она молчала. Молчала по-прежнему — душа за семью замками. Но Тарас видел: она уже избрала свой путь.

Только он не знал какой.

Каждый человек в городе искал свой путь для себя и для своей совести.

— Как жить, как жить, Тарас Андреич? — тоскливо спрашивал сосед Назар. — Нет, ты скажи мне: как жить, что делать? Теперь.

— Не покоряться! — отвечал Тарас, и перед ним все мелькало чье-то курносое, веснушчатое, озорное лицо. — Не покоряться!

Не покоряться!

Немецкий топор повис и над семьей Тараса — старика потребовали на биржу труда. Он не пошел.

— Я не хочу работать,— сказал он полицейскому, пришедшему за ним.

Первый раз в жизни произнес он эти слова. «Я не хочу работать». Его руки тосковали по напильнику. Его легким нужен был железный воздух цеха, его ушам — веселый звон молотов в кузнице, его душе — труд. Но он сказал полицейскому: «Я не хочу, я не буду работать». Сейчас труд был изменой. Сейчас голодать — значило не покоряться.

С ним поступили так же, как со всеми: его заставили прийти на биржу труда.

Только немцы умеют мирные слова наполнить ужасом. Только немцы умеют все превратить в застенок. Застенком, где пытали ребячьи души, была школа. Застенком, где немецкие врачи на русских раненых пробовали свои яды, была больница. Застенком был лагерь для военнопленных. Застенком были театр, церковь, улица.

Но в рабочем городе, где жил Тарас, самым ужасным застенком была биржа труда — первый этап невольничьего пути.

Сюда никто не приходил по доброй воле. Сюда волокли схваченных в облаве, изловленных на улице, вытасненных из погребов и подвалов. Еще час назад у этих людей были имя, семья, дом, надежды. Еще час назад этот мальчик играл с товарищами, эта девочка прижималась к теплым коленям матери. Сейчас все будет кончено для них. Вместо имени — бирка, вместо дома — вагон с решетками, вместо семьи — чужбина. Только надежда остается у раба. Надежда и ненависть.

Здесь, на бирже, происходило расставание людей — в судорогах и борьбе. Людям казалось: здесь, в воротах невольничьего пути, еще можно упереться, отсюда еще можно вырваться. Можно вымолить себе волю, выползая на коленях, вырвать зубами. Они с ужасом отталкивали от своей шеи ярмо. Они кричали о своих правах человека, показывали мятые и бесполезные справки, просили, доказывали, грозили, плакали. Напрасно. От-

сюда нельзя было вырваться. Здесь непокорную шею сгибали, непокорную душу вышибали вон.

Тараса заставили ждать череда. Его еще не били, но вся его душа была уже в синяках. Он видел стены, забрызганные кровью, он слышал стоны и вопли.

Беременная женщина с большим острым животом валялась в ногах чиновника и умоляла не забирать единственного сына. Над нею стоял ее сын, четырнадцатилетний бледный мальчик, и говорил:

— Встаньте, мама! Встаньте! Не надо! — По его губам текла струйка крови, он отирал ее рукавом и снова просил, и умолял, и требовал: — Встаньте, встаньте, мама! Не надо!

Чиновника он ни о чем не просил.

— Щенков плодите, а для великой Германии жалеете? Падаль! — И пинком сапога в живот швырнул женщину.

Дико закричала она и схватилась за живот. Ее крик ударился о четыре стены комнаты, о стекла, о потолок и затих. И снова поползла она по полу, бережно придерживая руками живот, поползла к сапогам чиновника, к ножкам его дубового стола, умолять, просить, плакать. Только смерть могла бы заставить ее отказаться от борьбы за сына.

А перед чиновником уже стояла молодая пара — муж и жена. Он говорил, она плакала. Он прерывал свою речь и утешал ее: «Что ж ты плачешь, Катя? Это ж ошибка, сейчас все выясним», — видно, слезы жены мучили его и мешали связно говорить.

— Здесь ошибка, господин начальник, — убежденно доказывал он. — Мы законные муж и жена. Вот документы. Мы — законные... Как же нас разлучать? Мы согласны ехать. Но как же врозь? Ведь мы законные... Ведь и ваш бог и наш бог одинаково за закон брака... Об одном только просим: не разлучайте нас!

— Странно, странно, майн готт! — смеялся чиновник. — Но что же вам делать вместе в публичном доме? — И он хохотал, хлопая себя по бедрам, и, изнемогая от смеха, падал животом на стол.

Распахнулась дверь кабинета коменданта биржи, и оттуда вышвырнули комок крови и мяса. Комок шлепнулся об пол. Все в ужасе расступились. А комок корчился на полу и хрипел:

— Врешь! Врешь, не покорюсь!

И Тарас, сжимая свою суковатую палку, решал про себя: «Бить я себя не позволю! Лучше — смерть».

Но его и не собирались бить. Его пригласили наконец в кабинет коменданта, и сам комендант биржи вежливо поднялся ему навстречу. Тарас узнал в коменданте местного немца Штейна.

— Садитесь, господин Яценко, — пригласил комендант. Тарас подумал, подумал и сел. Палку он поставил меж колен и оперся на нее.

— Вам пришлось ждать, Тарас Андреич? Извините меня. Дела!

— Ничего... — проворчал Тарас.

— Вы нам нужны, господин Яценко. Поэтому начну прямо с дела. Немецкое командование решило восстановить завод.

Тарас вздрогнул.

— Это грандиозная строительная задача. Мы с вами немолодые люди, мы отбросим политику в сторону. Для мастера нет политики, есть дело. Мы предлагаем вам дело, мастер. Вы будете сыты, ваша семья обеспечена...

— Я не мастер, — тихо ответил Тарас. — Я черный рабочий.

— Что? — удивленно уставился на него Штейн и расхохотался. — А, хорошая шутка! Я понимаю. Шутка мастера.

— Я черный рабочий! — строго повторил Тарас.

Штейн посмотрел на него и увидел упрямые, суровые стариковские складки у рта и острый подбородок, упершийся в палку.

— Руки! — вдруг закричал он иступленно. — Покажи руки, свинья!

Тарас, усмехаясь, протянул ему свои руки. Сильные, жилистые руки в давних бугорках отвердевших мозолей, ладони, в которые навеки въелись железная пыль и машинное масло.

— Это чернорабочего руки? — крикнул Штейн. — Это руки мастера, господин Яценко. Это золотые руки. Им цены нет. Но Германия умеет ценить такие руки.

— Я черный рабочий! — опять повторил Тарас и встал, опираясь на палку.

Штейн тоже встал. Их взгляды скрестились. Штейн был здешний немец. Он хорошо понимал не только русский язык, но и русский взгляд.

— Хорошо! — задыхаясь, закричал он.— Чернорабочий? Отлично. Нам нужны и чернорабочие. Пойдешь чернорабочим. Не пойдешь — понесут. Будешь упираться — живым закопаем в землю.

Штейн сдержал свое слово. Теперь каждое утро за Тарасом заходил полицейский гнать на работу. Тарас надевал какое-то тряпье, брал палку и выходил. Ни разу он не надел своей спецовки. «Я свой рабочий мундир не опозорю!» Полицейский обходил еще несколько квартир, пока не собиралась вся партия непокорных заводских стариков. Так, под конвоем, их и гнали через город. Так, под конвоем, пригоняли на завод.

Они входили в старые, знакомые заводские ворота. Перед ними лежал труп завода. Скорчившееся, обуглившееся железо. Глыбы мертвого камня.

Старики шли по заводу... Высокой травой заросли дорожки. На стенах выступил лягушечий мох. Черные вороньи гнезда в стропилах. Хмурое дырявое небо. Рыжий бурьян бушует там, где некогда бушевало раскаленное железо. Вдруг падает ржавая балка; подпоры прогнили и рухнули. Облака бурой пыли поднимаются над руинами. Испуганно взлетают вороны. Кричат хрипло и тревожно. Бьются крыльями о стропила. И долго-долго еще носятся и кружатся над развалинами цеха, как над трупом.

Мастера идут под конвоем по кладбищу завода, сами похожие на скелеты. Все опустили головы, страшно глядеть на развалины. Вокруг запах мертвого железа, тяжелая тишина. Только шарканье ног на ржавых плитах. Непокорных стариков пригоняют к развалинам электростанции. Их заставляют разбирать полуразрушенные стены и расчищать площадку. Ну что ж! Ломать стену они будут, строить — никогда. Они делают это медленно и насмешливо. Немец-надсмотрщик злится: русский не умеет работать! Русский есть ленивый осел! Тарас усмехается: поглядел бы ты, немец, как русский «лентяй» шуровал здесь, когда сам себе был хозяином, как ворочал тяжким молотом Петр Лихоид, какой азарт кипел здесь, какой пот был на рубахах...

Когда немец уходит, старики сразу бросают «работу». Кряхтя усаживаются на камни. Закуривают. Знаменитые мастера сидят тут на развалинах. Они сложили эти цехи. Они их и разрушили. Кому из них доведется воскрешать?

— Сколько тебе лет, Тарас? — спрашивает старик Артамонов, пенсионер.

— Шестьдесят, Пал Петрович, — почтительно отвечает Тарас.

— Молодой еще! — вздыхает Артамонов. — Здоровый. Ты доживешь.

И все с завистью глядят на ширококостного, кряжистого Тараса. Да, дожить, дожить бы! Дождаться! Дни, недели остались до освобождения, у стариков каждый час — последний.

— Не доживем! — горько качает головой Назар. — Все скелеты стали, все скелеты. Гляжу я и удивляюсь: чем только люди живы?

— Верой живы, Назар, — строго отвечает Тарас, — верой.

— Завод можно быстро пустить! — говорит старик Артамонов. — Я б перво-наперво... — И он начинает выкладывать свой проект.

У каждого старика есть свой проект. Продуманный, выстраданный, выношенный, как мечта. Каждый начал бы восстановление завода со своего цеха. Они доказывают друг другу, что так вернее. Они спорят, горячатся, сердятся.

И все — мечтают.

Дожить. Дожить бы! Увидеть, как заструится первый робкий желтоватый дымок над силовой... Услышать, как гроыхнет первый молот в кузнице...

Но ни один из них не перенес бы, если бы задымил завод для немца. Нет, этого допустить нельзя. Лучше видеть родной завод трупом, чем рабом. Пусть лучше лежит мертвый до поры. Его не дадим унижить.

Бранясь, возвращался немец-надсмотрщик. Старики принимались за работу. Медленно разбирали стену. Кряхтя волочили камни. Перекладывали кирпич с места на место. Битый кирпич. Разрушенная стена. Мертвые камни, могильные плиты.

10

Мертвые камни, могильные плиты.

Умер старик Артамонов: волочил камень, упал и не поднялся больше. Так и остался лежать, обняв камень старческими руками. Артамонова похоронили тихо, то-ропливо, не так, как хоронили бы на заводе. Немцы



украли у старого мастера не только почетную жизнь, но и почетную смерть.

Только девять стариков шли за его гробом. Беспокойный человек Назар по дороге на кладбище рассказывал страшные вести: на шахте Свердлова немцы расстреляли семьсот человек шахтеров, их жен, стариков и детей.

— Все шурфы трупами забиты. Такой, говорят, смрад над шахтой стоит — горе! — И, качая головой, предсказывал: — Всех истребят немцы, помяните мое слово, всех. И до нас дойдет! Сперва евреев изничтожат, потом нас.

Похоже было, что его слова сбываются. Однажды утром Тарас увидел, как по улицам гонят огромную толпу евреев.

Они идут, окруженные частоколом штыков, испуганные, раздавленные люди. Они не знают, куда и зачем их ведут: на смерть, на дыбу, на каторгу? Но, обреченные, они покорно бредут, куда их гонят. Не слышно ни криков, ни плача. Мокрый, холодный ветер хлещет людей. Дождь, как кнут, падает на спины и плечи.

Женщины, спотыкаясь на мокрых камнях, несут больных детей. Старики и калеки ковыляют в хвосте колонны и боятся отстать и остаться один на один со штыками конвоиров. Упала старуха и забилась в припадке на мостовой, но кричать и звать на помощь боится. Молча бьется она на мокром булыжнике, судорожно хватая руками воздух, а мимо нее бредут и бредут обреченные люди. Сгибаются под тяжестью мокрых узлов. Волочат пожитки. Все брошено — родной дом, очаг, добро. От большой, годами сколачиваемой жизни только и осталось — жалкий узел. Но людям сказали явиться с вещами, и они обрадовались. Значит, не смерть. Значит, еще не смерть. И они цепляются за свои узлы, как за самую жизнь, как за образ трепетной и теплой жизни.

Только один человек идет без вещей, без пожитков, отрешенный от всей суеты земной, — старый доктор Фишман. Ничего у него нет с собой, кроме старенького докторского саквояжика. Словно не на смерть он идет, а на утренний обход больных.

Вокруг него бредут, задыхаясь под тяжестью вещей, его соплеменники. Они не знают и не верят, что это их последний день, последний час, последний туман над



городом, последний дождь на крышах. И они хлопочут о своих узлах, об одеялах, о пуховом шарфике для простуженной дочки.

А он знал. Он знал, что это его последний путь. В последний раз шел он по городу, где родился и вырос. И был до горечи дорог ему этот русский мокрый ветер в черных тополях, и запах русской земли, покрытой жухлой листвой, и русские заплаканные крыши, и русский осенний дождь, падающий над городом.

Тарас долго смотрел ему вслед. Молча колыхалась толпа, даже дети стихли. Равнодушно, молча шли полицейские и автоматчики. Падал туман, и дождь, как кнут, стегал да стегал улицу...

— Прощай, доктор Арон Давыдович! — прошептал Тарас.— Не осуди: ничем я тебя выручить не могу. Сами ждем казни.

Евреев расстреляли где-то за городом. Чудом уцелевшие одиночки прятались в русских семьях. Русские люди охотно, не страшась, прятали мучеников: это был долг совести.

Улица, на которой жил Тарас, прятала шестилетнюю девочку. Полицейские дознались о ней и рьяно искали. Этого даже Тарас уразуметь не мог. «Неужто,— усмехнулся он,— германское государство рухнет, если будет жить на земле шестилетняя девочка?» Но полицейские продолжали рыскать по домам. У них появился охотничий азарт. Они, как псы, вынюхивали след. Улица не сдавалась.

Каждый вечер девочку, закутанную в темный платок, переносили на новое место, от соседа к соседу. В каждом доме был освобожден для нее сундук и в нем постелька. Девочка и жила, и ела, и спала в сундуке, при тревоге крышку сундука захлопывали. Ребенок привык к своему убежищу, оно больше не казалось ему гробиком. От девочки пахло теперь нафталином и плесенью, как от древней старушки.

Марийка от подружек узнала об этой девочке — детвора говорила о ней шепотом. Когда ребенка принесли в дом Тараса, Марийка, замерев, спросила деда: «Это девочка из сундука?»

И Тарас не знал, что ей ответить.

Девочка из сундука была бледненькой и хилой. В ее больших черных глазах жил испуг. Годы понадобятся, чтобы успокоить и развеселить такие глаза! Марийка

вдруг обняла девочку и прижалась к ней. Черненькая и беленькая головки...

— Будем в куклы играть, — сказала Марийка, оглянувшись на Тараса: — Можно? Мы в сундуке будем в куклы играть! — поспешила она прибавить, и Тарас отвернулся, чтобы смахнуть слезу.

Ночью в домик Тараса ворвались полицейские. Они перевернули вверх дном все комнаты и чуланы, нашли и взломали сундук. Девочка спала. Она продолжала спать даже на руках полицейского, безмятежно улыбалась во сне и тихонько чмокала губами. Грубый толчок разбудил ее. Она увидела чужие, страшные лица и черные шинели. Она закричала, так закричала, что Тарас не выдержал и бросился на полицейского.

Когда, обливаясь кровью, Тарас поднялся наконец с пола, он прежде всего вспомнил о девочке, о беленькой девочке, о своей, о Марийке. Он оглянулся на нее и увидел ее глаза. Огромные, синие, они были расширены ужасом. «Что ж это? Что ж это, дедушка? За что?» — спрашивали ее глаза.

Но слез в них не было.

Слез не было. Дети научились не плакать. Они отвыкли смеяться и научились не плакать.

11

Дети старели. Они на глазах превращались в маленьких старичков и старушек. Иногда Тарасу казалось, что они с Марийкой ровесники. Как маленькая старушка, нахмурив лобик и сложив на животе ручки, сидела Марийка где-нибудь в углу и думала. О чем она думала? Тарас боялся ее спросить.

— Дедушка, — спросила она однажды, — а скоро русские придут?

— А ты кто же, не русская? — рассердился Тарас.

— Нет. Немецкие мы теперь. Да?

— Нет! Русская ты! И земля эта русская. И город наш был и будет русский. Надо так, Марийка, говорить: наши придут. Наши скоро придут! Наши немца прогонят.

Он учил ее этим словам, как молитве. И она знала уже, что слова эти надо держать в душе, немец их слышать не должен.

В школу она не ходила. Она была там только раз и вернулась хмурая, заплаканная.

— Ты чего? — встревоженно спросил дед.

— Я больше... не пойду... в школу... — прошептала она так горько, что Тарас вздрогнул.

Целый год мечтала Марийка о том, как пойдет в первый раз в школу. Старшие девочки много рассказывали ей о школе, но запомнилось и в мечты вошло только одно: в школе дети поют хором. А теперь пришла Марийка в школу, весь урок просидела, а песен не дождалась. На переменке запели было девочки сами, учительница прибежала и замахала на них руками: «Тшш! Тшш! Нельзя петь!» — и школа померкла для Марийки.

— А ты пой одна,— посоветовал ей Тарас.

— Не,— покачала она головой, совсем как маленькая старуха.— Нельзя. Немец услышит.

Только перед сном, в постельке, она сама себя убаюкивала песенкой, которую сама же и сочинила: «Придут на-а-аши... Дети пойдут в шко-о-олу. Будем песни спива-а-ать...» И опять сначала и много раз: «Придут на-а-аши. Дети пойдут в шко-о-олу... Будем песни спива-а-ать...»

Ленька тоже не понравилась школа. Он пришел оттуда угрюмый, долго ходил вокруг деда, не зная, с чего начать. Наконец сказал:

— Теперь, дедушка, школа платная будет. Вязанка дров в неделю, два ведра угля и еще деньгами...

Тарас нахмурился, постучал пальцами по столу.

— А когда ж я вам средств жалел на науку? — спросил он обиженно.

Ленька еще потоптался на месте и, глядя в пол, произнес:

— Только я, дедушка, все одно в школу эту ходить не буду. Там на нас теперь смотрят как на одноклеточных. Или как на скотину. Учить будут только читать, писать да считать. Вот и вся нам наука.

— А каких тебе еще наук надобно? — сердито отозвалась бабка Евфросинья.

Ленька презрительно посмотрел на нее и ответил:

— А мне, бабушка, многие науки надобны. Мне желательно географию изучать про нашу страну, а также историю и физику. Только этому нас немцы обучать не будут.— Он опять повернулся к деду и спросил уже умоляюще: — Так я в эту школу ходить не буду, дедушка? Мне... — Он запнулся, хотел сказать «Мне обидно», а сказал: — Мне совестно.

— Не ходи! — коротко ответил Тарас.

На этом и закончилась для Леньки и Марийки учеба — в ребячьих душах прибавился еще один горький рубец.

Немцы теперь часто бывали в домике Тараса. Через город на фронт под Сталинград сплошным потоком шли колонны. Останавливались на короткий отдых, на ночь, иногда на день.

Немцы были хмурые, злые. Они боялись степи. Они боялись самого слова «Сталинград» и произносили его неохотно, редко. По ночам они вздыхали, ворочались, бредили во сне. Однажды Тарас услышал даже, как немец плакал.

Русские люди раздражали их, особенно дети. Тарас давно уже привык не удивляться немцам, но их нелюбовь к детям удивляла даже его. Если можно было увидеть немца, улыбающегося девушке, то немца, улыбнувшегося ребенку, Тарасу видеть не пришлось.

Старые ли, молодые ли, они одинаково свирепели при виде русского малыша. Они гнали его прочь из комнаты, били, когда он подвертывался под руку, могли убить, если он плакал ночью во сне. Дети чувствовали и платили немцам взаимной ненавистью, инстинктивной, неосознанной, но непримиримой. Тарас начал бояться за Леньку, — от него всего можно было ждать. Не раз старик ловил горящий взгляд мальчика и строго грозил ему пальцем; теперь каждую ночь Тарас брал с кухни топор и прятал у себя в комнате, ножи запирали на ключ.

Впрочем, однажды немец улыбнулся Марийке. Это был рыжий, добродушный с виду, толстый немец, — его не гнали под Сталинград. Он сидел за столом и ел, а Марийка, забившись в угол, наблюдала. Она знала, что к немцу подходить нельзя, но немец ел такие диковинные вещи, что она не вытерпела, подошла ближе. Немец ел колбасу, масло. Так давно не видела этого Марийка...

Она забыла даже, что на свете существуют такие прекрасные, вкусные вещи. Она стояла в двух шагах от немца и глядела, как он ест. Ей даже в голову не приходило попросить у немца кусочек колбаски, она только глядела...

Немец заметил ее взгляд и улыбнулся. Потом взял нож и медленно отрезал толстый ломоть белого хлеба. Потом так же медленно намазал его маслом. Потом отрезал кусок жирной колбасы и положил на хлеб. Потом

посмотрел на Марийку и опять улыбнулся ей. И... швырнул бутерброд кошке, мяукавшей у его ног.

И расхохотался. Он хохотал долго и смачно — его рыжее мясистое лицо все дергалось от смеха. Он даже товарища разбудил, чтобы хохотать вместе.

Марийка тихонько отошла в свой угол. Она не закричала, не заплакала. Она уселась на свою скамеечку и, подперев кулачками подбородок, задумалась.

Вся душа маленькой Марийки была теперь в кровавых рубцах. По ночам с ней часто случались странные припадки — припадки страха. Она начинала кричать, плакать, метаться в постельке, ей мерещились ужасы, кровь, девочка из сундука. Она успокаивалась только на руках Тараса. Он один мог успокоить ее, словно от него исходила какая-то спокойная, уверенная сила. Марийка прижималась к груди старика и, цепко охватив ручонками его плечи, засыпала.

Он бережно клал ее в постельку, садился рядом на табурет и так сидел часами.

Все можно залечить, восстановить, поправить, думал он, глядя на сведенное в больной гримаске лицо девочки. Война кончится, и все раны зарубцуются, все заводы отстроятся, вся жизнь обновится. Но чем вылечить окровавленную, искалеченную, оскорбленную душу ребенка?

«Где же вы, сыновья мои? Где вы?»

Часть вторая

1

«Где же вы, сыновья мои, где вы?»

Было у Тараса три сына — нет вестей ни от одного. Живы ли они? Он старался думать, что живы. Он ждал их.

Это было большое ожидание, в нем сроков нет, — это была вера. Жива наша армия, живы и мои дети. Вернется армия, а с нею вернутся и сыновья. Вернутся сыновья, а с ними и армия. Без армии они не могли вернуться. Врозь он и не ждал их.

Андрей пришел один. Он пришел осенью, поздними сумерками, худой, бородатый, черный — его и не узна-

ли сперва. И одежда на нем была чужая — какая-то серая крестьянская свитка, таких и не носят теперь; и пыль на его лице, бороде и лаптях — чужая, нездешняя, бог весть с каких дорог; и весь он был чужой, незнакомый, горький. В синих впадинах под глазами, в острых изжелта-черных скулах, в злых складках у рта залегла горечь одному ему известных разочарований и мук.

— Ну, здравствуйте! — сказал он, грустно усмехнувшись, и, сняв шапку, осторожно стал стряхивать пыль с нее, как гость.

Страшно закричала Антонина, бросилась мужу на шею.

Заплакала бабка Евфросинья. Всполошились дети. Растерянный Тарас так и застыл на пороге с коптилкой в руке.

— Это кто? — испуганно спросила Марийка у Леньки.

— Это папка твой.

— Непохожий какой папка! — огорченно сказала Марийка и недоверчиво подошла к отцу.

Андрея провели в комнату, усадили за стол. Вокруг него собралась вся семья. Испуганно прижалась к непохожему отцу Марийка. То плакала, то смеялась Антонина, суетилась возле мужа и наконец, припав к его коленям, успокоилась и затихла. У печи и стола хлопотала бабка Евфросинья.

Андрей сидел все еще чужой, нездешний, нерешительно гладил волосы Антонины, неумело прижимал к себе Марийку, что-то говорил, восклицал не к делу и не к месту, как все восклицали сейчас, и бродил растерянным, но жадным взглядом по комнате, словно спрашивал себя: верно ли, дома ли я, не померещилось?

И раньше всего пришли к нему знакомые с детства запахи: запах мышей в чулане, квашни на кухне, железа и сосновой стружки в комнате Тараса. Потом он увидел семейные фотографии в рамках из ракушек, часы — ходики с генералом Скобелевым на коне, горку с глечиками и обливными расписными тарелками, лампадку на медно-зеленой цепи перед киотом. Все на месте, ни единого пятна на стене.

— А у вас все как было! — сказал он не то удивленно, не то обрадованно.

Вокруг колебалось все, все было непрочно, неверно,

шатко, и самого Андрея мотало между жизнью и смертью; представлялось ему, носит он в себе целый мир, мятущийся и окровавленный, а оказалось — носил в своей душе только эту комнату. Только о ней одной думал. Только к ней одной стремился. Чтобы вот так сидеть у стола, а вокруг — знакомые стены, знакомые запахи, знакомые, дорогие лица, семья... Он и сам не знал, что так любит свой дом.

Все пройдет — и война, и колебание мира. Только это вечно: семейные фотографии на стене, запах квашни на кухне.

Он обрадованно, легко засмеялся, потер руки и в первый раз почувствовал себя дома.

— Папка пришел, значит, наши в городе? — шепотом спросила Марийка у Леньки.

— Нет, это только твой папка пришел.

Тарас ни слова еще не сказал с тех пор, как Андрей пришел. Тяжелым взглядом следил он за каждым движением сына и когда тот сидел у стола, и когда он стал мыться, радуясь теплой воде и удивляясь, как быстро она побурела от грязи, и когда чуть не заплакал, приняв от Антонины белье — свое, собственное, заждавшееся его, пахнущее крахмалом, дымом, сундуком, заботливыми женскими руками...

И только когда вымытый, переодевшийся и сияющий от полноты счастья Андрей уселся снова за стол, Тарас наконец нарушил свое тяжелое молчание.

— Ты откуда же взялся, Андрей? — тихо спросил он.

Андрей вздрогнул. Тарас снова настойчиво повторил свой вопрос.

— Из плена... — чуть слышно ответил Андрей.

И вдруг стал торопливо рассказывать о плене. Антонина сжала его руку, вся семья притихла. А он, все больше и больше возбуждаясь, рассказывал о том, что вытерпел в плену, и сам теперь удивлялся, как он все это вынес и не погиб.

Но отец перебил его:

— Как же ты в плен попал, Андрей?

— Как? — невесело усмехнулся сын. — Как все падают. Ну, окружение... Налетели немцы... Я на винтовку поглядел: что с ней делать? Бесполезное оружие!.. Я ее бросил и сдался...

— Сдался? — закричал Тарас. — Сдался, чертов сын?

Андрей побледнел. Наступило трудное молчание.

— Эх, дядя! — с досадой сказал Ленька, отводя от Андрея глаза. — Как же это ты? Я б ни о чем не сдался.

И тогда Андрей рассердился:

— Не сдался б? Ты! Щенок! Вояка! Все вы тут, погляжу, вояки! Смерти не нюхали, немца не видели, а тоже... рассуждаете. Что ж, я один против немца? Их сила... А я?

— А умереть у тебя совести не было? — крикнул на него Тарас.

— Умереть? — вскрикнула Антонина и обеими руками уцепилась за Андрея. Словно его уж отрывали от нее и вели на смерть.

— Умереть? — криво усмехнулся Андрей. — Легко вы говорите, отец... Умереть я, конечно, мог... Это дело нехитрое... — Он обвел всю семью недобрым взором и прибавил: — Может, и верно, лучше бы мне умереть?

Все молчали. Только Антонина еще крепче вцепилась в руку Андрея.

— Вишь ты! — снова невесело усмехнулся он. — Из плена шел... на крыльях... думал, дома ждут. Думал, радость домой принесу. А вишь ты, принес... неудобство.

— Мы тебя не таким ждали, — сказал, качая головой, Тарас.

— Несправедливый вы, Тарас Андреич! — вдруг дрожащим от слез голосом произнесла Антонина. — Вы ко всем несправедливы. Всегда. Что ж он, один за всех умирать должен? Хорошо, что живой пришел. — И она оглянулась на женщин, ища в них поддержки. Бабка Евфросинья, как всегда непонятно, качала седой головой. Настя молчала.

— Квочка! — презрительно сказал Тарас. — Ты б лучше детей уложила... Чего не спят? — закричал он, срывая на них свое отчаяние. — Ну приехал! Ну живой! Представление кончено! Спать!

Бабка Евфросинья и Антонина стали укладывать ребят. Марийка легла в постельку сразу, — она была напугана и утомлена приходом непохожего отца. Ленька еще долго бушевал и спорил — не хотел спать. Андрей молча сидел у стола, катал хлебные шарики. Вот он и дома, а дома нет. Тарас тяжелыми шагами ходил по комнате.

— Если же ты из плена ушел, — вдруг спросила молчавшая все время Настя, — значит, уйти можно?

— Что? — очнулся Андрей и досадливо повел плечами.

Настя повторила вопрос. Подошла Антонина и села подле Андрея. Взяла его руку в свою.

— Бабы выручили... — нехотя объяснил он. — Бабы нас жалели... Чужие бабы жалели нас! — повторил он с упреком и вызовом отцу. — Совсем неизвестные, темные бабы, а жалели... — Но тут же вспомнил, как их жалели бабы: «несчастненькими» называли их бабы, и это была горькая, презрительная жалость к своим, но незадачливым мужикам.

А они шли через села горестной толпой, и вид у них теперь был и не мужиков, и не солдат, а — пленных. Черт его знает, откуда появляется у пленного человека этот вид — шинель без хлястика, без ремня, взгляд исподлобья, руки за спиной, как у каторжан. Так они шли безоружной толпой через села. Через те самые села, по которым еще месяц назад проходили стройным и грозным воинством. Тогда их тоже жалели бабы, провожали за околицу, плакали втихомолку. Только «несчастненькими» их не звали тогда, нет!

Вдруг он сказал отцу:

— Думаешь, мне этот плен легко дался? Я, может, сам себя сто раз проклял, что не помер в бою. Помереть легче! Гнали нас по большаку... Чуть отстанешь — бьют прикладами. И ноги в крови, и морда в крови, кровью умываешься. Много перемерло нашего брата по дороге. Кто сам помереть не мог, того немцы приканчивали... Потом пригнали нас в лагерь. Под Миллерово. Просто пустырь обнесен колючей проволокой — вот и весь лагерь. Если дождь льет — значит, под дождем живешь. Если холод — значит, в холоде. Спали на сырой земле. Ели... — Он махнул рукой. — Есть не давали. То, что бросят нам за проволоку бабы, то и ладно. Дрались меж собой из-за куска. Как звери! И опять тут много нас перемерло. А я, вишь, на беду уцелел.

Он говорил теперь горячо и быстро, и перед ним вставали страшные картины лагеря, и снова в его ушах хрипели предсмертные стоны товарищей, свист бича и вечный похоронный звон колючей проволоки под ветром...

— А вокруг всего лагеря сидели бабы... И день сидели. И ночь. Своих мужиков высматривали, плакали ж они, бабы, ох, страшно плакали! Выли! И мы начинали

выть. Кто жить хотел, тот выл. А были такие — умирали молча. И это страшней всего. А я выл. Как волк воет. И все мне мерещился дом... и Антонина... и Марийка... И чем горше становилось, чем смерть ближе — тем больше я жить хотел. И жил. А как жил, чем — теперь и объяснить не могу.

— Но как же ты все-таки из плена ушел, Андрей? — снова со странной настойчивостью повторила свой вопрос Настя.

— Бабы и выручили. У немцев, видишь ли, политика хитрая. Нас в этих лагерях померло тысячи — этого никому не видно. А они одного выпустят, он пока домой дойдет — об этом звону, звону. Вот они и распорядились, что бабы могут в случае, если своего мужа или брата среди пленных разглядят, брать его к себе, на волю. Ну, справка, конечно, нужна от старосты. Да это дело легкое! Есть бабы, которые в разных лагерях до ста «мужей» вот этак-то освобождали. — Он усмехнулся. — Ну, а меня кто же выручит? Своих близко нет. А на волю, на волю хочется!.. Чувствую, помру я здесь, как щенок слепой, и никто не вспомнит. И проволока эта колючая так меня измучила, словно она мне в душу впилась, колючками душу рвет до крови. Ну вот... Я и бросил бабам за проволоку записку. Выручайте, мол, если добрая душа найдется! И свое имя, отчество, фамилию, откуда родом... — Он остановился на минуту, задумался и вдруг тихо, ласково улыбнулся. — Нашлась добрая душа, Лукерья Павловна... Луша... Высвободила... Взяла меня к себе, в хозяйство... У нее без мужчины все покосилось, повалилось... — Он запнулся, покраснел, потом, собравшись с духом, закончил: — Ты меня, Антонина, суди как хочешь, только я с этой женщиной жил... как с женой...

Антонина вздрогнула испуганно и как-то очень беспомощно посмотрела на мужа и невольно выдернула свою руку из его руки.

— Ведь я... — пробормотал Андрей, — я ведь не знал, живы ли, здесь ли... Все сейчас на земле пошатнулось, пошло враскос...

— Ничего! Ничего! — зло расхохотался Тарас. — Чего, брат, с женой стесняться! России изменил, так чего уж тут жена? Только вот что я тебе скажу, Андрей. Жена простит, она существо бессловесное, кроткое. Простит ли Россия?

— А перед Россией моей вины нет...— глухо про- бурчал Андрей.

— Врешь! Врешь! — закричал на него Тарас.— Всех ты обманул! И Россию, и жену, и меня, старого дурака, и мое ожидание.— Он круто повернулся и ушел к себе, сильно хлопнув за собой дверью.

Воцарилось молчание. Грустно сидела, опустив го- лову на руки, подавленная Антонина. Молчала Настя. Сжалась в комочек безответная бабка Евфросинья, горько качала головой.

И, чтоб как-нибудь развеять это невыносимое молча- ние, Андрей спросил:

— Ну, а вы тут как живете?

Ему никто не ответил. Только Настя пожалала плеча- ми. Андрей взглянул на склоненную голову жены и вдруг увидел: голова седая. Он не поверил. Еще раз взглянул: под робким светом коптилки тускло блеснули серебряные нити. «Боже ты мой! — ужаснулся Андрей.— Что же с ней сделали?» Он испуганно оглянулся вокруг: Молчала Настя. Что-то бормотала себе под нос мать. Молитву?

Вот дом — и нет дома! Те же бури и беды, что сви- стели над ним, Андреем, ломали, корежили его тело и душу, прошумели и над тихим домиком в Каменном Броде, Антонину состарили, Тараса ожесточили. Все здесь с виду осталось прежним — и фотографии под тусклыми стеклами, и тихий свет лампад,— а прежней жизни нет. И дома нет. И покоя нет. И счастья нет, как не было.

Андрею вдруг захотелось потянуться к жене, обнять ее, взять в ласковые руки ее бедную, усталую седую го- лову, прижать к своей груди, заплакать вместе: «Ну, что было — было! Ничего! Ничего! Тоня! Теперь я здесь, теперь я с тобою. Проживем как-нибудь. Переждем вой- ну, не навеки же». Но он не сделал этого. Зачем? И сам он в свои слова не верит, и Тоня не верит. Неправда его слова.

Нет, не вырвался он из плена! Вот она — колючая проволока. По-прежнему и он в плену, и семья в пле- ну, и весь город в плену у немцев. Душа его в плену. Все опутано колючей проволокой. Колючки впились в душу.

А у старика, у отца, душа свободна. Ее в цепи не за- куешь. Ее колючей проволокой не опутаешь, бессмерт-

ную, ожесточенную душу Тараса. И сын вдруг горько позавидовал отцу.

В эту ночь в ветхом домике в Каменном Броде никто не спал...

2

В эту ночь в ветхом домике в Каменном Броде никто не спал...

Как ни рано поднялся Андрей, многие встали еще раньше. Скрипели половицы, изо всех углов ползли шорохи. Андрей встал и оделся. Антонина сделала вид, что спит. Андрей поглядел на нее и вздохнул. Вот и прошла его первая ночь дома после разлуки... Не так прошла, как мечталось... Ну что же! Все теперь на земле не так... Он вышел умываться в сени.

Там уже возилась мать. В самодельную ручную мельницу она засыпала зерна и молола их. Шестерни тоскливо скрипели.

— Это отец смастерил,— объяснила мать, заметив, что сын загляделся на ее работу.— И название этому выдумал: агрегат. А по-моему, горе это наше, а не агрегат. Одно горе, больше нет ничего...

Ставни были еще закрыты. Сквозь щели протискивался тощий и словно помятый утренний свет.

— Открыть ставни, что ли? — вызвался Андрей.— Темно, как в могиле.

— Так и живем! — отозвалась мать.— Глядеть не на что.

Теперь, утром, все дома показалось Андрею не таким, каким было прежде. На него вдруг глянуло страшное лицо нужды, вчера он ее не заметил. Он и сам не сумел бы объяснить, в чем он увидел: в агрегате ли Тараса, в кислых лепешках, заменяющих хлеб, или в том, что самовар пылился в углу («Значит, нет в доме ни сахара, ни чаю. Как же мать без чаю живет, чаевница?»), — но нужда хозяйничала здесь, это он увидел ясно и принял почему-то как упрек себе. Словно он, Андрей, был виноват в том, что война, и немцы в городе, и нет хлеба.

Понемногу к столу стала собираться семья — все хмурые, молчаливые. Даже Ленька глядел на дядьку исподлобья, с явным неодобрением. Дольше всех не выходила Антонина.

А когда наконец вышла и, странно волнуясь, подошла к мужу, он понял, отчего задержалась она,— пудрилась.

Но и пудра не могла скрыть, как постарела и осунулась Антонина. Особенно постарели ее глаза, стали тусклыми, испуганными. «Плачет много»,— догадался Андрей и отвернулся.

Завтрак прошел быстро и хмуро. Все молчали. Только маленькая Марийка щебетала и ластилась к Андрею.

— Ты в школу ходишь? — спросил он.

— Не...— удивленно ответила Марийка.— Теперь же немцы!

— Да, да...— пробормотал он.— Я не подумал.

Он и это принял как упрек себе: словно он виноват, что теперь нельзя Марийке ходить в школу.

— Ну, я с тобой сам заниматься буду! — торопливо посулил он дочке.

После завтрака Тарас стал собираться на завод. Торжественно вытащил свое рванье, стал одеваться.

— Что, отец в заводе работает? — удивленно спросил Андрей у сестры.

— Да... вроде...— усмехнулась та.

— Под конвоем дедушку водят на завод! — закричал Ленька.— Вот! А без конвоя он не ходит.

Его голос услышал и Тарас у себя в комнате.

— Да, да! — отозвался он оттуда.— Почет! Почет мне на старости лет от немцев за мое непокорство. Как губернатора, меня ведут на завод. Под конвоем.

— И ты служишь? — спросил Андрей у Насти.

— Я? Нет!

— А что же делаешь?

— Я прячусь.

— Прячешься? От кого же?

— От всего. От Германии. От службы. От немецкого глаза.

— Как же ты... прячешься?

— А так... Хоронюсь, не высовываюсь. У меня теперь вся жизнь в том, чтобы прятаться,— загадочно усмехнулась она. И Андрей с удивлением и даже завистью подумал: «А они тут свою войну с немцами ведут, малую, конечно, войну, но гляди-ка, какую непримиримую».

— Что-то мой полицай опаздывает! — сказал Тарас, выходя из своей комнаты и поглядев на часы. Был одет

Тарас в неопишное рванье, где только добыл такое! И Андрей понял: это старик нарочно.

— Опаздывает полицай! — насмешливо повторил Тарас. — Непорядок! Конечно, извинить можно — полицейских рук у них теперь недостача. Непокорства в народе много, не управляютя!

Он посмотрел на сына и спросил, словно невзначай, небрежно:

— Ты тепер в полицию служить пойдеш, Андрей, а? Андрей побледнел.

— Как вы обо мне думаете, отец! — пробормотал он обиженно. — Даже странно!

— А куда же тебе еще идти? — беспощадно продолжал старик. — Ты свой путь выбрал. Тепер меченый... — Он сердито фыркнул в усы. — Это мне на тебя обижатья надо, тебе на меня обижатья не из чего.

В Андрее вдруг вспыхнула злость. Что это отец в самом деле? «Не пряниками меня немцы одаривали — плетью... Вы и во сне того не видели, что я пережил». Ему вдруг вспомнился лагерь. Этого никогда не забыть! За это никогда не расплатиться!.. Ему захотелось все это зло, яростно швырнуть в лицо отцу. «Ну, давай, давай, старик, посчитаемся, у кого душа круче заварена злобой, давай!» Но тут вдруг раздался стук прикладом в дверь и голос: «Эй! Выходи!»

— А-а! Пришел-таки! — усмехнулся Тарас и надел картуз. — Иду! Погляди и ты, Андрей, какой ноне старикам почет. Иди, иди! — прикрикнул он на сына, видя, что тот остался на месте. — Тебе на это поглядеть надо.

Андрей послушно вышел за отцом на крыльцо. На улице уже стояли старики, опершись на палки. «Словно пленные», — подумал Андрей. Он узнал всех. Как не узнать! Мастера!

Несговорчивые старики, они много крови испортили Андрею в былое время, когда он сам стал молодым мастером подле них. Они всегда были для него стариками. Они всегда говорили ему «ты», он им всегда «вы». Как не узнать! Их знали все. Академики с ними советовались. Директора их побаивались. Новый директор представлялся сперва им, потом обкому. Их можно было убедить, реже — уговорить, приказать им было нельзя.

Тарас занял свое место в ряду, полицейский махнул рукой, и старики пошли.

Они шли, крепко опираясь на палки. И теперь было видно Андрею: постарели, подались мастера. И отец сдал, самый молодой из них. Рваное пальто болталось на его тощих плечах так беспомощно, так по-стариковски. Но каждый держал голову высоко и прямо. Видно, из последних сил, из непокорства, которое самой силы крепче, старались они идти гордо и достойно. Словно и впрямь был для них этот конвой почетом.

«Нет, это не пленные,— невольно подумалось Андрею. — Это... это — непокоренные».

Тарас, как всегда, шел рядом с Назаром.

— Что, Тарас,— сразу же спросил Назар, как того Тарас и боялся. — Не Андрея ли я на крылечке видел?

— Его! — буркнул Тарас.

— А-а... Значит, с гостем тебя, Тарас! С сыном! По старому бы времени, магарыч...

— Не с чего!

— Да, да... Это так... конечно... Ну, и что ж рассказывает Андрей? Как? Армия наша где?

— Теперь какие рассказы!

— Ну да... Все-таки... Это так... — не унимался Назар. — Он откуда ж пришел, Андрей?

— Из окружения,— соврал Тарас. Слово «плен» говорить бы не смог.

— А! Ну да... да... Теперь многие из окружения выходят. Вот и мы воевали в гражданскую, а такого слова чего-то не помню, не слышал: «окружение». А? Али забыл?

Дальше шли молча.

— Да... — задумчиво произнес Назар. — Разбежались наши кто куда... Окружение. Да без вести — неизвестные... Может, и армии-то нашей больше нет, а, Тарас? Одни мечтания наши? Может, вся она, как и твой сынок, разбежалась по окружениям да по домам... А? А мы ждем.

Тарас сам об этом думал с тех пор, как Андрей пришел, но теперь ничего не ответил Назару.

Шли молча.

— Эй! Эй! — закричал вдруг идущий в первом ряду старик Булыга. — Эй, полицай, ты не той дорогой ведешь. Слышь-ка!

— Молчать! — рявкнул на него полицейский и угрожал ему автоматом.

Старики заволновались.

— Это куда ж нас ведут? — забеспокоился Назар. — Уж не в тюрьму ли?

— Все одно! — отозвался Тарас.

— Да нет... Все-таки...

— Если на расстрел,— вдруг сказал литейщик Омельченко, Захар Иванович,— так я спасибо скажу. Все равно не дожить нам до светлого дня. А чем так жить... — Он махнул рукой.

Но привели их не в тюрьму, не на расстрел, а на ремонтный заводик. Это был маленький, почти кустарный заводик, его при эвакуации и не разрушали. Сейчас из его единственной трубы поднимался бледно-желтый дымок.

Полицейский ушел куда-то, недоумевающие старики остались одни. Из цеха вдруг выбежал к ним какой-то человек в немецкой спецовке, в котором Тарас по виду признал русского мастерового.

— А-а! — радостно закричал мастеровой, увидев стариков. — Смена прибывши...

— Постой! — строго остановил его старик Булыга. — Ты кто здесь?

— Я-то? — засмеялся человек. — Я мастер тут.

— Мастер! — пробурчал Тарас. — Сукин ты сын, а не мастер... Иуда!

— Постой! — опять властно прервал Булыга. — А нас сюда зачем?

— Догадываюсь: затем же... Мастера?

— Ну мастера, допустим.

— Ну вот! Догадываюсь так — работать будете! Работа срочная есть...

— Мы работать не будем! — сказал Назар.

— Будете! Заставят! Военный заказ! Тут разговоры короткие,— вздохнул мастер в немецкой спецовке. — Видите ли, пригнали откуда-то пропасть битых танков...

— Немецких?

— Конечно! Чьих же? То есть такую пропасть! Я и целых у немцев столько не видел. Ну а своих рук у них, видно, не хватает. Которые танки поменьше побиты, те, конечно, в своих мастерских ладят. А эти — ну одно произведение искусства, честное слово, так побиты! Стало быть, их нам в ремонт...

— Постой, постой! — прервал его удивленный Тарас. — Битые танки! Кем же битые?

— Ну, не могу сказать кем,— усмехнулся здешний

мастер. — Догадываюсь, конечно, — мастерами биты! Ну, теми, с кем война идет! — Он оглянулся по сторонам. — Ну как сказать? Противником.

Из цеха к старикам торопливо вышел важный и толстый немец в пенсне и в военной форме.

— А! — весело крикнул он. — Карашо! Вы есть русский мастера? О! Да! Здравствуйт, русские мастера!

Старики негромко прогудели:

— Здравствуйте!

— Будем знакомы! — сказал веселый немец. — Я есть инженер. Вы есть русский мастера. Очень карашо! И есть один работ... О! Великий работ! Надо ремонтирт танки... Скоро! Как это? А, да — срочно! Две недели! Нет — расстрел.

— Надо работу поглядеть, — негромко сказал Тарас.

— Что? А? Это есть справедливо! Майстер должен видеть работ. — Инженеру нравилось, что он умеет хорошо говорить по-русски с русскими мастерами. — Вы увидаль работ. Битте!

Стариков ввели в цех. Они увидели длинный ряд переломанных, покореженных, побитых немецких машин. Это были уже не те танки, что пугали их на городских площадях. Это было беспомощное, бессильное, мертвое железо.

— Дас ист есть, — торжественно сказал веселый инженер. — Как это? Могучественный немецкий техника. Он есть сейчас больной. Мы с вами есть доктора. А? — засмеялся он своей шутке.

— Аккуратная работа! — восхищенно сказал Тарас, разглядывая пробойны в броне. — Ничего не скажешь! Чисто! Это где же их так, сердешных? Под Сталинградом?

— Не ваше дел! — крикнул инженер, и его лицо стало багровым. — Молчайт! Молчайт! Молчайт!

— Я молчу, — пожал плечами Тарас.

— Молчайт! — еще раз, но уже тише крикнул инженер. Он вспомнил, что умеет говорить по-русски с русскими мастерами, и сказал уже спокойно: — Эти танки должны скоро идти в бой. Нет — расстрел.

— Мы эту работу сделать не можем, — негромко сказал старик Булыга.

— Вас? — закричал инженер. — Что? Как это... не можем?

— Не можем мы! — прогудели теперь все.



Немец остолбенело поглядел на них. Он не ждал отказа. Он даже пенсне снял и зачем-то повертел в руках.

Вдруг он понимающе улыбнулся:

— А, да-да! Я понимаю... Это есть справедливо... Майстер должен кушайт... Вы,— он ткнул пальцем в худого Булыгу,— вы есть скелет... Я буду кормить майстера. Это есть справедливо...— Он два слова выговаривал особенно вкусно: «справедливо» и «рас-стрел».

— Нет,— усмехнулся Булыга,— нас уже не накормишь... Сыты!..

— Мы эту работу сделать не можем,— твердо сказал Тарас,— мы не мастера.

— Как не мастера? — удивленно закричал инженер.

— Мы черные рабочие.

— Как черный рабочий? — завопил немец. — Мне сказаль: майстера! — Он оглянулся на мастера в немецкой спецовке, но тот, страшно побледнев и вспотев, отвернулся.

— Не мастера мы! — умильно сказал Назар, глядя прямо в глаза немцу. — Самоучки... Невежество... Черные рабочие... И потом, возьмите в рассуждение, господин, какие мы работники теперь? Старики! Шкелеты! И кормить нас уж ни к чему, только корму перевод... Так и живем, повестки ждем от смерти. Увольте нас. Какие мы мастера.

Немец растерянно выслушал его, обвел взглядом всех:

— Все черный рабочий? — спросил он.

— Все! — хором подтвердили старики.

Немец посмотрел на них недоверчиво и даже обиженно.

— Я буду карашо кормить! — нерешительно сказал он. Мастера не шелохнулись. Они по-прежнему стояли молча и покорно, склонив головы и не покорясь ни в чем, и это больше, чем их слова, убедило немца в том, что эти работать не будут.

— Марш! — иступленно закричал он тогда и замахнулся рукой, словно хотел ударить. Потом круто повернулся и ушел к себе.

Старики продолжали неподвижно стоять на месте.

— Что ж мне теперь делать с вами? — рассердился полицейский. — Ну до чего ж вы, старики, вредные, скажу я вам! И помереть никак не помрете! Куда мне вас теперь вести? — Он подумал и махнул рукой: — Ладно,

идите пока по домам. А я господину коменданту доложу о вас, нехай распорядится. Расстрелять вас всех надо, другого выхода нет.

— Спасибо за доброе слово, господин полицейский! — кротко поклонился Булыга.

Уже у заводских ворот Тараса нагнал мастер в немецкой спецовке. Он был бледен.

— Извините меня, — прошептал он, хватая Тараса за рукав. — Уж вы извините меня за мою малую душу. Не сумел я отказаться от этого ремонта, да и не подумал. А теперь уж поздно... Только вы хоть то поймите в виду, — торопливо прибавил он, — что я вас сейчас не выдал. Учтите хоть это!.. Ведь я же знаю, какие вы мастера.

— Я не поп и не судья, — непримиримо покачал головой Тарас. — Каждый человек живет по своей совести.

Дома Тарас застал только Андрея, женщин не было.

— Тебя-то мне и надо! — сказал Тарас сыну. — Садись!

Тот сел.

— Ты, Андрей, — начал Тарас, — хоть какой-никакой, а все-таки человек военный... Так?

— Ну так... — ответил сын и тоскливо подумал: «Долго он надо мной издеваться будет? Иль это теперь навсегда?»

— Не вояка, конечно, об этом говорить не будем, — продолжал Тарас, — а все-таки кое-чему тебя учили. Так?

— Ну так.

— Вот ты мне и скажи: с какого расстояния надо гранату кинуть так, чтобы танк разворотить?

— А вам зачем? — усмехнулся Андрей. — Кидать гранаты собрались?

— А может, и собрался! Был бы помоложе — кидал бы. В плен не сдавался б, будь спокоен.

— С пяти, с десяти метров вернее всего... — зло ответил Андрей.

— Так близко? — удивился Тарас. — Это что ж значит: жди, пока на тебя танк напозет? Так, что ли?

— Ну почти так...

— Большая смелость для такого подвига нужна. Тут надо душу иметь железную!

— Д-да... Разумеется...

— И что же,—спросил Тарас,—находятся такие смелые люди, а?

— Есть, конечно... Да вам-то что? — насторожился сын.

— Да-а... Есть... — вздохнул старик.— Счастливые те отцы, у которых такие дети! Ну ладно! Теперь другой вопрос: а броня? Броню танка гранатой ведь не возьмешь? Выходит, тут пушкой надо брать? А?

— Ну пушкой...

— И не всякой пушкой, заметь! Тяжелый танк легкой пушкой не возьмешь?

— Конечно.

— Значит, должны тяжелые пушки, мощные быть? Так?

— Ну так...

— Выходит, и пушки есть. Значит, есть! Есть! — торжествующе крикнул старик и ударил ладонью по столу.— Есть, чертов ты сын, наша армия! А я из-за тебя чуть веры не лишился!

— Послушайте! — в бешенстве вскочил Андрей.

— Нет! — оборвал его отец.— Теперь ты меня слушай. Мой приказ.— Он встал из-за стола перед Андреем, грозя ему черным узловатым пальцем.— Под Сталинградом или в другом месте, про то не ведаю, набито много немецких танков. Немцы сюда их привезли. Чинить. Подлых рук ищут. Так вот тебе мой последний сказ, Андрей. Ты что хочешь с собой можешь делать, хоть в полицию иди служить. Мне до тебя дела нет! Я тебя из своей души вырубил. Но на завод... Слышишь? На завод... — Он остановился, захлебнувшись кашлем.

Бледный Андрей молча стоял перед отцом.

— Я тебя мальчонкой,—продолжал Тарас,—на завод привел и к своему верстаку поставил. Я тебе, чертов ты сын, свой напильник дал и показал, как его держать в руках надобно. И объяснил я тебе, чертов ты сын, какой напильник к чему — какой драчовый, какой личной, какой бархатный. Так? И если ты, сукин сын, теперь отцовским напильником посмеешь... Посмеешь... Я тебя сам, своими руками! А в остальном,—устало махнул он рукою,—живи, как сам знаешь. Что хочешь делай!

3

«Что хочешь делай!» — сказал ему отец, а Андрей и не знал, что ему с собой делать.

Сам лишенный всех человеческих прав, он не мог быть семье ни заступником, ни кормильцем. Он был лишний рот, ничего больше.

Его жизнь теперь не имела ни смысла, ни оправдания, ни даже цели. Зачем ты живешь на земле, Андрей? На это ему ответить было нечего.

Даже в плену у него была цель жизни: выбраться, вырваться из-за колючей проволоки. Ну выбрался! Живя у Лукерьи, он лелеял новую цель: добраться, во что бы то ни стало добраться до семьи! Ну добрался! И повис на шее семьи тяжелым грузом... Дальше что? Он не знал, что дальше...

Отец его, Тарас, жил и терпел муки, и берег семью ради того, чтоб дожидаться прихода наших. Ждать, ни в чем не покаясь врагу, — вот ради чего жил, стиснув зубы, старый Тарас.

Андрей не имел права ждать. Ждать, пока тебя — здорового человека военного возраста — придут и освободят? С какими же глазами ты к освободителям выйдешь?

Но и ждать было невыносимо: голод повис над семьей. Андрей голову ломал над тем, как беде помочь, но придумать ничего не мог. Идти на работу? Куда? Да и работа на немцев не кормит, а сушит. Не в полицию же идти служить в самом деле.

Полицейские пронюхали про возвращение Андрея. Долго вертели его бумаги в руках. Придирались. Требовали, чтоб стал на учет, определился на место. Андрей отговаривался болезнью. Потребовали справку от врача, но намекнули, что можно обойтись и «по-хорошему» — взяткой. Но взятку давать было не из чего. Андрей отдал полицейскому зажигалку, которую от нечего делать смастерил для себя. Полицейский взял.

«К Лукерье в деревню пойти, что ли, добыть хлеба для семьи?» — подумал как-то Андрей и долго потом носился с этой мыслью. Но жене побоялся сказать. Ни слова не проронила тогда Антонина в ответ на его признание и потом не обмолвилась ни разу, но Андрей чувствовал: касаться этого не надо, нельзя.

Лукерья Павловна сама пришла в дом Тараса. Неожиданно.

В полдень, когда дома были только бабка Евфросинья да Антонина.

Робко отворила калитку.

— Что, Андрей Тарасович Яценко здесь проживает? — конфузясь, спросила она у Антонины.

— Д-да... — удивленно отозвалась та и стала разглядывать незнакомую гостью — ее деревенский наряд, узелок в руках.

— А его видеть... можно?

— Его дома нет. Но он скоро будет. Вы подождите.

— А вы кто же будете?.. — опасливо спросила женщина. — Жена?

Что-то в ее голосе заставило Антонину ответить:

— Н-нет... Сестра.

— А! — обрадовалась женщина и облегченно вздохнула: — Значит, дошел он? Живой? — И она радостно засмеялась.

Они все еще стояли у калитки.

— Вы Лукерья Павловна? — тихо спросила Антонина и вдруг почувствовала, что все лицо ее заливается краской.

— Да! — удивленно ответила гостья. — А что, вам про меня рассказывал Андрей Тарасович?

— Да... Рассказывал... — не глядя на нее и комкая край фартука, сказала Антонина. — Да вы что же стоите здесь? — встrepенулась она вдруг. — Вы проходите, проходите в комнаты...

... — Нет, ничего. Вы не беспокойтесь! Вы не беспокойтесь! Я и тут подожду. Значит, живой? — снова повторила она и опять радостно вздохнула.

Антонина ввела ее в комнату, усадила на стул. Лукерья Павловна осторожно повела взглядом вокруг.

— А где же жена?.. — спросила она, с трудом произнося слова. — Что, нашел жену Андрей Тарасович?

— Н-нет... — запинаясь, ответила Антонина. — Жены у него нет.

— Как нет? Он сказывал, жена есть.

— Д-да... Но она уехала... Эвакуировалась. Пропала без вести... Так и нет вестей...

— А! — покачала головой Лукерья. — А уж он убивался по ним как, по жене да по девочке. Он ведь знаете какой? — застенчиво улыбнулась она. — Он ведь нервный да ндравный...

— Да, знаю...

— Значит, живой! — в третий раз повторила она и опять тихо, счастливо улыбнулась.

В это время и вошел Андрей. Увидев Лукерью рядом

с женой, он испуганно отшатнулся. Потом подошел... Лукерья радостно поднялась ему навстречу, краснея и прижимая руки к горлу, но вдруг, случайно взглянув на Антонину, остановилась. Что-то — она и сама не знала что — заставило ее догадаться, что Антонина не сестра Андрею...

Она опустилась на стул, оробела и вся сжалась в комочек.

— Вы уж извините... — сказала она, болезненно улыбаясь. — Конечно, каждой бабе своего счастья хочется... хоть приблизительно...

— Ничего, — грустно вздохнув, отозвалась Антонина. — Горе у нас общее.

«Нехорошо как вышло! — подумал Андрей, садясь. — Очень нехорошо! Некрасиво! А кто виноват? Я ли один или уж время такое... лихолетье, война?»

Неожиданно пришел Тарас. Ему, видимо, бабка уже сказала о госте. Он шагнул прямо к ней и низко-низко ей поклонился.

— Спасибо тебе, женщина! — сказал он, и голос его дрогнул. — За душу твою спасибо. За твое человечество. Только не того ты человека спасала. Не стоит этот человек того... — Он презрительно взглянул на сына и вышел.

Всем стало еще более неловко.

— Сердитый у нас дед... — извиняясь, сказала Антонина. — Принципиальный... Вы уж не взывайте. Такой...

— Нет, я ничего... Ничего... — торопливо сказала Лукерья. — Я что же? Я ведь только поглядеть зашла, убедиться — живой ли. А теперь я пойду, — заторопилась она.

— Куда же вы? — испугалась Антонина. — Оставайтесь у нас. Переночуйте. Погостите. Как же так? Так нельзя. — И она оглянулась на мужа. Тот стоял молча, потупившись.

— Нет, нет, спасибо, спасибо, не беспокойтесь... — засуетилась Лукерья. — Я тут у сродственницы. — Она встала и хотела уйти, но не знала, что делать ей с узелком, который все время лежал у нее на коленях. — Извините, — нерешительно сказала она, подымая узелок... — Это я... в подарок. — Она посмотрела на Андрея, потом на Антонину и протянула узелок ей.

— Нет, нет, не надо, что вы! — отшатнулась та и замахала на нее руками.

— Не обижайте! — тихо проговорила Лукерья.

Андрей пошел провожать ее. Антонина молча смотрела с крыльца, как шли они рядом. Она вздохнула и опустила на ступеньки...

— Какая женщина хорошая! — умильно сказала бабка Евфросинья, развязывая узелок. — Вот подумала про нас. Гостинчик припасла. А семье — все поддержка.

Тарас услышал это и выбежал из своей комнаты, багровый от стыда.

— Догони! — закричал он сердито. — Отдай! Что же, мы нищими уже стали? Милостыню берем? — Но тут он увидел Марийку: девочка бескорыстно счастливыми глазами, как на чудо, смотрела на яйца. Тарас махнул рукой и вышел во двор.

«Нищие! Хуже нищих!» — подумал он и, покачав головой, оглядел дом и хозяйство. Все покосилось... Сарай, как старик, сгорбился, дом еле дышит, надо бы чинить, да где уж!.. «Человека тоска ест, металл — ржа, а дерево — черви. Так уж заведено. Все прахом пошло. Впору для всей фамилии гробы готовить. Да и на гробы, — горько усмехнулся он, — леса нет. Только и есть всего три сосновые доски в хозяйстве».

4

Три сосновые доски... Из них даже гроба не сделаешь! Но Тарас и не собирался сколачивать гроб для себя. Он еще не хотел умирать, он еще не лишился веры.

Из сосновых досок он сколотил ящик.

Приделал к нему колесо. Прибил ручки. Получилась тачка.

Бабка Евфросинья тревожно следила за работой мужа.

— Идти собрался, Тарас?

Он не ответил.

— Может, обойдемся? — нерешительно сказала она.

Он досадливо передернул плечами:

— Э! Пустые слова!

— Сам пойдешь?

— А кто же? Больше идти некому.

— Может, Андрей? — осторожно спросила она.

— Андрей до нас не касается! — хмуро отмахнулся старик.

Бабка Евфросинья грустно покачала седою головой.

— Не такие твои годы, чтоб идти, Тарас...— вздохнула она.

— Да,— криво усмехнулся Тарас.— Не такая мне старость причитается за мой труд на земле. Ну, да что толковать! Не умели свое право защитить, не сумели своих сынов воспитать — теперь обижаться не на кого.

Вечером бабка Евфросинья и Настя собирали Тараса в дальнюю дорогу. Вытаскивали из заветных сундуков платья, костюмы, белье, стряхивали нафталин, разглядывали вещи на свет: возьмут ли в деревне, что дадут за них? О каждой вещи, вытасченной из сундука, бабка Евфросинья могла бы рассказать целую историю: как откладывались из получки деньги, как долго совещались все женщины дома и как потом, всей семьей, шли покупать. Но об этом лучше было не вспоминать; бабка Евфросинья и не вспоминала, а только вздыхала тайком от Тараса, складывая вещи в тачку.

Но один сундук она долго не хотела отпирать. Все обходила его и снова к нему возвращалась.

— Тут Настюшкино приданое,— сказала она наконец.

— Вот как! — удивилась Настя.— А у меня и приданое было!

— А как же? — обиделась мать.— Не хуже, чем у добрых людей.

— А я и не знала! — засмеялась Настя.— Ну, отпирайте, мама! Женихов все равно нет. Не идут женихи, задержались за Доном. Отпирайте!

Настюшкино приданое тоже пошло в тачку.

Ночью пекли Тарасу на дорогу лепешки из последней муки.

— Ты с рассветом пойдешь, Тарас?— осторожно спросила жена.

— А что? — насторожился Тарас. Он и сам думал выйти с рассветом.

— Днем, я думаю, некрасиво будет с тачкой пойти... Люди нашу бедность увидят.

— А мне стыдиться нечего! — закричал Тарас.

— Прежде ты бедности стеснялся...

— Прежде! — проворчал он.— Прежде тот беден был, кто работать не хотел. А теперь мне стыдиться нечего. Днем пойду! — закричал он в бешенстве.— В са-

мый полдень. Пусть все мою тачку видят! — И он, прошившись с семьей и даже не взглянув на Андрея, вышел из дома ровно в полдень.

Высоко подняв голову и раздув седые усы, пошел он, толкая тачку, через весь Каменный Брод, через весь город, по самым людным улицам. Знакомые молча глядели ему вслед.

А он шел ни на кого не глядя. Торжественный и печальный, весь черный от горечи, сжигающей его.

Так прошел он через весь город и вышел на большую дорогу. У перекрестка он остановился, чтоб разогнуть спину. Но то, что он увидел на дороге, заставило его обо всем забыть.

Тачки, тачки, тачки, насколько хватало глаза — одни тачки да спины, согбенные над ними. Спины и тачки, больше ничего не было, словно то была дорога каторжников. Скрипя и дребезжа, катились тачки по камням и тащили за собой людей, измученных, потных, черных от пыли. Казалось, это не люди идут, а сами тачки с прикованными к ним человеческими руками.

Словно никогда не было на земле ни железных дорог, ни автомобилей, ни пара, ни электричества и человек еще не приручил лошадь, словно никогда не было на земле магазинов и люди всегда брели за хлебом туда, где его сеют, словно никогда ничего не было на земле — только тачки, да горбатые спины, да пыльная дорога впереди...

Подле тачек устало и безнадежно брели люди. Старики и женщины. Шли семьями. Муж и жена по очереди толкали тачку. Восемилетняя девочка несла на руках маленького брата и прижимала его к себе бережно и любовно, как мать. В тачке сидел малыш и навзрыд плакал, раздирая пальцами опухшие от пыли глаза. Ничего уже не было на земле у этой семьи — ни родного города, ни дома, ни своей крыши.

Для них не было ни высокого неба, ни крылатых облаков на нем, ни зеленых вершущек деревьев. Клочок пыльной дороги впереди — вот и все. И они проклинали дорогу. Они ощущали солнце только затылком, немилосердное, злое солнце, — и они проклинали солнце. Их плечи дрожали и ежились под внезапными дождями — и они проклинали дожди. Их окровавленные, стертые руки уже не могли толкать тачку — и они проклинали руки. Но того, кто был единственным виновником их го-

ря, нельзя было проклинать вслух. И они, измученные дорогой и тачкой, проклинали немцев каждым вздохом усталой груди, каждым плевком обметанного зноем и пылью рта, каждым стоном ребенка...

Тарас стоял на перекрестке и растерянно глядел на дорогу. «Боже ты мой! Боже ты мой!» — повторял он, качая головой. Он и не представлял себе раньше размеров народного бедствия. «Боже мой! Боже ты мой!» И пред этим океаном народного гнева свое горе показалось ему маленьким, ничтожным.

И как ручеек, откуда бы он ни бежал, в конце концов всегда вливается в море, так и старый Тарас влился в океан народного горя — и растворился в нем...

Человеческий поток принял его, закрутил, согнул над тачкой и понес. Теперь и у него была только тачка да клочок дороги впереди. И для него уже не было ни неба, ни леса.

Весь народ шел, прикованный к тачке, шел и старый Тарас.

Через несколько часов он почувствовал, что устал. Поясница нестерпимо ныла, руки, натертые деревом, горели. «Не привык еще», — усмехнулся Тарас и свернул с дороги. В канаве отдыхали люди. Какой-то юркий, седоватый человек с веселыми глазами тотчас же спросил Тараса:

— Откуда?

Тарас сказал.

— Куда же вы идете? — удивленно всплеснул руками юркий человек.

— Как куда? — пожал плечами Тарас. — На Днепропетровщину...

— А зачем?

Тараса рассердил этот допрос, он не ответил.

— Если вы идете туда за хлебом, — торопливо сказал юркий, — так я вас не понимаю! Я сам из города Днепропетровска. Честь имею, Петушков, Яков Иваныч, парикмахер. Если бывали в нашем городе, то обязательно брились у меня. Знаете, парикмахерская Красного Креста на...

— Нет, не бывал!

— Да? Жаль! И вы идете в Днепропетровск? — всплеснул руками парикмахер. — Я иду оттуда. Это нищая область.

Тарас недоверчиво пожал плечами.

— Вы мне не верите? — обиженно вскричал Петушков. — Вы сомневаетесь, как такая область могла стать нищей? Так я вам скажу! — Но тут он вдруг спохватился и опасливо поглядел по сторонам. — Нет, я вам ничего не скажу! Идите! Идите!

— Ваш город давно... э... под властью... э... фюрера? — слышался вдруг голос из кювета, и оттуда приподнялся пожилой человек в пенсне.

— Наш? — переспросил Тарас. — Четыре месяца.

— А-а! — загадочно усмехнулся человек в пенсне. — А мы уже ровно год...

Тарас опустился рядом со своей тачкой. Человек в пенсне и парикмахер сочувственно смотрели на него.

— А вы куда идете? — спросил он глухо.

— К Дону, — ответил парикмахер. — Там еще должен быть рай...

— Рай! Э... — усмехнулся человек в пенсне. — Мне достаточно и полного амбара.

— Рай! — закричал яростно Петушков. — Мне для моего продукта обязательно нужен рай! На меньшем не помирюсь.

Тарасу было все равно куда идти — к Днепру ли, к Дону. Он вытащил тачку на дорогу и, подумав немного, зашагал на восток. Теперь солнце было у него на затылке. Впереди маячила верткая спина парикмахера, сзади тяжело дышал, сопел и кашлял человек в пенсне, которого звали Петром Петровичем.

Вечер застал их в поле за Донцом.

— Здесь ночевать будем? — спросил парикмахер.

— Надо бы в село... — нерешительно сказал Тарас.

— В село? Э, нет. Туда нашему брату... э... бродяге, на ночь хода нет... Запрет.

— Чей?

— Чей же? Их!

— Партизан боятся... — шепотом произнес парикмахер и тихо засмеялся.

На поле уже кое-где дымились костры тачечников, и, увидев их мирный дымок, с дороги стали сворачивать люди. Выбирали себе место на поле, ставили тачку и валялись подле нее без сил.

Поле давно было вытоптано. В то жестокое лето через него не раз перекатывались армии и народы. Повсюду были видны следы боев и следы кочевий: сожженная

трава, расщепленные деревья, окопы, воронки, пепел, черные остатки костров...

Прокатились через это поле беженцы и рассеялись по лицу земли. Только трупы павших лошадей у дороги остались да следы повозок, глубокие и горькие, как морщины.

Прошли по этому полю армии, истоптали его, борясь, похоронили покойников, выбрали раненых и прошли дальше, поля этого не запомнив. Только раненые помнят: их кровь на этой черной траве...

И вот раскинулся здесь теперь диковинный лагерь тачечников. Баба, сняв с себя ситцевую кофточку, стирает ее в воронке. Вода ржавая. Говорят, от глинистой почвы. А может, и от крови? Дети спят в окопах. На остатках старых костров раздуваются новые. И уже ползет к небу горький, сиротский дым... Догорает закат невиданный, багрово-черный, словно впитал всю кровь и все горе земли, пламя ее битв и дым ее костров. А с дороги приходят все новые и новые толпы людей с тачками. Уже тесно на поле. Уже спят люди в кюветах. Жмутся один к другому. Из Харькова, из Полтавы, из Донбасса, из Запорожья. Артемовцы с мешком соли на тачке, кременчугцы с краденым на фабрике табаком, рубежане с банками краски. Словно все города Украины сбились на этом поле. Словно весь народ пошел кочевать за тачкой, искать хлеба... Хлеба!

«Украина ты моя! Украина! — горько покачал головой Тарас. — Бедолаги мы с тобой!»

Меж тем парикмахер раздул костер и теперь, любясь, глядел, как кучерявится и завивается пламя, словно то была лучшая прическа его работы. Со всех сторон к огню потянулись руки. Человек в клетчатом пальто и мягкой шляпе, сидевший в стороне, тоже невольно потянулся к огню, но не подвинулся, не подошел.

— А вы, гражданин, откуда идете? — любезно крикнул ему общительный парикмахер, как бы приглашая к огню и к беседе.

— Простите... гм... — глухо отозвался человек в мягкой шляпе. — Я на улице... гм... не разговариваю. — И уткнул лицо в воротник пальто.

— Интеллигент, — обиженно сказал Тарасу Петушков. — Интеллигент с высшим образованием! А коли ты интеллигент, — крикнул он яростно, — так сиди дома, нечего на дорогу выходить!

— Простите... гм... — произнес человек в шляпе, — я вижу, вы не поняли... Я — певец... Гм... Я должен горло беречь... Здесь сыро...

Петушков расхохотался:

— Ну, голос надо было дома беречь!

— Мне выбирать не приходится, — кротко возразил актер.

— Да, выбирать не приходится, — вздохнул Петр Петрович. — Если б мне два года назад приснился бы сон, что я, пожилой человек, бухгалтер Востриков, стану... э... бродягой, я подумал бы: экой дурной сон! А вот... э... сбылся. Да вы подсаживайтесь, подсаживайтесь! — крикнул он актеру. — Огонь бесплатно!

— Благодарствуйте, — ответил тот, приподнимая шляпу, и пересел ближе к огню.

— Что ж это вы так? — усмехаясь, спросил Тарас. — Говорят, немцы артистов любят.

— Но я... гм... немцев не люблю. Простите. Грешный человек. Русский.

— Какая компания! — восхищенно воскликнул парикмахер. — Какое общество собралось у нашего огонька! А, Петр Петрович? И в хорошее время не каждый день соберешь такое общество.

— Да... — мечтательно крякнул бухгалтер, — к этому обществу да графинчик... С лимонной корочкой.

— С апельсиновой... — коротко вставил актер.

— Зачем же с апельсиновой? Общепринято с лимонной. От дедов.

— Апельсины мягче. Иначе не могу... Простите... гм... голос.

Парикмахер подбросил веток в костер. Сырые, они корчились в огне, как клубок змей, и шипели.

— Яичница с помидорами, — сказал парикмахер, — вот мое любимое блюдо, если угодно знать.

Ему никто не ответил. Он снова подбросил веток в огонь.

— А этот бурак можно варить, — послышался вдруг робкий женский голос.

— Что? — обернулся парикмахер.

Бочком к огню, положив голову на свою тачку, сидела женщина. Она повторила:

— Я говорю... вот бурак на поле... его можно варить.

— Позвольте, — всполошился актер, — но это кормовой бурак. Это корм свиньям...

— Э, батенька! — возразил бухгалтер. — Чем же люди хуже свиней? Ведь мы свинину едим?

— Ели, — поправил Тарас.

— Ну, ели! Значит...

— Только люди уж, видно, весь бурак повытаскали, — грустно сказала женщина.

— А вот мы поищем! — воскликнул парикмахер и ринулся в поле.

Он скоро вернулся, потный и всклокоченный.

— Да... — сказал он, выкладывая перед женщиной все, что собрал. — Из-за бурака и то драка. Зверь стал народ.

— Голод...

— А в чем же варить? — спросила женщина.

— Да, в чем же варить? Я и не подумал. — Парикмахер беспомощно огляделся вокруг себя. Было темно, но от костров падали наземь огненные пятна. — Э! Вот! — Он наклонился и поднял что-то с земли. — Каска! — Он подал ее женщине: — Вари в ней.

Женщина повертела каску и вдруг всхлипнула.

— Что вы? — вполосились все.

— Пробитая... — Она показала каску, и все увидели черную дырочку в звезде.

У костра стало тихо.

— Я другую найду! — нервно усмехнулся парикмахер и начал шарить руками в траве.

Скоро бурак сварился. Тарас достал пол-лепешки, остальные — что у кого было.

— Смотрите! — удивленно сказал парикмахер. — Вкусный бурак!

— Голод — лучший кулинар. Э-это известно... — засмеялся Петр Петрович.

— Я не возражаю против голода! — вдруг взволнованно сказал актер. — Артист должен быть немного голодным, иначе поет желудок, а должна петь душа. Но я не могу, когда люди жрут! — закричал он. — Чавкают! Я служил в харьковской опере... Хорошо, пусть немцы. Я знаю немцев. У них был Вагнер. Но это... это — не немцы! Нет! Не спорьте со мной! Они заставляли меня петь у них на ужинах... и чавкали... и кричали: «К черту Вагнера!» И требовали от меня песенок, которые поются у них в борделях. — Он вдруг остановился, взялся рукою за горло и зябко повел плечами. — Простите... Гм... я не должен волноваться. Голос. Должен беречь. Я еще на-

деюсь спеть Вагнера... Один раз в жизни... Когда...— Он не закончил, но все поняли и вздохнули.

— Вам сырые яйца надо глотать...— сочувственно сказал парикмахер.— Каждый день сырые яйца... Я близкий к искусству человек, я понимаю...

— Да, это хорошо... яйца...— расслабленно произнес актер.

— Мы найдем богатое село!— вдохновенно продолжал парикмахер.— Мы найдем такое место, где еще есть яйца!.. И амбары, полные хлеба!.. И нас встретят как желанных гостей... и...

— Нет таких сел, Яков Иваныч,— покачал головой бухгалтер.

— Есть!— закричал Петушков.— Должны быть! Для моего продукта мне нужно село богатое, неразоренное, веселое...

— А что у вас за продукт?— спросил Тарас.

— О! У меня продукт психологический!— уклончиво ответил парикмахер.

— Восемьдесят четыре картошки и сто семнадцать ложек муки,— вдруг тихо прошептала женщина.

— Что?— встрепнулись все и оглянулись на нее.

Женщина смутилась. Она не заметила, что произнесла это вслух.

— Нет, позвольте!— пристал к ней неугомонный Петушков.— Вы сказали что-то про картошку?

И он выпытал всю ее историю. У женщины — ее звали Матреной — на шахте остались две девочки. Старшенькой — десять, меньшенькой — пять лет. Она оставила им немного муки и картошки, по счету. И приказала брату в день три картофелины и класть в суп три ложки муки. Старшенькая, Любаша, поклялась, что не потратит больше. Теперь у них осталось сто семнадцать ложек муки и восемьдесят четыре картошки...

— А я еще и полпути не прошла,— вздохнула шахтерка.

— Да, и нас дома ждут голодные...— глухо сказал бухгалтер.— Сколько уж мы ходим, Яков Иваныч, с тобой...

— Так ведь не с пустыми руками ждут, с хлебом. Что мы им без хлеба? Надо найти село, богатое, неразоренное, чтоб обменяли мы свое барахло с пользой...

— Где же такое село найти?— вздохнул бухгалтер.— И найдем ли?

— Найдём! — уверенно ответил парикмахер.

— Ну-ну!

И, переночевав подле тлеющего костра, они с рассветом все вместе отправились искать землю неразоренную...

5

Поиски земли неразоренной... Никогда Тарас и помыслить не мог, что наша земля так велика и бескрайна, что столько на ней сел и станиц, хуторов в коричневом вишенье, одиноких лесных избушек, столько дорог. И широкие, как бульвары, грейдерные, с акациями в два ряда, и старые, травой заросшие чумацкие шляхи, и новенькие строгой профилировки с кюветами, полными воды, и горбатые проселки с навеки окаменевшими колеями в грязи, и веселые, опушенные золотой соломой, как казацкими лампасами, полевые дорожки, и бойкие, в рытвинах и ухабах, большаки, непроезжие в грязь, и робкие, путаные степные тропки, и, как стрела, тугие, прямые просеки в лесу... Много дорог. По всем по ним прошли Тарас и его товарищи, а все еще не нашли земли неразоренной.

Неунывающий Петушков вел их и все сулил счастливую землю впереди. Но не было этой земли на горизонте.

Горели села, мычали угоняемые немцами стада, плакали бабы, качались у дорог повешенные, их синие босые ноги не доставали травы.

И часто теперь к костру тачечников приходили искать пристанища бабы с детьми из сожженных сел.

— Пустите погреться, люди добрые! Ничего у нас нема. Нема хаты, нема добра. Одна душа осталась.

— Шестьдесят шесть картошек и девяносто девять ложечек муки...— шептала Матрена, глядя на детей погорельцев.

Петушков теперь то и дело расспрашивал встречных тачечников про края, из которых они идут.

— Ну как там, а? Меняют?..

— Да меняют...— неохотно отвечали люди,— Христа ради меняют... У самих ничего нет...

— То есть как нет? — удивлялся Петушков.— Куда же делось?

— Куда, куда! Известно, куда девается...— И исчезали в дорожной пыли, безнадежно махнув рукой.

После таких разговоров было еще труднее идти и верить, что есть на свете земля неразоренная.

— Нет ее, нет! — твердил Петр Петрович, но шел, как и все...

— Должна быть! — кричал парикмахер. — Не могут же немцы такую жирную землю обглодать, как косточку...

— Немцы все могут! — качал головой Тарас.

— Шестьдесят картошек и девяносто три ложечки муки, — шептала, вздыхая, Матрена.

Дымил костер... Тлели старые, палые листья. И не было земли неразоренной.

Тарас почернел от пыли, похудел, стал совсем молчаливым. Чем больше чужого горя видел он вокруг, тем меньшим казалось свое. Ему было все равно куда идти. Ему было все равно что есть — бураки, лесную ягоду, грибы, кору с деревьев. Спина его сгорбилась над тачкой, кровавые мозоли на руках отвердели. Он шел за одержимым мечтою Петушковым и сам не знал, верит ли он, что есть земля неразоренная, или уже не верит.

По ночам у костров Петушков вдохновенно рассказывал о жирной, нетронутой земле, что ждет их впереди. Тарас молчал, бухгалтер спорил. Актер сам загорался мечтой.

— Да, да!.. — говорил он. — Это прекрасно! — И с тревогой заглядывал в глаза парикмахера: — Но дойдем ли, дойдем? — Его пальто истрепалось в дороге, к нему пристали репей да колючки, мягкая шляпа, в которой он спал, давно потеряла форму. Он был худой и старый человек, небритый, с большим кадыком, — никто бы не узнал в нем знаменитого харьковского баритона.

— Дойдем! — убежденно отвечал парикмахер. — За Доном земля богатая. — И он принимался рассказывать об этой земле, и чем дольше не было сел на их пути, тем ярче и фантастичнее были его рассказы.

— Таких сел нет и никогда не было! — спорил с ним бухгалтер.

— Были, — защищал актер. — Мы давали концерт однажды, и я помню столы под вишнями... И горы душистого белого хлеба. Кувшины с молоком. Золотистый мед в прозрачных чашах... Яичница, как вечерний закат...

— Да, жили, жили! — вздыхал Тарас.

А Петр Петрович все никак не мог вспомнить, отчего он был раньше недоволен жизнью.

— Определенно помню,— недоумевал он,— был я недоволен. А чем, отчего — хоть убей, не вспомню.

И никак не мог вспомнить, из-за чего не ладил со своим директором.

— Я из-за него и не эвакуировался... Нет, говорю, не поеду! Мне лучше с немцами жить, чем с вами, директор. А из-за чего ссорились? Э... не помню. Определенно помню: хам он был, скотина. А теперь доведись встретиться... э... расцеловал бы его, хама! Честное слово, расцеловал бы!

— Да, жили, жили...

— Пятьдесят четыре картошки и восемьдесят семь ложек муки.

А земли неразоренной все не было.

Они вошли уже в донские степи. «Теперь скоро, скоро!» — говорил Петушков. Он повеселел. Иногда, сгорбившись над тачкой, он свистел даже.

Они шли теперь по жирной, черной, доброй земле. По вечерам над нею поднимался такой густой и сытный пар, что Петушков уверял, будто его можно мазать на хлеб, как масло. Но у них не было хлеба. Они, как воробьи, питались падалицей. Вокруг них на сотни верст осыпались и гнили пшеничные поля, — тачечники собирали и ели гнилые зерна. «Теперь скоро, скоро!» — уверял Петушков. Он положительно опьянел от запахов жирной земли, клевера и гречишного меда. Он во всем видел и угадывал приметы счастливой земли, как моряк в тумане моря угадывает приметы близкого берега.

— Вишь, какие станицы пошли! — говорил он. — Большие, хозяйственные... — И он показывал на останки колхозных дворов и тракторных станций, веселые крыши под железом и черепицей, на теплые, крытые скотные дворы. Его смущало, правда, что не слышно тут ни рева стада, ни кудахтанья птицы.

— Дальше, дальше все будет! — убеждал он. И все теперь верили ему. Запах гречишного меда и гниющей пшеницы раздувал их жадные ноздри...

На донских дорогах наши тачечники столкнулись с потоком из России. Появились люди из Курска, из Белгорода, из воронежских городов. Россия встретилась с Украиной, поставила рядом тачки. Люди сели, закурили

цигарки из прошлогодней сухой травы, растертой тут же на кровавых от тачки ладонях.

— В большие станицы не ходите,— советовали они друг другу,— там немецкие гарнизоны стоят... И достать ничего не достанете, да еще и последнее немцы отымут.

— Да, уж после них ходить нечего... Аккуратно едят... Как саранча...

— Ну, как у вас? — спрашивал Тарас людей из Курска.

Те только рукой отмахивались в ответ:

— Да как и у вас! Похвастаться нечем...

— Лютуют?

— Об этом уж не будем говорить...

И Тарас задумывался, толкая свою тачку: есть ли мера людскому горю, есть ли сроки?

— Сорок восемь картошек и восемьдесят одна ложечка муки,— тревожно шептала Матрена.— Боже ты мой, боже!..

А неразоренной земли все не было.

На другой день Петушков вывел их с большака на автомобильную дорогу.

— Теперь скоро! — объявил он, словно ему было, как пророку, дано видеть сквозь туманные дали.— Теперь скоро!

Они втащили свои тачки на крепкий, сухой, укатанный грунт грейдера, и первое, что там увидели, была распростертая женщина.

Она лежала у обочины, подле своей тачки, лицом вниз, на запад...

— Мертвая! — удивленно сказал бухгалтер.

Они столпились над ней, растерянные и подавленные. Окоченевшие руки женщины цепко впились в куль зерна... Мешок свалился с тачки и прорвался. Из него высыпались наземь хлебные зерна,— казалось, мертвые руки женщины пытаются собрать их и собрать не могут.

— Не дошла! — тихо прошептала Матрена.

Осторожно, чтоб не задеть мертвую колесами, обошли тачечники труп и молча побрели дальше. И снова была перед ними дорога, рыжая от пыли.

В эту ночь холодный дождь заставил их спрятаться в скирдах сена. К трем мокрым скирдам сбилось множество тачечников. Они облепили их жалким мушиным роем, забились в сено, жались друг к другу, одинаково мокрые и дрожащие. Над скирдами стоял непрерывный

кашель, хриплый, больной... Никто не мог уснуть. А дождь падал и падал... Начинаясь пора осенних дождей, а все не было земли неразоренной...

И Петушков вдруг подумал: «А может, ее и нет вовсе? Одно мечтание?» Но сейчас же бросился к тачке: «Промокнет продукт!» — и лег на тачку всем телом. А бухгалтер Петр Петрович задыхался в кашле и думал: «Не дойду! Разве в мои годы бродяжат?» Он давился кашлем и сплевывал густую, склизкую мокроту. Всю ночь мерещилась Матрене мертвая женщина, как лежала она, царапая окоченевшими пальцами землю, и все пыталась собрать зерна, и не могла собрать... «А дома, поди, как и у меня, голодные рты ждут. Теперь и не дождутся». Актер громко откашливался: «Гм! Гм!» Он хотел убедиться, что есть еще у него голос. Он даже крикнул что-то хрипло, простуженно. А струйки все ползли по его телу. И всю ночь стояла перед Тарасом мертвая женщина. Стояла во весь рост, протянув к нему руки, как к судьбе: «Определи, Тарас, меру за мои муки!» И он отвечал ей: «Такой меры, женщина, нет».

Утром дождь кончился, взошло солнце, на редкость молодое и веселое. Петушков воспрянул духом.

— Я всю ночь не спал, думал,— торопливо сообщил он.— И знаете, я нашел, отчего нам не везет!

Все молча смотрели на него.

— Мы все бьемся вокруг больших дорог. Ну ясно, тут — немцы. После них нечего искать. А нам надо в глушь! — крикнул он.— В глушь! Куда нога не ступала!

Он говорил много и горячо, и ему опять поверили и пошли за ним.

Они ушли с большой дороги и стали пробиваться напрямик, к Дону. Петушков вел их. Одержимый лихорадкой мечты, сжигающей его яростным пламенем, он торопил их, злился, кричал: «В глушь! В глушь!» И они ползли за ним, опухшие, больные,— спотыкались, падали, но ползли.

И вот однажды, в полдень, измученные тачечники вдруг услышали то, чего уж давно не слышали: кричали петухи.

— Слушайте! — ликующе завопил Петушков и, подняв над головой руку, замер.

Но все уж и без того слышали. И остановились. И тоже замерли, не веря тому, что слышат.

Кричали петухи. Кричали так звонко, так весело,

так неистово, что на всех лицах невольно появилась теплая, застенчивая улыбка, и каждый вдруг вспомнил самое лучшее, самое счастливое, что было в его жизни: кто детство, кто свадьбу, кто первую удачу. Городские люди, они вспоминали каждый свое. Петушков стоял на цыпочках, замерев от восторга, на его лице были написаны счастье и гордость. Матрена сложила руки на груди, как перед молитвой. Актер снял шляпу. Так стояли они молча и благоговейно.

И вот из лесной чащи выплыла к ним счастливая земля. Старые седые волосы медленно тащили возы и глядели на мир недоверчиво, исподлобья. И на возах вздыбились горы серебристой капусты; тугие, как бубны, арбузы глухо гудели, ударяясь друг о друга; из огромных мешков выпирала грудастая картошка; помидоры сочились кровью; в клетках метались неистовые петухи, солидно крякали утки; розовые поросята с тупым удивлением взирали на мир; хмурые мужики длинной хвостистой сердито стегали волов, а подле возов медленно шагали немецкие солдаты и все жевали.

Обоз полз медленно и долго. Мимо тачечников все плыли и плыли высокие возы, проплывали коровы с печальными, покорными глазами, бестарки с золотой пшеницей, хмурые мужики, бабы с заплаканными глазами, жующие немцы... Проплывали и исчезали вдали. Вот и последний воз скрылся в лесной чаще. Прошла, прошумела и растаяла счастливая земля. Актер медленно опустился на тачку и, уткнувшись в шляпу, заплакал.

— Как я их ненавижу! Как я их ненавижу! — сдавленным шепотом произнес Петушков и сжал кулаки. — Я их и брить не мог. Щеки брею — ничего. А как дойдет до горла...

— Тридцать три картошки и шестьдесят шесть ложек муки, — прошептала Матрена и заплакала. — Боже ж ты мой!

Больше никто ничего не сказал.

Матрена вдруг встала, вытерла рукавом глаза и низко поклонилась Петушкову, потом остальным:

— Спасибо вам, товарищи, за компанию, за доброту вашу. Низкое спасибо!

— Ты что? — испуганно спросил ее Петушков.

— Нельзя мне! — строго сказала Матрена. — Назад пойду. Мои последний запас едят.

— А... а хлеб как же? Что ж привезешь домой?

— Уж как есть. Обменяю где-нибудь или выпрошу за ради Христа.

— Ну иди! — тихо сказал Петушков и нерешительно обвел глазами спутников: — А мы еще пойдём... немного...

Матрена взялась за тачку и вытащила ее на дорогу.

— Может, покойникам хлеб привезу... — сказала она, — а все идти надо.

— Прощай, Матрена! — негромко сказал Тарас. — Тебе надо дойти.

— Авось дойду! — вздохнула шахтерка.

Тачечники долго смотрели ей вслед. Вот она скрылась...

— Ну-с! — как можно веселее сказал парикмахер и вдруг увидел лицо актера. Тот сидел закрыв глаза; дряблый подбородок его отвис и дрожал мелко и часто.

«А он не дойдет! — испуганно подумал парикмахер. — Он никуда не дойдет».

— Вам что, плохо? — сочувственно спросил он, осторожно трогая актера за плечо.

— А? Да... Извините... Ослаб! — сознался актер. Он попытался, как всегда, улыбнуться, но улыбка не вышла. Он виновато развел руками: — Вот ведь подлость какая! А? Извините...

Он извинялся за свою неспособность, а Петушков вдруг в первый раз почувствовал свою вину перед ним и перед всеми. «Что же я тащу их, старых людей, неведомо куда? Может, и нет на свете неразоренных сел?»

«А какая хорошая мечта была! Красивая!» — пожалел он и, вздохнув, сказал:

— Ну что ж! Зайдем в ближнее село. Поглядим!

Ближнее село оказалось большой, полупустой станицей. Много хат было заколочено досками, крест-накрест, еще больше стояло без крыш и дверей, словно лежали среди села трупы непогребенных.

Парикмахер выбрал хату побогаче и постучал в окошко. Выглянула женщина с добрым и больным лицом. Увидев тачечников, она грустно покачала головою.

— Войти можно? — вежливо спросил парикмахер.

— Та можно! — ответила женщина и отперла калитку.

Они вкатили свои тачки в широкий и пустой двор, весь засыпанный желтой листвой, как ковром.

— Ну вот! — весело сказал парикмахер. — Принимай купцов, хозяйка!

— Купцы пришли, а покупателей черт ма! — грустно ответила баба.

— Нет, ты товар погляди, товар! — закричал Петушков. — Ну, давайте! — И обернулся на актера. Тот бесиленно опустил на тачку.

— Что же вы? — шепотом спросил его парикмахер. — Давайте!

Актер только безнадежно махнул рукой в ответ.

— Ну, давайте тогда я... покажу ваше... — Петушков заглянул в тачку актера и вытащил оттуда узлы.

— Напрасно развязывать будете, беспокоиться, — сказала женщина. — Ничего у нас нет, извините.

— Нет, вы поглядите, поглядите! — не унимался Петушков и, развязав узел, широким жестом распахнул перед женщиной все богатство его. Тут были костюмы актера, добротные, щегольские, сразу вызывавшие в памяти всех то далекое, довоенное время, когда и они, тачечники, как люди, ходили в концерты, покупали обновки, обсуждали с портным покрой костюма, как судьбы мира.

— Богато ходили! Чисто! — почтительно сказала женщина и с уважением пощупала сукно костюма.

— Это мой концертный фрак... — слабым голосом произнес актер и отвернулся.

— Вы знаете, это кто? — прошептал Петушков, наклоняясь к казачке. — Это артист! Его весь мир знает. Он сам эти костюмы носил. Ведь это оценить надо.

— Сочувствую, — сказала женщина. — Всею душой сочувствую... — Она с грустью посмотрела на костюмы и опять пощупала сукно. — Только нет у нас ничего, поверьте! Все забрали...

Актер дрожал теперь точно в ознобе. Он поднял воротник пальто и втянул плечи. Но его трясло и шатало от слабости, старости и голода. Подбородок теперь прыгал, и актер никак не мог совладать с ним.

Казачка испуганно посмотрела на него.

— Больны они? — спросила она шепотом.

Петушков только горько махнул рукой в ответ.

Женщина вдруг метнулась в хату и тотчас же вышла оттуда, неся каравай хлеба, кувшин и тарелку с тоненько нарезанными ломтиками сала. Она поставила все это перед актером. Тот испуганно отпрянул.

— Кушайте, будьте добры! — поклонилась ему казачка. — Не побрезгуйте. Корову взяли, так что только коза... уж извините...

— Нет, нет! — замахал на нее руками актер. — Я не могу даром... Что вы?

— А денег я не возьму... — тихо сказала казачка.

Петушков жадно взглянул на еду. Давно, давно не ели они печеного хлеба! Он проглотил слюну и подошел к актеру.

— Ешьте! — убежденно сказал он. — Ничего! Ешьте!

На лице актера проступили багровые пятна.

— Но как же!.. — прошептал он. — Я — артист... Меня знают... Я горд... Я не могу милостыню... Спасибо, но...

Он взглянул на женщину. Она стояла перед ним, низко опустив голову, и теребила руками фартук.

Актер медленно поднялся с тачки, снял шляпу, посмотрел куда-то вверх, в сизое холодное осеннее небо, прижал шляпу к груди — и вдруг запел. Из его горла вырвались слабые, хриплые, больные звуки, но он не заметил этого и продолжал петь. И Тарас с удивлением увидел, как на его глазах молодеет человек и голос начинает крепнуть, вот уже звенит металлом. А может, только показалось ему? Казачка благоговейно замерла на месте и, сложив на груди руки, смотрела прямо в лицо актера не мигая. У плетня стали собираться соседи — мужчины и бабы. Протискивались во двор. Бабы уже плакали, дивчата вытирали глаза косынками, старики опустили головы на палки и сняли шляпы... Актер все пел, вытянув перед собой шляпу, арии и песни — все подряд. Он благодарил казачку. И не за вдовый хлеб ее — за добрую душу. Он всех благодарил своею песней. Всех, кто слушал его, старого, больного русского артиста, кто прощал ему простуженное горло и вместе с ним плакал над его песнями, как только русские люди умеют плакать...

Он кончил и обессиленно опустился на тачку. Все молчали. Только бабы все еще всхлипывали и вытирали глаза углами косынок.

Из толпы вдруг выступил старый дед и строго посмотрел на всех.

— Этот человек кто? — спросил он, ткнув пальцем в сторону актера. Потом укоризненно покачал головой. — Этот человек, граждане, артист. Вот кто этот человек. Не похвалит нас наша власть, если мы такого человека

не сбережем. Так я говорю, га? — Он снова строго посмотрел на односельчан, потом обернулся к актеру: — Вы у нас оставайтесь, прошу я вас. Если сила есть, ещё споете, а мы поплачем. А нет — живите так... Га?

— Живите! — сказала актеру хозяйка-казачка...

— Ну-с? — насмешливо спросил Петр Петрович, когда, простившись с актером, тачечники вышли из села. — Ну-с, а мы? Может, э... по дворам пойдем? А? С рукой протянутой. — Он посмотрел на Петушкова.

Парикмахер вдруг озлился.

— Мне что? — закричал он тонким, петушиным фальцетом. — Я из-за кого стараюсь? Мой продукт в любом селе бабы с руками оторвут. И, уж будьте уверены, полной мерой заплатят...

— Что ж это за продукт? — недоверчиво спросил Тарас.

Парикмахер тихонько засмеялся и подмигнул всем.

— Пудра, — шепотом сказал он, — пудра, если угодно знать.

— Пудра? — оторопел Тарас.

— Что? А? Хитро пушено? — ликовал Петушков. — А-а? То-то! Психологический продукт! Вы скажете: война. А я вам отвечу: женщина. Женщина всегда остается женщиной, ей всегда пудра нужна. — Он нежно поглядел на свою тачку. — С руками оторвут.

— Да-а... — сказал бухгалтер. — Продукт — первый сорт. Только... э... куда же дальше идти? Дальше... э... некуда.

Действительно, дальше было некуда. Они всю землю прошли от Днепра до Дона — не было неразоренных сел. Дальше начиналась обожженная прифронтовая полоса. Идти было некуда. Теперь и Петушков понял это. Но он еще не хотел расставаться с мечтой.

— К вечеру, — загадочно сказал он, — мы наконец придем.

Попутчики недоверчиво посмотрели на него, но пошли. К вечеру они вошли в станицу. Она была, как и сотни других оставшихся позади, такая же полувымершая, сонная, пустая, с тоскливо нахохлившимися избами, с мокрой соломой на крыше, с тощими дымками из труб, но Петушков сделал вид, что это и есть то, чего они искали.

— Ну вот! — ликующе закричал он, украдкой поглядывая на попутчиков. — Вот оно, вот оно, то самое!

Они притворились, что верят и его словам, и его радости. Только бы уж конец, дальше идти некуда.

— А ну, налетай, налетай! — весело закричал Петушков бабам у колхозного двора. — Прошу внимания. Имею предложить красным девушкам, а также молодайкам секрет красоты и вечной молодости. Вот! — ловко выхватил он из тачки свой мешок. — А ну, налетай!

Его сразу же окружили девки и бабы, радуясь веселому человеку.

— Что это, что? — заверещали они.

— Это — пудра! — во всю силу своих легких крикнул Петушков.

Стало тихо.

Молодая простоволосая казачка, ближе всех стоявшая к Петушкову, недоверчиво покосилась на его мешочек.

— Пудра?

— Лебяжий пух! — ответил Петушков.

— Это что ж? — тихо спросила казачка. — В надсмешку?

— Нет, почему же? — растерялся парикмахер. — Я всей душой...

— Над вдовьим горем нашим надсмеяться пришел? — покачала головой казачка. — Ай-яй-яй-яй, стыдно тебе, пожилой ты человек!

— Нет, ты скажи, для кого нам пудриться? — зло закричала пожилая баба и рванула с головы платок. — И без пудры поседели от горя нашего!

Теперь зашумели все:

— Ты мужиков наших верни, а тогда — пудру...

— Ты нам прежнюю жизнь верни!

— Для кого нам пудриться, для немцев?

Они подступали к нему яростные, беспощадные, как потревоженные осы, — он горе их разбередил. Петушков отмахивался от них обеими руками и бормотал:

— В городе нарасхват брали...

— Шлюхи брали! — закричала простоволосая казачка. — А мы закон знаем, бесстыдник ты, срамник.

— Сам пудрись! А у нас — радости нет!

Тарас и бухгалтер подхватили парикмахера и чуть не на руках вынесли его из толпы.

Вслед им полетели комья грязи и глины...

— Так! — приговаривал Тарас, когда комок шлёп-

нулся подле них. — Правильно, бабы! Грязью нас, грязью! Мы вам грязь принесли, и вы нас — грязью. Так.

Петушков, согнувшись, брел за своей тачкой...

— Ну-с! — как всегда насмешливо, начал Петр Петрович, но, взглянув на Петушкова, только рукой махнул. Ночевали на большой дороге...

Где-то, словно дальний гром, гремели орудия. Тарас снял шапку, прислушался. По его лицу прошло легкое, счастливое облачко...

— Хоть голос услышал, — сказал он. — Вот и недаром шел.

Какой-то человек, неподалеку от него, негромко говорил людям:

— А вы слухам веры не давайте. Сталинград как стоял, так и стоит и стоять будет.

— А вам откуда известно? — спросил ехидный голос из темноты.

— А что знаю, то говорю, — спокойно ответил человек, и Тарас стал прислушиваться к его голосу. — У немцев под Сталинградом неустойка вышла. Крепок орешек, не по зубам!

Тарас обернулся к Петру Петровичу и тихо попросил его:

— Тому человеку, что говорит, скажите — пусть ко мне подойдет.

Петр Петрович удивленно взглянул на Тараса.

— Убедительно прошу! — тихо, но взволнованно прибавил Тарас.

Бухгалтер пошел и сейчас же вернулся с тем, кого звал Тарас. В темноте лица его не было видно.

— Кто меня звал? — сказал человек в темноту. — Зачем?

— Я звал, — негромко ответил Тарас. — Здравствуйте, Степан.

— А-а! — с секунду длилось молчание. Потом человек сказал тоже негромко: — Здравствуйте, батя!

Это был старший сын Тараса, Степан.

6

Да, это был старший сын Тараса, Степан.

— Ну, здравствуй, отец! — снова удивленно повторил он. — Что же ты тут делаешь... на дороге?

— Ищу землю неразоренную,— усмехнулся Тарас в усы.

— А! И не нашел?

— Нет! Отчаялся.

— Да-да... А неразоренная земля недалеко... За Волгой.

— Недалеко, а ходу туда нет.

Они сели в сторонке от людей — Тарас на пень, Степан прямо так, на траву.

— Про тебя не спрашиваю,— сказал Тарас. — Я землю неразоренную ищу, а ты тут, гляжу, души неразоренные ищешь?

— Да,— засмеялся Степан. — Пожалуй, что так.

— И находишь?

— Много.

— Много? — недоверчиво протянул отец. — Я не встречал...

— Значит, плохо ищешь...

— Я и не ищу! — отмахнулся старик. — Каждый по своей совести живет. Я про свою душу знаю, а что до чужой — мне дела нет.

— Вот оно и выходит: причина вся — все мы в одиночку чистые...

Тарас не ответил. Они помолчали немного.

— А я тебя в армии считал,— сказал отец. — А ты, выходит, вот где...

— Да... Так вышло...

— А мне говорил: в армию иду!

— Ну, отец, всего сказать нельзя было... — пожал плечами Степан.

— Это отчего ж? — хмуро спросил старик.

— Да ведь дело-то мое... — ответил Степан, оглядываясь, — секретное... партийное... Так вдруг и не расскажешь!

— А в этом деле беспартийных нет! — сердито проворчал старик. — Мог и сказать. Не чужому. Теперь все партийные! Немцы выучили...

— Да,— засмеялся сын. — Теперь я бы сам сказал... И меня кой-чему выучили...

— Ну, а Валя где? Эвакуирована?

— Нет... Здесь...

— Где здесь? — удивился старик.

— Ну, вообще здесь... Тоже, как и я, ходит. — Он наклонился ближе и прошептал: — Она сейчас там... на

неразоренной земле... У наших... Я ей навстречу иду... Должны встретиться.

— Скажи-ка! — протянул Тарас.. — Вот те и Валя! Так ведь она ж... женщина!

— Вот, как видишь!

— И не молоденькая!

— Я ей сам говорил... Вот то же, как и ты, ответила: теперь беспартийных нет. Так и ходит.

— Ходит! — воскликнул Тарас и ударил себя по коленям. — А? Скажи, пожалуйста. А мне хоть бы слово, хоть намек... сукины вы дети! Не прощу!

Степан усмехнулся, ничего не сказал.

— Что ж ты про сына не спросишь? — проворчал старик. — И отца забыл, и сына? Вот вы какие...

— Да я знаю о нем... немного... Жив ведь Ленька, здоров?

— Ну, здоров, — ответил Тарас и вдруг спохватился: — Постой, постой. Да ты от кого знаешь?

— Ну, от Насти... — неохотно выдавил сын. — Пишет она мне... иногда... Люди приносят...

— Та-ак... — горько покачал головой Тарас. — Заговорщики! Ну, Степан, вовек я тебе этого не прощу. Не прощу, нет. А Настю — приду — выпорю.

— Так ведь я ж свою ошибку признал, — засмеялся сын. — Видишь вот, не таюсь.

— Не таюсь! Еще бы от родного отца таяться. Да кто тебя человеком сделал, а? Да я, если хочешь знать, я тебя и в большевики вывел!

— Тсс!

— Верно ведь? — шепотом спросил все еще злой Тарас.

— Верно, отец, верно. Все верно!

— Нет мне от сынов радости, чертовы вы дети! — проворчал он не унимаясь. — Один в плен попал, еле выдрался. Другой от отца таятся. От третьего вестей нет. Один я, как пень, старый дурак, хожу по свету.

Он снова посмотрел на сына. В темноте было смутно видно его лицо, только глаза блестели.

— Ну давай! — дрогнувшим голосом сказал старик. — Давай, как люди, поцелуемся хоть. — Он обнял голову сына, привлек к себе и прошептал прямо в ухо: — Спасибо, сын! Спасибо, что не обманул... Я на тебя надеялся больше, чем на всех... Спасибо! — И он поцеловал его. Потом легонько оттолкнул и добродушно про-

ворчал: — Эть, бородатый какой! Только по голосу тебя и признал. Голос — мой. Ну, пойдём! — сказал он, подымаясь. — Покажу я тебе моих попутчиков.

Они подошли к костру, и Тарас представил Степана: — Вот. Земляка встретил.

— А-а! — равнодушно-радушно отозвался Петр Петрович. — Ну, садитесь, грейтесь!

Петушков скользнул по лицу Степана неопределенным взором и тотчас же забыл о нем. Охватив голову руками, он раскачивался над огнем, вздыхал, бормотал что-то...

— Вы что, больны? — вежливо спросил Степан.

— А? Да, да... Больной... больной я... — пробормотал парикмахер. — Старый, маленький, глупый человек... Это я... Пожалуйста... И мне ничего не надо на земле. Ничего... Только гранату. Одну гранату. Больше я ничего не скажу.

Степан усмехнулся. Все разговоры на большой дороге кончались тоской по гранате, это он отлично знал. Он за то и любил большую дорогу, что люди здесь разговаривали вольно, не таясь, не то что в городах и селах, где глядят на незнакомого человека недоверчиво и заранее боятся и того, что он скажет, и того, о чем он умолчит.

На большой дороге всегда говорят о гранатах, и Степан не раз думал, что если б каждое ненавидящее немецкое русское сердце швырнуло бы во врага одну гранату — только одну, — от немецкой армии мокрого места не осталось бы. Но голая ненависть не швыряет гранат, это он тоже знал. Гранаты кидает мужество.

Степан лежал сейчас у костра, глядел в огонь, а перед ним, шумя, проходили все эти месяцы борьбы и хождения по мукам.

7

Хождение по мукам? Нет, так будет неправильно сказать. Были, были муки. И сомнения были холодные, колючие. И бывало, схватывало за горло отчаяние. Все было! Но зато и минуты восторга, необыкновенного, полного счастья, когда вдруг где-нибудь на дороге, во мраке, встретишь незнакомого, но родного человека и он распахнет пред тобой, доверясь, все богатство своей души, непокоренной, красивой русской души и спросит: «Как же быть, товарищ? Научи, что делать!» — и ты

вложишь оружие в его тоскующие руки. Нет, не хождение по мукам. Старик отец хорошо сказал: «Поиски душ незарезанных». Да, поиски...

Когда в июле стояли они с женой на дороге и мимо них, окутанные пылью, проходили на восток последние обозы, он вдруг почувствовал на минуту,— но долгой была эта минута,— как у него из-под ног медленно и неотвратно уползает земля...

— Валя! — сказал он, не глядя на жену. — Тебе еще не поздно! А?..

Она тихо засмеялась.

— Отчего вы, все мужья, такие? Ей-богу, хуже матери. Мать благословила бы...

А он чувствовал, как уползает, уползает из-под ног земля, на которой было так легко и привычно жить.

— Ты бы уехала, Валя, а? И без тебя все сделается.

— А я не хочу, чтоб без меня,— сказала она, хмурясь. — Сейчас беспартийных нет...

Он обнял жену за плечи, погладил ее седеющие волосы. Последние обозы проходили на восток и пропадали в пыли...

В тот же вечер Степан и Валя Яценко ушли в подполье, это было как переселение в другой мир. Степану оно далось куда труднее, чем Вале.

Он не сразу осознал, что произошло. Еще вчера ходил он, Степан Яценко, по земле плотно, уверенно, властно — сегодня должен красться тайком. По своей земле!

Эта земля... Он знал ее всю, на сотни верст вокруг, ее морщины, ее складки и рубцы, ее видные всем богатства и известные только ему одному болезни и нужды... Он ставил на ней города, прорубал новые шахты, он планировал, где и что рожать полям, и стоял над ними нежный, как муж, и заботливый, как строитель. И за это облекла его она властью над собой и над людьми, живущими на ней, и нарекла хозяином.

Он был беспокойным и строгим хозяином. Он любил во все входить сам. Он ничего не прощал ни себе, ни людям. Часто останавливал он машину ночью на дороге, вылезал из нее и кричал: «Не так пашете! Не так мост кладете! Не так гатите гать! Сделайте так и так. При мне! Чтоб я видел». И люди не спрашивали, по какому праву приказывает им этот незнакомый грузный человек. От его большого, могучего тела исходил ток власти.

В его голосе, густом и сильном, была власть. В его глазах, цепких, острых, горячих, была власть. И люди послушно ей покорялись.

А сейчас Степану надо согнуть свое большое тело. Надо стать незаметным. Научиться говорить шепотом. Молчать, хотя б душа твоя кричала и плакала. Потушить глаза, спрятать в покорном теле свою непокорную душу.

Один только Степан знает, каких трудов и мук ему это стоило. Да Валя знает. Никогда за долгие годы семейной жизни не были они так близки, как сейчас. Валя все видела, все понимала.

— С чего же мы начнем, Валя? — спросил он в первый же день их подпольной жизни. Спросил невзначай, небрежно, словно и не ее, а самого себя, вслух, а она услышала и поняла: растерялся Степан, не знает... мучится... Да, растерялся...

Раньше он всегда знал, с чего надо начинать, как запустить в ход большую, громоздкую машину своего аппарата. И день и ночь дрожал, фыркал у подъезда мотор запыленного, забрызганного грязью «голубого экспресса». Трепетали барышни на телефонной станции. Сотни людей были под руками, ждали приказаний.

А сейчас Степан был один. Он да Валя. Маленькая, худенькая женщина. Да где-то там, во мраке ночи, еще десяток таких, как он, сидят, забившись в щели, ждут: придет человек, который скажет, как начинать дело. Они не знают, кто этот человек. Они знают только: он должен прийти.

Этот человек он — Степан.

Против него — враг сильный и беспощадный. У него, а не у Степана, власть. У него, а не у Степана, земля. У него, а не у Степана, армия.

— Вот что, Валя, — нерешительно сказал он, — пожалуй, поступим так... Ты оставайся тут... как центр... А я пойду к людям.

— Ну что ж! — сказала она, внимательно на него глядя. — Иди. Это правильно.

Они просидели до утра, рядышком, словно это была их первая ночь. Но о любви они не говорили. Они вообще говорили мало, но каждый знал, о чем думает и о чем молчит другой, и о чем старается не думать. Из слов, сказанных в эту ночь, немного уцелело в памяти Степана, — да и не было их, значительных слов! — но

навек запомнилась рука Вали, теплая и покойная, как лежала эта рука на его плече, и успокаивала, и ободряла, и благословляла: иди.

Утром он пошел, а она осталась здесь, на хуторе, у своих стариков. Прощаясь, он сказал ей:

— К тебе тут люди будут приходить... Так ты принимай их... говори...

— Хорошо,— сказала она.

Все это он сказал ей ночью раз десять.

Он потоптался еще на пороге.

— Ну, прощай, хозяйка!

— Иди!

Он пошел не оглядываясь. Но и не оглядываясь, знал он: подняв руку, стоит жена на пороге. Он шел и думал об этой руке.

Ему не надо было спрашивать дороги,— он шел по своей земле. Никогда не покидал ее. Был с ней и в пиры, и в страду. Вот он с ней в дни ее горя. Больше не был он ей хозяином — что ж, остался ей верным сыном. И земля отвечала ему теплой и тихой лаской. Словно вздох, подымался над ней утренний туман и таял, и тогда открылась перед Степаном вся степь без конца и без края. И звенела она, и пела, и ластилась к его ногам. А он шел через серебристые ковыли и жадно вдыхал ее запахи — густые, тягучие, жаркие. Горькая полынь смешивалась с медовым клевером, кладбищенский чебрец с нежной мятой, запах жирной, черной сырой земли с знойным дыханием степного ветра. А на горизонте синели далекие острые конусы глеевых гор, откуда приходил запах тлеющего угля. Все детство в нем, в этом запахе, вся жизнь в нем — для человека, рожденного на дымной донецкой земле. Она и в горе хороша, родная земля! В горе ее бережнее любишь.

— Хальт! Хальт!

Степан остановился.

К нему подошли два немца.

— Где ишьель?

— С окопов иду... Окопы рыл... — ответил он.

— Папер?

Он протянул бумаги. У него были хорошие, надежные справки. Он не боялся патрулей. Немцы стали вертеть бумажки. Степан молча ждал: «Вот они, немцы!» От них исходил запах дешевого табака и потного, грязного белья. «Вонючие».

— Сапоги! — сказал вдруг немец.

Степан не понял.

— Эй! Кидай! — нетерпеливо закричал солдат.

Степан снял сапоги. Немец, тот, что был побольше, примерил их. Они были чуть великоваты ему, но он радостно сказал: «Гут!» и похлопал рукой по голенищам.

«Вот так они и в землю нашу влезли, как в мои сапоги,— нахально! — с горечью подумал Степан и сжал кулак.— Схватить вот этого, вонючего, за горло и задуть. Хоть одного из них! Хоть этого!»

Но тут он вспомнил Валину руку и словно почувствовал на своем плече ее теплые, покойные пальцы. Он сгорбился и пошел. Немцы подозрительно смотрели ему вслед. Ему еще надо учиться ходить.

К концу третьего дня он пришел наконец на шахту Свердлова — в первый пункт своего маршрута. Он пошел по поселку, — здесь его знали. На площади на него вдруг упала огромная, мрачная тень виселицы. Он невольно вскрикнул и поднял глаза. На виселице стыли трупы, и среди них человек, к которому он пришел: Вася Пчелинцев, кучерявый комсомольский вожак.

«А давайте-ка споем, товарищи,— говорил он, бывало, на заседаниях, когда все осовело клевали носом от усталости, а ворох дел все не иссякал.— Ведь как это говорится: «Песня строить и заседать помогает». Ну?» — И, не обращая внимания на неодобрительные взгляды солидных товарищей, первый подымал песню.

Вот он висит, кучерявый Вася Пчелинцев, скорчившийся, синий, непохожий на себя...

— Как он попался? — спросил Степан у старика Пчелинцева, которого тем же вечером нашел.

— Выдали... — глухо ответил старик.

— Кто выдал?

— Предполагаю, Филиков.

— Как Филиков? — чуть не закричал Степан.

— Больше некому. Филиков у них теперь служит.

— У немцев? Филиков?

Степану показалось, что покачнулся мир... Филиков! Предшахткома! Еще бородка у него лопаточкой. Когда, бывало, Вася запевал, Филиков первый подтягивал добродушным, дребезжащим баском. Вот Пчелинцев висит, а Филиков служит немцам...

Это была первая виселица, которую видел Степан, и

первая измена, о которой он слышал. Потом их было много. На всем пути качались на виселицах его товарищи, глядели на него стеклянными глазами...

«Запомни, Степан, запомни,— скрипели виселицы. — Помстись!»

«Запомню,— отвечал он в душе своей. — И лица, и имена... запомню».

Ему рассказывали об изменниках, о тех, кто отрекся от партии и народа, предал товарищей, пошел служить немцу... Он хмурил брови и переспрашивал:

— Как фамилия? — И повторял имя про себя. — Запомню!

— Вы машинистку у нас в рике помните? Клаву Пряхину? — Он напрягал память, морщил лоб. Вспоминалось что-то тихое, безответное... Действительно, когда приезжал он в этот рик... какая-то девица была... Он слышал, как она стучит на своем ундервуде. Голоса ее он не слышал никогда.

— Когда ее вешали,— рассказывали ему,— она кричала: «Не убить, черные вы гады, нашей правды! Народ бессмертен!»

— Клава Пряхина? — удивленно шептал Степан. А он и вспомнить ее не может.

— А Никита Богатырев...

— Что, что Никита? — беспокойно спросил он. Никиту он знал. Огромный, в сером пыльнике балахоном, в сапогах, от которых всегда пахло дегтем, он, бывало, шумел в кабинете Степана: «Не боюсь я тебя, секретарь, никого не боюсь! А как правду-матку резал, так и буду резать». Степан предполагал поставить Никиту командиром партизанского отряда.

— Когда Никиту притащили в гестапо,— рассказывал, протирая очки, сутуловатый Устин Михалыч, за вычетом райкома,— он по полу ползал, офицеру сапоги целовал, плакал...

— Никита?

Значит, плохо ты еще людей знал, Степан Яценко. А ведь жил с ними, ел, пил, работал... И повадки их знал, и характеры, и капризы, и кто какой любит табак... Клава считала себя робкой тихоней, а Никита Богатырев — бесстрашным бойцом. Он нашей власти не боялся — ее бояться нечего! — а перед врагом задрожал. А Клава боялась председательского взгляда, а врага не испугалась, плюнула ему в лицо...

— Великая людям проверка идет! — качал головой Устин Михалыч. — Великая огнем очистка.

— Что Цыпляков? — спросил Степан.

— Про Цыплякова не знаю! — осторожно сказал Устин Михалыч. — Цыпляков особо живет.

— К тебе не ходит?

— Он ни к кому не ходит... Запершись сидит...

В тот же вечер Степан пошел к Цыплякову и долго стучался в его ставни и двери.

— Кто? Кто? — испуганно спрашивал Цыпляков через дверь.

— Я это. Я! Отвори!

— Кто я? Я никого не знаю.

— Да это я, Степан.

— Какой Степан? Никакого Степана не знаю! Уходите!

— Да отвори! — яростно прохрипел Степан и услышал, как испуганно звякнули и упали запоры.

— Ты? Это ты! — попятился Цыпляков, увидев его, и свеча в его руках задрожала...

Степан медленно прошел в комнату.

— Что же неласково встречаешь? — горько усмеяясь, спросил он. — Гостю не рад?

— Ты зачем?.. Ты зачем же пришел? — протонал Цыпляков, хватаясь за голову.

— По твою душу пришел, Матвей, — сурово сказал Степан. — По твою душу. Есть еще у тебя душа?

— Ничего нет, ничего нет!.. — истерически закричал Цыпляков и, повалившись на диван, заплакал.

Степан брезгливо поморщился.

— Что ж ты плачешь, Матвей? Я уйду.

— Да, да... Уходи, прошу тебя... — заметался Цыпляков. — Все погибло, сам видишь. Корнакова повесили... Бондаренко замучили... А я Корнакову говорил, говорил: сила солому ломит. Что прячешься? Иди, иди в гестапо! Объявись. Простят. И тебе, Степан, скажу, — бормотал он, — как другу... Потому что люблю тебя... Кто к ним сам приходит своею волей и становится на учет, того они не трогают... Я тоже стал... Партбилет зарыл, а сам встал... на учет... И ты зарой, прошу тебя... немедленно... Спасайся, Степан!

— Постой, постой! — гадливо оттолкнул его Степан. — А зачем же ты партбилет зарыл? Уж раз отрекся, так порви, порви его, сожги...

Цыпляков опустил голову.

— А-а! — зло расхохотался Степан. — Смотрите! Да ты и нам, и немцам не веришь. Не веришь, что устоят они на нашей земле! Так кому же ты веришь, Каин?

— А кому верить? Кому верить? — взвизгнул Цыпляков. — Наша армия отступает. Где она? За Доном? Немцы вешают. А народ молчит. Ну, перевешают, перевешают всех нас, а пользы что? А я жить хочу! — вскрикнул он и вцепился в плечо Степана. Жарко дышал ему в лицо. — Ведь я никого не выдал, не изменил... — умоляюще шептал он, ища глаз Степана. — И служить я у них не буду... Я хочу только, пойми меня, пережить! Пережить, переждать.

— Подлюка! — ударил его кулаком в грудь Степан. Цыпляков упал на диван. — Чего переждать? А-а! Дождаться, пока наши вернутся! И тогда ты отроешь партбилет, грязцу с него огородную счистишь и выйдешь вместо нас, повешенных, встречать Красную Армию? Так врешь, подлюка! Мы с виселиц придем, про тебя народу расскажем...

Он ушел, сильно хлопнув за собой дверь, и в ту же ночь был уже далеко от поселка. Где-то впереди и для него уже была припасена намыленная веревка, и для него уже сколотили виселицу. Ну что ж! От виселицы он не уклонялся.

Он шел дорогами и проселками истерзанной Украины и видел: запрягли немцы мужиков в ярмо и пашут на них. А народ молчит, только шейей туго ворочает. Гонят по дороге тысячи оборванных, измученных пленных — падают мертвые, а живые бредут, покорно бредут через трупы товарищей дальше, на каторгу. Плачут полонянки в решетчатых вагонах, плачут так, что душа рвется, — а едут. Молчит народ. А на виселицах качаются лучшие люди... Может, без пользы?

Он шел теперь придонскими степями... Это был самый северный угол его округа. Здесь Украина встречалась с Россией, границы не было видно ни в степных ковылях, одинаково серебристых по ту или по другую сторону, ни в людях...

Но прежде чем повернуть на запад, по кольцу области, Степан, усмехнувшись, решил навестить еще одного знакомого человека. Здесь, в стороне от больших дорог, в густой и тихой балке, спряталась пасека деда Панаса, и Степан, бывая в этих краях, обязательно заворачивал

сюда, чтобы поесть душистого меду, поваляться на пахучем сене, услышать тишину и запахи леса и отдохнуть, и душою и телом, от забот.

И сейчас надо было передохнуть Степану — от вечного страха погони, от долгого пути пешком. Распрямить спину. Полежать под высоким небом. Подумать о своих сомнениях и тревогах. А может, и не думать о них, просто поесть золотого меду на пасеке.

«Да есть ли еще пасека?» — усомнился он, уже подходя к балке.

Но пасека была. И душистое сено было, лежало копною. И, как всегда, сладко пахло здесь щемящими запахами леса, липовым цветом, мятой и почему-то квашеными грушами, как в детстве, или это показалось Степану? А вокруг дрожала тонкая прозрачная тишина, только пчелы гудели дружно и деловито. И, как всегда, зачуяв гостя, вперед выбежала собака Серко, а за ней вышел и худой, белый, маленький дед Панас в полотняной рубахе с голубыми заплатками на плече и лопатках.

— А! Доброго здоровья! — закричал он своим тонким, как пчелиное гуденье, голосом. — Пожалуйте! Пожалуйте! Давно не были у нас! Обижаете!

И поставил перед гостем тарелку меда в сотах и решето лесной ягоды.

— Тут еще ваша бутылка осталась, — торопливо прибавил он. — Цельная бутылка чимпанского. Так вы не сомневайтесь — цела.

— А-а! — грустно усмехнулся Степан. — Ну, бутылку давай!

Старик принес чарки и бутылку, по дороге стирая с нее рукавом пыль.

— Ну, чтоб вернулась хорошая жизнь наша и все воины домой здоровые! — сказал дед, осторожно принимая из рук Степана полную чарку. Закрыв глаза, выпил, облизал чарку и закашлялся. — Ох вкусная!

Они выпили вдвоем всю бутылку, и дед Панас рассказал Степану, что нынче выдалось лето богатое, щедрое, урожайное во всем — и в пчеле, и в ягоде, а немцы сюда, на пасеку, еще не заглядывали. Бог бережет, да и дороги не знают.

А Степан думал про свое.

— Вот что, дед, — сказал он вдруг, — я тут бумагу напишу, в эту бутылку вложим и зароем.

— Так, так... — ничего не понимая, согласился дед.

— А когда наши вернутся, ты им эту бутылку и передай.

— Ага! Хорошо, хорошо...

«Да, написать надо,— подумал Степан, доставая из кармана карандаш и тетрадку.— Пусть хоть весть до наших дойдет о том, как мы здесь... умирали. А то и следа не останется. Цыпляковы наш след заметут».

И он стал писать. Он старался писать сдержанно и сухо, чтобы не заметили в его строках и следа сомнений, не приняли бы горечь за панику, не покачали бы насмешливо головой над его тревогами. Им все покажется здесь иным, когда они вернутся. А в том, что они вернутся, он ни минуты не сомневался. «Может, и костей наших во рвах не отыщут, а вернутся!» И он писал им строго и сдержанно, как воин воинам, о том, как умирали в застенках и на виселицах лучшие люди, плюя врагу в лицо, как ползали перед немцами трусы, как выдавали, проваливали подполье изменники и как молчал народ. Ненавидел, но молчал. И каждая строка его письма была завещанием. «И не забудьте, товарищи,— писал он,— прошу вас, не забудьте поставить памятник комсомольцу Василию Пчелинцеву, и шахтеру-старика Онисиму Беспалому, и тихой девушке Клавдии Пряхиной, и моему другу секретарю горкома партии Алексею Тихоновичу Шульженко,— они умерли как герои. И еще требую я от вас, чтобы вы в радости победы и в суете строительных дел не забыли покарать изменников Михаила Филикова, Никиту Богатырева и всех тех, о ком я выше написал. И если явится к вам с партийным билетом Матвей Цыпляков — не верьте его партбилету, он грязью запачкан и нашей кровью».

Надо было еще прибавить, подумал Степан, и о тех, кто, себя не щадя, давал приют ему, подпольщику, и кормил его, и вздыхал над ним, когда он засыпал коротким и чутким сном, а также о тех, кто запирали перед ним двери, гнали его от своего порога, грозил спустить псов. Но всего не напишешь.

Он задумался и прибавил: «Что же касается меня, то я продолжаю выполнять возложенное на меня задание». Ему захотелось вдруг приписать еще несколько слов, горячих, как клятва, что, мол, не боится он ни виселицы, ни смерти, что верит он в нашу победу и рад за нее жизнь отдать... Но тут же подумал, что этого не надо.

Это и так все про него знают.

Он подписался, сложил письмо в трубку и сунул в бутылку.

— Ну вот,— усмехаясь, сказал он,— послание в вечность. Давай лопату, дед...

Они закопали бутылку под третьим ульем, у молодой липки.

— Запомнишь место, старик?

— А как же! Мне тут все места памятные...

Утром на заре Степан простился с пасечником.

— Хороший у тебя мед, дед,— сказал он и пошел навстречу своей одинокой гибели, навстречу своей виселице.

Эту ночь он решил пробыть в селе, в Ольховатке, у своего дальнего родственника дядьки Савки. Савка, юркий, растрепанный, бойкий мужичонка, всегда гордился знатным родственником. И сейчас, когда в сумерках появился к нему Степан, дядька Савка обрадовался, засуетился и стал сам тащить на стол все из печи, словно по-прежнему почетным гостем был для него Степан из города.

Но они и сесть за стол не успели, как без стука отворилась дверь и в хату вошел высокий пожилой мужик с седеющей бородой и с глазами острыми и мудрыми.

— Здравствуйте! — сказал он, в упор глядя на Степана.

Степан встал.

— Это кто? — тихо спросил он Савку.

— Староста... — прошептал тот.

— Здравствуйте, товарищ Яценко! — усмехаясь, сказал староста и подошел к столу. Степан побледнел. — Смело вы по селу ходите. Я из окна увидал, узнал. Ну, еще раз здравствуйте, товарищ Яценко. — И староста спрятал насмешливую улыбку в усы.

«Вот и все! — подумал Степан. — Вот и виселица!» Но он по-прежнему спокойно, не двигаясь, продолжал стоять у стола.

Староста грузно опустился на лавку под иконами и, положив на стол большие узловатые руки с черными пальцами, посмотрел на Степана.

— Сидайте,— сказал он, усмехаясь. — Чего стоять? В ногах правды нет.

Степан подумал немного и сел.

— Так,— сказал староста. — А вы меня не узнали?

Степан посмотрел на него. «Где-то видел, конечно,— мелькнуло в памяти.— Должно быть, раскулачивал я его... Не помню».

— Та где там! — засмеялся староста. — Нас, мужиков, много, а вы — один. Як колосьев во ржи... А вы даже беседы со мной имели, — правда, в опчестве, — напомнил он, — наедине не приходилось. Агитировали вы меня в колхоз. Шесть лет меня все агитировали. А я шесть лет не шел. Несогласный я, кажу, и все тут. Так меня с тех пор Игнатом Несогласным и зовут.

Савка подобострастно хихикнул. Степан теперь вспомнил этого мужика. Кремень.

— Несогласный я, — продолжал староста. — Это так. А на седьмой год я сам пришел в колхоз. А отчего пришел? Га?

— Ну, сагитировал, значит... — пожал плечами Степан.

— Не-ет, — покачал головой Игнат. — Меня сагитировать немысленно. Убедился я, потому и пришел. Сам убедился. И так кинул, и так положил — выходит, в колхозе выгоднее. И я согласился, пришел.

Степан не понимал, к чему ведет свой рассказ староста, и нетерпеливо ерзал по лавке. «Будут селом вести — удеру, вырвусь. Рук вязать не дам».

— Теперь немец нам листки кидает, — продолжал староста, — обещает землю дать в вечное и единоличное пользование. Как думаешь, — прищурился он, — даст?

— Не даст... — ответил Степан.

— Не даст? Гм... — пожевал усы Игнат. — И я так думаю: не даст! Обманет. Помещикам своим отдаст. Ну, а может, кой-кому и даст, га? Для близира? Ну, старательным мужикам... Опять же старостам... Даст, а?

— Ну, такому, как ты, даст, — ответил Степан со злостью. — За усердие.

— Даст? Ага! — подхватил Игнат, делая вид, что тона Степана не понял. — И я так прикидываю: такому, как я, даст. А я не возьму! — вдруг торжествующе закричал он и хлопнул ладонью по столу. — Не возьму я! Га?

Степан оторопело посмотрел на него.

— Не возьму. Ты это понять можешь? Э, — махнул он вдруг рукой, — где тебе понять. Ты, товарищ, городской человек. А я мужик. Я в эту землю корнями, когтями, душою врос. Сухота моя эта земля. И вся моя

жизнь в ней же. И отцов моих, и дедов, и прадедов. Мне без земли нельзя! А только,—внезапно успокоившись, закончил он,—единоличной земли мне не надо. Невыгодно мне. Не подходит. Морока. И мачтаб не тот. Моей хозяйской душе без колхоза теперь жизни нема.

— Постой,—ничего не понимая, пробормотал Степан.— Нет, ты постой! Ты за что же стоишь?

— Я за колхоз стою,—твердо ответил староста.

— Ну, значит, и за Советы? За нашу власть?

Игнат вдруг лукаво прищурился, оглянулся на Савку, подмигнул Степану и сказал, усмехаясь в усы:

— Ну, поскольку нет на земле другой власти, согласной на колхозы, кроме нашей, Советской, так и для меня другой власти нет.

Степан улыбнулся и облегченно вздохнул.

— Ты как,—тихо спросил, наклоняясь к нему, Игнат,—сам от себя ходишь? Спасаясь? Или уполномоченный?

— Уполномоченный,—ответил Степан улыбаясь.

— Бумаг мне твоих не надо,—махнул рукой Игнат.— Знаю тебя. Ну, раз ты есть от власти нашей уполномоченный, могу тебе сказать, а ты передай: колхоз наш, скажи власти, живет! Как бы это сказать? Подпольно живет. Есть у нас и председатель. Прежний. Орденоносец. Замаскирован нами. И счетовод есть, книги ведет. Книги могут показать тебе. И все добро колхозное попрятано. Вот хоть у сродственника спроси. Так, Савко?

— Так, так, истинно,—радостно удивляясь, подтвердил дядька Савка.— Хитро сделано. Государственно.

— А немцы с нашего села ни зерна не взяли! — крикнул Игнат.— Что сами пограбили, то и есть. А мы им ни зерна не дали. А как? Про то моя спина знает.— Он задумался, опустив голову. Забарабанил черными пальцами по столу. По губам его, прикрытым седыми усами, поползла усмешка.— Староста. Немецкий староста я на склоне моих лет... Позор! Кругом старосты звери и мироеды. Кулаки. И я людям кажу: уважьте! Старость уважьте мою! У меня дети в Красной Армии. Не согласились со мной мужики, упростили.

— Всем миром просили,—вздохнул Савка.

— Не миром,—строго поправил его Игнат,—колхозом просили меня. У тебя, говорят, Игнат, душа непокорная, несогласная с неправдой. Постой за всех.

И вот — стою. Немцы мне кричат: где хлеб, староста? А я кажу: нема хлеба. А почему рожь осыпается, староста? Нема чем убирать! А почему скирды стоят, под дождем гниют, староста? Нема чем молотить! Мы тебе машины дадим, староста. Людей, кажу, нема, хоть убейте! Ну и бьют! Бьют старосту смертным боем, а хлеба все нема.

— Не могут они его душу покорить, вот что! — прокриковенно, со слезой сказал Степану Савка.

— Что душу! — усмехнулся Игнат. — Спину мою и ту покорить они не могут. Непокорная у меня спина, — сказал он, распрямляясь. — Ничего, выдюжит.

— Спасибо тебе, Игнат! — взволнованно сказал Степан, подымаясь с лавки и протягивая руку. — И прости ты меня, бога ради, прости.

— В чем же прощать? — удивился Игнат.

— Нехорошо я о тебе думал... И не о тебе одном... Ну, в общем, прости, а в чем — я сам знаю.

— Ну, бог простит, — улыбнулся Игнат и ласково обнял Степана, как сына.

На заре староста сам проводил подпольщика до околицы. Здесь постояли недолго, покурили.

— Если власти нашей, — тихо сказал Игнат, — или партизанам хлеб нужен, дай весточку — хлеб дадим.

— Хорошо. Спасибо.

— Не мне спасибо. Хлеб не мой. Колхозный. Расписку возьмем.

— Хорошо.

— Ну иди...

Степан протянул ему руку, Игнат взял ее, крепко зажал в своей.

— Еще вот что спрошу тебя... — прошептал он, заглядывая в глаза Степана. — Скажи: наши вернутся? Не спрошу тебя, скоро ли и когда, бо того ты и сам не знаешь. Спрошу только: вернутся ли вообще? Правду скажи! — И он впился в его глаза.

— Вернутся! — взволнованно ответил Степан. — Вернутся, Игнат, и скоро!

— Ну вот! — облегченно вздохнул староста. — А спина моя выдержит, не сомневайся! — И он засмеялся, пожимая в последний раз Степанову руку.

Степан шел полевой дорожкой меж массивов осыпающейся ольховатской ржи и всю дорогу весело ругал себя:

«Чиновник ты! Цыплякову поверил, а в народе усомнился, чернильная твоя душа. Вот он, народ, непокорный, могучий. Бюрократ ты, кресло потертое! Не молчит он — звенит! Как сухое дерево, звенит ненавистью, по искре тоскует. А тебя, бумажная твоя душа, сюда спичкой и поставили. Да нет, не спичкой! Спичка чиркнула и погасла. Кремнем. Кремнем должен ты быть, Степан Яценко, чертова твоя душа! Чтоб от тебя искры летели и раздувалось пламя народной мести».

Обо всем этом и рассказал Степан Вале, когда они наконец встретились.

Они проговорили всю ночь.

У Вали тоже был ворох вестей для Степана.

— От Максима приходил человек, — сказала она.

— От Максима? — обрадовался он. Максим, как и он, был поставлен обкомом для работы в подполье. — Ну, что Максим?

— Пока жив! — улыбнулась Валя. — Большие дела у него! Шахтерских отрядов несколько... Три комсомольских...

— Вот как! — даже позавидовал Степан. — Это хорошо.

— Приходили от Ивана Петровича...

— Ну-ну?

— Толком ничего не сказали. Видно, меня опасаются. Но явку дали. Иван Петрович просит передать — у него в хозяйстве урожай сам-семеро...

— А-а! — усмехнулся Степан. — Иван Петрович всегда был мужик агротехнический! Ишь, уродило как!

— Ну, это все вести от людей, тебе известных. А есть и от неизвестных. Никому не известных.

Степан не понял:

— То есть как?

— В Бельске кто-то красный флаг поднял на парашютной вышке. Целый день висел. Немцы боялись — заминировано. Об этом флаге только и говорят вокруг!

— Кто же флаг поднял?

— Никто не знает! Я же тебе говорю: никому не известные люди.

— Этих неизвестных людей надо найти.

— Немцы тоже ищут...

— Ну, немцы могут и не найти, — засмеялся Степан, — а нам своих не найти совестно.

— Потом у нас — в нашем городе — тоже событие, — продолжала Валя.

— Что у нас? — всполошился Степан. Он любил свой город, гордился им и всякую весть о нем встречал ревниво.

— Немцы на главной улице каждый день сводку вывешивают. Народ читает, кто верит, кто нет, но у всех — уныние. И вот, стала каждый день под немецкой сводкой появляться другая. Понимаешь? Написано детским почерком. На листке школьной тетради. Чернилами. И даже, — улыбнулась она, — с кляксами...

— Что же в этих листках? — недоумевая, спросил Степан.

— Опровержение! Какой-то малыш каждый день — заметь, каждый день! — опровергает Гитлера: «Не верьте Гитлеру, все, собака, врет. Я слушал радио. Наши не отдали Сталинград. Наши не отдали Баку». Немцы срывают эти листки, ищут виновника, а ничего сделать не могут. Опровергает малыш Гитлера каждый день, и Гитлер с ним справиться не может! Об этом весь город говорит.

— Кто ж он? — взволнованно спросил Степан.

— Никто не знает. Может быть, кто-нибудь из моих малышей...

Степан удивленно посмотрел на нее, не понял. Потом сообразил, что она говорит о своих школьниках. Он всегда забывал о том, что она не только жена.

— Да, может быть, кто-нибудь из твоих мальчиков... — сказал он, извиняясь за свою забывчивость.

— И я все думаю: кто? — продолжала Валя, сияя влажными глазами. — Это кто-нибудь из наших радиолюбителей. Но в седьмом классе все мальчики увлекаются радио. И я не знаю — кто. Иногда мне кажется, что это Миша... А иногда, что это Сережа...

Степан молча слушал ее.

— Сколько их таких, — задумчиво продолжала она, — мальчиков, девушек, стариков, поднимающихся в одиночку. По приказу своей совести.

— Найдём! — горячо сказал Степан. — Мы будем строить, Валя, наше подполье, как строят пороховой погреб, — осторожно и основательно.

И он стал строить подполье, как пороховой погреб.

Появились связи, отряды, явки, люди, цепочка людей, знавших только правого да левого соседа. Степан

знал их всех, и земля, казавшаяся ему после ухода наших войск мертвой, задушенной, сейчас ожила, населилась людьми, готовыми к борьбе.

К Степану часто приходили связные от партизан, от подпольных групп; приходили и с Большой земли, чаще всего девушки.

— И вам не страшно, дивчата? — спрашивал он, искренно удивляясь.

Некоторые обижались.

Другие задорно отвечали:

— А чего же бояться на своей земле?

Стали действовать отряды Максима. Запылали немецкие казармы, полетели под откос поезда. Тихие ночи озарялись пламенем малых, но жестоких битв в тылу.

Немцы ответили виселицами. Где-то ждала виселица и Степана. О нем уже знали. Его искали. Но он не думал теперь о смерти. Он снова чувствовал себя хозяином на своей земле.

Да, он здесь был хозяином, а не бургомистры и гаулейтеры. Ему вручили свою душу люди, его приказов слушались, даже и не зная его. И он ощущал себя сейчас, как и раньше, хозяином, военачальником, вожакom, а чаще всего — приказчиком народной души. Душеприказчиком. Ему мертвые завещали ненависть. Ему живые вверили свои надежды. Качающиеся на виселицах товарищи поручали ему месть за них.

У него было теперь большое «хозяйство», куда более сложное и богатое, чем раньше, — все это хозяйство надо было держать в памяти, ничего не доверяя бумаге. Он должен был помнить имена и адреса, даты и сроки, поступки и планы, черты лиц и свойства характеров, выражение глаз каждого человека в минуту опасности. Он должен был знать — и кому можно верить целиком, кому наполовину, кому нельзя совсем. Кого надо ободрить, кого отругать, кого обнадежить, с кем помечтать вместе, а кого при первом же случае уничтожить, как иуду.

На дорогах своих скитаний — а бродил он все время, то один, то с Валея, — ему встречались тысячи людей. У случайных костров люди говорят откровенно. Он слушивался.

Старики тосковали по оружию. Молодые парни, бежавшие от невольничьего плена, открыто спрашивали путь к партизанам. Он присматривался к ним. Одним отвечал, пожимая плечами:

— Та кто его знает! Як бы я знав, той сам бы пишов...

Других отводил в сторону, давал безобидный адресок — первое и простое звено длинной цепочки.

Потом он узнавал в отрядах своих крестников.

— Ну как? — спрашивал он.

— Та ничего! Воюем! — браво отвечали хлопцы.

Ночи в партизанском отряде были для Степана и счастьем и отдыхом. Здесь он был у своих. Здесь, на малой советской земле, или — как у шахтеров — даже под землей, в забытой шахте, он чувствовал себя легко и привольно. Можно было спину разогнуть. Можно было маску скинуть. Можно было вольно засмеяться, назвать человека дорогим именем «товарищ».

Но засиживаться здесь ему было нельзя. Его ждала стонущая, мятущаяся земля, — без него она сиротела.

— Может, на дело меня возьмете? — упрасивал он командира партизанского отряда. — Что ж это я? И моста не взорвал, и гранаты не кинул. Придут наши — и похвалиться нечем.

— Иди, иди! — добродушно ворчал в ответ командир отряда бурильщик Прохор. — Иди, свое дело делай. Без тебя тут управимся. Ты свои гранаты кидай!

Он шел и кидал свои гранаты — листовки, начиненные страшной, взрывчатой силой — правдой. Их читали жадно, как дышат в подземелье — лихорадочными глотками. Кто прочел — рассказывал соседям, а кто прочесть не успел — рассказывал свое, о чем самому мечталось. Как осколки гранаты, разлетались по всей земле обрывки фактов, лозунгов, идей, но и они поражали самого страшного врага закабаленного народа — безверие.

— Про листовку слышал? Ага! Значит, жива наша правда, не потоптана! Значит, есть где-то люди! Значит, есть у них с кем-то связь! Значит, и армия наша стоит, нерушимая, скоро придет на выручку.

Случалось и Степану во время скитаний читать свои листовки. Он читал их так, словно впервые видел, — жадно, как все. Наклеенная на заборе листовка вызывала и в нем новый прилив веры. И он искал в ней между строк, им же самим написанных, новые факты.

Смерти он не боялся. Он и не думал о ней теперь, будто ее и не было вовсе, будто люди ее, как и бога, выдумали себе на страх. Он не боялся, что его узнают на большой дороге. В седом, бородатом, рваном мужи-

ке теперь не узнать Степана Яценко. Могут выдать? Ну что ж. Значит, плохо подобрал людей, плохо воспитал, виноватить некого.

Он теперь редко бывал у себя в штаб-квартире, жил на большой дороге, на людях, среди тачечников и бродяг, внезапно появлялся на шахтах и в поселках, так же внезапно исчезал. Иногда верным людям он назначал встречи на дороге и на свидание всегда приходил в срок.

— А мы полицмейстера убили,— докладывал ему молодой кучерявый паренек, чем-то очень похожий на Васю Пчелинцева.

— Убили? Ну, молодцы, молодцы!

— Нам бы теперь, дядя Степан,— захлебываясь от восторга, говорил парень,— нам бы с партизанами связаться. Такой можно налет произвести!..

— Это подумать надо,— отвечал, почесывая щеку, Степан.— Так полицмейстера убили?

— Убили. Наповал.

— Хорошо, хорошо. Теперь, Василек, тебе придется идти служить в полицию.

— Мне? — бледнел паренек и растерянно улыбался.— Вы это шутите?

— Нет, Василек, не шучу. Серьезно,— отвечал он и нежно глядел на юношу.

— Так меня... меня же все затюкают. Меня и отец проклянет!

— А это стерпеть придется.

— А наши придут, что ж я им скажу? — чуть не плача, говорил юноша.— Все партизаны, а я — полицейский...

— А это я на себя возьму.

— Так ведь, дядя Степан...— сдавленным шепотом продолжал Вася,— ведь убьют!

— А смерти, Вася, нет. Ее выдумали. Есть капут для трусов и бессмертие для героев, середины нету.— Он обнимал за плечи Васю, привлекал к себе.— Жаль мне тебя, Василек,— тихо говорил он,— жаль! А идти в полицию надо, больше некому идти. Ты десятилетку кончил, по-немецки немного знаешь. Надо идти. Надо!

И Василек шел служить в полицию. Теперь у Степана везде были свои люди — они сообщали о немецких планах, выручали подпольщиков, помогали партизанам.

Пожилой слесарь докладывал Степану о депо. Сидели тут же, у дороги, в стороне у поселка.

— Пустил немец депо! — огорченно вздыхал слесарь.— Вот ведь как!

— Да... неудачно это...

— Теперь мастеров ищут. Паровозы пришли, целое кладбище. А мастеров нет.

— Да...

— Ну, наши мастера не пойдут. Мы им так и сказали, и молодым и старикам: если которая сука пойдет работать в депо, ну, проклянем без снисхождения!

— И не идут?

— Не идут! — радостно-удивленно восклицал слесарь.— Скажи-ка, а? Ни один человек!

— Хорошо. Очень хорошо, — потирал Степан щеку.— А ты, Антон Петрович, пойдешь!

— Я? — растерянно улыбался слесарь.— Нет, зачем же? Обижаете... И я не пойду...

— Нет, пойдешь! На работу станешь. И паровозы возьмешься чинить. А готовые будешь калечить.

— Понимаю... — бледнея, отвечал слесарь.— Понимаю я. Воля твоя, товарищ Степан, пойду. Убьют меня мастера за это дело, а пойду. Понимаю.

И никто из людей, которыми двигал Степан, не спрашивал ни его, ни себя, по какому праву распоряжается ими этот бородатый, похожий на бродягу человек. Они знали, кто стоит за ним. Родина? Нет, Родина стояла за всеми.

Но только за ним стояла партия. Партия вручила ему власть над их душой.

Представляя людям Степана, председатель подпольной сходки говорил: «Этот человек пришел к нам от партии», — и все подымали глаза на Степана. Этот человек пришел к ним от партии.

— Куда ты теперь идешь, Степан? — спросил Тарас сына.

Костер погас, только одна головешка все тлела, покрылась синеватым пеплом и, как глазок, выглядывала из золы. Завернувшись в мокрый плащ и съжившись, спал Петр Петрович. Парикмахер ворочался во сне и стонал.

— Иду Вале навстречу, — ответил Степан, и на его лице, как и всегда, когда он думал о жене, появилась теплая светлая улыбка.

Он расстался с ней семь дней назад, там, у самой линии фронта. «Ну, иди!» — сказал он просто. Они всегда теперь так прощались.

Только эти два слова вслед тому, кто уходил, — в них было все.

Припав к земле, Степан смотрел, как пробиралась Валя колючим кустарником. Вон там, за этим перелеском, Большая земля, наши. Он следил за темным силуэтом жены с тревогой и... завистью. Сейчас Валя пройдет этот кустарник, потом овражек, опять кусты, и... наши. Хоть бы увидеть разок! Но он знает: ему нельзя. Это дезертирство. И то уж нехорошо, что пошел провожать Валю до этих кустов. Его место не здесь. Его место там, на опаленной горем и гневом земле, в прифронтовых селах.

— Ну, сынок, — сказал Тарас, — что же дальше будет?

— Дальше? — засмеялся Степан. — Дальше наши придут. Скоро.

Но Тарас вдруг рассердился на него.

— Я тебя не об этом спросил! Это я и без тебя знаю! И ты меня не учи! — закричал он. — Ты еще молод меня вере учить. Я тебя сам поучить могу, как свою душу в чистоте соблюдать. Я тебя про другое спрашиваю. С чем мы наших встретим?

— Как с чем?

— Они к нам через кровь идут. А мы с чем выйдем?

У Степана вдруг радостно защемило в горле. «Что за отец у меня! Что за старик!» Он с любовной гордостью посмотрел на отца, и почувствовал себя его сыном, и услышал, как глубоко-глубоко в этой земле шумят корни его рода.

— Хорошего мы с тобой рода, отец! — весело засмеялся он. — Казацкого!

Старик удивленно посмотрел на сына:

— Мы не казацкого, с чего ты взял? Не казацкого — рабочего. И прадед твой рабочий был, и дед, и дядья. Вся фамилия наша — рабочая.

Но Степан весело обнял его за плечи:

— Казацкого, казацкого! Ты не спорь, отец! — Он наклонился совсем близко к нему и сказал уже серьезно: — Я скажу тебе, что делать, отец. Домой иди! По дороге по моим адресам зайдешь, снесешь поручения. А придешь домой — поклонись матери, поцелуй Леньку,

а Насте скажи, что приказал я тебя вести к верным людям. Настя сведет.

— Настя? — сердито воскликнул старик.

— Да, Настя, — усмехнулся Степан.

Тарас разгладил усы.

— Хорошо, — сказал он. — Только сперва я ее выпорю. Можно? А потом уж, ладно, скажу: веди, мол, меня, старика, куда надо, Настя!

8

К Насте, запыхавшись, прибежала ее школьная подруга Зинаида.

— Ой, Настя! — закричала она с порога. — Павлик пришел!

Настя почувствовала вдруг, как сердце в ней оборвалось и покатилося... покатилося... Но она даже с места не встала и спросила спокойно, почти равнодушно:

— Павлик? Где же он?

Подруга смотрела на нее с жадным и откровенным любопытством. «Ой, Настька!» — все время вскрикивала она. Равнодушие Насти ее озадачило и даже обидело почему-то.

— Ох, бесчувственная ты, Настька! — сказала она, жеманно поджимая губы. — Тебя никто не будет любить. Я Павлика на улице встретила, — прибавила она нарочито небрежно. — Могла и не встретить. Подумаешь! — Но не выдержала тона и закричала с восторгом: — Ой! Настька! Он тебе записку прислал.

— Дай.

Настя взяла записку и почувствовала, что щеки у нее пылают. «Настя! Буду ждать тебя в пять часов возле школы. Ты сама знаешь где Павел».

— Какой он... стал? — тихо спросила она.

— Ой, Настя, черный весь! Страшный.

Настя попыталась представить себе страшного Павлика — и не смогла. Он вспоминался ей синеглазым, холемым юношей с румянцем во всю щеку. За этот нежный, девичий румянец да за постыдную для мужчин, по мнению десятого класса «б», страсть к поэзии мальчишки прозвали его «барышней». Его никто не звал Павлом, все Павликом — и родные, и товарищи, и учителя.

Было без десяти пять, когда она подошла к школе. Павлика еще не было. Настя нашла окна своего класса

и через разбитое стекло заглянула туда. На нее пахнуло холодом и сыростью пустого, заброшенного здания. У стены черной грудой вздыбились переломанные парты. И ее парта там. Ее и Павлика. Их парусная лодка, на которой плыли они вместе в жизнь. Это было в стихах Павлика. Парусом он называл мечту.

Настя долго простояла у окна. Было грустно и одиноко, как всегда бывает у развалин родного дома, где ты прожил свою жизнь, большую или малую, все равно. Наконец она оторвалась от окна и пошла вдоль фасада школы. У парадного подъезда стоял скелет из школьного музея и скалил на Настю зубы. «Кто ж его вытащил сюда? — удивилась Настя. — Должно быть, немцы... Зачем?» Она пошла вдоль забора школьного сада. Деревья стояли голые, черные, заплаканные, как вдовы. Мокрый осенний ветер качал их. Простонав, они медленно валились набок. Вот одно упало, вот второе... Настя испуганно, ничего не понимая, заглянула через забор и увидела: немецкие солдаты, сняв куртки, рубили школьный сад.

— Настя! — вдруг услышала она тихое восклицание за спиной.

Она обернулась. К ней протягивал руки Павлик.

Она взглянула на него и отшатнулась. Боже ты мой, что они с ним сделали! Павлик был худой, черный, оборванный. «Где же твои синие, веселые глаза, Павлик?» — чуть не закричала она. От него пахло потом и горькой махоркой.

Он восхищенно глядел на нее.

— Вот ты какая стала! — растерянно пробормотал он и почтительно опустил руки.

— А ты... вот ты какой!

Он только сейчас заметил ужас в ее глазах и опустил голову.

— Какой? — спросил он, глядя в землю. — Страшный?

— Д-да-а... страшный. Черный весь.

Он засмеялся отрывисто и горько.

— Это хорошо, что страшный, — улыбаясь, сказала она и положила ему руки на плечи. — Страшный — значит, честный.

— Да, — горячо ответил он и жадно схватил ее руки. — Я перед тобой чистый и честный, Настя.

— А перед всеми? — осторожно спросила она.

— И перед всеми.

Она радостно засмеялась.

— А я? Страшная я?

— Ты? — восхищенно воскликнул он. — Ты стала большая... Красивая...

— Но я тоже... честная, — прошептала она, опуская глаза.

— Перед всеми?

— И перед тобой тоже.

Он тихо, благодарно сжал ее руку в своей. Теперь они стояли молча, не глядя друг на друга.

С тяжким стоном упало дерево в саду.

— Что это? — вздрогнул Павлик.

— Немцы сад рубят... — ответила Настя.

Ее лицо вдруг покрылось краской. Он покраснел тоже.

— Наш сад? — прошептал он. — Помнишь?

— Помню, — чуть слышно ответила она. Он не услышал ответа, а почувствовал его губами, как тот первый и единственный поцелуй в саду.

— Там еще дерево было... — задыхаясь, сказал он. — Помнишь?

— Помню.

— Я вырезал на нем буквы: П и Н.

— И сердце.

— Помнишь?

— Помню.

Опять завизжала пила, зло, иступленно...

— Вот они сейчас по этому сердцу... пилой... — нервно сказал Павлик. — Черт! Не могу я этот звук слышать! Пойдем, Настя!

Они пошли дальше вдоль забора и остановились у большого камня под липой. Это было место их давних встреч, с восьмого класса. Настя села на камень, Павлик опустился подле нее на желтую траву. Оба молчали. Чуть слышно, точно комариный звон, доносилось сюда пение пилы. Настя смотрела прямо перед собой в пустырь. Она все хотела спросить, где был Павлик, что делал, но что-то мешало ей спросить, она и не знала — что.

— Ну, а где наши?.. Весь десятый «б»? — спросил Павлик.

— Кто где...

— Да... Разбрелись, рассеялись. Где Федор? Пом-

нишь, он все мечтал конструктором стать? Изобрести вечный двигатель. Смешной Федор!

— Он в армии. Вестей от него нет. Может, и убит.

— Счастливый!

— Что убит счастливый? — усмехнулась Настя.

— Нет, что он там, счастливый. А если и убит, все счастливее нас. Мы все равно подохнем... пропадем, как бурьян...

Настя ничего не ответила.

— Ну, а подружки твои где? Маруся?

— В тюрьме...

— Галя?..

— В Германии...

— Лиза?

— Она теперь Луиза.

— Немцам продалась? — усмехнулся Павлик.

— Нет. Теперь она с итальянцами. Говорит, немцы — свиньи, а эти — ничего.

— Стерва!

Теперь где-то близко от них застучали топоры и с шумом упало дерево. Забор задрожал. На ребят посыпались мокрые листья и щепки.

— Рубят! Рубят! — нервно сказал Павлик. — Все поколение наше рубят под корень...

— Не вырубят, — тихо сказала она.

— Может быть, — зло пожал он плечами. — Но искалечат все. — Он встал и стряхнул с брюк листья. — Пойдем походим?

Они пошли через пустырь.

— Ты, Павлик, горький стал... злой... — сказала она тревожно и вдруг спросила, замедляя шаг: — Где же ты был, Павлик, что делал?

Он усмехнулся и остановился.

— Это большой рассказ, Настенька, — сказал он, качая головой. — И я тебе его рассказывал много-много раз...

— Мне? — удивилась она.

— Да. Мысленно, — засмеялся он. — Шел сюда и всю дорогу рассказывал, рассказывал тебе... А пришел — и не знаю, с чего начать.

— С заметки в газете, — тихо, не глядя на него, сказала она.

Он вздрогнул:

— Ты читала?

- Да.
- И прокляла?
- Нет. Пожалела...

Он страдальчески сморщил мальчишеские брови.

— Это не надо... Это зачем? Жалеть не надо было. Это мне обидно. Надо было понять.

— А как же это понять? — сказала она чуть слышно. — Я пыталась...

— Понимаешь? — горячо сказал он и схватил ее руку. — Понимаешь, все случилось как в дурном сне... толчками... Вот были наши... вот их нет... и вот — немцы... Я растерялся... Я ничего не успел сообразить. Что делать с собой, как жить? И вдруг — повестка... Так неожиданно... Вызывают в редакцию их газеты. Но почему меня? Я потом узнал от сотрудников, что вызвали всех, кто работал в «Большевистской правде». Но ведь я не работал там... Я только печатал там иногда стихи. Помнишь?

Она кивнула головой и покраснела. Она вспомнила стихи о школе и парусе. Они были посвящены ей. В газете так и стояло: «Посвящается Н.». Только одна буква, но в десятом «б» все отгадали сразу. Настя рассердилась на Павлика. Они не разговаривали тогда три дня.

— Это Иверский, хромой черт, меня впутал! — продолжал Павлик. — Бездарный поэт... Понимаешь, такая бездарная сволочь!.. А у немцев он стал главной фигурой редакции. Он-то и впутал нас всех. Он и список составил. Ну вот. Что было делать мне? Что было делать?

Он умоляюще посмотрел на Настю. Настя молчала.

— Да... — сказал он задумчиво. — Надо было не идти. Но, понимаешь, я так растерялся... И мать, — он горько усмехнулся, — мать вцепилась в меня, плачет: иди и иди, убьют! Ну и... я пошел. Пошел, чтоб отказаться, объяснить, что тут ошибка, что я не газетный работник... Но меня никто и слушать не захотел. В редакции сидел офицер из гестапо. Все ходили на цыпочках. Иверский ткнул мне заметку и сказал: «Обработайте!» Ну я и... обработал. Безобидная заметка, пустая... Пять строк. И подписывать такие не принято, а Иверский взял и нарочно подписал мое имя и фамилию полностью. Когда я увидел это в газете, — сказал он, кусая губы, — я сразу же подумал о тебе, Настя...

Павлик опустил голову, стараясь подавить слезы. Настя молчала.

— Так меня заклеямили, — продолжал он, проглотив

комков,— и Иверский сказал мне, что теперь я должен написать стихи — оду на приход немцев в наш город. Я ответил, что не умею писать од. Он ответил: «Попробуйте!» Я сказал, что быстро вообще не умею писать. Он дал мне три дня сроку и отпустил домой. И вот я остался один на один с собой... дома... Я метался эти дни, Настя, метался так, что передать тебе этого не могу. К бумаге я не прикоснулся. Я знал, что таких стихов я написать не смогу. Вот я весь перед тобой, Настя,— сказал он, глянув ей в лицо в первый раз за все время своего рассказа.— Я все говорю, что было, хоть и горько это мне... заметку, еще одну, заметку я бы, может, и написал... но стихи! Стихи! Они ведь сердцем пишутся, ты знаешь!

— Ну? — тихо спросила Настя.

— И тогда я решился бежать. Прочь из города. И убежал.

— Я знаю... а то бы я не пришла...

— Да? — усмехнулся он.— Я так и думал...

— Тебя искали...

— Да... Мать рассказывала мне... Ну вот. Я решил пробираться к нашим. Но у Дона меня схватили немцы, избили и швырнули в вагон. А потом повезли. Куда — не знал я. Может, в лагерь. Может, в Германию. Только далеко за Днепром я сбежал из эшелона и остался один на чужой земле...

Он провел рукою по лбу.

Настя молчала.

— Неизвестные для меня места! — продолжал Павлик.— Тут давно уж и войны нет. И немцы в городах, как у себя дома. В Киеве по улицам кадетики бегают. Народ замучен, забит. Я шел через все это, как сквозь ночь, и думал: а мне куда же идти, что делать? Кто я такой, Павел Бажанов?

— Как кто такой? — сказала Настя.— Ты — комсомолец.

— Да? — усмехнулся он и грустно покачал головой.— Это еще неизвестно...

Она удивленно взглянула на него.

— А ты думала когда-нибудь, Настя, почему, почему ты, я, наши ребята из десятого «б» — комсомольцы? Думала? И я — нет. А тут задумался. И сильно.

— Не понимаю я... — мучительно вздохнула Настя.

— А ты спроси себя: «Почему я комсомолка?» Ведь

и ты, и я, и все просто так вошли в комсомол, без мучений, поисков, выбора, а многие и без раздумья.

— Нужно... мучиться?

— Нужно! — убежденно сказал он. — Человек проходит сквозь муку, как сталь сквозь огонь, и тогда становится человеком. А мы сначала надели красные галстуки, потом комсомольские значки. Очень просто. И стали мечтать о жизни... И так мы о ней сыто мечтали, что даже вспомнить стыдно. А тут, — грубо перебил он сам себя, — тут волчья жизнь встала передо мной. А я один. Никого нет. Понимаешь?

— Это я понимаю... — прошептала Настя.

— Мы все остались одни, каждый наедине со своей совестью. И каждый сам за себя должен был свой путь в жизни выбрать.

— Каждый думает, как бы свою жизнь спасти, а надо бы думать, как спасти душу, — пробормотала она.

— Что?

— Это мой отец так говорит.

— Душа! — засмеялся он. — У нас в десятом «б» о ней и не вспоминали. Я и не знал, есть ли она у меня, душа-то, или нет — пар... А как засочилась она кровью — тут я ее и услышал.

— Что ж услышал?

Он не ответил. Он стоял, вытянув голову, прислушивался к чему-то.

— Опять пила? — спросил он неуверенно. — Или мне кажется?

— Тебе показалось...

— Да! — Он нервно и смущенно усмехнулся. — Теперь будет пила! А там, за Днепром, мне все шаги чудились... Все казалось мне: у меня за спиной — шаги... Да, так о чем же я? — сморщил он лоб.

— Ты постарел, Павлик! — вдруг заметила она. — Ты теперь старый-старый...

— Да, восемнадцать лет.

— Больше! Тебе больше.

— Да, больше, — согласился он. — Семнадцать с половиной лет и полгода под немцем. Да, так о чем же я? Да! Остался один. Один, наедине со своей душой. — Он усмехнулся. — Один! А я никогда раньше не был один. В кино мы и то ходили коллективно, помнишь?

— Помню.

— А тут я — один, и много дорог передо мною. Да

не дорог — пусть тропинок, тем выбирать трудней. И я должен был сам выбрать.

— Выбрать? — спросила она.

— Да, выбрать. А что?

— Ничего... Ты говори...

— Видишь, там, за Днепром, журналы выходят. Порусски и по-украински. Брошюры. Газеты. В них расписывается всеми колерами райская жизнь в Германии. Германия называется Европой, а вы, мол, русские, — азиаты, и вы Европы не видели и не знаете. И не смеете судить. И каждый день в этих газетах оплевывалось самое святое, что было у нас с тобой... И я читал... Понимаешь?

Она молчала и внимательно смотрела на него.

— Я все читал. Одно за другим. Я глотал это, как яд, и говорил: попробуй отрави мою душу! Ну? И, проглотив, отбрасывал прочь. Не яд — рвотное. Тошнит. — Он сплюнул. — Но были и другие брошюрки. Похитрей. Они были написаны... как бы тебе объяснить?.. Шепотком. Понимаешь? Вкрадчивым таким шепотком, в самое ухо... Они и о социализме шептали. Очень туманно, чуть слышно, но все-таки! И больше всего о культуре. Заманчивое слово! Да? Или об украинской нации. Или о миссии молодежи. И в этих брошюрах нашему брату, русскому молодому человеку, даже льстили. И это я читал. И над этим сам один думал... Я не поседел? — вдруг спросил он.

— Нет... Не видно...

— И мать говорит: «Нет! Это у тебя волосы выгорели». Но заплакала все-таки... Да, так о журналах... Еще были журналы литературные. Там можно было тиснуть стихи и не на политическую тему. А так, ни о чем... Понимаешь?

— Нет, — сказала Настя.

Он засмеялся.

— И я не понимаю. Но, говорят, можно. Ну, о синем небе, о голубых глазах. Ни о чем. Некоторые писали. И кушали. А я голодал. Зверски голодал я, Настя, и рассказать даже трудно как! Картофельная шелуха была для меня пиром. А помойки... Знаешь, Настя, я теперь уважаю помойки. Чрево Парижа! А со стен мне кричали плакаты: «Молодой человек! Тебя ждет Германия!» А петлюровские клубы распахивали двери: «Молодой человек! Иди веселись, танцуй и забудь, что у тебя душа

в крови!» А желудок урчал: «Пиши стихи в журналы, ну хоть ни о чем, и кушай!»

— А душа? — тихо спросила Настя.

— Что душа?

— А душа что говорила тебе?

— О душе потом. Я хочу только сказать, что надо было выбирать. И я выбирал. Я, как вожжи, взял в руки все эти дороги, дорожки, тропинки — стал разбирать. Куда мне коня моего дернуть. И вдруг оказалось, что дорог всего две. Тропинок, тупичков много, а дорог, Настя, только две. Немцы или Россия. И я, — сказал он тихо, — я выбрал.

— Что же ты выбрал, Павлик? — чуть слышно спросила она.

— Я скажу... Но сперва ты вспомни: я был один. И вокруг меня волчья жизнь. И зверски голодал я. И душа, и морда в крови. И шаги за спиною. И все, что я считал святым, оплевывалось каждый день. И где-то далеко-далеко Красная Армия, и даже неизвестно, есть ли она еще или нет... И я выбрал, — сказал он, не глядя на Настю, тихо и проникновенно, — большевизм, Россию, комсомол.

Настя вдруг радостно и облегченно вздохнула.

— Павлик! — закричала она. — До чего же ты подлый, Павлик! Можно ли так рассказывать? Я бог знает что уж думала о тебе.

— Только я теперь, — торопливо сказал он, — не такой комсомолец, каким раньше был. Я теперь такой комсомолец, который за свои убеждения умереть не побоится. Ты понимаешь, да?

— Да.

— И если бы теперь меня пригласили повесткой в их редакцию, — усмехнулся он, — я бы знал, что делать. — Он взял ее руки в свои и заглянул в глаза: — Вот тебе, Настя, и вся повесть о моих скитаниях. А ты? Теперь ты расскажи. Чем ты мучилась, как ты выбирала, искала?

— А мне и рассказать нечего, — усмехнулась она. — Где мне о таком думать! Это ты у нас в классе был самым умным, еще тебя девочки философом дразнили. А я обыкновенная девушка. Я просто живу, как совесть велит.

— Совесть! Хорошее слово, — сказал он, усмехаясь. — Жаль, нам редко говорили его,

— А зачем его говорить? Совесть надо иметь, а говорить о ней не надо...

Он посмотрел на нее нежно, внимательно.

— А ты тоже стала старше, Настя,— сказал он.

— Старая!

— Нет. Но ты все была девочка. А сейчас девочек нет...

— Да, нету...

— Я тебе много нежных слов нес, Настенька! — тихо проговорил он.— Сколько есть в языке — столько нес, да еще много сам выдумал.

— Не надо! — испуганно сказала она.

— Я их так бережно нес, чтоб не пролить, не обронить на дорогу.

— Не надо! — снова попросила она и закрыла лицо руками.

— Не надо? — грустно усмехнулся он.— Хорошо, я не буду.— И он покорно опустил руки.

— Сейчас о своем счастье не надо думать... — прошептала она.— Стыдно.

— А о любви?

— И о любви... Не надо. Я и так знаю.

— А я?

— И ты знаешь.

— Настя! — рванулся он к ней.

— Не надо! — строго остановила она.— Сейчас не надо. Потом.

— Потом? — горько засмеялся он.— Да будет ли оно для нас, это «потом»?

— Будет! Будет, Павлик!

— Хорошо! — сказал он обиженно.— Я не буду. Я ведь только потому и хотел сказать тебе о... любви, что эта встреча у нас — здравствуй и прощай. Ухожу я.

— Уходишь?

— Да. Завтра.

Она ничего не спросила, только сердце вдруг защемило...

— Я к нашим решил пробираться, Настя,— тихо сказал он.— Мне восемнадцать, я уж могу драться.

Сияя гордостью, он посмотрел на нее и спросил:

— Правильно?

— Да-да,— нерешительно ответила она.— Правильно... Так легче.

— Легче? — удивился он. Он не такого ждал ответа.

— Да, легче. Там дерутся в открытую, а если умирают — так среди своих.

Он рассердился:

— А как же иначе? Иначе как?

— Как мы деремся, — коротко ответила Настя.

— Кто — вы?

— Подпольщики, — тихо прошептала она.

Он удивленно посмотрел на нее.

— А подполье есть? Есть? — спросил он шепотом.

— Есть, — пожала она плечами и, посмотрев на него, покачала головой: — А ты, Павлик, всю Украину прошел и ни партизан, ни подпольщиков не встретил?

Он опустил голову.

— Я ведь рассказывал тебе, — сказал он, оправдываясь. — Я искал, мучился, выбирал...

— А они дрались и умирали, — тихо закончила Настя. И вздохнула: — Эх, Павлик!

Он молчал, не подымая головы.

Потом он спросил осторожно и тихо, все так же не глядя на Настю:

— А мне к вам... можно?

— Она радостно улыбнулась:

— Конечно, Павлик.

— Ты веришь мне?

— Как же не верить, — просто ответила она. — Ведь я же тебе сказала: люблю...

9

Тарас возвращался в родной город... Он торопился. Три месяца не был он дома и вестей оттуда не имел. Живы ли еще домашние, целы ли?

Где-то в пути и новый, сорок третий год встретил. Заря занималась алая, кровавая... «Кровавый будет год! — покачал головой Тарас. — Кровью покорены, кровью и освободимся».

Трудны теперь стали дороги, которыми он шел. Настоящего снега все не было, и осенняя грязь застыла мерзлыми кочками, идти было тяжело. Хорошо, что захватил с собой для обмена меховой пиджак, обменять не пришлось, зато самому пригодился.

Тарас торопился. Тащил он семье мешок зерна да немного картошки — все, что сумел добыть в разоренных селах. Но главное — нес радостные вести домой. Может

быть, знают они, а может, и не знают. Закупоренно живут... Вот он и расскажет им, торжественно и неторопливо, что у немцев под Сталинградом неустойка вышла. И есть слух: ударили наши на Дону. Крепко ударили.

Он узнал об этом от людей на большой дороге,— здесь вести разносятся быстро. Подтвердили и те, к кому зашел он по Степановым адресам. Да и у самого Тараса глаза есть. Большая дорога — как открытая карта, ее только надо уметь читать. «Ишь, заметались немцы, забегали!..» — злорадно примечал Тарас.

Как-то, ночуя в селе, услышал он голоса и суету на дворе. Встал, вышел. Весь двор был полон полицейскими. Они суетились и галдели подле брички, и Тарас догадался: удирают. Он прислушался. «Господа, господа! — надрывался один. — Надо начальника подождать. Он прикажет». — «Да чего там! — кричал другой. — Нет, господа, поехали». — «Да нельзя же, господа!» Только и слышно было на все лады: «Господа! Господа!» — и Тарас не выдержал и расхохотался.

— Господа-то господа! — сказал он, лукаво прищуриваясь. — А товарищи... догоняют! А?

Эту весть он и нес домой, как самое дорогое: наши погнали немцев.

Вот придет он домой, соберет своих и скажет: «Поздравляю вас, семья моя! Идут наши!» И посмотрит на Андрея. Обязательно посмотрит. Ничего не скажет, а посмотрит. Пусть опустит голову сын.

А потом призовет к себе Настю. Сперва выпорет... Ну, это так, для слова сказано. Пороть он, конечно, не будет, а отругать — отругает. «От отца, — скажет он ей, — ничего нельзя таить: ни жениха, ни дела». А отругав, скажет строго: «Приказал тебе, Настя, славный наш партийный секретарь, а мой сын, а тебе он — брат, Степан Яценко, беспрекословно приказал тебе свести и меня к верным людям, о которых тебе известно. Ну, веди!»

А уж потом обойдет стариков. Всех, кто жив еще, кто еще дышит. С каждым поговорит отдельно, осторожно, как Степан учил. Но слова каждому скажет свои.

Скажет: «В одиночку-то мы все честные... Только честность свою в сундуке хороним, как невеста приданое. Нет, ты честность свою на стол клади, в борьбу кидай!».

Но вот и город уже недалеко... Его еще не видно, он скрыт туманом, но сердце уж чувствует его, торопит... Вот и трубы заводские показались.

Тарас остановился и снял шапку.

Многотрубный город, как большой корабль. Трубы, трубы, трубы... Сейчас они мертвы, и дым не волнуется ни над одной, а бывало, Тарас различал каждый дымок, знал каждый гудок по голосу...

— Доживу! — сказал он, сжимая кулак. — Доживу! Задымят, как прежде. Ничего. Доживу!

И он толкнул свою тачку вперед.

Расступились перед Тарасом окраины, побежали вниз, к центру, улицы. Каждый камень здесь знаком Тарасу. Каждая крыша. Он растроганно глядел на знакомые улицы.

— Все, как было! — обрадованно улыбнулся он. — Все как было. Как не может чужеземец душу нашу переменить, так не может он и города наши и обычаи наши переделать на свое. Все как было...

И только этого не было — виселицы. Тарас невольно остановился.

Много виселиц было на его пути, мог бы и привыкнуть. Но к виселице привыкнуть нельзя.

На этой виселице висела девушка. Тоненькая, худенькая, словно подросток. Девичья головка ее беспомощно свесилась на плечо и застыла.

Тарас шагнул ближе, всмотрелся и вдруг закричал так страшно, что камни мостовой должны были б задрожать:

— Настя! — И грохнулся на мостовую без чувств.

...Он очнулся дома в постели, над ним склонилось заплаканное, сморщенное лицо жены.

— Мать! — тихо позвал он. — Что же ты дочку-то? Дочку-то?..

Она припала к его груди и заплакала.

Он провел рукой по ее седым волосам.

— Молчи, мать, молчи! — сказал он чуть слышно. — Насте слез не надо. — И разрыдался сам.

Павлик стоял у дверей опустив голову, — плакать он уже не мог. Это он нашел и привез на тачке Тараса. Он узнал его по страшному крику: «Настя!» Он и сам в первый день кричал так.

А плакать он уже не мог. Два дня простоял он у виселицы, подле Насти. Его никто не гнал, — немцам те-

перь было не до него. Он смотрел в синее лицо Насти, в ее глаза, подернутые тонкой пленкой смерти, казалось ему: Настя с ним разговаривает. Она всегда была молчаливая. Она всегда умела разговаривать молча. «Ты отомстишь за меня, Павлик, правда?» — спрашивала она. «Правда! — шептал он. — Научи, как отомстить за тебя, чтоб ты довольна была!» Она молчала. Только чуть насмешливо кривился ее скорбный рот. Она встретила смерть гордо. Она палачам смеялась в лицо, а Павлику казалось: это она над беспомощностью его смеется. «Только не стихами, Павлик. Стихов не надо!»

— Доченька! Доченька моя! — причитала бабка Евфросинья. — За что ж они тебя, невинную?! Не украли, не обидела...

— Молчи, мать, молчи, — тихо шептал Тарас. — Настю не обижай.

— Хоть похоронить бы дали! — плакала Евфросинья. — Поцеловать глазки ее синие... Обмыть...

— Молчи, мать, молчи! Не такие поминки Насте надо.

— За все отомстят, — тихо сказал Павлик. — Только научите как, чтоб она довольна была.

— Это кто? — спросил Тарас, показывая на Павлика.

— Это Настин товарищ, — сказала Антонина. — Он и привез вас домой.

— Мне моей жизни не жалко, — взволнованно сказал Павлик. — Только что ни подберу — все для Насти мало. Ведь она такая была... такая...

— За нее сыны мои отомстят! — проговорил Тарас. — Народ отомстит, не забудет! — Он вдруг что-то вспомнил и обвел глазами столпившихся у постели людей, словно кого-то искал. — Где Андрей? — спросил он, хмурия брови. — Что ж его в нашем горе нету?

— Андрей? Андрея нет... — прошептала Антонина и вдруг заплакала.

— А где же он?

— Ушел Андрей... Вскоре после вас и ушел.

— Куда?

— Не сказал. Только приказал: передайте отцу, он обо мне еще услышит.

— Та-ак! — сказал Тарас. — Один я! — Он взглянул на заплаканных женщин. — Что ж вы меня в постель уложили? Мне сейчас лежать нельзя. Пустите,

Он встал и медленно разогнул спину.

— Палку мою дайте...— глухо сказал он. — Мне теперь без палки... будет трудно.

Ему подали палку, и, опираясь на нее, он пошел через всю комнату к Павлику.

— Как тебя зовут?— спросил он, останавливаясь перед ним.

— Павел.

Тарас долго и молча глядел на него. Потом тихо произнес:

— Проведешь меня к верным людям... Насти нет, ты меня поведешь. Ничего. Кровью покорены мы, кровью и помстимся. Ничего. Ничего...

На другой день Тарас пошел к Назару. Он нашел его лежащим в белой рубахе под иконами.

— Ты это что, Назар?— испуганно спросил он.

Сосед медленно повернул к нему лицо.

— А-а, Тарас!— бледно улыбнулся он. — Вовремя! Застал.

Тарас сел у постели и осторожно взглянул на Назара. Был сейчас сосед тих и светел, словно от него отлетело уже все земное и покинули его обычная суетливость и суесловие. Он уже простился с землей. Дел у него тут не осталось.

— Нехорошо, Назар!— укоризненно покачал головой Тарас. — Плохое ты время выбрал.

— Не я выбирал. Смерть за мной повестку прислала.

— А ты не иди! Не покоряйся!

— Смерть не немец, ей не покоряться нельзя,— кротко возразил Назар и вздохнул. — О твоём горе слышал, сосед. Всех они казнят, супостаты. Кого быстрой мукой казнят, а вот нас — медленной...

— Нельзя тебе помирать, Назар!— снова сказал Тарас. — Я к тебе с делом пришел.

— Я дела кончил,— тихо прошептал Назар. — В том прости меня, сосед.

Они оба замолчали и задумались. «Вот и пожито на земле много,— удивленно думал Тарас,— и корни пущены, а смотри — уходит человек с земли легко, будто и не жил. Что ж она, смерть? Что ж ее бояться? Умирать легко — жить, выходит, труднее!»

— В чем грешен я перед тобой, сосед,— с тихой торжественностью произнес Назар,— в чем обидел или оскорбил — прости Христа ради, не осуди!



— Бог простит! — ответил Тарас.— А у меня на тебя, сосед, за сердцем ничего нету.

— В том спасибо!

Они опять помолчали.

— Бог? — сказал Назар.— Перед ним, ежели есть он, у меня грехов много. Налипло, по земле-то шествуя, как к колесам грязи... Ну, в том я ему сам ответ дам. Ежели есть он. А нету — черви не взыщут, простят...— И он перевел дух.— Суетен был, корыстолюбив и злоязычен. Закона не соблюдал, в том пусть баба моя мне простит и люди...— Он опять перевел дух и закончил: — А перед родной землей на мне греха нет.

— Нету, Назар,— сказал Тарас,— это все люди знают.

— Придут наши... Ты им скажи, Тарас.

— Скажу! Скажу!

— Так и скажи: жил Назар Горовой непокоренный и умер, не покорясь.

— Скажу, сосед. Это скажу!

— А что гранат я в немцев не кидал,— сказал он тихо, виновато,— в том пусть простят мне... Стар... Да и гранат у меня не было...

Вдруг страшной силы взрыв потряс домик. Задрезбужали стекла.

Посыпалась штукатурка с потолка.

— И умереть не дадут спокойно,— огорченно вздохнул Назар.

Взрывы следовали теперь один за другим. Домик Назара скрипел и стонал на все голоса, все доски в нем дрожали...

Вбежал запыхавшийся Ленька и крикнул:

— Ты здесь, дедушка? Немцы город рвут!

— Что такое? — не понял Тарас.

— Взрывают город немцы! — крикнул Ленька.— Уходят!

— Как уходят?

Тарас схватил свою палку и бросился вслед за Ленькой.

— А не давать им уходить! — крикнул он на ходу.

Он побежал по улице, барабаня палкой в ставни и крича:

— Эй, выходи, народ! Эй, немцы уходят! Не дадим же им уйти! Эй, выходи, мужчины!

Подле него уже собирались люди,

— Та нехай уходят! — крикнул кто-то из толпы. — Мы ж их не звали! Ну и черт с ними, и слава богу!

— Чего ты хочешь, Тарас?

— Не дадим уйти немцам! — кричал он. — Перебьем их тут!

— Без нас перебьют, Тарас!.. Мы ж не военные люди. Нас это не касается.

— Как не касается? — заревел Тарас. — Как это нас не касается? А кого ж? Немцы целые уйдут — вновь заявятся нас топтать, детей наших вешать. Не дадим немцу уйти! В землю их! В землю!

Он побежал, размахивая палкой, в город, Ленька рядом с ним.

Отовсюду уже бежали рабочие, многие с оружием, бог весть откуда попавшим к ним.

С автоматом в руке и гранатами бежал и Павлик. Пробегая мимо виселицы, он оглянулся на Настю. В сумерках не видно было ее лица, только скорбный силуэт синел в озаренном пламенем пожаров небе, но Павлик знал теперь, что Настя благословляет его на бой и смерть.

— Эх, жаль, ружья нет! — горестно крикнул Тарас на бегу. — Эх, ружья, жаль, нету, Ленька!

Они вбежали в центр города, на площадь, еще дымившуюся после взрывов, и сквозь дым и гарь, сквозь тучи кирпичной пыли, сквозь черное пламя, жадно лизавшее камни, увидел Тарас свой город... Дома, вздыбленные в ужасе, скорчившиеся, смертельно раненные, охваченные пожаром, падающие на его глазах грудой черного камня...

Тарас остановился, потрясенный, подавленный новым горем.

— О-о-о-о! — простонал он, хватаясь рукой за сердце.

Что они сделали с городом! Что они сделали, варвары, с сердцем Тараса! Вчера он увидел на виселице синий труп своей девочки, сейчас на костре перед ним корчился его город...

А сквозь дым тайком, как воры, пробирались отступающие немцы. Их машины сгрудились среди развалин улицы, напоззали одна на другую, в панике бегали механики и солдаты, из кабин высовывались офицеры и грозили кому-то пистолетами..

Тарас увидел их.

— Вот они! — закричал он, показывая на немцев

пальцем. — Вот они! Люди, видите их? Бейте ж! Бейте их!

И он поднял над головой свою суковатую стариковскую палку. Был он страшен сейчас, грозен с этой палкой в руках, седой, без шапки, озаренный пламенем горящего города...

— Дедушка! — услышал он голос Леньки. — Вот оружие, дедушка! Бери!

Тарас обернулся на голос. Ленька склонился над чем-то.

— Иди, дедушка, бери!

Тарас побежал и увидел труп немца и оружие при нем.

— Кто его? — хрипло спросил Тарас.

— Кто-то из наших... заводских... Сейчас побежали тут. Слышь, дедушка, стреляют!

— Ага! — зло захохотал Тарас. — Так, так! Давай и мы, Ленька, как люди! Давай! — Он склонился, поднял автомат и гранатную сумку. — А! — сказал он с досадой. — Жаль, не выучился я, как его, черта, кидают — гранату...

— Я знаю, дедушка! — торопливо отозвался Ленька. — Дай покажу!

— На, Ленька, кидай! Кидай, внучек! Кидай, прошу я тебя! А я их из автомата.

Ленька размахнулся, зажмурился и швырнул гранату в гущу немецких машин.

Раздался взрыв и затем сразу же крики, стоны, перепуганные выстрелы...

— Кидай, внучек, кидай! Завыли? Кидай, я тебе говорю! — Но тут он почувствовал, что его что-то ударило в бок, обожгло. — О-о-о! — тихо простонал он и повалился наземь...

— Дедушка! — кинулся к нему Ленька.

— Ничего... ничего... ранило... Ты кидай, Ленька! Кидай, прошу я тебя!..

А дома, в Каменном Броде, бледные женщины сидели за запертыми ставнями и при каждом взрыве вздрагивали и крестились.

— Господи, господи! — шептала бабка Евфросинья. — Защити старого и малого, от смерти укрой...

— И Андрея! И Андрея тоже! — просила Антонина. — Где б он ни был, что бы ни делал — спаси, господи, раба твоего Андрея и грехи его прости.

Андрей шел домой.

Он снова шел домой, но теперь не робко, тропинкой, не в крестьянской свитке, тайком, как беглец, а широкой дорогой боев и наступлений, в армейской шинели.

Где-то у Богучар добрался он наконец до наших войск, он сразу сказал командиру, что хочет опять драться. Он сказал еще, что был в плену и что ему надо искупить свою вину перед отцом и армией и вину эту он сам знает. Он хотел еще прибавить, что не с голыми руками пришел к ним, что, пробиваясь сюда, он и в одиночку и с товарищами не раз нападал на обозы отступающих немцев и бил их, и немало набил. Но, взглянув на суровое, покрытое черной копотью боя лицо командира, ничего не сказал. Что сказать им, стоявшим на смерть под Сталинградом, чем ему перед ними хвастаться? Он был должен сейчас, как они, быть весь в крови и копоти, и чтоб от полушубка пар шел, а на рубахе соль выступала от солдатского труда и пота, и на сапогах снег и грязь всех дорог, от Волги до Дона. Что ж он, чистенький, стоит перед ними, воинами? Ему, беглому солдату, перед ними стыдно.

Андрея долго и строго допрашивали в особом отделе, но не так строго, как он сам много раз допрашивал себя.

Он бы так спросил: «В чем вина твоя, Андрей, перед Родиной?» — «В том вина моя, что я смерти убоился». — «А еще в чем?» — «А еще в том, что я веру потерял». — «Отчего же случилось так, Андрей?» — «Оттого, что душа у меня была бедная...» — «А теперь не боишься смерти?» — «А теперь не боюсь». — «Где ж ты смертного страха лишился, Андрей?» — «В рабстве. Рабство горше смерти». — «И там же веру нашел?» — «Нет. Нашел ненависть. Она веры крепче». — «Чего ж ты хочешь теперь, Андрей?» — «Оружия прошу. И места в строю, товарищи». — «Зачем тебе оружие, Андрей? Чтоб прощение отца заслужить?» — «Мне его прощения мало». — «Чтоб вину свою перед Родиной искупить?» — «Мне и этого мало. Для одного боя хватит. А я к вам на все бои пришел». — «Чтоб ненависть свою насытить?» — «Ее насытить нельзя. Она — смертная». — «Зачем же тебе оружие, Андрей?» — «Чтоб до конца драться! До победы! На меньшем я не помирюсь».

Так его не допрашивали в особом отделе. А может, и спрашивали, но другими словами, и, внимательно поглядев на него — так, словно в душу глянули, — поверили и направили в строй. Тут ему дали оружие. Он взял винтовку. Она была совсем такая же, как и та, брошенная им в кукурузу, когда сдавался немцам, — обыкновенная, русская, трехлинейная, с золотистой ложей и граненым штыком. Отчего же раньше была она для Андрея бесполезным дреколем, а сейчас показалась грозной силой?

Андрея поставили в строй. Но прежде чем повести пополнение в огонь, командир роты вывел новичков на поле вчерашнего боя и сказал:

— Смотрите!..

И они посмотрели...

Черным снегом было покрыто поле, все истоптанное и истерзанное, сладковатый запах пороха еще витал над ним. А повсюду, как дохлые кони, валялись немецкие танки, обгоревшие и исковерканные; немецкие пушки покорно подымали вверх стволы, как пленные подымают руки; скрючившись и окоченев, лежали околелые немцы: грязные рыжие волосы уже примерзли к земле, в раздавленных касках застыл лед.

От всего поля, перепаханного трактором войны, от поверженного в прах вражьего железа, от могучих следов гусениц наших танков исходил густой и терпкий запах победы, и, глотнув его полной грудью, Андрей подумал с завистью: «А меня тут не было!»

Он сейчас завидовал тем неизвестным солдатам, — может, землякам, — что прошли здесь вчера со славою, громя немцев на Дону, гоня их на запад.

— Смотрите! — строго сказал командир. — Смотрите, как наши люди бьются! Как русские немца бьют.

— Что ж! — ответил Андрей, кусая губы. — Дайте и нам подраться.

— Драки просим! Драки! — нетерпеливо закричали новички. Их будоражил вид и запах победного поля, и их кровь зажигалась пламенем победы.

— Будет вам драка! — усмехнувшись, сказал командир.

На заре они пошли в бой. Они влились в великий поток наших войск, наступающих на врага, и Андрею повезло участвовать в том знаменитом зимнем марше от Волги до Днепра, о котором еще будут писать историки.

Они шли на запад... Навстречу попадались длинные, унылые колонны пленных немцев. Немцы шли в зеленых шинелях с оборванными хлястиками, без ремней, уже не солдаты — пленные, и Андрей злорадно усмехался, глядя на них: «Ага! Вот вы, непобедимые, ну-ну!» И яростнее кидался в огонь. Бывалые бойцы учили его ремеслу воина. Они знали теперь то, чего не знал он и знать не мог, — он был в плену, а они в боях. Бой — лучшая академия. Зато он мог научить их ненависти. Он рассказывал им о городах, стонущих под сапогом врага.

Он говорил им:

— Если б знали вы, с какой тоской и верой ждут нас там, вы дрались бы еще злее!

Когда Миллерово было взято дивизией, где служил Андрей, и села окрест очистились от немцев, Андрей показал товарищам:

— Вот здесь был лагерь смерти!

Он стоял, опаленный боем, окрыленный победой, и глядел на этот пустырь. Еще болталась ржавая колючая проволока... Снег лежал на ней... Он глядел на нее и чувал, как снова закипает в нем жажда мести. Ее ничем не утолить. Под напором советских войск один за другим освобождались города, но Андрею всего было мало. Со смертной тоской ждут, может, об Андрее и не думают, — отец проклял, жена не простила. Ждут штыка русского. Но вот штык в Андреевых руках. Ждут его или не ждут — это он несет им свободу. Это он через дым и кровь рвется домой.

Может, живой и не дойдет. Он не боялся смерти. Он не отлеживался от нее. Командиру отделения, сержанту Власову, он сказал в первый же день:

— Если убьют, сообщите родным. Адресок — вот он!

Но он знал: теперь и мертвый он дойдет домой.

Ему повезло. Он дошел живой. Ранним утром — еще темно было, и город утонул в сером мраке — ворвался он одним из первых в город. На знакомых, родных улицах докалывал он последних немцев.

Ему разрешили забежать домой. Он не постучал в окошко, вошел стремительно, рванул дверь.

— Андрей! — закричала Антонина и бросилась к нему.

Он осторожно обнял ее. Он боялся быть нежным. Пламя боя горело на его черных щеках.

— Папка пришел! — радостно завопила Марийка. — Папка наш совсем пришел!

— Не совсем, дочка! — ответил он. — Мне еще далеко идти.

Он обвел семью жадным, нетерпеливым взором, но отца не нашел.

— Где отец? — хрипло спросил он.

— Он у себя лежит. Раненый, — торопливо ответила Антонина.

Андрей вошел к отцу.

Тарас лежал в постели и на Андрея взглянул, как тому показалось, насмешливо.

— А-а, Андрей! — усмехаясь, протянул старик.

Андрей со злостью сорвал что-то с груди и, зажав в кулаке, сказал отцу:

— Здравствуйте, тату! И прощайте! А это, — он швырнул что-то на стол; тускло звякнуло оно, как полтинник, — жив ли буду или погибну — берегите! — И убежал прочь.

Тарас слабым голосом позвал жену.

— Покажи, что он там кинул!

Бабка Евфросинья подала ему медаль.

— «За отвагу», — прочел Тарас и опять усмехнулся: — Убежал? Гордый черт, моей крови!

Убежал Ленька, как всегда, запыхавшийся, как всегда, с новостью.

— Дедушка! — закричал он. — Наши идут и идут!... Полный город войск! И танки!

— Эх! — слабым голосом произнес Тарас. — Вот беда, не могу я встать! Раненый... А то вывел бы я все свое семейство перед бойцами и самому старшему командиру сказал бы: «Могу тебе, командир, прямо в глаза смотреть и всем твоим воинам. У моей фамилии душа перед Родиной чистая...»

— А Насти нет! — прошептала бабка Евфросинья. — И от Никифора сколько месяцев вестей не было.

Никифор, младший сын Тараса, еще осенью был ранен под Сталинградом. Его увезли в госпиталь, за Волгу.

Врач, оперировавший его, сказал:

— Жить вы будете, а воевать уже нет — не придется.

Никифор заскучал и спросил врача:

— А что ж я теперь делать буду?

— Что до войны делали?

— Рабочий я. Металлист. Монтажник,— ответил Никифор. — Домны я строил, например...

— Ну и очень хорошо! — обрадовался врач. — Будете домны строить!

Рядом с Никифором в палате лежало много бойцов. Соседом по койке был примечательный человек, сержант Алексей Куликов, родом пензенский.

— Я, брат,— сказал он Никифору,— в среднем ремонте не первый раз. Починят — и опять пойду. На мне рана заживает быстро.

И действительно, поразительно быстро заживали его раны, даже врачи удивлялись. А Куликов усмехался:

— У нас, у Куликовых, шкура крепкая, к лечению способная. Деды без дохтуров жили, сами раны заживляли. А у меня какие раны? Так, ранения!..

Никифору все было неловко, что с ним здесь так пнячатся. Соскребли с него окопную грязь, отмыли, отбелили и положили в чистые простыни, тихого и просветленного. Никогда и никто так не заботился о его теле. Это тело любила мать и, бывало, ласкали бабы, и сам он двадцать семь лет таскал его по грешной земле; нынче, дырявое, все побитое осколками, оно досталось чужим людям — врачам да сестрам. И вот, гляди-ко, они ухаживают за ним так, точно он — драгоценный сосуд. Даже совестно.

Справа от него лежал боец без руки. Он все, бывало, ворчал, недовольный и едой, и врачами, и палатой. Алексей Куликов слушал-слушал да и спросил однажды:

— Ты что, мил человек, шорник сам?

— Это почему же шорник? — опешил тот.

— Али сапожник? — допытывался Куликов. — Который человек сидячего ремесла, тот поворчать любит. Работа скучная, одинокая — он и развлекает сам себя.

— Ложечник я! — сердито закричал ворчун. — Ложки делал! Вот кто я, если желательно знать. Может, я первый ложечник был на всю Горьковскую область. Может, моей ложкой вся Расея щи хлебала. А теперь меня самого с ложки кормят, руки нет.

— Какой руки-то нет? Правой, что ли? — спросил Никифор.

— А хотя бы и левой! Лучше б мне герман обе ноги оторвал. На что мне ноги? Не плясун. А без руки — куда же я?

— Была бы правая...— утешительно сказал Куликов. — А без левой и приспособиться можно.

Но на безрукого добрые слова действовали мало, ворчал он по-прежнему.

— Чего меня лечите? — бурчал он на врачей. — Меня лечить без надобности. Отвоевался я. Вы Куликова лечите, он еще гош для боя.

— Ну что ж! — отвечали врачи. — Куликова вылечим для боя, а тебя для жизни.

Эти слова поразили Никифора, он их слышал. И Куликова, видно, поразили они. Вечером Куликов подошел к соседу и склонился над ним.

— Для жизни тебя лечат! — проговорил он. — Слышь, сосед, слова какие? Для жизни! Хорошие слова! Возьми, к примеру, машину, трактор. Переломай ты ему гусеницы, дифер, кузов, что получится? Лом. Не машина это будет, а железный лом. Только всего. А у человека руки оторви, ноги выдерни — он человек был, человеком и остался. Слышь? Потому в нем душа есть, разум. — Он совсем близко наклонился к соседу и дышал ему в лицо. — Не расстраивайся, земляк, слышь? Живи. Очень я тебя прошу. Живи для жизни.

И, слыша эти слова, задумался о жизни и Никифор. Горько было ему, что не доведется больше покурить с ребятами махорки в блиндаже, не бежать ему вместе, рядом в атаку, когда смертельно весело грохочет артиллерийский гром, смерть жарко дышит в лицо и от ее дыхания жутко, и весело, и буйно на душе... Он теперь знал, зачем остался жив на земле, зачем будет жить долго и плодоносно: для большой жизни остался он жить, для труда. Выписываясь из госпиталя, он долго тряс руку Куликова.

— Домой идешь? — спрашивал сержант.

— Вроде домой, — улыбаясь, отвечал Никифор. — Собственно, дом-то еще под немцем. Но предполагаю так: освободят! А? Как думаешь?

— Освободят! — уверенно отвечал Куликов. — Ну, иди. А я еще за пулей схожу. Я еще драться не кончил.

— И я б... пошел... — смущенно сказал Никифор. — Да вот костыли не пускают...

— Ничего, ничего! Иди домой! Без тебя управимся. — Он опять потряс руку Никифора. — Домой идешь? Святое дело, брат! Все мы отвоюем — домой придем.

В эти дни наша армия, разбив немцев на Дону, гнала их донскими степями.

— На мой дом направление наши держат! — восклицал Никифор. — Как есть на мой дом, по курсу...

И он решил идти вслед за наступающей армией.

Попутные машины охотно брали его.

— Давай подвезем! Далеко? — спрашивали его шоферы.

— Оно и далеко, и близко, — отвечал, пожимая плечами, Никифор. — Вообще-то оно близко, а поскольку не в наших руках — далеко. Ну, думаю, пока на костылях дошкандыбаю, возьмут, а?

— Раньше возьмут! — отвечали веселые шоферы.

— И я предполагаю — раньше. Торопиться надо.

Он торопился. Он шел и ехал по освобожденной земле, ночевал в освобожденных селах. Его всюду пускали охотно, ему уступали лучшее место.

— Это не мне, — догадывался он, — это костылям моим. Это крови моей пролитой почет.

И он знал, что за это благодарить неловко, нельзя; вместо благодарности он рассказывал хозяевам о Сталинграде. Он говорил о Сталинграде и шоферам, подвизившим его, и бойцам, кормившим из своих котелков. Его слушали охотно — и он, и его костыли уже принадлежали истории.

Но чем дальше шел на запад Никифор по освобожденной земле, тем все больше захватывали его другие заботы и мысли. Он видел: вставала земля из пепла, непокоренная земля, неистребимая жизнь.

В поселках бабы в голубой колер мазали хатки.

— Эй! — кричал он им. — Больно рано, бабоньки. До пасхи далеко.

— Та хай ему черт! — смеясь, отвечали бабы. — Гибельштрассе замазываем... — И они показывали ему на немецкие надписи на хатках: «Геббельштрассе», «Герингштрассе»... Бабы с яростью замазывали немецкие следы.

В селах озабоченные мужики из-под снега выкапывали колхозное добро, из сокровенных ям доставали зерно — готовились к севу.

Хмурый мужик по-хозяйски прилаживал к плетню, вместо калитки, дверцу от немецкого автомобиля.

— Ты что ж это? — смеялся Никифор. — Трофеем обзавелся в хозяйстве?

— А что ж? — спокойно пожал плечами мужик. — Они у меня весь двор разорили...

В Бельске Никифор увидел первый торгующий магазин — книжный. Все здания вокруг были сожжены и разрушены, книжный магазин уцелел чудом. В витрине вовсе не было стекла, но книги лежали аккуратными стопочками.

— Так покрадут же! Покрадут! — сказал продавцу Никифор.

— Не украдут! — убежденно ответил продавец. — Народ под немцем жил, на их посулы не льстился. Что ж его теперь сомнением обижать? Нашему народу верить можно.

Как на праздник, выходили люди на постройку мостов и дорог: они стосковались по свободному труду, как по хлебу. Подле обугленных заводских корпусов собирались рабочие. На шахтах, не ожидая приказа, откачивали воду. Мастера суетились на кладбищах паровозов. Рылись в снегу, по-хозяйски подбирали болты и гайки. Женщины сносили в школы мебель. Из лесов и балок возвращались партизаны. Все было охвачено жаждой восстановления. Земля подымалась из пепла. Люди не хотели ждать, не могли ждать — в поле, где вчера прошел бой, сегодня выходили колхозники.

И Никифор почувствовал, как у него начинают нетерпеливо гудеть руки. «Эх, работы сколько! Работы!» — жадно думал он, глядя на мертвые цехи.

Это не усталый, больной солдат шел с фронта — это шел строитель. Жадный. Нетерпеливый.

Перед ним лежала земля, как и он, тяжело раненная. Над шахтами горько склонялись разрушенные копры. Железные мосты вскарабкивались на деревянные костыли. Всюду кровоточили раны.

— Ничего! — говорил Никифор. — Ничего, брат, живем! Эх, работы сколько! Работы! А костыли что ж? Костыли скоро долой! И задымим, будьте любезны!

Потому что такова жизнь: раны заживают. Они заживают...

БОРИС ПОЛЕВОЙ

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Часть первая

1

Звезды еще сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. Деревья понемногу выступали из тьмы. Вдруг по вершинам их прошелся сильный, свежий ветер. Лес сразу ожил, зашумел полнозвучно и звонко. Свистящим шепотом перекликнулись между собой столетние сосны, и сухой иней с мягким шелестом полился с потревоженных ветвей.

Ветер стих внезапно, как и налетел. Деревья снова застыли в холодном оцепенении. Сразу стали слышны все предутренние лесные звуки: жадная грызня волков на соседней поляне, осторожное тьяканье лисиц и первые, еще неуверенные удары проснувшегося дятла, раздававшиеся в тишине леса так музыкально, будто долбил он не древесный ствол, а полое тело скрипки.

Снова порывисто шумнул ветер в тяжелой хвое сосновых вершин. Последние звезды тихо погасли в посветлевшем небе. Само небо уплотнилось и сузилось. Лес, окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака, вставал во всем своем зеленом величии. По тому, как, побагровев, засветились курчавые головы сосен и острые шпильки елей, угадывалось, что поднялось солнце и что занявшийся день обещает быть ясным, морозным, ядреным.

Стало совсем светло. Волки ушли в лесные чащобы переваривать ночную добычу, убралась с поляны лиси-

ца, оставив на снегу кружевной, хитро запутанный след. Старый лес зашумел ровно, неумолчно. Только птичья возня, стук дятла, веселое цвиканье стрелявших меж ветвей желтеньких синиц да жадный сухой крик соек разнообразили этот тягучий, тревожный и грустный, мягкими волнами перекатывающийся шум.

Сорока, чистившая на ветке ольховника черный острый клюв, вдруг повернула голову набок, прислушалась, присела, готовая сорваться и улететь. Тревожно хрустели сучья. Кто-то большой, сильный шел сквозь лес, не разбирая дороги. Затрещали кусты, заметались вершины маленьких сосенок, заскрипел, оседая, наст. Сорока вскрикнула и, распутив хвост, похожий на оперение стрелы, по прямой полетела прочь.

Из припудренной утренним инеем хвои высунулась длинная бурая морда, увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами. Испуганные глаза осмотрели огромную поляну. Розовые замшевые ноздри, извергавшие горячий парок встревоженного дыхания, судорожно задвигались.

Старый лось застыл в сосняке, как изваяние. Лишь клочковатая шкура нервно передергивалась на спине. Настороженные уши ловили каждый звук, и слух его был так остер, что слышал зверь, как короед точит древесину сосны. Но даже и эти чуткие уши не слышали в лесу ничего, кроме птичьей трескотни, стука дятла и ровного звона сосновых вершин.

Слух успокаивал, но обоняние предупреждало об опасности. К свежему аромату талого снега примешивались острые, тяжелые и опасные запахи, чуждые этому дремучему лесу. Черные печальные глаза зверя увидели на ослепительной чешуе наста темные фигуры. Не шевелясь, он весь напряжился, готовый сделать прыжок в чашу. Но люди не двигались. Они лежали в снегу густо, местами друг на друге. Их было очень много, но ни один из них не двигался и не нарушал девственной тишины. Возле возвышались вросшие в сугробы какие-то чудовища. Они-то и источали острые и тревожащие запахи.

Испуганно кося глазом, стоял на опушке лось, не понимая, что же случилось со всем этим стадом тихих, неподвижных и совсем не опасных с виду людей.

Внимание его привлек звук, послышавшийся сверху. Зверь вздрогнул, кожа на спине его передернулась, задние ноги еще больше поджались.

Однако звук был тоже не страшный: будто несколько майских жуков, басовито гудя, кружили в листве зацветающей березы. И к гуденью их примешивался порой частый, короткий треск, похожий на вечерний скрип дергача на болоте.

А вот и сами эти жуки. Сверкая крыльями, танцуют они в голубом морозном воздухе. Снова и снова скрипнул в вышине дергач. Один из жуков, не складывая крыльев, метнулся вниз. Остальные опять затанцевали в небесной лазури. Зверь распустил напряженные мускулы, вышел на поляну, лизнул наст, кося глазом на небо.

И вдруг еще один жук отвалил от танцевавшего в воздухе роя и, оставляя за собой большой, пышный хвост, понесся прямо к поляне. Он рос так быстро, что лось едва успел сделать прыжок в кусты — что-то громадное, более страшное, чем внезапный порыв осенней бури, ударило по вершинам сосен и брякнулось о землю так, что весь лес загудел, застонал. Эхо понеслось над деревьями, опережая лося, рванувшегося во весь дух в чащу.

Увязло в гуще зеленой хвои эхо. Сверкая и искрясь, осыпался иней с древесных вершин, сбитых падением самолета. Тишина, тягучая и властная, овладела лесом. И в ней отчетливо послышалось, как простонал человек и как тяжело захрустел наст под ногами медведя, которого необычный гул и треск выгнали из леса на полянку.

Медведь был велик, стар и космат. Неопрятная шерсть бурыми клочьями торчала на его впалых боках, сосульками свисала с тощего, поджарого зада. В этих краях с осени бушевала война. Она проникла даже сюда, в заповедную глушь, куда раньше, и то не часто, заходили только лесники да охотники. Грохот близкого боя еще осенью поднял медведя из берлоги, нарушив его зимнюю спячку, и вот теперь, голодный и злой, бродил он по лесу, не зная покоя.

Медведь остановился на опушке, там, где только что стоял лось. Понюхал его свежие, вкусно пахнущие следы, тяжело и жадно задышал, двигая впалыми боками, прислушался. Лось ушел, зато рядом раздавался звук, производимый каким-то живым и, вероятно, слабым существом. Шерсть поднялась на загривке зверя. Он вытянул морду. И снова этот жалобный звук чуть слышно донесся с опушки.

Медленно, осторожно ступая мягкими лапами, под которыми с хрустом проваливался сухой и крепкий наст, зверь направился к неподвижной, вбитой в снег человеческой фигуре...

2

Летчик Алексей Мересьев попал в двойные «клещи». Это было самое скверное, что могло случиться в воздушном бою. Его, расстрелявшего все боеприпасы, фактически безоружного, обступили четыре немецких самолета и, не давая ему ни вывернуться, ни уклониться с курса, повели на свой аэродром...

А получилось все это так. Звено истребителей под командой лейтенанта Мересьева вылетело сопровождать «ИЛы», отправлявшиеся на штурмовку вражеского аэродрома. Смелая вылазка прошла удачно. Штурмовики, эти «летающие танки», как звали их в пехоте, скользя чуть ли не по верхушкам сосен, подкрались прямо к летному полю, на котором рядами стояли большие транспортные «юнкерсы». Неожиданно вынырнув из-за зубцов сизой лесной гряды, они понеслись над тяжелыми тушами «ломовиков», поливая их из пушек и пулеметов свинцом и сталью, забрасывая хвостатыми снарядами. Мересьев, охранявший со своей четверкой воздух над местом атаки, хорошо видел сверху, как заметались по аэродрому темные фигурки людей, как стали грузно расползаться по накатанному снегу транспортники, как штурмовики делали новые и новые заходы и как пришедшие в себя экипажи «юнкерсов» начали под огнем выруливать на старт и поднимать машины в воздух.

Вот тут-то Алексей и совершил промах. Вместо того чтобы строго стеречь воздух над районом штурмовки, он, как говорят летчики, соблазнился легкой дичью. Бросив машину в пике, он камнем ринулся на только что оторвавшийся от земли тяжелый и медлительный «ломовик», с удовольствием огрел несколькими длинными очередями его четырехугольное пестрое, сделанное из гофрированного дюралья тело. Уверенный в себе, он даже не смотрел, как враг ткнется в землю. На другой стороне аэродрома сорвался в воздух еще один «юнкерс». Алексей погнался за ним. Атаковал — и неудачно. Его огневые трассы скользнули поверх медленно набиравшей высоту машины. Он круто развернулся, атаковал еще раз, снова промазал, опять настиг свою жертву и свалил ее где-то

уже в стороне над лесом, яростно всадив в широкое сигарообразное туловище несколько длинных очередей из всего бортового оружия. Уложив «юнкерс» и дав два победных круга у места, где над зеленым всклокоченным морем бесконечного леса поднялся черный столб, Алексей повернул было самолет обратно к немецкому аэродрому.

Но долететь туда уже не пришлось. Он увидел, как три истребителя его звена ведут бой с девятью «мессерами», вызванными, вероятно, командованием немецкого аэродрома для отражения налета штурмовиков. Смело бросаясь на немцев, ровно втрое превосходивших их по числу, летчики стремились отвлечь врага от штурмовиков. Ведя бой, они оттягивали противника все дальше и дальше в сторону, как это делает тетерка, притворяясь подраненной и отвлекая охотников от своих птенцов.

Алексею стало стыдно, что он увлекся легкой добычей, стыдно до того, что он почувствовал, как запылала под шлемом щеки. Он выбрал себе противника и, стиснув зубы, бросился в бой. Целью его был «мессер», несколько отбившийся от других и, очевидно, тоже высмотревший себе добычу. Выжимая всю скорость из своего «ишачка», Алексей бросился на врага с фланга. Он атаковал немца по всем правилам. Серое тело вражеской машины было отчетливо видно в паутином крестике прицела, когда он нажимал гашетку. Но тот спокойно скользнул мимо. Промаха быть не могло. Цель была близка и виднелась на редкость отчетливо. «Боеприпасы!» — догадался Алексей, чувствуя, что спина сразу покрылась холодным потом. Нажал для проверки гашетки и не почувствовал того дрожащего гула, какой всем телом ощущает летчик, пуская в дело оружие своей машины. Зарядные коробки были пусты: гоняясь за «ломовиками», он расстрелял весь боекомплект.

Но враг-то не знал об этом! Алексей решил безоружным втесаться в кутерьму боя, с тем чтобы хоть численно улучшить соотношение сил. Он ошибся. На истребителе, который он так неудачно атаковал, сидел опытный и наблюдательный летчик. Немец заметил, что машина безоружна, и отдал приказ своим коллегам. Четыре «мессершмитта», выйдя из боя, обложили Алексея с боков, зажали сверху и снизу и, диктуя ему путь пулевыми трассами, отчетливо видными в голубом и прозрачном воздухе, взяли его в двойные «клещи».

Несколько дней назад Алексей слышал, что сюда, в район Старой Руссы, перелетела с запада знаменитая немецкая авиадивизия «Рихтгофен». Она была укомплектована лучшими асами фашистской империи и находилась под покровительством самого Геринга. Алексей понял, что попал в когти этих воздушных волков и что они, очевидно, хотят привести его на свой аэродром, заставить сесть, чтобы взять в плен живым. Такие случаи тогда бывали. Алексей сам видел, как однажды звено истребителей под командой его приятеля Героя Советского Союза Андрея Дегтяренко привело и посадило на свой аэродром немца-разведчика.

Длинное зеленовато-бледное лицо пленного немца, его шатающийся шаг мгновенно возникли в памяти Алексея. «Плен? Никогда! Не выйдет этот номер!» — решил он.

Но вывернуться ему не удалось. Немцы преграждали ему путь пулеметными очередями, как только он делал малейшую попытку отклониться с диктуемого ими курса. И опять мелькнуло перед ним лицо пленного летчика с искаженными чертами, с дрожащей челюстью. Был в этом лице какой-то унижительный животный страх.

Мересьев крепко сжал зубы, дал полный газ и, поставив машину вертикально, попытался нырнуть под верхнего немца, прижимавшего его к земле. Ему удалось вырваться из-под конвоя. Но немец успел вовремя нажать гашетку. Мотор сбился с ритма и заработал частыми рывками. Весь самолет задрожал в смертельной лихорадке.

Подшибли! Алексей успел свернуть в белую муть облака, сбить со следа погоню. Но что же дальше? Летчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим существом, как будто это была не агония изувеченного мотора, а лихорадка, колотившая его собственное тело.

Во что ранен мотор? Сколько может самолет продержаться в воздухе? Не взорвутся ли баки? Все это не подумал, а скорее ощутил Алексей. Чувствуя себя сидящим на динамитной шашке, к которой по шнуру запала уже бежит пламя, он положил самолет на обратный курс, к линии фронта, к своим, чтобы в случае чего хотя бы быть похороненным родными руками.

Развязка наступила сразу. Мотор осекся и замолчал. Самолет, точно соскальзывая с крутой горы, стремительно понесся вниз. Под самолетом переливался зелено-

серыми волнами необозримый, как море, лес... «И все-таки не плен!» — успел подумать летчик, когда близкие деревья, сливаясь в продольные полосы, неслись под крыльями самолета. Когда лес, как зверь, прыгнул на него, он инстинктивным движением выключил зажигание.

Раздался скрежещущий треск, и все мгновенно исчезло, точно он вместе с машиной канул в темную густую воду.

Падая, самолет задел верхушки сосен. Это смягчило удар. Сломав несколько деревьев, машина развалилась на части, но мгновением раньше Алексея вырвало из сиденья, подбросило в воздух, и, упав на широкоплечую вековую ель, он соскользнул по ветвям в глубокий сугроб, наметенный ветром у ее подножия. Это спасло ему жизнь...

Сколько пролежал он без движения, без сознания, Алексей вспомнить не мог. Какие-то неопределенные человеческие тени, контуры зданий, невероятные машины, стремительно мелькая, проносились перед ним, и от вихревого их движения во всем его теле ощущалась тупая, скребущая боль. Потом из хаоса вышло что-то большое, горячее, неопределенных форм и задышало на него жарким смрадом. Он попробовал отстраниться, но тело его точно влипло в снег. Томимый безотчетным ужасом, он сделал рывок — и вдруг ощутил морозный воздух, ворвавшийся ему в легкие, холод снега на щеке и острую боль уже не во всем теле, а в ногах.

«Жив!» — мелькнуло в его сознании. Он сделал движение, чтобы подняться, и услышал возле себя хрустящий скрип наста под чьими-то ногами и шумное, хрипловатое дыхание. «Немцы! — тотчас же догадался он, подавляя в себе желание раскрыть глаза и вскочить, защищаясь. — Плен, значит, все-таки плен!.. Что же делать?»

Он вспомнил, что его механик Юра, мастер на все руки, взялся вчера притачать к кобуре оторвавшийся ремешок, да так и не притачал; пришлось, вылетая, положить пистолет в набедренный карман комбинезона. Теперь, чтобы его достать, надо было повернуться на бок. Этого нельзя, конечно, сделать незаметно для врага. Алексей лежал ничком. Бедром он ощущал острые грани пистолета. Но лежал он неподвижно: может быть, враг примет его за мертвого и уйдет,

Немец потоптался возле, как-то странно вздохнул, снова подошел к Мересьеву; похрустел настом, наклонился. Алексей опять ощутил смрадное дыхание его глотки. Теперь он знал, что немец один, и в этом была возможность спастись: если подстеречь его, внезапно вскочить, вцепиться ему в горло и, не дав пустить в ход оружие, завязать борьбу на равных... Но это надо сделать расчетливо и точно.

Не меняя позы, медленно, очень медленно Алексей приоткрыл глаз и сквозь опущенные ресницы увидел перед собой вместо немца бурое мохнатое пятно. Приоткрыл глаз шире и тотчас же плотно зажмурил: перед ним на задних лапах сидел большой, тощий, ободраный медведь.

3

Тихо, как умеют только звери, медведь сидел возле неподвижной человеческой фигуры, едва видневшейся из синевато сверкавшего на солнце сугроба.

Его грязные ноздри тихо подергивались. Из приоткрытого рта, в котором виднелись старые, желтые, но еще могучие клыки, свисала и покачивалась на ветру тоненькая ниточка густой слюны.

Поднятый войной из зимней берлоги, он был голоден и зол. Но медведи не едят мертвечины. Обнюхав неподвижное тело, остро пахнущее бензином, медведь лениво отошел на полянку, где в изобилии лежали такие же неподвижные, вмерзшие в наст человеческие тела. Стон и шорох вернули его обратно.

И вот он сидел около Алексея. Щемящий голод боролся в нем с отвращением к мертвому мясу. Голод стал побеждать. Зверь вздохнул, поднялся, лапой перевернул человека в сугробе и рванул когтями «чертову кожу» комбинезона. Комбинезон не поддался. Медведь глухо зарычал. Больших усилий стоило Алексею в это мгновение подавить в себе желание открыть глаза, отпрянуть, закричать, оттолкнуть эту грязную, навалившуюся ему на грудь тушу. В то время как все существо его рвалось к бурной и яростной защите, он заставил себя медленным, незаметным движением опустить руку в карман, нащупать там рубчатую рукоять пистолета, осторожно, чтобы не щелкнул, взвести большим пальцем курок и начать незаметно вынимать уже вооруженную руку.

Зверь еще сильнее рванул комбинезон. Крепкая ма-

терия затрещала, но опять выдержала. Медведь неистово заревел, схватил комбинезон зубами, защемив через мех и вату тело. Алексей последним усилием воли подавил в себе боль и в тот момент, когда зверь вырвал его из сугроба, вскинул пистолет и нажал курок.

Глухой выстрел треснул раскатисто и гулко.

Вспорхнув, проворно улетела сорока. Иней посыпался с потревоженных ветвей. Зверь медленно выпустил жертву. Алексей упал в снег, не отрывая от противника глаз. Тот сидел на задних лапах, и в черных, заросших мелкой шерстью, гноящихся его глазках застыло недоумение. Густая кровь матовой струйкой пробивалась меж его клыков и падала на снег. Он зарычал хрипло и страшно, грузно поднялся на задние лапы и тут же замертво осел в снег, прежде чем Алексей успел выстрелить еще раз. Голубой наст медленно заплывал красным и, подтаивая, слегка дымился у головы зверя. Медведь был мертв.

Напряжение Алексея схлынуло. Он снова ощутил острую, жгучую боль в ступнях и, повалившись на снег, потерял сознание...

Очнулся он, когда солнце стояло уже высоко. Лучи, пронзавшие хвою, сверкающими бликами зажигали наст. В тени снег казался даже не голубым, а синим.

«Что же, медведь померещился, что ли?» — было первой мыслью Алексея.

Бурая лохматая, неопрятная туша валялась подле на голубом снегу. Лес шумел. Звучно долбил кору дятел. Звонко цвикали, прыгая в кустах, проворные желтобрюхие синички.

«Жив, жив, жив!» — мысленно повторял Алексей. И весь он, все тело его ликовало, впитывая в себя чудесное, могучее, пьянящее ощущение жизни, которое приходит к человеку и захватывает его всякий раз после того, как он перенес смертельную опасность.

Повинуясь этому могучему чувству, он вскочил на ноги, но тут же, застонав, присел на медвежью тушу. Боль в ступнях прожгла все его тело. В голове стоял глухой, тяжелый шум, точно вращались в ней, грохоча, сотрясая мозг, старые, щербатые жернова. Глаза ломило, будто кто-то нажимал на них поверх век пальцем. Все окружающее то виднелось четко и ярко, облитое холодными желтыми солнечными лучами, то исчезало, покрываясь серой, мерцающей искрами пеленой.

«Плохо... Должно быть, контузило при падении и с ногами что-то случилось», — подумал Алексей.

Приподнявшись, он с удивлением оглядел широкое поле, видневшееся за лесной опушкой и ограниченное на горизонте сизым полукругом далекого леса.

Должно быть, осенью, а вернее всего — ранней зимой по опушке леса через это поле проходил один из оборонительных рубежей, на котором недолго, но упорно, как говорится — насмерть, держалась красноармейская часть. Метели прикрыли раны земли слежавшейся снежной ватой. Но и под ней легко угадывались кротовые ходы окопов, холмики разбитых огневых точек, бесконечные выбоины мелких и крупных снарядных воронок, видневшихся вплоть до подножий избитых, израненных, обезглавленных или вывернутых взрывами деревьев опушки. Среди истерзанного поля в разных местах вмерзло в снег несколько танков, окрашенных в пестрый цвет щучьей чешуи. Все они — в особенности крайний, который, должно быть, взрывом гранаты или мины повалило набок, так что длинный ствол его орудия высунутым языком свисал к земле, — казались трупами неведомых чудовищ. И по всему полю — у брустверов неглубоких окопчиков, возле танков и на лесной опушке — лежали вперемежку трупы красноармейцев и немецких солдат. Было их так много, что местами громоздились они один на другой. Они лежали в тех же закрепленных морозом позах, в каких несколько месяцев назад, еще на грани зимы, застигла людей в бою смерть.

Все говорило Алексею об упорстве и ярости бушевавшего здесь боя, о том, что его боевые товарищи дрались, позабыв обо всем, кроме того, что нужно остановить, не пропустить врага. Вот недалеко, у опушки, возле обезглавленной снарядом толстой сосны, высокий, косо обломленный ствол которой истекает теперь желтой прозрачной смолой, валяются немцы с раздробленными черепами, с раздробленными лицами. В центре, поперек одного из врагов, лежит навзничь тело огромного круглолицего большеголового парня без шинели, в одной гимнастерке без пояса, с разорванным воротом, и рядом винтовка со сломанным штыком и окровавленным, избитым прикладом.

А дальше, у дороги, ведущей в лес, под закиданной песком молодой елочкой, наполовину в воронке, также навзничь лежит на ее краю смуглый узбек с тонким

лицом, словно выточенным из старой слоновой кости. За ним под ветвями елки виднеется аккуратная стопка еще не израсходованных гранат, и сам он держит гранату в закинутой назад мертвой руке, как будто, перед тем как ее бросить, решил он глянуть на небо, да так и застыл.

И еще дальше, вдоль лесной дороги, возле пятнистых танковых туш, у откосов больших воронок, в окопчиках, подле старых пней,— всюду мертвые фигуры в ватниках и стеганых штанах, в грязновато-зеленых френчах и рогатых пилотках, для тепла насунутых на уши; торчат из сугробов согнутые колени, запрокинутые подбородки, вытаявшие из наста восковые лица, обглоданные лисами, обклеванные сороками и вороньем.

Несколько воронов медленно кружили над поляной, и вдруг напомнила она Алексею торжественную, полную мрачной мощи картину Игорева сечи, воспроизведенную в школьном учебнике истории с полотна великого русского художника.

«Вот и я лежал бы тут!» — подумал он, и снова все существо его наполнилось бурным ощущением жизни. Он встряхнулся. В голове еще медленно кружились щербатые жернова, ноги горели и ныли пуще прежнего, но Алексей, сидя на уже похолодевшей и посеребренной сухим снежком медвежьей туше, стал думать, что ему делать, куда идти, как добраться до своих передовых частей.

Планшет с картой он потерял при падении. Но и без карты Алексей ясно представлял себе сегодняшний маршрут. Немецкий полевой аэродром, на который налетали штурмовики, лежал километрах в шестидесяти на запад от линии фронта. Связав немецкие истребители воздушным боем, его летчикам удалось оттянуть их от аэродрома на восток примерно километров на двадцать, да и ему, после того как вырвался он из двойных «клетей», удалось, вероятно, еще немного протянуть к востоку. Стало быть, упал он приблизительно километрах в тридцати пяти от линии фронта, далеко за спиной передовых немецких дивизий, где-то в районе огромного, так называемого Черного леса, через который не раз приходилось ему летать, сопровождая бомбардировщиков и штурмовиков в их короткие рейды по ближним немецким тылам. Этот лес всегда казался ему сверху бесконечным зеленым морем. В хорошую погоду лес

клубился шапками сосновых вершин, а в непогоду, подернутый серым туманом, напоминал помрачневшую водную гладь, по которой ходят мелкие волны.

То, что он рухнул в центре этого заповедного леса, было и хорошо и плохо. Хорошо потому, что вряд ли здесь, в этих девственных чащобах, можно было встретить немцев, тяготевших обычно к дорогам и жилью. Плохо же потому, что предстояло совершить хотя и не очень длинный, но тяжелый путь по лесным зарослям, где нельзя надеяться на помощь человека, на кусок хлеба, на крышу, на глоток кипятку. Ведь ноги... Поднимут ли ноги? Пойдут ли?..

Он тихо привстал с медвежьей туши. Та же острая боль, возникавшая в ступнях, пронзила его тело снизу вверх. Он вскрикнул. Пришлось снова сесть. Попытался скинуть унт. Унт не слезал, и каждый рывок заставлял стонать. Тогда Алексей стиснул зубы, зажмурился, изо всех сил рванул унт обеими руками — и тут же потерял сознание. Очнувшись, он осторожно развернул байковую портянку. Вся ступня распухла и представляла собой сплошной сизый синяк. Она горела и ныла каждым своим суставом. Алексей поставил ногу на снег — боль стала слабее.

Таким же отчаянным рывком, как будто он сам у себя вырывал зуб, снял он второй унт.

Обе ноги никуда не годились. Очевидно, когда удар самолета по верхушкам сосен выбросил его из кабины, ступни что-то прищемило и раздробило мелкие кости плюсны и пальцев. Конечно, в обычных условиях он даже и не подумал бы подняться на эти разбитые, распухшие ноги. Но он был один в лесной чаще, в тылу врага, где встреча с человеком сулила не облегчение, а смерть. И он решил идти, идти на восток, идти через лес, не пытаясь искать удобных дорог и жилых мест, идти, чего бы это ни стоило.

Он решительно вскочил с медвежьей туши, охнул, закрипел зубами и сделал первый шаг. Постоял, вырвал другую ногу из снега, сделал еще шаг. В голове шумело, лес и поляна покачнулись, поплыли в сторону.

Алексей чувствовал, что слабеет от напряжения и боли. Закусив губу, он продолжал идти, добираясь к лесной дороге, что вела мимо подбитого танка, мимо узбека с гранатой, в глубь леса, на восток. По мягкому снегу идти было еще ничего, но, как только он ступил на твер-

дый, обдутый ветрами, покрытый ледком горб дороги, боль стала такой нестерпимой, что он остановился, не решаясь сделать еще хотя бы шаг. Так стоял он, неловко расставив ноги, покачиваясь, точно от ветра. И вдруг все посерело перед глазами. Исчезли дорога, сосны, сизая хвоя, голубой продолговатый просвет над ней... Он стоял на аэродроме у самолета, своего самолета, и его механик, или, как он называл его, «технарь», долговязый Юра, блестя зубами и белками глаз, всегда сверкавшими на его небритом и вечно чумазом лице, приглашающим жестом показывал ему на кабину: дескать, готово, давай к полету... Алексей сделал к самолету шаг, но земля пылала, жгла ноги, точно ступал он по раскаленной плите. Он рванулся, чтобы перескочить через эту пышущую жаром землю прямо на крыло, но толкнулся о холодный фюзеляж и удивился. Фюзеляж был не гладкий, покрытый лаком, а шероховатый, облицованный сосновой корой... Никакого самолета — он на дороге и шарит рукой по стволу дерева.

«Галлюцинация? Схожу с ума от контузии, — подумал Алексей. — Идти по дороге невыносимо. Свернуть на целину? Но это намного замедлит путь...» Он сел на снег, снова теми же решительными, короткими рывками стащил унты, ногтями и зубами разорвал их в подъемах, чтобы не теснили они разбитые ступни, снял с шеи большой пуховый шарф из ангорской шерсти, разодрал его пополам, обмотал ступни и снова обулся.

Теперь идти стало легче. Впрочем, идти — это неправильно сказано: не идти, а двигаться, двигаться осторожно, наступая на пятки и высоко поднимая ноги, как ходят по болоту. От боли и напряжения через несколько шагов начинало кружить голову. Приходилось стоять, закрыв глаза, прислонившись спиной к стволу дерева, или присаживаться на сугроб и отдыхать, чувствуя острое биение пульса в венах.

Так двигался он несколько часов. Но когда оглянулся, в конце просеки еще виднелся освещенный поворот дороги, у которого темным пятнышком выделялся на снегу мертвый узбек. Это очень огорчило Алексея. Огорчило, но не испугало. Ему захотелось идти быстрее. Он поднялся с сугроба, крепко сцепил зубы и пошел вперед, намечая перед собой маленькие цели, сосредоточивая на них внимание, — от сосны к сосне, от пенька к пеньку, от сугроба к сугробу. На девственном снегу пустынной лес-

ной дороги вился за ним вялый, извилистый, нечеткий след, какой оставляет раненый зверь.

4

Так двигался он до вечера. Когда солнце, заходившее где-то за спиной Алексея, бросило холодное пламя заката на верхушки сосен и в лесу стали сгущаться серые сумерки, возле дороги, в поросшей можжевельником лощинке, Алексею открылась картина, при виде которой точно мокрым полотенцем провели у него вдоль спины до самой шеи и волосы шевельнулись под шлемом.

В то время как там, на поляне, шел бой, в лощине, в зарослях можжевельника, располагалась, должно быть, санитарная рота. Сюда относили раненых и тут укладывали их на подушках из хвои. Так и лежали они теперь рядами под сенью кустов, полузанесенные и вовсе засыпанные снегом. С первого взгляда стало ясно, что умерли они не от ран. Кто-то ловкими взмахами ножа перерезал им всем горло, и они лежали в одинаковых позах, откинув далеко голову, точно стараясь заглянуть, что делается у них позади. Тут же разъяснилась тайна страшной картины. Под сосной, возле занесенного снегом тела красноармейца, держа его голову у себя на коленях, сидела по пояс в снегу сестра, маленькая хрупкая девушка в ушанке, завязанной под подбородком тесемками. Меж лопаток торчала у нее рукоять ножа, поблескивающая полировкой. А возле, вцепившись друг другу в горло в последней мертвой схватке, застыли немец в черном мундире войск СС и красноармеец с головой, забинтованной кровавой марлей. Алексей сразу понял, что этот в черном прикончил раненых своим ножом, заколол сестру и тут был схвачен не добитым им человеком, который все силы своей угасавшей жизни вложил в пальцы, сжавшие горло врага.

Так их и похоронила метель — хрупкую девушку в ушанке, прикрывавшую своим телом раненого, и этих двоих, палача и мстителя, что вцепились друг в друга у ее ног, обутых в старенькие кирзовые сапожки с широкими голенищами.

Несколько мгновений Мересьев стоял пораженный, потом подковылял к сестре и вырвал из ее тела кинжал. Это был эсэсовский нож, сделанный в виде древнегерманского меча, с рукоятью красного дерева, в которую

был врезан серебряный эсэсовский знак. На ржавом лезвии сохранилась надпись: «Alles für Deutschland». Кожа-ные ножны кинжала Алексей снял с эсэсовца. Нож был необходим в пути. Потом он выкопал из-под снега заско-рузлую, обледенелую плащ-палатку, бережно покрыл ею труп сестры, положил сверху несколько сосновых веток...

Пока он занимался всем этим, стемнело. На западе погасли просветы между деревьями. Морозная и гус-тая тьма обступила лощину. Тут было тихо, но ночной ветер гулял по вершинам сосен, лес шумел то убаюки-вающе-певуче, то порывисто и тревожно. По лощине тянул не видимый уже глазом, тихо шуршащий и пока-льывающий лицо снежок.

Родившийся в Камышине, среди поволжских степей, горожанин, неопытный в лесных делах, Алексей не поза-ботился заблаговременно ни о ночлеге, ни о костре. За-стигнутый кромешной тьмой, ощущая невыносимую боль в разбитых, натруженных ногах, он не нашел в себе сил идти за топливом, забрался в густую поросль молодого сосняка, присел под деревом, весь сжался в комок, спря-тал лицо в колени, охваченные руками, и, обогреваясь своим дыханием, замер, жадно наслаждаясь наступив-шим покоем и неподвижностью.

Наготове был пистолет со взведенным курком, но вряд ли Алексей смог бы применить его в эту первую ночь, проведенную им в лесу. Он спал как каменный, не слыша ни ровного шума сосен, ни уханья филина, сто-навшего где-то у дороги, ни далекого воя волков — ниче-го из тех лесных звуков, которыми была полна густая и непроницаемая, плотно обступавшая его тьма.

Зато проснулся он сразу, точно от толчка, когда чуть брезжил серенький рассвет и только ближние деревья неясными силуэтами выступали из морозной мглы. Про-снулся, вспомнил, что с ним, где он, и задним числом испугался этой так беспечно проведенной в лесу ночи. Промозглый холод пробился сквозь «чертову кожу» и мех комбинезона и пробрал до костей. Тело была мелкая неудержимая дрожь. Но самое страшное было ноги: они болели еще острее, даже теперь, когда находились в по-кое. Со страхом подумал он о том, что нужно вставать. Но встал он так же решительно, рывком, как вчера сры-вал с себя унты. Время было дорого.

Ко всем тяготам, обрушившимся на Алексея, приба-вился голод. Еще вчера, прикрывая тело сестры плащ-

палаткой, он заметил возле нее брезентовую сумку с красным крестом. Какой-то зверек похозяйничал уже там, и на снегу около прогрызенных дыр валялись крошки. Вчера Алексей почти не обратил на это внимания. Сегодня он поднял сумку. В ней оказалось несколько индивидуальных пакетов, большая банка консервов, пачка чьих-то писем, зеркальце, на оборотной стороне которого была вставлена фотография худенькой старушки. Был, видно, в сумке хлеб или сухари, да птицы или звери расправились с этой едой. Алексей рассовал банку и бинты по карманам комбинезона, сказав про себя: «Спасибо, родная!» — поправил сброшенную ветром с ног девушки плащ-палатку и медленно побрел на восток, который уже оранжево пламенел за сеткой древесных ветвей.

У него была теперь килограммовая банка консервов, и он решил есть раз в сутки, в полдень.

5

Чтобы заглушить боль, которую причинял ему каждый шаг, он стал отвлекать себя, обдумывая и рассчитывая свой путь. Если делать в сутки десять — двенадцать километров, он дойдет до своих за три, самое большее — за четыре дня.

Так, хорошо! Теперь: что значит пройти десять — двенадцать километров? Километр — это две тысячи шагов; стало быть, десять километров — двадцать тысяч шагов, а это много, если учесть, что после каждых пятисот — шестисот шагов приходится останавливаться и отдыхать...

Вчера Алексей, чтобы сократить путь, намечал себе какие-то зримые ориентиры: сосну, пенек, ухаб на дороге — и к ним стремился, как к месту отдыха. Теперь он перевел все это на язык цифр, переложил на число шагов. Он решил перегон между местами отдыха делать в тысячу шагов, то есть в полкилометра, и отдыхать по часам, не более пяти минут. Выходило, что с рассвета и до заката он, хотя и с трудом, пройдет километров десять.

Но как тяжело далась ему первая тысяча шагов! Он пытался переключить свое внимание на подсчет, чтобы ослабить боль, но, пройдя пятьсот шагов, начал путать, врать и уже не мог думать ни о чем другом, кроме жгучей, дергающей боли. И все же он прошел эту тысячу шагов. Не имея уже сил присесть, он упал лицом в снег

и стал жадно лизать наст. Прижимался к нему лбом, висками, в которых стучала кровь, и испытывал несказанное блаженство от ледящего прикосновения.

Потом он вздрогнул, посмотрел на часы. Секундная стрелка отщелкивала последние мгновенья пятой минуты. Он со страхом взглянул на нее, как будто, когда завершит она свой круг, должно произойти что-то ужасное; а когда она коснулась цифры «шестьдесят», сразу вскочил на ноги, застонал и двинулся дальше.

К полудню, когда лесной полумрак заискрился тонкими нитями пробившихся сквозь густую хвою солнечных лучей и в лесу крепко запахло смолой и талым снегом, он совершил всего четыре таких перехода. Он так и сел посреди дороги на снегу, уже не имея сил добраться до ствола большой березы, валявшегося чуть ли не на расстоянии протянутой руки. Долго сидел он, опустив плечи, ни о чем не думая, ничего не видя и не слыша, не испытывая даже голода.

Вздыхнул, бросил в рот несколько комочков снега и, преодолевая сковывающее тело оцепенение, достал из кармана ржавую банку, открыл ее кинжалом. Он положил в рот кусок замёрзшего, безвкусного сала, хотел его проглотить, но сало растаяло. Он ощутил во рту его вкус и вдруг почувствовал такой голод, что с трудом заставил себя оторваться от банки и принялся есть снег, чтобы только что-нибудь глотать.

Перед тем как двинуться снова в путь, Алексей вырезал из можжевельника палки. Он опирался на них, но идти становилось час от часу все труднее.

6

...Третий день пути по дремучему лесу, где Алексей не видел ни одного человеческого следа, ознаменовался неожиданным происшествием.

Он проснулся с первыми лучами солнца, дрожа от холода и внутреннего озноба. В кармане комбинезона нашел он зажигалку, сделанную ему на память из впиточного патрона механиком Юрой. Он как-то совсем забыл о ней и о том, что можно и нужно разводить огонь. Наломав с ели, под которой спал, сухих мшистых веток, он покрыл их хвоей и зажег. Желтые шустрые огоньки вырвались из-под сизого дыма. Смолистое сухое дерево занялось быстро и весело. Пламя перебежало на хвою и,

раздуваемое ветром, разгоралось со стонами и свистом. Костер трещал и шипел, распространяя сухой благодетельный жар. Алексею стало уютно, он опустил «молнию» комбинезона, достал из кармана гимнастерки несколько истертых писем, написанных одним и тем же круглым старательным почерком, вынул из одного фотография тоненькой девушки в пестром, цветастом платье, сидевшей, подобрав ноги, в траве. Он долго смотрел на нее, потом снова бережно обернул в целлофан, заложил в письмо и, задумчиво подержав в руках, убрал обратно в карман.

— Ничего, ничего, все будет хорошо,— сказал он, обращаясь не то к этой девушке, не то к самому себе, и задумчиво повторил: — Ничего...

Теперь уже привычными движениями сорвал он с ногунты, размотал куски шарфа, внимательно осмотрел ноги. Они еще больше опухли. Пальцы торчали в разные стороны, точно ступни были резиновые и их надули воздухом. Цвет у них был еще более темный, чем вчера.

Алексей вздохнул, прощаясь с затухавшим костром, и снова побрел по дороге, скрипя палками по обледеневшему снегу, кусая губы и порой теряя сознание. Вдруг среди других шумов леса, которые привыкшее ухо почти перестало улавливать, услышал он отдаленный звук работающих моторов. Сначала он подумал, что это ему мерещится от усталости, но моторы гудели все громче, то подвывая на первой скорости, то затихая. Очевидно, то были немцы, и ехали они по той же дороге. Алексей почувствовал, как сразу похолодело у него внутри.

Страх придал Алексею силы. Забыв об усталости, о боли в ногах, свернул он с дороги, добрел по целине до густого елового подлеска и тут, зайдя в чащу, опустился на снег. С дороги его, конечно, трудно было заметить; ему же дорога была отчетливо видна, освещенная полуденным солнцем, уже стоявшим над зубчатым забором еловых вершин.

Шум приближался. Алексей вспомнил, что на снегу заброшенной дороги ясно виден его одинокий след. Но уходить было поздно, мотор передней машины гудел где-то совсем близко. Алексей еще крепче вжался в снег. Сначала мелькнул среди ветвей плоский, похожий на колун броневик, окрашенный известью. Покачиваясь и звеня цепями, он приближался к месту, где след Алексея свертывал в лес. Алексей затаил дыхание. Броневик

не остановился. За броневиком шел маленький открытый вездеход. Кто-то в высоковерхой фуражке, уткнувшись носом в бурый меховой воротник, сидел рядом с шофером, а сзади на высокой скамейке покачивались автоматчики в серо-зеленых шинелях и касках. На некотором расстоянии, фырча и лязгая гусеницами, шел еще один, уже большой, вездеход, на котором рядами сидело человек пятнадцать немцев.

Алексей вжимался в снег. Машины были так близко, что ему в лицо пахнуло теплым смрадом газолиновой гари. Волосы шевельнулись у него на затылке, и мускулы свернулись в тугие клубки. Но машины прошли, запах развеялся, и уже откуда-то издали раздавался еле различимый шум моторов.

Дождавшись, пока все стихнет, Алексей выбрался на дорогу, на которой отчетливо отпечатались лестничные следы гусениц, и по этим следам продолжал путь. Он двигался теми же равномерными переходами, так же отдыхал, так же поел, пройдя половину дневного пути. Но теперь он шел по-звериному, осторожно. Встревоженный слух ловил каждый шорох, глаза рыскали по сторонам, как будто он знал, что где-то рядом крадется, прячется большой опасный хищник.

Летчик, привыкший воевать в воздухе, он в первый раз встретил на земле живых, неповрежденных врагов. Теперь он брел по их следу, злорадно усмехаясь. Невесело же живется им здесь, неудобно, не хлебосольна оккупированная ими земля! Даже вот по девственному лесу, где за три дня не видел Алексей ни одной человеческой, живой приметки, приходится их офицеру ездить под таким конвоем.

«Ничего, ничего, все будет хорошо!» — подбадривал себя Алексей и все шагал, шагал, шагал, стараясь не замечать, что ноги его болят все острее и что он сам заметно слабеет. Желудок уже не обманывали ни кусочки молодой еловой коры, которые он все время грыз и проглатывал, ни горьковатые березовые почки, ни нежная и клейкая, тянущаяся под зубами кашка молодой липовой коры.

До сумерек он едва прошел пять перегонов. Зато на ночь он развел большой костер, обложив хвоей и сушняком огромный полусгнивший березовый ствол, валявшийся на земле. Пока ствол этот тлел горячо и неярко, он спал, вытянувшись на снегу, ощущая живительное тепло

то в одном, то в другом боку, инстинктивно поворачиваясь и просыпаясь, чтобы подбросить сушняку к затухавшему бревну, сипевшему в ленивом пламени.

Среди ночи разыгралась метель. Зашевелились, тревожно зашумели, застонали, заскрипели над головой сосны. Тучи колючего снега поволокло по земле. Шелестящий мрак заплясал над ухающим, искрящимся пламенем. Но снежная буря не встревожила Алексея. Он спал сладко и жадно, защищенный теплом костра.

Огонь защищал от зверей. А немцев в такую ночь можно было не бояться. Они не посмеют появиться в метель в глухом лесу. И все же, пока натруженное тело отдыхало в дымном тепле, ухо, уже приученное к звериной осторожности, ловило каждый звук. Под утро, когда буря спала и в темноте над притихшей землей навис густой белесый туман, почудилось Алексею, что за звон сосновых вершин, за шелестом падающего снега услышал он отдаленные звуки боя, разрывы, автоматные очереди, винтовочные выстрелы.

«Неужели линия фронта? Так скоро?»

7

Но когда утром ветер размел туман, а лес, посеребренный за ночь, седой и веселый, засверкал на солнце иглистым инеем и, как будто радуясь этому его внезапному преобразению, защебетала, запела, зачирикала птичья братия, почуявшая грядущую весну, сколько ни прислушивался Алексей, не мог он уловить шума боя — ни стрельбы, ни даже гула канонады.

Белыми дымчатыми струйками, колюче посверкивая на солнце, сыпался с деревьев снег. Кое-где на снег с легким стуком падали тяжелые весенние капли. Весна! В это утро она впервые заявила о себе так решительно и настойчиво.

Жалкие остатки консервов — несколько волоконцев покрытого ароматным салом мяса — Алексей решил съесть утром, так как почувствовал, что иначе ему не подняться. Он тщательно выскреб банку пальцем, порезав в нескольких местах руку об ее острые края, но ему мерещилось, что еще осталось сало. Он наполнил банку снегом, разгреб седой пепел затухавшего костра, поставил банку в тлевшие угли, а потом с наслаждением, маленькими глотками выпил эту горячую, чуть-чуть пах-

нушую мясом воду. Банку он сунул в карман, решив кипятить в ней чай. Пить горячий чай! Это было приятным открытием и немного подбодрило Алексея, когда он вновь двинулся в путь.

Но тут его ожидало большое разочарование. Ночной буран совершенно замел дорогу. Он преградил ее косыми, островерхими сугробами. Глаза резала однотонная сверкающая голубизна. Ноги вязли в пухлом, еще не улежавшемся снегу. Вырывать их приходилось с трудом. Даже палки, которые сами вязли, плохо помогали.

К полудню, когда тени под деревьями стали черными, а солнце заглянуло через вершины на просеку дороги, Алексей сумел сделать всего около тысячи пятисот шагов и устал так, что каждое новое движение доставалось ему напряжением воли. Его качало. Земля выскользывала из-под ног. Он поминутно падал, мгновение неподвижно лежал на вершине сугроба, прижимаясь лбом к хрустящему снегу, потом поднимался и делал еще несколько шагов. Неудержимо клонило в сон. Тянуло лечь, забыться, не шевелить ни одним мускулом. Будь что будет! Он останавливался, цепenea и пошатываясь из стороны в сторону, затем, больно закусив губу, приводил себя в сознание и снова делал несколько шагов, с трудом выволакивая ноги.

Наконец он почувствовал, что больше не может, что никакая сила не сдвинет его с места и что, если теперь он сядет, ему уже больше не подняться. С тоской огляделся он кругом. Рядом, на обочине дороги, стояла курчавая молоденькая сосенка. Последним усилием шагнул к ней и повалился на нее, попав подбородком в расщелину ее раздвоенной вершины. Тяжесть, приходившаяся на разбитые ноги, несколько уменьшилась, стало легче. Он лежал на пружинящих ветках, наслаждаясь покоем. Желая улечься поудобнее, он оперся подбородком о рогатку сосенки, подтянул ноги — одну, другую, и они, не неся на себе тяжести тела, легко освободились из сугроба.

И тут у Алексея опять мелькнула мысль.

Ну да, ну да! Ведь можно же срезать вот это маленькое деревце, сделать из него длинную палку, с рогаткой наверху, выбрасывать палку вперед, упираться в рогатку подбородком, переносить на нее тяжесть тела, а потом, вот как сейчас у сосенки, переставлять ноги вперед. Медленно? Ну да, конечно, медленно, зато не так будешь

уствовать и можно будет продолжать путь, не ожидая, пока осядут, умнутя сугробы.

Он тут же упал на колени, срубил кинжалом деревце, отрезал ветки, обмотал рогатку носовым платком, бинтами и тотчас же попробовал двинуться в дорогу. Выбросил палку вперед, уперся в нее подбородком и руками, сделал шаг, два, снова выбросил палку, снова уперся, снова шаг, два. И пошел, считая шаги и устанавливая себе новые нормы передвижения.

Вероятно, со стороны было бы странно видеть человека, бредущего таким непонятным способом в глухом лесу,двигающегося по глубоким сугробам со скоростью гусеницы, идущего от зари до зари и проходящего за этот срок не больше пяти километров. Но лес был пуст. Никто, кроме сорок, не наблюдал за ним. Сороки же, за эти дни убедившиеся в безобидности этого странного трехногого, неповоротливого существа, при его приближении не улетали, а только неохотно соскакивали с дороги и, повернув голову набок, насмешливо смотрели на него своими любопытными черными глазами-бусинками.

8

Так брел он еще два дня по снежной дороге, выбрасывая вперед палку, ложась на нее и подтягивая к ней ноги. Ступни уже окаменели и ничего не чувствовали, но тело при каждом шаге пронзала боль. Голод перестал мучить. Судороги и резь в животе прекратились и перешли в постоянную тупую боль, как будто пустой желудок отвердел и, неловко перевернувшись, сдавил все внутренности.

Алексей питался молодой сосновой корой, которую на отдыхе сдирал кинжалом, почками берез и лип да еще зеленым мягким мхом. Он выкапывал его из-под снега и на ночлегах вываривал в кипятке. Отрадой ему был «чай» из собранных на проталинах лакированных листочков брусники. Горячая вода, наполняя тело теплом, создавала даже иллюзию сытости. Прихлебывая пахнувший дымом и веником горячий взвар, Алексей как-то весь успокаивался, и не таким бесконечным и страшным казался ему путь.

На шестой ночлег он расположился опять под зеленым шатром раскидистой ели, а костер разложил рядом, вокруг старого смолистого пня, который, по его расче-

там, должен был жарко тлеть всю ночь. Еще не стемнело. На вершине ели суетилась невидимая белка. Она лущила шишки и время от времени, пустые и растерзанные, бросала вниз. Алексея, у которого теперь пища не выходила из ума, заинтересовало, что же находит в шишках зверек. Он поднял одну из них, отколупнул нетронутую чешуйку и увидел под ней однокрылое семечко размером с просяное зерно. Оно напоминало крохотный кедровый орешек. Он раздавил его зубами. Во рту почувствовался приятный запах кедрового масла.

Алексей тотчас же собрал вокруг несколько нераскрывшихся сырых еловых шишек; положил их к огню, подкинул веток, а когда шишки ошетинились, стал вытряхивать из них семена и тереть между ладонями. Он сдувал крылышки, а крохотные орешки бросал в рот.

Тихо шумел лес. Тлел смолистый пень, распространяя душистый, отдающий ладаном неедкий дым. Пламя то разгоралось, то затухало, и из шумящей тьмы то выступали в освещенный круг, то отходили обратно во мрак стволы золотых сосен и серебряных берез.

Алексей подбрасывал ветки и снова принимался за еловые шишки. Запах кедрового масла будил в памяти давно позабытую картину детства... Маленькая комната, густо населенная знакомыми вещами. Стол под висячей лампой. Мать в праздничном платье, вернувшаяся от все-нощной, торжественно достает из сундука бумажный фунтик и высыпает из него в миску кедровые орехи. Вся семья — мать, бабушка, два брата, он, Алексей, самый маленький, — садится вокруг стола, и начинается торжественное лущение орешков, этого праздничного лакомства. Все молчат. Бабушка выковыривает зернышки шпилькой, мать — булавкой. Она ловко надкусывает орешек, извлекает оттуда ядрышки и складывает их кучкой. А потом, собрав их в ладонь, отправляет разом в рот кому-нибудь из ребят, и при этом счастливчик ощущает губами жесткость ее трудовой, не знающей усталости руки, пахнущей ради праздника земляничным мылом.

Камышин... детство! Уютно жилось в крохотном домике на окраинной улице!..

Шумит лес, лицу жарко, а со спины подбирается колючий холод. Гукает во тьме филин, тьявкают лисицы. У костра съезжился, задумчиво глядя на гаснущие, перемигивающиеся угли, голодный, больной, смертельно усталый человек, единственный в этом огромном дрему-

чем лесу, и перед ним во тьме лежит неведомый, полный неожиданных опасностей и испытаний путь.

— Ничего, ничего, все будет хорошо! — говорит вдруг этот человек, и при последних багровых отсветах костра видно, что он улыбается растрескавшимися губами каким-то своим далеким мыслям.

9

На седьмые сутки своего похода Алексей узнал, откуда донеслись до него вьюжной ночью звуки отдаленного боя.

Совершенно уже измученный, поминутно останавливаясь, чтобы передохнуть, он тащился по оттаявшей лесной дороге. Весна теперь уже не улыбалась издали. Она вошла в этот заповедный лес со своими теплыми, порывистыми ветрами, с острыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь ветви и смывающими снег с кочек, пригорков, с грустным вороньим граем по вечерам, с медлительными, солидными грачами на побуревшем горбе дороги, с пористым, как пчелиные соты, влажным снежком, с искристыми лужицами на проталинах, с этим могучим бражным запахом, от которого у всего живого весело кружится голова.

Алексей с детства любил эту пору, и даже теперь, влоча по лужам свои больные ноги в мокрых, раскисших унтах, голодный, теряющий сознание от боли и усталости, проклиная лужи, вязкий снег и раннюю грязь, он все же жадно вдыхал хмельной влажный аромат. Он уже не разбирал дороги, не обходил луж, спотыкался, падал, вставал, тяжело ложась на свою палку, стоял, покачиваясь и собираясь с силами, потом выбрасывал палку вперед, как можно дальше, и продолжал медленно двигаться на восток.

Вдруг у поворота лесной дороги, резко бравшей здесь влево, он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел немецкие машины, которые обогнали его. Путь им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них радиатором, стоял похожий на колун броневик. Только был он не пятнисто-белый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он низко на железных ободьях, так как шины его сгорели. Башня валялась в стороне, на снегу под деревом, как диковин-

ный гриб. Возле броневика лежали три трупа — его экипаж — в черных замасленных коротких тужурках и матерчатых шлемах.

Два вездехода, тоже сожженные, багровые, с черными, обугленными внутренностями, стояли впритык к броневнику на темном от гари, пепла и угольев обтаявшем снегу. А вокруг — на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах — валялись тела немецких солдат, и по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревом, за каждым кустом, скрытая снежной пеленой вьюги. К дереву был привязан труп офицера в мундире, но без штанов. К зеленому его френчу с темным воротником приколоты были записка. «За чем пойдешь, то и найдешь», — написано было на ней. И ниже, другим почерком, чернильным карандашом было добавлено крупно выведенное слово «собака».

Алексей долго осматривал место побоища, ища чего-нибудь съестного. Только в одном месте обнаружил он втоптаный в снег, уже поклеванный, старый, заплесневелый сухарь и поднес его ко рту, жадно вдыхая кислый запах ржаного хлеба. Хотелось втиснуть этот сухарь целиком в рот и жевать, жевать, жевать ароматную хлебную массу. Но Алексей разделил его на три части; две убрал поглубже в набедренный карман, а одну стал щипать на крошки и крошки эти сосать, как леденцы, стараясь растянуть удовольствие.

Он обошел еще раз поле боя. Тут его осенила мысль: партизаны должны быть где-то здесь, поблизости! Ведь это их ногами истоптан жухлый снег в кустах и вокруг деревьев. Может быть, его, бродящего меж трупов, уже заметил и откуда-нибудь с вершины ели, из-за кустов, из-за сугробов наблюдал за ним партизанский разведчик. Алексей приложил руки ко рту и закричал что есть мочи:

— Ого-го! Партизаны! Партизаны!

Его удивило, как вяло и тихо звучит его голос. Даже эхо, отзывавшееся ему из лесной чащи и возвращавшее его крик обратно дробно отраженным от древесных стволов, казалось громче.

— Партизаны! Партиза-ны-и-и! Эге-е-й! — звал Алексей, сидя на снегу среди черной машинной гари и молчаливых вражеских тел.

Звал и напрягал слух. Он охрип, сорвал голос. Он уже понял, что партизаны, сделав свое дело, собрав трофеи, давно ушли — да и зачем им было оставаться в безлюдной лесной чаще? — но он все кричал, надеясь на чудо, на то, что сейчас вот выйдут из кустов бородастые люди, о которых он столько слышал, подберут его, унесут с собой и можно будет хоть день, хоть час отдохнуть, подчиняясь чужой доброй воле, ни о чем не заботясь, никуда не стремясь.

Только лес отвечал ему звучным и дробным эхом. И вдруг — или это, может быть, показалось от большого напряжения? — Алексей услышал сквозь мелодичный, глубокий шум хвои глухие и частые, то отчетливо различимые, то совсем затухавшие удары. Он весь встрепенулся, точно издали донесся до него в лесную пустыню дружеский зов. Но он не поверил слуху и долго сидел, вытянув шею.

Нет, он не обманывался. Влажный ветер потянул с востока и опять донес отчетливо различимые теперь звуки канонады. И канонада эта была не ленивая и редкая, какая слышалась последние месяцы, когда войска, окопавшись и укрепившись на прочной линии обороны, неторопливо перебрасывались снарядами, беспокоя друг друга. Она звучала часто и напряженно, будто кто-то ворочал тяжелые булыжники или принимался часто бить кулаками в днище дубовой бочки.

Ясно! Напряженная артиллерийская дуэль. Линия фронта, судя по звуку, была километрах в десяти, что-то на ней происходило, кто-то наступал и кто-то отчаянно отстреливался, обороняясь. Радостные слезы текли по щекам Алексея.

Он смотрел на восток. Правда, в этом месте дорога круто сворачивала в противоположную сторону, а перед ним лежала снежная пелена. Но оттуда слышал он этот зовущий звук. Туда вели темневшие в снегу продолговатые ямки партизанских следов, где-то в этом лесу жили они, отважные лесные люди.

Бормоча себе под нос: «Ничего, ничего, товарищи, все будет хорошо», — Алексей смело ткнул палку в снег, оперся на нее подбородком, перебросил на нее всю тяжесть тела, с трудом, но решительно переставил ноги в сугроб. Он свернул с дороги на снежную целину.

В этот день ему не удалось сделать по снегу и полутора шагов. Сумерки остановили его. Он опять облюбовал старый пень, обложил его сушняком, достал заветную зажигалку, сделанную из патрона, чиркнул колесиком, чиркнул еще раз — и похолодел: в зажигалке кончился бензин. Он тряс ее, дул, стараясь выжать остатки бензиновых паров, но тщетно. Стемнело. Искры, сыпавшиеся из-под колесика, как маленькие молнии, на мгновение раздвигали мрак вокруг его лица. Камешек истерся, а огня так и не удалось добыть.

Пришлось на ощупь доползти до молоденького густого соснячка, свернуться клубком, сунуть подбородок в колени, охватить их кольцом рук и так замереть, слушая лесные шорохи. Может быть, в эту ночь Алексея охватило бы отчаяние. Но в спящем лесу звуки канонады раздавались отчетливей, ему казалось, что он даже начал отличать короткие удары выстрелов от глухого уханья разрывов.

Проснувшись утром с ощущением безотчетной тревоги и горя, Алексей сразу подумал: «Что же случилось? Плохой сон?» Вспомнил: зажигалка. Однако, когда ласково пригревало солнце, когда все кругом — и жухлый крупитчатый снег, и стволы сосен, и самая хвоя — лоснилось и сверкало, это уже не казалось большой бедой. Хуже было другое: расцепив отекавшие руки, он почувствовал, что не может встать. Сделав несколько безуспешных попыток подняться, он сломал свою палку с рогаткой и, как куль, рухнул на землю. Повернулся на спину, чтобы дать отойти затекшим членам, и стал смотреть сквозь иглистые ветви сосенок на бездонное голубое небо, по которому торопливо плыли чистенькие, пушистые, с позолоченными кудрявыми краями облака. Тело понемногу стало отходить, но что-то случилось с ногами. Они совсем не могли стоять.

Держась за сосенку, Алексей еще раз попытался встать. Это ему наконец удалось, но как только он попробовал подтянуть ноги к деревцу — тотчас же упал от слабости и от какой-то страшной, новой, зудящей боли в ступнях.

Неужели все? Неужели так и придется погибнуть вот здесь, под соснами, где, может быть, никто никогда не найдет и не похоронит его обглоданных зверьем костей?

Слабость неодолимо прижимала к земле. Но вдали гремела канонада. Там шел бой, там были свои. Неужели он не найдет в себе сил, чтобы одолеть эти последние восемь — десять километров?

Канонада притягивала, бодрила, настойчиво звала его, и он ответил на этот зов. Он поднялся на четвереньки и по-звериному пополз на восток, пополз сначала безотчетно, загипнотизированный звуками далекого боя, а потом уже сознательно, поняв, что так передвигаться по лесу проще, чем с помощью палки, что меньше болят ступни, не несущие теперь никакой тяжести, что, ползя по-звериному, он сможет двигаться гораздо быстрее. И опять он ощутил, как от радости поднимается в грудь и подкатывает к горлу клубок. Точно не себе, а убеждая кого-то другого, кто слаб духом и сомневался в успехе такого невероятного передвижения, он сказал вслух:

— Ничего, уважаемый, теперь-то уж все будет в порядке!

После одного из перегонов он отогрел окоченевшие кисти, зажав их под мышками, подполз к молодой ели, вырезал из нее квадратные куски коры, затем, ломая ногти, отодрал от березы несколько длинных белых лычек. Вынул из унтов куски шерстяного шарфа, обмотал ими руки, сверху, с тыльной стороны ладони, положил в виде подошвы кору, привязал ее берестой и прикрутил бинтами из индивидуальных пакетов. На правой руке получилась очень удобная и широкая култышка. На левой же, где привязывать приходилось уже зубами, сооружение оказалось менее удачным. Но руки были теперь «обуты», и Алексей пополз дальше, чуя, что двигаться стало легче. На следующем привале привязал по куску коры и к коленям.

К полудню, когда стало заметно пригревать, Алексей сделал уже изрядное число «шагов» руками. Канонада, вследствие ли того, что он приблизился к ней, или в результате какого-то акустического обмана, звучала сильнее. Было так тепло, что ему пришлось опустить «молнию» комбинезона и расстегнуться.

Когда он переползал моховое болотце с зелеными кочками, вытаявшими из-под снега, судьба приготовила ему еще подарок: на седоватом сыром и мягком мху увидел он тоненькие ниточки стебельков с редкими, острыми, полированными листочками, и между ними, прямо на поверхности кочек, лежали багровые, чуть помятые, но

все еще сочные ягоды клюквы. Алексей наклонился к кочке и прямо губами стал снимать с бархатистого, теплого, пахнущего болотной сыростью мха одну ягоду за другой.

От приятной, сладковатой кислоты подснежной клюквы, от этой первой настоящей пищи, которую он ел за последние дни, в желудке у него сделались спазмы. Но не хватило силы воли переждать острую, режущую боль. Он елозил по кочкам и, уже приноровившись, как медведь, языком и губами собирал кисло-сладкие ароматные ягоды. Он очистил так несколько кочек, не чувствуя ни льдистой сырости внешней воды, хлюпавшей в унтах, ни жгучей боли в ногах, ни усталости — ничего, кроме ощущения сладковатой и терпкой кислоты во рту и приятной тяжести в желудке.

Его стошнило. Но удержаться он не мог и снова принался за ягоды. Он снял с рук самодельную обувь, набрал ягод в банку, набил ими шлем, привязал его тесемками к ремню и пополз дальше, с трудом преодолевая тяжелую дрему, наполнившую весь его организм.

На ночь, забравшись под шатер старой ели, он поел ягод, пожевал коры и семечек из еловых шишек. Заснул он сторожим, тревожным сном. Несколько раз казалось, что кто-то в темноте бесшумно подкрадывается к нему. Он открывал глаза, настораживался так, что начинало звенеть в ушах, выхватывал пистолет и сидел, окаменев, вздрагивая от звука упавшей шишки, от шелеста подмерзшего снега, от тихого журчанья маленьких подснежных ручейков.

Только под утро каменный сон сломил его. Когда совсем рассвело, вокруг дерева, под которым он спал, он увидел мелкие, кружевные следы лисьих лап, и меж ними виднелся на снегу продолговатый следок волочившегося хвоста.

Так вот кто не давал ему спать! По следам было видно, что лиса ходила вокруг и около, присаживалась и снова ходила. Нехорошая мысль мелькнула у Алексея. Охотники говорят, что этот хитрый зверь чувствует человечесью смерть и начинает преследовать обреченного. Неужели это предчувствие и привязало к нему трусливого хищника?

«Чепуха, какая чепуха! Все будет хорошо...» — подбодрил он себя и пополз, пополз, стараясь поскорее уйти от этого места.

В тот день ему опять повезло. В пахучем кусте можжевельника, с которого он обрывал губами сизые, матовые ягоды, увидел он какой-то странный комок палого листа.

Он тронул рукой — комок был тяжелый и не рассыпался. Тогда он стал обрывать листья и накололся на торчавшие сквозь них иглы. Он догадался: ежик. Большой старый еж, забираясь в чашу куста на зимовку, для тепла накатал на себя палых осенних листьев. Безумная радость овладела Алексеем. Весь свой скорбный путь мечтал он убить зверя или птицу. Сколько раз вынимал он пистолет и прицеливался то в сороку, то в сойку, то в зайца и всякий раз с трудом преодолевал желание выстрелить. В пистолете оставалось только три патрона: два для врага, один, в случае надобности, для себя.

Он заставлял себя убирать пистолет. Он не имел права рисковать.

А тут кусок мяса сам попал к нему в руки. Ни минуты не задумываясь над тем, что ежи считаются, по поверью, животными погаными, он быстро сорвал со зверька чешую листвы. Еж не просыпался, не разворачивался и походил на смешной, ошетилившийся иглами огромный боб.

Ударом кинжала Алексей убил ежа, развернул его, неумело содрал желтую шкурку на брюшке и иглистый панцирь, рассек на части и с наслаждением стал рвать зубами еще теплое сизое, жилистое мясо, плотно приросшее к костям. Еж был съеден сразу, без остатка. Алексей разгрыз и проглотил все мелкие кости и только после этого ощутил во рту противный запах псины. Но что значит этот запах по сравнению с полным желудком, от которого по всему организму разливались сытость, теплота и дрема!

Он еще раз осмотрел, обсосал каждую косточку и прилег на снег, наслаждаясь теплом и покоем. Он, может быть, даже заснул бы, если бы его не разбудил раздавшийся из кустов осторожный брех лисицы. Алексей насторожился, и вдруг сквозь глухой гул орудийной канонады, все время слышной с востока, различил он короткие трески пулеметных очередей.

Сразу стряхнув усталость, забыв про лису, про отдых, он снова пополз вперед, в глубь леса.

За болотцем, которое он переполз, открылась поляна, пересеченная старой изгородью из посеревших от ветров жердей, лыком и ивовыми вязками прикрученных к вбитым в землю кольям.

Между двумя рядами изгороди кое-где проглядывала из-под снега колея заброшенной, нехоженой дороги. Значит, где-то недалеко жилье! Сердце Алексея тревожно забилось. Вряд ли немцы заберутся в такую глушь. А если и так, там все же есть и свои, а они, конечно, спрячут, укроют раненого и помогут ему.

Чувствуя близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жалея сил, не отдыхая. Он полз, задыхаясь, падая лицом в снег, теряя сознание от напряжения, полз, торопясь скорее добраться до гребня пригорка, с которого, наверно, должна быть видна спасительная деревня. Стремясь из последних сил к жилью, он не замечал, что, кроме этой изгороди да колеи, все отчетливее и отчетливее проступавшей из-под талого снега, ничто не говорит о близости человека.

Вот наконец и вершина земляного горба. Алексей, еле переводя дыхание и судорожно глотая воздух, поднял глаза. Поднял и тотчас же опустил — таким страшным показалось ему то, что открылось перед ним.

Несомненно, еще недавно это было небольшой лесной деревенькой. Очертания ее без труда угадывались по двум неровным рядам печных труб, торчавших над заметными снегом буграми пожарищ. Кое-где сохранились палисадники, плетни, метелки рябин, стоявших когда-то у окошек. Теперь они торчали из снега, обгорелые, убитые жаром. Это было пустое снежное поле, на котором, как пни сведенного леса, торчали трубы и посреди — совсем уже нелепый — возвышался колодезный журавль с деревянной, позеленевшей, обитой по краям железом бадьей, медленно раскачиваемой ветром на ржавой цепи. Да еще на въезде в деревню около огороженного зеленым забором садика возвышалась кокетливая арочка, на которой тихо покачивалась и поскрипывала ржавыми петлями калитка.

И ни души, ни звука, ни дымка... Пустыня. Как будто и не жил здесь никогда человек. Заяц, которого Алексей спугнул в кустах, побежал от него, смешно подбрасывая зад, прямо в деревню, остановился, встал столбиком, под-

няв передние лапки и оттопырив ухо, постоял у калитки и, видя, что какое-то непонятное большое и странное существо продолжает ползти по его следу, поскакал дальше, вдоль обгорелых пустых палисадников.

Алексей продолжал машинально двигаться вперед. Крупные слезы ползли по его небритым щекам и падали на снег. Он остановился у калитки, где минуту назад стоял заяц. Над ней сохранился кусок доски и буквы на нем: «Детс...» Нетрудно было представить, что за этим вот зеленым заборчиком возвышалась хорошенькая постройка детского сада. Сохранились еще и маленькие скамейки, которые обстругал и выскоблил стеклышком заботливый деревенский столяр. Алексей оттолкнул калитку, подполз к скамеечке и хотел сесть. Но тело его уже привыкло к горизонтальному положению. Когда он сел, заломило позвоночник. И чтобы насладиться отдыхом, он лег на снегу полусвернувшись, как это делает усталый зверь.

В сердце его накипала тоска.

У скамейки снег оттаял. Земля чернела, и над ней, заметно для глаза колеблясь и переливаясь, поднималась теплая влага. Алексей взял в горсть теплую, оттаявшую землю. Она маслянисто прожималась между пальцами, пахла навозом и сыростью, пахла коровником и жильем.

Вот жили люди... Отвоевали когда-то, в стародавние времена, у Черного леса этот клочок скудной серой земли. Раздирали ее сохой, царапали деревянной бороной, ходили, удобряли. Жили трудно, в вечной борьбе с лесом, со зверем, с думами о том, как дотянуть до нового урожая. В советское время организовали колхоз, появилась мечта о лучшей жизни, появились машины, завелся достаток. Деревенские плотники построили детский сад. И, наблюдая через вот этот зеленый заборчик, как возится здесь румяная детвора, мужики по вечерам, может, думали уже: а не собраться ли с силами, не срубить ли читальню и клуб, где можно было бы в тепле и покое, под вой метели посидеть зимний вечерок; не засветит ли здесь, в лесной глуши, электричество... И вот — ничего, пустыня, лес, вековая, ничем не нарушаемая тишина.

Чем больше Алексей раздумывал, тем острее работала его усталая мысль. Он видел Камышин, маленький пыльный городок в сухой и плоской степи у Волги. Летом и осенью городок обдували острые степные ветры.

Они несли с собой тучи пыли и песка. Он колол лица, руки, он задувал в дома, просачивался в закрытые окна, слепил глаза, хрустел на зубах. Эти тучи песка, приносимые из степи, называли «камышинский дождик», и многие поколения камышинцев жили мечтой остановить пески, вволю подышать чистым воздухом. Но только в социалистическом государстве сбылась их мечта: люди договорились и вместе начали борьбу с ветрами и песком. По субботам весь город выходил на улицу с лопатами, топорами, ломami. На пустой площади появился парк, вдоль маленьких улиц выстроились аллеи тоненьких топольков. Их бережно поливали и подстригали, как будто это были не городские деревья, а цветы на собственном подоконнике. И Алексей помнил, как весь город, от мала до велика, ликовал по веснам, когда голые тонкие прутья давали молодые побеги и одевались в зелень... И вдруг он живо представил себе немцев на улицах родного Камышина. Они жгут костры из этих деревьев, с такой любовью выращенных камышинцами. Окутан дымом родной городок, и на месте, где был домик, в котором вырос Алексей, где жила его мать, торчит вот такая закоптелая и уродливая труба.

В сердце его наikipала тягучая и жуткая тоска.

Не пускать, не пускать их дальше! Драться, драться с ними, пока есть силы, как тот русский солдат, что лежал на лесной поляне на горах вражеских тел.

Солнце коснулось уже сизых зубцов леса.

Алексей полз там, где когда-то была деревенская улица. Тяжелым трупным запахом несло от пожарищ. Деревня казалась более безлюдной, чем глухая, безлюдная чаща. Вдруг какой-то посторонний шум заставил его насторожиться. У крайнего пепелища он увидел собаку. Это была дворняга, длинношерстая, вислоухая, обычный этaкий Бобик или Жучка. Тихо урча, она трепала кусок вялого мяса, зажав его в лапах. При виде Алексея этот пес, которому полагалось быть добродушнейшим существом, предметом постоянной воркотни хозяек и любимцем мальчишек, вдруг зарычал и оскалил зубы. В глазах его загорелся такой свирепый огонь, что Алексей почувствовал, как шевельнулись у него волосы. Он сбросил с руки обувь и полез в карман за пистолетом. Несколько мгновений они — человек и этот пес, ставший уже зверем, — упорно вглядывались друг в друга. Потом у пса шевельнулись, должно быть, воспоминания, он

опустил морду, виновато замахал хвостом, забрал свою добычу и, поджав зад, убрался за черный холмик пожарища.

Нет, прочь, скорее прочь отсюда! Используя последние минуты светлого времени, Алексей, не разбирая дороги, прямо по целине, пополз в лес, почти инстинктивно стремясь туда, где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады. Она, как магнит, с нарастающей по мере приближения силой тянула его к себе.

12

Так полз он еще день, два или три... Счет времени он потерял, все слилось в одну сплошную цепь автоматических усилий. Порой не то дрема, не то забытье овладевали им. Он засыпал на ходу, но сила, тянувшая его на восток, была так велика, что и в состоянии забытья он продолжал медленно ползти, пока не наткнулся на дерево или куст или не оступалась рука и он падал лицом в талый снег. Вся его воля, все неясные его мысли, как в фокусе, были сосредоточены в одной маленькой точке: ползти, двигаться, двигаться вперед во что бы то ни стало.

На пути своем он жадно оглядывал каждый куст, но больше ежей не попадалось. Питался подснежными ягодами, сосал мох. Однажды встретилась ему большая муравьиная куча. Она возвышалась в лесу, как ровный, очесанный и омытый дождями стожок сена. Муравьи еще не проснулись, и обиталище их казалось мертвым. Но Алексей сунул руку в этот рыхлый стог, и, когда вынул ее, она была усеяна муравьиными тельцами, крепко впившимися ему в кожу. И он стал есть этих муравьев, с наслаждением ощущая в сухом, потрескавшемся рту пряный и терпкий вкус муравьиной кислоты. Он снова и снова совал руку в муравьиную кучку, пока весь муравейник не ожил, разбуженный неожиданным вторжением.

Маленькие насекомые яростно защищались. Они искусили Алексею руку, губы, язык, они забрались под комбинезон и жалили тело, но эти ожоги были ему даже приятны. Острый вкус муравьиной кислоты подбодрил его. Захотелось пить. Между кочками Алексей заметил небольшую лужицу бурой лесной воды и наклонился над ней. Наклонился — и тотчас же отпрянул: из темного

водного зеркала на фоне голубого неба смотрело на него страшное, незнакомое лицо. Оно напоминало обтянутый темной кожей череп, обросший неопрятной, уже курчавившейся щетиной. Из темных впадин смотрели большие, круглые, дико блестящие глаза, свалывшиеся волосы сосульками падали на лоб.

«Неужели это я?» — подумал Алексей и, страшась снова наклониться над водой, не стал пить, поел снега и пополз прочь на восток, притягиваемый все тем же могучим магнитом.

Ночевать он забрался в большую бомбовую воронку, окруженную желтым бруствером выброшенного взрывом песка. На дне ее было тихо и уютно. Ветер не залетал сюда и только шуршал сдуваемыми вниз песчинками. Звезды же снизу казались необычайно яркими, и мнилось — висят они невысоко над головой, а мохнатая ветка сосны, покачивавшаяся под ними, казалась рукой, которая тряпкой все время вытирала и чистила эти сверкающие огоньки. Под угро похолодало. Сырая изморозь повисла над лесом, ветер переменял направление и потянул с севера, превращая эту изморозь в лед. Когда тусклый запоздалый рассвет пробился наконец сквозь ветви деревьев, густой туман осел и понемногу растаял, все кругом оказалось покрытым скользкой ледяной коркой, а ветка сосны над воронкой казалась уже не рукой, держащей тряпку, а причудливой хрустальной люстрой с мелкими подвесками. Подвески эти тихо и холодно звенели, когда ветер встряхивал их.

За эту ночь Алексей как-то особенно ослаб. Он даже не стал жевать сосновую кору, запас которой нес за пазухой. С трудом оторвался он от земли, точно тело приклеилось к ней за ночь. Не стряхивая с комбинезона, с бороды и усов намерзшего на них ледка, он стал карабкаться на стенку воронки. Но руки бессильно скользили по обледеневшему за ночь песку. Снова и снова пытался он вылезть, снова и снова соскальзывал на дно воронки. Раз от разу попытки его становились слабее. Наконец он с ужасом убедился, что без посторонней помощи ему не выбраться. Эта мысль еще раз заставила его карабкаться по скользкой стенке. Он сделал только несколько движений и соскользнул, обессиленный и немощный.

«Все! Теперь все равно!»

Он свернулся на дне воронки, ощущая во всем теле тот страшный покой, который размагничивает волю и

парализует ее. Вялым движением он достал из кармана гимнастерки истертые письма, но читать их не было силы. Вынул обернутую в целлофан фотографию девушки в пестром платье, сидевшей в траве цветущего луга. Серьезно и грустно улыбаясь, спросил он ее:

— Неужели прощай? — и вдруг вздрогнул и застыл с фотографией в руке: где-то высоко над лесом в холодном, промозглом воздухе померещился ему знакомый звук.

Он сразу очнулся от тягучей дремы. Ничего особенного не было в этом звуке. Он был так слаб, что даже чуткое ухо зверя не отличило бы его от ровного шороха обледенелых древесных вершин. Но Алексей слышал его все отчетливей. По особым, свистящим нотам он безошибочно угадал, что летит «ишачок», на каком летал и он.

Рокот мотора приближался, нарастал, переходя то в свист, то в стон, когда самолет поворачивался в воздухе, и вот наконец высоко в сером небе появился крохотный, медленно движущийся крестик, то таявший, то снова выплывавший из серой дымки облаков. Вот видны уже красные звезды на его крыльях, вот над самой головой Алексея, сверкнув на солнце плоскостями, он сделал мертвую петлю и, повернув, стал уходить назад. Скоро рокот его стих, утонув в шуме обледенелого, нежно гремевшего под ветром ветками леса, но Алексею долго еще казалось, что он слышит этот свистящий, тонкий звук.

Он представил себя в кабине. За одно мгновение, в которое человек не успел бы даже выкурить папиросу, он был бы на родном лесном аэродроме. Кто же летел? Может быть, Андрей Дегтяренко вышел на утреннюю разведку? Он любит во время разведки забираться ввысь в тайной надежде встретить противника... Дегтяренко... Машина... Ребята...

Ощувив в себе новый прилив энергии, Алексей оглядел обледеневшие стенки воронки. Ну да! Так не вылезешь. Но не лежать же на боку и ждать смерти! Он вытащил из ножен кинжал и вялыми, слабыми ударами принялся рубить ледяную корку, выгребать ногтями смерзшийся песок, делать ступеньки. Он обломал ногти, окровавил пальцы, но орудовал ножом и ногтями все упрямее. Потом, опираясь коленями и руками на эти ступеньки-ямки, он стал медленно подниматься. Ему удалось добраться до бруствера. Еще усилие — лечь на



него, перевалиться. Но ноги соскользнули, и, больно ударившись лицом об лед, он покатился вниз. Он крепко ушибся. Но рокот мотора еще стоял у него в ушах. Он снова стал карабкаться и снова соскользнул. Тогда, критически осмотрев свою работу, он принялся углублять ступеньки, сделал края верхних более острыми и опять полез, осторожно напрягая силы все слабеющего тела.

С большим трудом он перевалился через песчаный бруствер, бессильно скатился с него. И пополз туда, куда ушел самолет и откуда, разгоняя туман-снегоед и сверкая в хрустале гололедицы, поднималось над лесом солнце.

13

Но ползти было совсем трудно. Руки дрожали и, не выдерживая тяжести тела, подламывались. Несколько раз он ткнулся лицом в талый снег. Казалось, земля во много раз увеличивала свою силу притяжения. Невозможно было преодолевать ее. Неудержимо хотелось лечь и отдохнуть хоть немного, хоть полчаса. Но сегодня Алексея неистово тянуло вперед. И, преодолевая вяжущую усталость, он все полз и полз, падал, поднимался и снова полз, не ощущая ни боли, ни голода, ничего не видя и не слыша, кроме звуков канонады и перестрелки.

Когда руки перестали держать, он попробовал ползти на локтях. Это было очень неудобно. Тогда он лег и, отталкиваясь от снега локтями, попробовал катиться. Это удалось. Перекатываться с боку на бок было легче, не требовалось больших усилий. Только очень кружилась голова, поминутно уплывало сознание и часто приходилось останавливаться и садиться на снег, выжидая, пока прекратится круговое движение земли, леса, неба.

Лес стал редким, местами просвечивал плешинами вырубков. На снегу виднелись полосы зимних дорог. Алексей уже не думал о том, удастся ли ему добраться до своих, но он знал, что будет ползти, катиться, пока тело его в состоянии двигаться. Когда от этой страшной работы всех его ослабевших мышц он на мгновение терял сознание, руки и все его тело продолжали делать те же сложные движения, и он катился по снегу — на звук канонады, на восток.

Алексей не помнил, как провел он эту ночь и много ли еще прополз утром. Все тонуло во мраке мучительного

полузабытья. Смутно вспоминались только преграды, стоявшие на пути его движения: золотой ствол срубленной сосны, истекающей янтарной смолой, штабель бревен, опилки и стружки, валявшиеся повсюду, какой-то пень с отчетливыми кольцами годовичных слоев на срезе...

Посторонний звук вывел его из полузабытья, вернул ему сознание, заставил сесть и оглядеться. Он увидел себя посреди большой лесной вырубki, залитой солнечными лучами, заваленной срубленными и неразработанными деревьями, бревнами, уставленной штабелями дров. Полуденное солнце стояло над головой, густо пахло смолой, разогретой хвоей, снежной сыростью, и где-то высоко над не оттаявшей еще землей звенел, заливался, захлебываясь в собственной своей немудреной песенке, жаворонок.

Полный ощущения неопределенной опасности, Алексей оглядел лесосеку. Вырубка была свежая, незапущенная, хвоя на неразделанных деревьях не успела еще пожелтеть, медовая смола капала со срезов, пахло свежими щепками и сырой корой, валявшимися повсюду. Значит, лесосека жила. Может быть, немцы заготавливают здесь лес для блиндажей и укреплений. Тогда нужно поскорее убираться. Лесорубы могут вот-вот прийти. Но тело точно окаменело, скованное чугуном болью, и нет сил двигаться.

Продолжать ползти? Но инстинкт, выработавшийся в нем за дни лесной жизни, настораживал его. Он не видел, нет, он по-звериному чувствовал, что кто-то внимательно и неотрывно следит за ним. Кто? Лес тих, звенит над вырубкой жаворонок, глухо долбят дятлы, сердито перепискиваются синички, стремительно перепархивая в пониких ветвях рубленых сосен.

И все же всем существом своим Алексей чувствовал, что за ним следят.

Треснула ветка. Он оглянулся и увидел в сизых клубах молодого частого соснячка, согласно кивавшего ветру курчавыми вершинами, несколько ветвей, которые жили какой-то особой жизнью и вздрагивали не в такт общему движению. И почудилось Алексею, что оттуда доносился тихий, взволнованный шепот — человеческий шепот.

Снова, как тогда, при встрече с собакой, почувствовал Алексей, как шевельнулись волосы.

Он выхватил из-за пазухи заржавевший, запыливший-

ся пистолет и принужден был взводить курок усилиями обеих рук. Когда курок шелкнул, в сосенках точно кто-то отпрянул. Несколько деревцев передернули вершинами, как будто за них задели, и вновь все стихло.

«Что это: зверь, человек?» — подумал Алексей, и ему показалось — в кустах кто-то тоже вопросительно сказал: «Человек?» Показалось или действительно там, в кустах, кто-то говорит по-русски? Ну да, именно по-русски. И оттого, что говорили по-русски, он почувствовал вдруг такую сумасшедшую радость, что, совершенно не задумываясь над тем, кто там — друг или враг, издал торжествующий вопль, вскочил на ноги, всем телом рванулся вперед на голос и тут же со стоном упал как подрубленный, уронив в снег пистолет...

14

Свалившись после неудачной попытки встать, Алексей на мгновение потерял сознание, но то же ощущение близкой опасности привело его в себя. Несомненно, в сосняке скрывались люди, они наблюдали за ним и о чем-то перешептывались.

Он приподнялся на руках, поднял со снега пистолет и, незаметно держа его у земли, стал наблюдать. Опасность вернула его из полузабытья. Сознание работало четко. Кто они были? Может быть, лесорубы, которых немцы гоняют сюда на заготовку дров? Может, русские, такие же, как и он, окруженцы, пробирающиеся из немецких тылов через линию фронта к своим? Или кто-нибудь из местных крестьян? Ведь слышал же он, как кто-то отчетливо вскрикнул: «Человек?»

Пистолет дрожал в его руке, одеревеневшей от ползанья.

Но Алексей приготовился бороться и хорошо израсходовать оставшиеся три патрона...

В это время из кустов раздался взволнованный детский голос:

— Эй, ты кто? Дойч? Ферштеешь?

Эти странные слова насторожили Алексея, но кричал, несомненно, русский, и, несомненно, ребенок.

— Ты что тут делаешь? — спросил другой детский голос.

— А вы кто? — ответил Алексей и смолк, пораженный тем, как немощен и тих был его голос.

За кустами его вопрос произвел переполох. Там долго шептались, жестикулируя так, что метались веточки сосняка.

— Ты нам шарики не крути, не обманешь! Я немца за пять верст по духу узнаю. Ты есть дойч?

— А вы кто?

— А тебе почто знать? Не ферштею...

— Я русский.

— Врешь... Лопни глаза, врешь: фриц!

— Я русский, русский, я летчик, меня немцы сбидли.

Теперь Алексей не осторожничал. Он убедился, что за кустами — свои, русские, советские. Они не верят ему, — что ж, война учит осторожности. Впервые за весь свой путь он почувствовал, что совершенно ослаб, что не может уже больше шевелить ни ногой, ни рукой, ни двигаться, ни защищаться. Слезы текли по черным впадинам его щек.

— Гляди, плачет! — раздалось за кустами. — Эй, ты, чего плачешь?

— Да русский, русский я, свой, летчик...

— А с какого аэродрома?

— Да вы-то кто?

— А тебе что? Ты отвечай!

— С Мончаловского... Помогите же мне, выходите! Какого черта...

В кустах зашептались оживленнее. Теперь Алексей отчетливо слышал фразы:

— Ишь, говорит — с Мончаловского... Может, верно... И плачет... Эй ты, летчик, брось наган-то! — крикнули ему. — Брось, говорю, а то не выйдем, убежим!

Алексей откинул в сторону пистолет. Кусты раздвинулись, и два мальчугана, настороженные, как любопытные синички, готовые каждую минуту сорваться и дать стрекача, осторожно, держась за руки, стали подходить к нему, причем старший, худенький, голубоглазый, с русыми пеньковыми волосами, держал в руке наготове топор, решив, должно быть, применить его при случае. За ним, прячась за его спину и выглядывая из-за нее полными неукротимого любопытства глазами, шел меньший, рыженький, с пятнистым от веснушек лицом, шел и шептал:

— Плачет. И верно, плачет. А тощей-то, тощей-то! Старший, подойдя к Алексею, все еще держа наго-

тове топор, огромным отцовским валенком отбросил подалеже лежащий на снегу пистолет.

— Говоришь, летчик? А документ есть? Покажь.

— Кто тут? Наши? Немцы? — шепотом, невольно улыбаясь, спросил Алексей.

— А я знаю? Мне не докладывают. Лес тут, — дипломатично ответил старший.

Пришлось лезть в гимнастерку за удостоверением. Красная командирская книжка со звездой произвела на ребят волшебное впечатление. Точно детство, утерянное в дни оккупации, вернулось к ним разом оттого, что перед ними оказался свой, родной, Красной Армии летчик.

— Свои, свои, третий день свои!

— Дяденька, ты почему такой тощей-то?

— ...Их тут наши так тряханули, так чесанули, так бабахнули! Бой тут был, страсть! Набито их ужась, ну ужась сколько!

— А удирали кто на чем... Один привязал к оглоблям корыто и в корыте едет. А то двое раненые идут, за лошадиный хвост держатся, а третий на лошади, верхом, как фон-барон... Где же тебя, дяденька, сбили?

Пострелокатав, ребята начали действовать. До жилья было от вырубки, по их словам, километров пять. Алексей, совсем ослабевший, не мог даже повернуться, чтобы удобнее лечь на спину. Санки, с которыми ребята пришли за ветлами на «немецкую вырубку», были слишком малы, да и не под силу было мальчикам тащить без дороги, по снежной целине, человека. Старший, которого звали Серёнькой, приказал брату Федьке бежать во весь дух в деревню и звать народ, а сам остался возле Алексея караулить его, как он пояснил, от немцев, втайне же не доверяя ему и думая: «А ляд его знает, фриц хитер — и помирающим прикинется, и документик достанет...» А впрочем, понемногу опасения эти рассеялись, мальчуган разболтался.

Алексей дремал с полузакрытыми глазами на мягкой, пушистой хвое. Он слушал и не слушал его рассказ. Сквозь спокойную дрему, сразу вдруг сковавшую его тело, долетали до сознания только отдельные несвязные слова. Не вникая в их смысл, Алексей сквозь сон наслаждался звуками родной речи.

Только потом узнал он историю злоключений жителей деревеньки Плавни.

Немцы пришли в эти лесные и озерные края еще в октябре, когда желтый лист пламенел на березах, а осины точно охвачены были тревожным красным огнем. Боев в районе Плавней не произошло. Километрах в тридцати западнее, уничтожив красноармейскую часть, которая полегла на укреплениях наспех построенной оборонительной линии, немецкие колонны, возглавляемые мощным танковым авангардом, миновали Плавни, спрятанные в стороне от дорог, у лесного озера, и прокатились на восток. Они стремились к большому железнодорожному узлу Бологое, чтобы, захватив его, разъединить Западный и Северо-Западный фронты. Здесь, на далеких подступах к этому городу, все летние месяцы и всю осень жители Калининской области — горожане, крестьяне, женщины, старики и подростки, люди всех возрастов и всех профессий, — день и ночь, в дождь и в зной, страдая от комаров, от болотной сырости, от дурной воды, копали и строили оборонительные рубежи.

Укрепления протянулись с юга на север на сотни километров через леса, болота, по берегам озер, речушек и ручьев.

Немало горя хватило строители, но труды их не пропали даром. Немцы с ходу прорвали несколько оборонительных поясов, но на одном из последних рубежей их задержали. Бои стали позиционными. К городу Бологое немцам прорваться так и не удалось, и они вынуждены были перенести центр удара южнее, а тут перешли к обороне.

Крестьяне из деревни Плавни, подкреплявшие обычно скудный урожай своих супесчаных полей удачным рыбачеством в лесных озерах, совсем уже было обрадовались, что война миновала их. Переименовали, как это требовали немцы, председателя колхоза в старосту и продолжали жить по-прежнему артелью, надеясь, что не вечно же оккупантам топтать советскую землю и что им, плавненским, в их глуши, может, и удастся пересидеть напасть. Но вслед за немцами в мундирах цвета болотной ряски приехали на машинах немцы в черном, с черепом и костями на пилотках. Жителям Плавней было предписано выставить через двадцать четыре часа пятнадцать добровольцев, желающих ехать на постоянные работы в Германию. В противном случае деревне сулили большие беды. Добровольцам явиться к крайней избе, где помещались артельный рыбный склад и правление,

иметь с собой смену белья, ложку, вилку, нож и продуктов на десять дней. К положенному сроку никто не пришел. Впрочем, немцы в черном, уже, должно быть, наученные опытом, не очень на это и надеялись. Они схватили и расстреляли для острастки перед зданием правления председателя колхоза, то бишь старосту, пожилую воспитательницу из детского сада Веронику Григорьевну, двух колхозных бригадиров да человек десять крестьян, подвернувшихся им под руку. Тела не велели хоронить и заявили, что так будет со всей деревней, если через сутки добровольцы не явятся на место, названное в приказе.

Добровольцы опять не явились. А утром, когда немцы из зондеркоманды СС пошли по деревне, все избы оказались пустыми. В них не было ни души — ни старых, ни малых. Ночью, бросив свои дома, землю, все свое годами нажитое добро, почти всю скотину, люди под покровом густых в этих краях ночных туманов бесследно исчезли. Деревня вся как есть, до последнего человека, снялась и ушла в лесную глушь — за восемнадцать верст, на старую вырубку. Накопав землянок, мужчины ушли партизанить, а бабы с ребятишками остались бедовать в лесу до весны.

Мятежную деревню зондеркоманда сожгла дотла, как и большинство деревень и сел в этом районе, названном немцами мертвой зоной.

— ...Батя у меня председателем колхоза был, старостой они его называли,— рассказывал Серёнька, и слова его долетали до сознания Алексея точно из-за стены,— так они его убили и братеньку старшего убили, инвалид он был, без руки, руку ему на гумне отрезало. Шестнадцать человек... Я сам видел, нас всех согнали смотреть. Батя все кричал, все матерился... «Пропишут вам за нас, сукины сыны!— кричал.— Кривавой слезой, кричал, за нас заплачете!..»

Странное ощущение испытал летчик, слушая маленького белокурого мужичка с большими грустными, усталыми глазами. Он точно плавал в вязком тумане. Необоримая усталость крепко опутывала все его измотанное нечеловеческим напряжением тело. Он не мог шевельнуть даже пальцем и просто не представлял себе, как это он всего часа два тому назад еще передвигался.

— Так в лесу и живете? — еле слышно спросил мальчика Алексей, с трудом освобождаясь от пут дремы.

— А как же, так и живем. Трое нас теперь: мы с Федькой да matka. Сестренка была Нюшка — зимой померла, опухла и померла, и еще маленький помер, так что, выходит, нас трое... А что: немцы не воротятся, а? Дея наш, маткин, значит, отец, он у нас сейчас за председателя, говорит: не воротятся, мертвого, говорит, с погоста не таскают. А matka все боится, все бежать хочет: а ну, говорит, опять вернутся... А вон и дея с Федькой, глянь!

На опушке леса стоял рыженький Федька и показывал на Алексея пальцем высокому сутулому старику в рваном, из крашенной луком домотканины армяке, подвязанном веревкой, и в высоковерхой офицерской немецкой фуражке.

Старик, дея Михайла, как называли его ребятишки, был высок, сутул, худ. У него было доброе лицо Николы-угодника немудреного сельского письма, с чистыми, светлыми, детскими глазами и мягкой негустой бородкой, струистой и совершенно серебряной. Закутывая Алексея в старую баранью шубу, всю состоявшую из пестрых заплаток, без труда поднимая и перевортывая его легкое тело, он все приговаривал с наивным удивлением:

— Ах ты, грех-то какой, вовсе истощился человек! До чего дошел... Ах ты, боже ты мой, ну сущий шкилет! И что только война с людьми делает. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

Осторожно, как новорожденного ребенка, опустил он Алексея на салазки, прикрутил к ним веревочной вожжой, подумал, стащил с себя армяк, свернул и подмостил ему под голову. Потом вышел вперед, впрягся в маленький хомут, сделанный из мешковины, дал по веревке мальчикам, сказал: «Ну, с богом!» — и втроем они потянули салазки по талому снегу, который цеплялся за полость, скрипел, как картофельная мука, и оседал под ногами.

15

Следующие два-три дня были окутаны для Алексея густым и жарким туманом, в котором нечетко и призрачно видел он происходящее. Действительность смешивалась с бредовыми снами, и только уже много времени спустя удалось ему восстановить истинные события во всей их последовательности.

Беглая деревня жила в вековом бору. Землянки, одетые еще не сошедшим снегом, прикрытые сверху хвоей,

с первого взгляда трудно было даже заметить. Дым из них валил точно из земли. В день появления здесь Алексея было тихо и сыро, дым льнул ко мху, цеплялся за деревья, и Алексею показалось, что местность эта объята затухающим лесным пожаром.

Все население — преимущественно бабы и дети да несколько стариков,— узнав, что Михайла везет из лесу неведомо откуда взявшегося советского летчика, по рассказам Федьки похожего на «сущий шкилет», высыпало навстречу. Когда «тройка» с салазками замелькала меж древесных стволов, бабы обступили ее и, отгоняя шлепками и подзатыльниками сновавших под ногами ребятшек, так стеной и пошли, окружив сани, охая, причитая и плача. Все они были оборваны, и все казались одинаково пожилыми. Копоть землянок, топившихся по-черному, не сходила с их лиц. Только по сверканью глаз, по блеску зубов, выделявшихся своей белизной на этих коричневых лицах, можно было отличить молодуху от бабки.

— Бабы, бабы, ах, бабы! Ну что собрались, ну что? Театра это вам? Спиктакля? — серчал Михайла, сноровисто нажимая на свой хомутик.— Да не суйте вы под ногами, бога ради, овцы, прости господи, полоумные!

А из толпы до Алексея доносилось:

— Ой, какой! Верно, шкилет! Не шевелится, жив ли?

— Без памяти он... Чего же это с ним? Ой, бабоньки, уж тощ, уж тощ!

Потом волна удивления схлынула. Неизвестная, но, очевидно, страшная судьба этого летчика поразила баб, и, пока сани тащились по опушке, медленно приближаясь к подземной деревне, затеялся спор: у кого жить Алексею?

— У меня землянка суха. Песок-песочек и воздух вольный... Печура у меня,— доказывала маленькая круглолицая женщина с бойко сверкавшими, как у молодого негра, белками глаз.

— «Печура»! А живет-то вас сколько? От одного духа представишься!.. Михайла, давай ко мне, у меня три сына в красноармейцах и мучки малость осталось, я ему лепешки печь стану!

— Нет, нет, ко мне, у меня просторно, вдвоем живем, места хватит; лепешки тащи к нам: все равно ведь ему, где есть. Уж мы с Ксюхой его обиходим, у меня лещ



мороженный есть и грибков белых нитка... Ушицу ему, суп с грибами.

— Где ж ему ушицу, он одной ногой в гробу!.. Ко мне его, дядя Миша, у нас корова, молочко!

Но Михайла подтащил сани к своей землянке, находившейся посередине подземной деревни.

Алексей помнит: лежит он в маленькой темной земляной норе; слегка чадая, потрескивая и роняя искры, горит воткнутая в стену лучина. В свете ее видны с нар стол, сколоченный из ящичков от немецких мин и утвержденный на вкопанном в землю столбе, и чурки около него вместо табуреток, и тонкая, по-старушечьи одетая женщина в черном платке, наклонившаяся к столу,— младшая сноха деда Михайлы Варвара, и голова самого старика, повитая седыми негустыми кудрями.

Алексей лежит на полосатом тюфяке, набитом соломой. Накрыт он все той же бараньей шубой, состоящей из разноцветных заплат. От шубы приятно пахнет чем-то кислым, таким обиходным и жилым. И хотя все тело ноет, как побитое камнями, а ноги горят, точно к ступням приложены раскаленные кирпичи, приятно лежать вот так неподвижно, зная, что никто тебя не тронет, что не надо ни двигаться, ни думать, ни стеречься.

Дым от камелька, сложенного на земле в углу, стелется сизыми живыми, переливающимися слоями, и кажется Алексею, что не только этот дым, но и стол, и серебряная голова деда Михайлы, всегда чем-то занятого, что-то мастерящего, и тонкая фигура Вари — все это расплывается, колеблется, вытягивается. Алексей закрывает глаза. Открывает он их, разбуженный током холодного воздуха, пахнувшего в дверь, обитую дерюжкой с черным немецким орлом. У стола какая-то женщина. Она положила на стол мешочек и еще держит на нем руки, точно колеблясь, не взять ли его обратно, вздыхает и говорит Варваре:

— Манка это... С мирного времени для Костюньки берегли. Не надо ему теперь ничего, Костюньке-то. Возьмите, кашки вот постояльцу своему сварите. Она для ребятшек, кашка-то, ему как раз.

Повернувшись, она тихо уходит, овеяв всех своей печалью. Кто-то приносит мороженого леща, кто-то — лепешки, испеченные на камнях камелька, распространяющие по всей землянке кислый теплый хлебный парок.

Приходят Серёнька с Федькой. С крестьянской степенью Серёнька снимает в дверях с головы пилотку, говорит: «Здравствуйте вам»,—кладет на стол два кусочка пиленого сахара с прилипшими к ним крошками махры и отрубей.

— Мамка прислала. Он полезный, сахар-то, ешьте,—говорит он и деловито обращается к деду: — Опять на пепелище ходили. Чугунок откопали. Два заступа не больно обгорелые, топор без топорща. Принесли, сгодится.

А Федька, выглядывая из-за брата, жадно смотрит на белеющие на столе кусочки сахара и с шумом втягивает слюну.

Только уже гораздо позже, обдумывая все это, Алексей сумел оценить приношения, которые делались ему в селении, где в эту зиму около трети жителей умерло от голода, где не было семьи, не похоронившей одного, а то и двух покойников.

— Эх, бабы, бабы, цены вам, бабы, нет! А? Слышь, Алеха, говорю — русской бабе, слышь, цены нет. Ее стоит за сердце тронуть, она последнее отдаст, головушку положит, баба-то наша. А? Не так? — приговаривал дед Михайла, принимая все эти дары для Алексея и снова берясь за какую-нибудь свою вечную работенку: за починку сбури, пошивку хомутов или подшивку протоптавшихся валенок.— И в работе, брат Алеха, она, эта самая баба, нам не сдает, а то и тю-тю! — гляди, и обставит мужика-то на работе! Только язык этот бабий, ох, язык! Заморочили мне, Алеха, эти самые чертовы бабы голову, ну просто навовсе заморочили. Как Анисья-то моя померла, я, грешный человек, и подумал: «Слава те господи, поживу в тишине-покое!» Вот меня бог и наказал. Мужики-то наши, кои остались в армию непозабратые, все при немцах в партизаны подались, и остался я за великие свои грехи бабьим командиром, как козел в овечьем стаде... Ох-хо-хо!

Много такого, что глубоко поразило его, увидел Алексей в этом лесном поселении. Немцы лишили жителей Плавней домов, добра, инвентаря, скота, обиходной рухляди, одежды — всего, что нажито было трудом поколений; жили люди теперь в лесу, терпели великие бедствия, страх от ежеминутной угрозы, что немцы их откроют, голодали, мерли,— но колхоз, который передовикам в тридцатом году после полугодовой брани и спо-

ров еле-еле удалось организовать, не развалился. Наоборот, великие бедствия войны еще больше сплотили людей. Даже землянки рыли коллективно и расселились в них не по-старому, где кому пришлось, а по бригадам. Председательские обязанности, взамен убитого зятя, взял на себя дед Михайла. Он свято соблюдал в лесу колхозные обычаи, и вот теперь руководимая им пещерная деревня, загнанная в чашу бора, по бригадам и звеньям готовилась к весне.

Страдающие от голода крестьянки снесли и ссыпали в общую землянку до последнего зернышка все, у кого что сохранилось после бегства. За телятами от коров, заблаговременно уведенных от немцев в лес, был установлен строжайший уход. Люди голодали, но не резали общественного скота. Рискуя поплатиться жизнью, мальчишки ходили на старые пепелища и в углях пожара выкапывали посиневшие от жара плуги. К наиболее сохранившимся из них приделали деревянные ручки. Из мешковины мастерили ярма, чтобы с весны начать пахать на коровах. Бабы бригады ловили по нарядам в озерах рыбу, и ею всю зиму питалась деревня.

Хоть дед Михайла и ворчал на «своих баб» и зажимал уши, когда они затевали у него в землянке злые и длинные ссоры из-за каких-нибудь мало понятных Алексею хозяйственных дел, хотя и орал иной раз на них выведенный из себя дед своим фальцетом, он умел их ценить и, пользуясь покладистостью своего молчаливого слушателя, не раз принимался до небес превозносить «женское отродье»:

— Ведь ты смотри, Алеха, друг ты мой любезный, что получилось. Баба — она от веку веков за кусок обеими руками держится. А? Не так? А почему? Скупа? Нет, потому что ей дорог кусок-то, детей-то ведь она кормит, семью-то, что там ни говори, она, баба, ведет. Теперь посмотри, какое дело. Живем мы, сам видишь, как: крохи считаем. Ага, голод! А тут, значит, было это в январе, нагрянули к нам партизаны, и не наши деревенские, нет — наши-то где-то, слышь, под Ленином воюют, — а чужие, с чугулки какие-то. Ладно. Нагрянули. «С голоду помираем». И что же думаешь, на следующий день бабешки им полные сумки напихали. А у самих-то детишки вон пухлые, на ноги не поднимаются. А? Не так?.. То-то вот и оно! Кабы я был какой командир, я бы, как немцев мы прогоним, собрал бы лучшие свои войска

и вывел бы наперед бабу и велел бы всем моим войскам, значит, перед ней, перед бабой русской, маршировать и честь ей отдавать, бабе-то!..

Алексей сладко дремал под старческую болтовню. Иногда, слушая старика, хотелось ему достать из кармана гимнастерки письма, фотографию девушки и показать их ему, да руки не поднимались, так был слаб. Но когда дед Михайла принимался нахваливать своих баб, казалось Алексею, что чувствует он тепло этих писем через сукно гимнастерки.

Тут же, у стола, тоже вечно занятая каким-нибудь делом, ловкая и молчаливая, трудилась по вечерам сноха деда Михайлы.

Сначала Алексей принял ее за старуху, жену деда, но потом разглядел, что ей не больше двадцати — двадцати двух лет, что она легкая, стройная, миловидная и что, глядя на Алексея как-то испуганно и тревожно, она порывисто вздыхает, точно проглатывает какой-то застрявший в горле комок. Иногда по ночам, когда лучина гасла и в дымном мраке землянки начинал задумчиво попиливать сверчок, случайно отысканный дедом Михайлой на старом пепелище и принесенный сюда в рукавице «для жилого духу» вместе с обгорелой посудой, казалось Алексею, что слышит он, как кто-то тихонько плачет на нарах, хоронясь и закусив зубами подушку.

16

На третий день гостеванья Алексея у деда Михайлы старик утром решительно сказал ему:

— Обовшивел ты, Алеха,— беда: что жук навозный. А чесаться-то тебе трудно. Вот что: баньку я тебе сооружу. Что?.. Баньку. Помою тебя, косточки попарю. Оно, с трудов-то твоих, больно хорошо, банька-то. Что? Не так?

И он принялся сооружать баню. Очаг в углу натопил так, что стали с шумом лопаться камни. Где-то на улице тоже горел костер, и на нем, как сказали Алексею, калился большой валун. Варя наносила воды в старую кадку. На полу постлали золотой соломы. Потом дед Михайла разделся по пояс, остался в одних подштанниках, быстро развел в деревянной бадье щелок, надрал из рогожи пахнущего летом мочала. Когда же в землянке стало так жарко, что с потолка начали падать тяже-

лые холодные капли, старик выскочил на улицу, на железном листе притащил оттуда красный от жара валун и опустил его в кадку. Целая туча пара шибанула к потолку, расползлась по нему, переходя в белые курчавые клубы. Ничего не стало видно, и Алексей почувствовал, что его раздевают ловкие стариковы руки.

Варя помогала свекру. От жара скинула она свой ватник и головной платок. Тяжелые косы, существование которых под дырявым платком трудно было даже подозревать, развернулись и упали на плечи. И вся она, худая, большеглазая, легкая, неожиданно преобразилась из старухи богомолки в молоденькую девушку. Это преобразование было так неожиданно, что Алексей, первоначально не обращавший на нее внимания, застыдился своей наготы.

— Держись, Алеха! Ау, друг, держись, такое наше дело, значит, с тобой теперь! Слышал, в Финляндии вон и вовсе, говорят, мужики с бабами в одной бане полоскаются. Что, неправда? Можя, и врут. А она, Варька-то, сейчас, значит, вроде как бы медицинская сестра при раненом воине. Да. И стыдиться ее не положено. Держи его, я рубаху сниму. Ишь попрела рубаха-то, так и ползет!

И тут увидел Алексей выражение ужаса в больших и темных глазах молодой женщины. Сквозь шевелящуюся пелену пара впервые после катастрофы увидел он свое тело. На золотой яровой соломе лежал обтянутый смуглой кожей человеческий костяк с резко выдавшимися шарами коленных чашечек, с круглым и острым тазом, с совершенно провалившимся животом, резкими полукружьями ребер.

Старик возился у шайки со щелоком. Когда же он, обмакнув мочалку в серую маслянистую жидкость, занес ее над Алексеем и разглядел его тело в жарком тумане, рука с мочалкой застыла в воздухе.

— Ах ты беда!.. Сурьезное твое дело, брат Алеха! А? Сурьезное, говорю. От немцев-то ты, брат, значит, уполз, а от нее, косой!..— И вдруг накинулся на Варю, поддерживавшую Алексея сзади: — А ты что на голого человека уставишься, срамница, ну! Что губы-то кусаешь? Ух, все вы, бабы, сорочье отродье! А ты, Алексей, не думай, не думай ни о чем худом. Да мы, брат, тебя ей, косой, нипочем не отдадим. Уж мы тебя, значит, выходим, поправим, уж это верно!.. Будь здоров!

Он ловко и бережно, точно маленького, мыл Алексея

щелоком, перевортывал, обдавал горячей водой, снова тер и тер с таким азартом, что руки его, скользившие по бугоркам костей, скоро заскрипели.

Варя молча помогала ему.

Но зря накричал на нее старик. Не смотрела она на это страшное, костлявое тело, бессильно свешивавшееся с ее рук. Она старалась смотреть мимо, а когда взгляд ее невольно замечал сквозь туман пара ногу или руку Алексея, в нем загорались искры ужаса. Ей начинало казаться, что это не неизвестный ей, невесть как попавший в их семью летчик, а ее Миша, что не этого неожиданного гостя, а ее мужа, с которым прожила она всего-навсего одну весну, могучего парня с крупными и яркими веснушками на светлом безбровом лице, с огромными, сильными руками, довели немцы до такого состояния и что это его, Мишино, бессильное, порой кажущееся мертвым тело держат теперь ее руки. И ей становилось страшно, у нее начинала кружиться голова, и, только кусая губы, удерживала она себя от обморока...

...А потом Алексей лежал на полосатом тощем тюфяке в длинной, вкривь и вкось заштопанной, но чистой и мягкой рубахе деда Михайлы, с ощущением свежести и бодрости во всем теле. После баньки, когда пар вытянуло из землянки через волоковое оконце, сделанное в потолке, над очагом, Варя напоила его брусничным, припахивавшим дымком чаем. Он пил его с крошками тех самых двух кусочков сахара, которые принесли ему ребяташки и которые Варя мелко-мелко накрошила для него на беленькую берестичку. Потом он заснул — в первый раз крепко, без снов.

Разбудил его громкий разговор. В землянке было почти темно, лучина еле тлела. В этом дымном мраке дребезжал резкий тенорок деда Михайлы:

— Бабий ум, где у тебя соображение? Человек одиннадцать ден во рту просяного зернышка не держал, а ты вкрутую... Да эти самые крутые яйца — ему смерть!.. — Вдруг голос деда стал просительным: — Ему бы не яиц сейчас, ему бы сейчас, знаешь что, Василиса, ему бы сейчас куриного супчику похлепать! О! Вот ему что надо. Это бы его сейчас к жизни подбодрило. Вот Партизаночку бы твою, а?..

Но старушечий голос, резкий и неприятный, с испугом перебил:

— Не дам! Не дам и не дам, и не проси, черт ты ста-

рый! Ишь! И говорить об этом не смей. Чтобы я Партизаночку мою... Супчику похлебать... Супчику! Вон и так эва сколько натащили всего, чисто на свадьбу! Придумал тоже!

— Эх, Василиса, совестно тебе, Василиса, за такие твои бабьи слова! — задрезжал тенорок старика.— У самой двое на фронте, и такие у тебя бестолковые понятия! Человек, можно сказать, за нас вовсе покалечился, кровь пролил...

— Не надо мне его крови. За меня мои проливают. И не проси, сказано — не дам, и не дам!

Темный старушечий силуэт скользнул к выходу, и в распахнувшуюся дверь ворвалась такая яркая полоса весеннего дня, что Алексей невольно зажмурился и застонал, ослепленный. Старик кинулся к нему:

— Ай ты не спал, Алеха? А? Ай слышал разговор? Слышал? Только ты ее, Алеха, не суди; не суди, друг, слова-то ее. Слова — они что шелуха, а ядрышко в ней хорошее. Думаешь, курицы она для тебя пожалела? И-и, нет, Алеша! Всю семью ихнюю — а семья была большая, душ десять, — немец перевел. Полковником у нее старший-то. Вот дознались, что полковникова семья, всех их, кроме Василисы, в одночасье в ров. И хозяйство все порушили. И-их, большая это беда — в ее-то годы без роду-племени остаться! От хозяйства от всего оказалась у ней одна курица, значит. Хитрая курица, Алеха! Еще в первую неделю немцы всех курей-уток переловили, потому для немца птица — первое лакомство. Все — «курка, матка, курка!» Ну, а эта спаслась. Ну просто артист, а не курица! Бывало, немец — во двор, а она — на чердак и сидит там, будто ее и нет. А свой войдет — ничего, гуляет. Шут ее знает, как она узнавала. И осталась она одна, курица эта, на всю нашу деревню, и вот за хитрость за ее вот эту самую Партизанкой мы ее и окрестили.

Мересьев дремал с открытыми глазами. Так привык он в лесу. Деда Михайлу молчание его, должно быть, беспокоило. Посуетившись по землянке, что-то поделав у стола, он опять вернулся к этой теме:

— Не суди, Алеха, бабу-то! Ты, друг любезный, в то вникни: была она, как старая береза в большом лесу, на нее ниоткель не дуло, а теперь торчит, как трухлявый пень на вырубке, и одна ей утеха — эта самая курица. Чего молчишь-то, ай заснул?.. Ну, спи себе, спи.

Алексей спал и не спал. Он лежал под полушубком, дышавшим на него кислым запахом хлеба, запахом старого крестьянского жилья, слушал успокаивающее пиликанье сверчка, и не хотелось ему шевелить хотя бы пальцами. Было похоже, что тело его лишено костей, набито теплой ватой, в которой толчками пульсирует кровь. Разбитые, распухшие ноги горели, их ломило изнутри какой-то тягостной болью, но не было сил ни повернуться, ни пошевелиться.

В этой полудреме Алексей воспринимал жизнь землянки клочками, точно это была не настоящая жизнь, а на экране мелькали перед ним одна за другой несвязные, необыкновенные картины.

Была весна. Беглая деревня переживала самые трудные дни. Доедали последние харчишки из тех, что успели в свое время позарывать и попрятать и что тайком по ночам выкапывали из ям на пепелищах и носили в лес. Оттаивала земля. Наспех нарытые норы «плакали» и оплывали. Мужики, партизанившие западнее деревни, в Оленинских лесах, и раньше нет-нет хоть поодиночке, хоть по ночам наведывавшиеся в подземную деревеньку, оказались теперь отрезанными линией фронта. От них не было ни слуху ни духу. Новая тягота легла на и без того измученные бабы плечи. А тут весна, тает снег, и надо думать о посеве, об огородах.

Бабы бродили озабоченные, злые. В землянке деда Михайлы то и дело вспыхивали между ними шумные споры с взаимными попреками, с перечислением всех старых и новых, настоящих и выдуманных обид. Гомон порой стоял в ней страшный, но стоило хитроумному деду подкинуть в эту гомонящую кашу злых бабьих голосов какую-нибудь хозяйственную мыслишку — о том, не пора ли, дескать, послать ходоков на пепелище глянуть: может, уже отошла земля, или не подходящ ли ветерок, чтобы проветрить семена, проклекшие от душной земляночной сырости,— как сразу же гасли эти ссоры.

Раз дед вернулся днем довольный и озабоченный. Он принес зеленую травинку и, бережно положив ее на заскорузлую ладонь, показал Алексею:

— Видал? С поля я. Отходит земля-то, а озимь, слава тебе господи, ничего, обозначилась. Снега обильные. Смотрел я. Если с яровыми не вывезем, озимь и то кусок даст. Пойду бабам гукну, пусть порадуются, бедолаги!

Точно стая галок весной, зашумели, закричали у землянки бабы, в которых зеленая травинка, принесенная с поля, разбудила новую надежду. А вечером дед Михайла потирал руки:

— Ить, и ничего решили министры-то мои долговолосые. А, Алеха? Одна бригада, значит, на коровах пашет, это где ложок в низинке, где пахота тяжелая. Да много ли напашешь: всего шесть коровенок от стада-то нашего осталось! Второй бригаде поле, что повыше, посуше,— это лопатой да мотыгой. А ништо — огороды-то ведь копаем, выходит. Ну, а третья — на взгорье, там песочек, под картофель, значит, земельку готовим; этим во все легко: там ребятишек с лопатами копать заставим и кои бабы слабые — тех. А там, глядишь, и помощь нам будет от правительства, значит. Ну, а не будет, опять невелика беда. Уж мы и сами как-нибудь, уж мы земельку непокрытой не оставим. Спасибо, немца отсюда шугнули, а теперь жисть пойдет. У нас народ жилист, любую тяготу вытянет.

Дед долго не мог уснуть, ворочался на соломе, кричал, чесался, стонал: «О господи, боже ты мой!» — несколько раз сползал с нар, подходил к ведру с водой, гремел ковшом, и слышно было, как он громко, точно запаленный конь, пьет крупными, жадными глотками. Наконец он не выдержал, засветил от кресала лучину, потрогал Алексея, лежавшего с открытыми глазами в тяжелом полузабытьи:

— Спишь, Алеха? А я вот все думаю. А? Все вот думаю, знаешь. Есть у нас в деревне на старом месте дубок на площади, да... Его лет тридцать назад, как раз в николаевскую войну, молнией полоснуло — и вершина напроць. Да, а он крепкий, дубок-то, корень у него могучий, соку много. Вверх ему ходу не стало, дал вбок росток, и сейчас, гляди, какая опять шапка кудрява... Так вот и Плавни наши... Только бы солнышко нам светило, да земелька рожала, да родная наша власть у нас, а мы, брат Алеха, лет за пяток отойдем, отстроимся! Живучие. Ох-хо-хо, будь здоров! Да еще — чтоб война бы поскорей кончилась! Разбить бы их, да и за дело всем, значит, миром! А, как думаешь?

В эту ночь Алексею стало плохо.

Дедова баня встряхнула его организм, вывела его из состояния медленного, оцепенелого угасания. Сразу ощутил он с небывалой еще силой и истощение, и нечелове-

ческую усталость, и боль в ногах. Находясь в бредовой полудреме, он метался на тюфяке, стонал, скрежетал зубами, кого-то звал, с кем-то ругался, чего-то требовал.

Варвара всю ночь присидела возле него, подобрав ноги, уткнув подбородок в колени и тоскливо глядя большими круглыми грустными глазами. Она клала ему то на голову, то на грудь тряпку, смоченную холодной водой, поправляла на нем полушубок, который он то и дело сбрасывал, и думала о своем далеком муже, неведомо где носимом военными ветрами.

Чуть свет поднялся старик. Посмотрел на Алексея, уже утихшего и задремавшего, пошептался с Варей и стал собираться в дорогу. Он напялил на валенки большие самодельные калоши из автомобильных камер, лычком крепко перепоясал армяк, взял можжевелевую палку, отполированную его руками, которая всегда сопровождала старика в дальних походах.

Он ушел, не сказав Алексею ни слова.

17

Мересьев лежал в таком состоянии, что даже и не заметил исчезновения хозяина. Весь следующий день пробыл он в забытьи и очнулся только на третий, когда солнце уже стояло высоко и от волокового оконца в потолке через всю землянку, до самых ног Алексея, не рассеивая мрака, а, наоборот, сгущая его, тянулся светлый и плотный столб солнечных лучей, пронизавший сизый, слоистый дым очага.

Землянка была пуста. Сверху сквозь дверь доносился тихий, хриловатый голос Вари. Занятая, должно быть, каким-то делом, она пела старую, очень распространенную в этих лесных краях песню. Это была песня об одинокой печальной рябине, мечтающей о том, как бы ей перебраться к дубу, тоже одиноко стоящему где-то поодаль от нее.

Алексею не раз и раньше доводилось слышать эту песню. Ее пели девчата, веселыми табунами приходившие из окраинных селений ровнять и расчищать аэродром. Ему нравился медленный, печальный мотив. Но раньше он как-то не вдумывался в слова песни, и в суете боевой жизни они скользили мимо сознания. А вот теперь из уст этой молодой большеглазой женщины они вылетали, окрашенные таким чувством и столько в них

было большой и не песенной, а настоящей женской тоски, что сразу почувствовал Алексей всю глубину мелодии и понял, как Варя-рябина тоскует о своем дубе.

...Но нельзя рябине
К дубу перебраться.
Видно, сиротине
Век одной качаться...—

пропела она, и в голосе ее почувствовалась горечь настоящих слез, а когда смолк этот голос, Алексей представил, как сидит она сейчас где-то там, под деревьями, залитыми весенним солнцем, и слезами полны ее большие круглые тоскующие глаза. Он почувствовал, что у него у самого защекодало в горле, ему захотелось поглядеть на эти старые, заученные наизусть письма, лежащие у него в кармане гимнастерки, взглянуть на фотографию тоненькой девушки, сидящей на лугу. Он сделал движение, чтобы дотянуться до гимнастерки, но рука бессильно упала на тюфяк. Снова все поплыло в сероатой, расплывавшейся светлыми радужными кругами тьме. Потом в этой тьме, тихо шелестевшей какими-то колючими звуками, услышал он два голоса — Варин и еще другой, женский, старушечий, тоже знакомый. Говорили шепотом:

— Не ест?

— Где там ест!.. Так, пожевал вчера лепешечки самую малость — стошнило. Разве это еда? Молочко вот тянет помаленьку. Даем.

— А я вот, гляди, супчику принесла... Может, примет душа супчик-то.

— Тетя Василиса! — вскрикнула Варя. — Неужто...

— Ну да, куриный, чего всполохнулась? Обыкновенное дело. Потрожь его, побуди — можа, поест.

И прежде чем Алексей, слышавший все это в полузабытьи, успел открыть глаза, Варя трясла его сильно, бесцеремонно, радостно:

— Лексей Петрович, Лексей Петрович, проснись!.. Бабка Василиса супчику куриного принесла! Проснись, говорю!

Лучина, потрескивая, горела, воткнутая в стену у входа. В неровном чадном свете ее Алексей увидел маленькую, сгорбленную старуху с морщинистым длинноносым сердитым лицом. Она возилась у большого узла, стоявшего на столе, развернула мешковину, потом старый шумун, потом бумагу, и там обнаружился котелок; из него

ударил в землянку такой вкусный и жирный дух куриного супа, что Алексей почувствовал судороги в пустом желудке. Морщинистое лицо бабки Василисы сохраняло суровое и сердитое выражение.

— Принесла вот, не побрезгуйте, кушайте на здоровье. Может, бог даст, на пользу пойдет...

И вспомнились Алексею печальная история бабушкиной семьи, рассказ о курице, носившей смешное прозвище Партизаночка, и все — и бабушка, и Варя, и вкусно дымившийся на столе котелок — расплылось в мути слез, сквозь которую сурово, с бесконечной жалостью и участием смотрели на него строгие старушечьи глаза.

— Спасибо, бабушка,— только и сумел сказать он, когда старуха пошла к выходу.

И уже от двери услышал:

— Не на чем. Что тут благодарить-то? Мои-то тоже воюют. Может, и им кто супчику даст. Кушайте себе на здоровье. Поправляйтесь.

— Бабушка, бабушка! — Алексей рванулся к ней, но руки Вари удержали его и уложили на тюфяк.

— А вы лежите, лежите! Ешьте вот лучше супчик-то.— Она поднесла ему вместо тарелки старую алюминиевую крышку от немецкого солдатского котелка, из которого валил вкусный жирный пар. Поднося ее, она отвертывалась, должно быть, для того, чтобы скрыть невольную слезу: — Ешьте вот, кушайте!

— А где дед Михайла?

— Ушел он... По делам ушел, район искать. Скоро не будет. А вы кушайте, кушайте вот.

И у самого своего лица увидел Алексей большую, почерневшую от времени, с обгрызенным деревянным краем ложку, полную янтарного бульона.

Первые же ложки супа разбудили в нем звериный аппетит — до боли, до спазм в желудке, но он позволил себе съесть только десять ложек и несколько волоконцев белого мягкого куриного мяса. Хотя желудок настойчиво требовал еще и еще, Алексей решительно отодвинул еду, зная, что в его положении излишняя пища может оказаться ядом.

Бабкин супчик имел чудодейственное свойство. Поев, Алексей заснул — не впал в забытие, а именно заснул — крепким, оздоравливающим сном. Проснулся, поел и снова заснул, и ничто — ни дым очага, ни бабий говор, ни прикосновение Вариних рук, которая, опасаясь, не умер

ли он, нет-нет да и наклонялась послушать, бьется ли у него сердце,— не могло его разбудить.

Он был жив, дышал ровно, глубоко. Он проспал остаток дня, ночь и продолжал спать так, что, казалось, нет в мире силы, которая могла бы нарушить его сон.

Но вот ранним утром где-то очень далеко раздался совершенно не отличимый среди других шумов, наполнявших лес, далекий, однообразно воркующий звук. Алексей встрепенулся и, весь напружившись, поднял голову с подушки.

Чувство дикой, необузданной радости поднялось в нем. Он замер, сверкая глазами. Потрескивали в очаге остывающие камни, вяло и редко пиликал уставший за ночь сверчок, слышно было, как над землянкой спокойно и ровно звенят старые сосны и даже как барабанит у входа полновесная весенняя капель. Но сквозь все это слышался ровный рокот. Алексей угадал, что это тарактит мотор «ушки» — самолета «У-2». Звук то приближался и нарастал, то слышался глуше, но не уходил. У Алексея захватило дух. Было ясно, что самолет где-то поблизости, что он кружит над лесом, то ли что-то высматривая, то ли ища место для посадки.

— Варя, Варя! — закричал Алексей, стараясь приподняться на локтях.

Вари не было. С улицы слышались возбужденные женские голоса, торопливо пробежавшие шаги. Там что-то происходило.

На мгновение приоткрылась дверь землянки, в нее сунулось пестрое лицо Федьки.

— Тетя Варя! Тетя Варя! — позвал мальчуган, потом возбужденно добавил: — Летит... Кружит... Над нами кружит... — Он исчез прежде, чем Алексей успел что-нибудь спросить.

Он сделал усилие и сел. Всем телом своим он чувствовал, как бьется сердце, как возбужденно пульсирует, отдаваясь в висках и в больных ногах, кровь. Он считал круги, совершаемые самолетом, насчитал один, другой, третий и упал на тюфяк, упал, сломленный волнением, снова стремительно и властно ввергнутый в тот же всемогущий, целительный сон.

Его разбудил звук молодого, сочного, басовито рокошущего голоса. Он отличил бы этот голос в любом хоре других голосов. Таким в истребительном полку обладал только командир эскадрильи Андрей Дегтяренко.

Алексей открыл глаза, но ему показалось, что он продолжает спать и во сне видит это широкое, скуластое, грубое, точно сделанное столяром вчерне, но не обтертое ни шкуркой, ни стеклышком добродушное угловатое лицо друга с багровым шрамом на лбу, со светлыми глазами, опущенными такими же светлыми и бесцветными, свинными — как говорили недруги Андрея — ресницами. Голубые глаза с недоумением всматривались в дымный полумрак.

— Ну, дидусь, показуй свий трофей,— прогудел Дегтяренко.

Видение не пропадало. Это был действительно Дегтяренко, хотя казалось совершенно невероятным, как друг смог найти его тут, в подземной деревеньке, в лесной глуши. Он стоял, большой, широкоплечий, с расстегнутым, по обыкновению, воротом. В руках он держал шлем с проводками радифона и еще какие-то кулечки и сверточчки. Лучинный светец освещал его сзади. Золотой бобрник коротко остриженных волос нимбом светился над его головой.

Из-за спины Дегтяренко виднелась бледная, совершенно измученная физиономия деда Михайлы с возбужденно вытаращенными глазами, а рядом с ним стояла медсестра Леночка, курносая и озорная, смотревшая во тьму со зверюшечьим любопытством. Девушка держала под мышкой толстую брезентовую сумку с красным крестом и прижимала к груди какие-то странные цветы.

Стояли молча. Андрей Дегтяренко с недоумением оглядывался, должно быть ослепленный темнотой. Раз за два взгляд его равнодушно скользнул по лицу Алексея, который тоже никак не мог освоиться с неожиданным появлением друга и все боялся, не окажется ли все это бредовым видением.

— Да вот же он, господи, вот лежит! — прошептала Варя, срывая с Мересьева шубу.

Дегтяренко еще раз недоуменно скользнул взглядом по лицу Алексея.

— Андрей! — сказал Мересьев, сиюсь подняться на локтях.

Летчик с недоумением, с плохо скрытым испугом смотрел на него.

— Андрей, не узнаешь? — шептал Мересьев, чувствуя, что его всего начинает тряссти.

Еще мгновение летчик смотрел на живой скелет, обтя-

нутый черной, точно обугленной, кожей, стараясь признать веселое лицо друга, и только в глазах, огромных, почти круглых, поймал он знакомое упрямое и открытое мересьевское выражение. Он протянул руки вперед. На земляной пол упал шлем, посыпались свертки и сверточки, раскатились яблоки, апельсины, печенье.

— Лешка, ты? — Голос летчика стал влажен, бесцветные и длинные ресницы его слиплись. — Лешка, Лешка! — Он схватил с постели это большое, детски легкое тело, прижал его к себе, как ребенка, и все твердил: — Лешка, друг, Лешка!

На секунду оторвал от себя, жадно посмотрел на него издали, точно убеждаясь, действительно ли это его друг, и снова крепко прижал к себе.

— Да то ж ты! Лешка! Бисов сын!

Варя и медсестра Лена старались вырвать из его крепких медвежьих лап полуживое тело.

— Да пустите ж его, бога ради, он еле жив! — сердилась Варя.

— Ему ж вредно ж волноваться, положите! — скороговоркой, пересыпая свою речь бесконечными «ж», твердила сестра.

А летчик, по-настоящему поверив наконец, что этот черный, старый, невесомый человек действительно не кто иной, как Алексей Мересьев, его боевой товарищ, его друг, которого они всем полком мысленно давно уже похоронили, схватился за голову, издал дикий, торжествующий крик, схватил его за плечи и, уставившись в его черные, радостно сверкающие из глубины темных орбит глаза, заорал:

— Живой! Ах, мать честная! Живой, бис тоби в лопатку! Да где ж ты был столько дней? Как же ты так?

Но сестра — эта маленькая смешная толстушка с курносым лицом, которую все в полку звали, игнорируя ее лейтенантское звание, Леночкой или сестрой медицинских наук, как однажды она, на погибель себе, отрекомендовалась начальству, певунья и хохотушка Леночка, влюбленная во всех лейтенантов сразу, — сурово и твердо отстранила расходившегося летчика:

— Товарищ капитан, отойдите ж от больного!

Бросив на стол букет цветов, за которыми еще вчера летали в областной город, букет, оказавшийся совершенно ненужным, она раскрыла брезентовую сумку с

красным крестом и деловито приступила к осмотру. Коротенькие ее пальчики ловко бегали по ногам Алексея, и она все спрашивала:

— Больно? А так? А так?

В первый раз по-настоящему Алексей обратил внимание на свои ноги. Ступни чудовищно распухли, почернели. Каждое прикосновение к ним вызывало боль, точно током пронзавшую все тело. Но что особенно не нравилось, видимо, Леночке — это то, что кончики пальцев стали черными и совсем потеряли чувствительность.

За столом сидели дед Михайла и Дегтяренко. Потихоньку угостившись на радостях из фляги летчика, они вели оживленную беседу. Дробным старческим тенорком дед Михайла, по-видимому, уже не в первый раз, принимался рассказывать:

— Так, значит, выходит, ребятишки наши на вырубке его и отыскивали. Немцы лес на блиндажи там рубили, ну, ребятишек этих мать, то есть дочка моя, за щепой туда и погнала. Там они его и увидели. Ага, что за чудо за такое? Сперва им, значит, медведь померещился — дескать, подстреленный и катится этак-то. Они было тягу, да любопытство их повернуло: что за медведь за такой, почему катится? Ага! Не так? Смотрят, значит, катится с боку на бок, катится и стонет...

— Как это «катится»? — усомнился Дегтяренко и протянул деду портсигар: — Куришь?

Дед взял из портсигара папиросу, достал из кармана сложенный кусочек газеты, аккуратно оторвал уголок, высыпал на него табак из папиросы, свернул и, закурив, с удовольствием затянулся.

— Как не курить, курим-потягиваем. Ага! Только мы при немце не выдали его, табаку-то. Мох курим, опять же сухой молочайный лист, да!.. А как он катился, ты его спроси. Я не видел. Ребята говорят, так и катился — со спины на брюхо, с брюха на спину: ползти-то ему по снегу, вишь, не под силу было, — вот он какой!

Дегтяренко все порывался вскочить, посмотреть на друга, возле которого возились женщины, укутывая его в серые, привезенные сестрой армейские одеяла.

— А ты, друг, сиди, сиди, не наше это, мужское дело — пеленать! Ты слушай да на ус мотай, да начальству какому-нибудь там своему перескажи... Великого подвига человек этот! Вишь он какой. Полную неделю всем колхозом его отхаживаем, а он шевелиться не может. А то

вот сил в себе насбирал, по лесам да по болотам нашим полз. На это, брат, мало кто способный! И святым отцам по житиям такого-то подвига совершать не приходилось. Куда там! Экое дело, подумаешь — на столбе стоять! Что, не так? Ага, а ты, парень, слушай, слушай!..

Старик наклонился к уху Дегтяренко и защекотал его своей пушистой мягкой бородашкой.

— Только, сдастся мне, он, того,— как бы не помер, а? От немца-то он, вишь, уполз, а от нее, от косой, нешто уползешь? Одни кости, и как он полз, не постигну я. Уж очень, должно быть, к своим тянуло. И бредит-то все одним: аэродром, да аэродром, да слова там разные, да Оля какая-то. Есть у вас там такая? Аль жена, может?.. Ты слышишь меня или нет, летун, а летун, слышишь? Ау...

Дегтяренко не слышал. Он старался представить себе, как этот человек, его товарищ, казавшийся в полку таким обычным парнем, с отмороженными или перебитыми ногами день и ночь ползет по талому снегу через леса и болота, теряя силы, ползет, катится, чтобы только уйти от врага и попасть к своим. Профессия летчика-истребителя приучила Дегтяренко к опасности. Бросаясь в воздушный бой, он никогда не думал о смерти и даже чувствовал какую-то особую, радостную взволнованность. Но чтобы вот так, в лесу, одному...

— Когда вы его нашли?

— Когда? — Старик зашевелил губами, снова взял папиросу из открытой коробки, изувечил ее и принялся делать сигарку.— Когда же? Да в чистую субботу, под самое прощенное воскресенье, стало быть, как раз с неделю назад.

Летчик прикинул в уме числа, и вышло, что полз Алексей Мересьев восемнадцать суток. Проползти столько времени раненому, без пищи — это казалось просто невероятным.

— Ну, спасибо тебе, дидусь! — Летчик крепко обнял и прижал к себе старика.— Спасибо, брат!

— Не на чем, не на чем, за что тут благодарить! Ишь спасибо! Что я, чужак иностранный какой! Ага! Скажешь, нет? — И он сердито крикнул невестке, стоявшей в извечной позе бабьего горького раздумья, подперев щеку ладонью: — Подбери с полу продукт-то, ворона! Ишь разбросали такую ценность!.. «Спасибо», ишь ты!

Тем временем Леночка закончила укутывать Мересьева.

— Ничего, ничего ж, товарищ старший лейтенант,— сыпала она чистые и мелкие, как горох, словечки,— в Москве ж вас в два счета на ноги поставят. Москва ж — город же! Не таких излечивают!

По тому, что была она излишне оживлена, что без умолку твердила, как вылечат Мересьева в два счета, понял Дегтяренко: осмотр дал невеселые результаты и дела его приятеля плохи. «И чего стрекочет, сорока!» — с неприязнью подумал он о «сестре медицинских наук». Впрочем, в полку никто не принимал эту девушку всерьез: шутили, что лечить она может только от любви,— и это несколько утешало Дегтяренко.

Завернутый в одеяла, из которых торчала только голова, Алексей напоминал Дегтяренко мумию какого-то фараона из школьного учебника древней истории. Большой рукой провел летчик по щекам друга, на которых кустилась густая и жесткая рыжеватая поросль.

— Ничего, Лешка! Вылечат! Есть приказ — тебя сегодня в Москву, в гарный госпиталек. Профессора там сплошные. А сестры,— он прищелкнул языком и подмигнул на Леночку,— мертвых на ноги поднимают! Мы еще с тобой в воздухе пошумим! — Тут Дегтяренко поймал себя на том, что говорит он, как и Леночка, с таким же напускным, деревянным оживлением; руки же его, гладившие лицо друга, вдруг ощутили под пальцами влагу.— Ну, где носилки? Понесли, что ли, чего тянуть! — сердито скомандовал он.

Вместе со стариком осторожно уложили они спеленатого Алексея на носилки. Варя собрала и свернула в узелок его вещички.

— Вот что,— остановил ее Алексей, когда стала она засовывать в узелок эсэсовский кинжал, который не раз с любопытством осматривал, чистил, точил, пробовал на палец хозяйственный дед Михайла,— возьми, дедушка, на память.

— Ну, спасибо, Алеха, спасибо! Сталька знатная, гляди-ка. И написано что-то не по-нашему вроде.— Он показал кинжал Дегтяренко.

— «Аллес фюр Дойчланд» — «Всё для Германии», — перевел Дегтяренко выведенную по лезвию надпись.

— «Все для Германии», — повторил Алексей, вспомнив, как достался ему этот кинжал.

— Ну, берись, берись, старик! — крикнул Дегтяренко, впрягаясь в передок носилок.

Носилки заколыхались и с трудом, осыпая землю со стен, пролезли в узкий проход землянки.

Все, кто набился в нее провожать найденыша, хлынули наверх. Только Варя осталась дома. Не торопясь поправила она лучину в светце, подошла к полосатому тюфяку, еще хранившему вмятые в него очертания человеческой фигуры, и погладила его рукой. Взгляд ее упал на букет, о котором впопыхах все позабыли. Это было несколько веточек оранжерейной сирени, бледной, чахлой, похожей на жителей беглой деревеньки, проводших зиму в сырых и холодных землянках. Женщина взяла букет, вдохнула хилый, еле уловимый в угарной копоти нежный весенний запах и вдруг повалилась на нары и залилась горькими бабьими слезами.

18

Провожать неожиданного своего гостя вышло все наличное население деревни Плавни. Самолет стоял за лесом на подтаявшем у краев, но еще ровном и крепком льду продолговатого лесного озерка. Дороги туда не было. По рыхлому, крупитчатому снегу, прямо по целине, вела стежка, протоптанная час назад дедом Михайлой, Дегтяренко и Леночкой. Теперь по этой стежке валила к озеру толпа, возглавляемая мальчишками со степенным Серёнькой и восторженным Федькой впереди. На правах старого друга, отыскавшего летчика в лесу, Серёнька солидно шагал перед носилками, стараясь, чтобы не застревали в снегу огромные, оставшиеся от убитого отца валенки, и властно покрикивал на чумазую, сверкавшую зубами, фантастически оборванную детвору. Дегтяренко и дед, шагая в ногу, тащили носилки, а сбоку, по целине, бежала Леночка, то подтыкая одеяло, то закутывая голову Алексея своим шарфом. Позади грудилась бабы, девчонки, старухи. Толпа глухо гомонила.

Сначала яркий, отраженный снегом свет ослепил Алексея. Погожий весенний день так ударил ему в глаза, что он зажмурился и чуть не потерял сознание. Легонько приоткрыв веки, Алексей приучил глаза к свету и тогда огляделся. Перед ним открывалась картина подземной деревни.

Старый лес стоял стеной, куда ни глянь. Вершины деревьев почти смыкались над головой. Ветви их, скупо процеживая солнечные лучи, создавали внизу полумрак.

Лес был смешанный. Белые колонны голых еще берез, вершины которых походили на сизые, застывшие в воздухе дымы, соседствовали с золотыми стволами сосен, а между ними то тут, то там виднелись темные треугольники елей.

Под деревьями, защищавшими от вражьих глаз и с земли и с воздуха, где снег был давно вытоптан сотнями ног, были накопаны землянки. На ветвях вековых елей сохли детские пеленки, на сучьях сосенок проветривались опрокинутые глиняные горшки и кринки, а под старой елкой, со ствола которой свешивались бороды седого мха, у самого ее могучего комля, на земле меж жилистыми кореньями, где по всем статьям полагалось бы лежать хищному зверю, сидела старая, засаленная тряпичная кукла с плоской добродушной физиономией, нарисованной чернильным карандашом.

Толпа, предшествуемая носилками, медленно двигалась по вытоптанной на мху «улице».

Очувтившись на воздухе, Алексей ощутил сначала бурный прилив неосмысленной животной радости, потом на смену ей пришла сладкая и тихая грусть.

Маленьким платочком Леночка утерла с его лица слезы и, по-своему истолковав их, приказала носильщикам идти потише.

— Нет, нет, быстрее, давайте быстрее, ну! — заторопил Мересьев.

Ему и без того казалось, что его несут слишком медленно. Он начал бояться, что из-за этого можно не улечь, что вдруг самолет, посланный за ним из Москвы, уйдет, не дождавшись их, и ему не удастся сегодня попасть в спасительную клинику. Он глухо стонал от боли, причиняемой ему торопливой поступью носильщиков, но все требовал: «Скорее, пожалуйста, скорее!» Он торопился, хотя слышал, что дед Михайла задыхается, то и дело спотыкается и сбивается с ноги. Две женщины сменили старика. Дед Михайла засеменил рядом с носилками, по другую сторону от Леночки. Вытирая офицерской своей фуражкой вспотевшую лысину, побагровевшее лицо, морщинистую шею, он довольно бормотал:

— Ишь гонит, а? Торопится!.. Правильно, Леша, истина твоя, торопись! Раз человек торопится, жизнь в нем крепка, найденыш ты наш разлюбезный. Что, скажешь — нет?.. Ты нам пиши из госпиталя-то! Адресок-то

запомни: Калининская область, Бологовский район, будущая деревня Плавни, а? Будущая, а? Ничего, дойдет, не забудь, адресок-то верный!

Когда носилки поднимали в самолет и Алексей вдохнул знакомый терпкий запах авиационного бензина, он снова испытал бурный прилив радости. Над ним закрыли целлулоидную крышку. Он не видел, как махали руками провожающие, как маленькая носатая старушка, похожая в своем сером платке на сердитую ворону, преодолевая страх и поднятый винтом ветер, прорвалась к сидевшему уже в кабине Дегтяренко и сунула ему узелок с недоеденной курятиной, как дед Михайла суетился вокруг машины, покрикивая на баб, разгоняя ребятшек, как сорвало с деда ветром фуражку и покатило по льду и как стоял он, простоволосый, сверкая лысиной и серебристыми жиденькими сединками, развеваемыми ветром, похожий на Николу-угодника немудреного сельского письма. Стоял, махая рукой вслед убегающему самолету, единственный мужчина в пестрой бабьей толпе.

Оторвав самолет от ледяного наста, Дегтяренко прошел над головами провожавших и осторожно, почти касаясь лыжами льда, полетел вдоль озера под прикрытием высокого обрывистого берега и скрылся за лесистым островом. На этот раз полковой сорвиголова, которому на боевых разборах частенько доставалось от командира за излишнюю лихость в воздухе, летел осторожно,— не летел, а крался, льнул к земле, шел по руслам ручьев, прикрываясь озерными берегами. Ничего этого Алексей не видел и не слышал. Знакомые запахи бензина, масла, радостное ощущение полета заставили его потерять сознание, и очнулся он только на аэродроме, когда его носилки вынимали из самолета, чтобы перенести на скоростную санитарную машину, уже прилетевшую из Москвы.

19

Он попал на родной аэродром в самый разгар летнего дня, загруженного до предела, как и все дни той боевой весны.

Гул моторов не затихал ни на минуту. Одну эскадрилью, севшую на дозаправку, сменяла в воздухе другая, третья. Все, от летчиков до шоферов бензоцистерн и кладовщиков, выдававших горючее, сбились в этот

день с ног. Начальник штаба потерял голос и теперь исторгал какое-то пискливое сипенье.

Несмотря на всеобщую занятость и чрезвычайное напряжение, все в этот день жили ожиданием Мересьева.

— Не привезли? — кричали пилоты механикам сквозь рев мотора, еще не подрулив к своему капониру.

— А об нем не слыхать? — интересовались «бензиновые короли», когда очередной бензиновоз подруливал к закопанным в землю цистернам.

И все слушали, не трещит ли где-нибудь над леском знакомый полковой санитарный самолет...

Когда Алексей очнулся на упруго покачивающихся носилках, он увидел плотный круг знакомых лиц. Он открыл глаза. Толпа обрадованно зашумела. Возле самых носилок увидел он молодое неподвижное, сдержанно улыбающееся лицо командира полка, рядом с ним широкую красную и потную физиономию начальника штаба и даже круглое, полное и белое лицо командира БАО — батальона аэродромного обслуживания, — которого Алексей терпеть не мог за формализм и скупость. Сколько знакомых лиц! Носилки несет долговязый Юра. Он все время безуспешно старается оглянуться назад, посмотреть на Алексея и потому спотыкается на каждом шагу. Рядом бежит рыженькая девушка — сержант с метеостанции. Алексею раньше казалось, что она за что-то не любит его, старается не попадаться ему на глаза и всегда исподтишка следит за ним каким-то странным взглядом. Шутя он называл ее «метеорологическим сержантом». Возле семенит летчик Кукушкин, маленький человек с неприятным, желчным лицом, которого в эскадрилье не любят за вздорный нрав. Он тоже улыбается и старается попадать в такт огромным шагам Юры. Мересьеву вспомнилось, что перед отлетом он в большой компании зло разыграл Кукушкина за не отданный им долг, и был уверен, что этот злопамятный человек никогда не простит ему обиды. А вот сейчас он бежит около его носилок, бережно поддерживает их и свирепо расталкивает локтями толпу, чтобы предохранить их от толчков.

Алексей никогда и не подозревал, что у него столько друзей. Вот они, люди-то, когда раскрываются! Ему стало жаль «метеорологического сержанта», который его почему-то боялся, было неловко перед командиром

БАО, о скаредности которого он пустил по дивизии столько шуток и анекдотов, захотелось извиниться перед Кукушкиным и сказать ребятам, что это вовсе уж не такой неприятный и неуживчивый человек. У Алексея было ощущение, что после всех мучений он попал наконец в родную семью, где все ему искренне рады.

Его бережно несли через поле к серебристому санитарному самолету, замаскированному на опушке голого березового леска. Было видно, что техники уже запускают с помощью резинового амортизатора остывший мотор «санитара».

— Товарищ майор...— сказал вдруг Мересьев командиру полка, стараясь говорить как можно громче и увереннее.

Командир, по обычаю своему тихо, загадочно улыбаясь, наклонился к нему.

— Товарищ майор... разрешите мне не лететь в Москву, а тут, с вами...

Командир сорвал с головы шлем, мешавший ему слушать.

— Не надо в Москву, я хочу здесь, в медсанбате.

Майор снял меховую перчатку, нащупал под одеялом руку Алексея и пожал ее.

— Чудак, вас же лечить надо серьезно, по-настоящему.

Алексей замотал головой. Ему было хорошо, покойно. Ни пережитое, ни боль в ногах не казались уже страшными.

— Чего он? — просипел начальник штаба.

— Просит оставить его тут, с нами,— ответил командир улыбаясь.

И улыбка его в этот момент была не загадочная, как всегда, а теплая, грустная.

— Дурак! Романтика, пример для «Пионерской правды»,— засипел начальник штаба.— Ему честь, за ним самолет из Москвы прислали по распоряжению самого командующего армией, а он — скажи пожалуйста!..

Мересьев хотел было ответить, что никакой он не романтик, что просто уверен он — тут, в палатке медсанбата, где он однажды провел несколько дней, залечивая вывих ноги после неудачного приземления на подбитой машине, в родной атмосфере, он поправится скорее, чем среди неведомых удобств московской клиники. Он подобрал уже слова, чтобы ответить началь-

нику штаба поязвительнее, но произнести их не успел.

Тоскливо завывала сирена. Лица у всех сразу стали деловыми, озабоченными. Майор отдал несколько коротких приказаний, и люди стали разбегаться, как муравьи: кто к самолетам, притаившимся на опушке леса, кто к землянке командного пункта, холмиком возвышавшейся у края поля, кто к машинам, спрятанным в леске. Алексей увидел четко вычерченный дымом на небе и медленно расплывавшийся седой след многохвостой ракеты. Он понял: «Воздух!»

Сердце его забилося, ноздри заходили, и он почувствовал во всем своем слабом теле возбуждающий холодок, что всегда бывало с ним в минуту опасности.

Леночка, механик Юра и «метеорологический сержант», которым нечего было делать в охватившей аэродром напряженной суеде боевой тревоги, втроем подхватили носилки и бегом, стараясь попадать в ногу и, конечно, от волнения не попадая, понесли их к ближайшей лесной опушке.

Алексей застонал. Они перешли на шаг. А вдали уже судорожно тарахтели автоматические зенитки. Уже выползали на взлетную дорожку, мчались по ней и уходили в небо один за другим звенья самолетов, и сквозь знакомый звон своих моторов Алексей уже слышал наплывающий из-за леса неровный, качающийся гул, от которого мускулы у него как-то сами собой собирались в комки, напряживались, и он, этот немощный человек, привязанный к носилкам, почувствовал себя в кабине истребителя, несущимся навстречу врагу, почувствовал себя гончей, учуявшей дичь.

Носилки не влезли в узкую «щель». Когда заботливый Юра и девушка хотели снести Алексея вниз на руках, он запротестовал и сказал, чтобы оставили носилки на опушке, в тени большой коренастой березы. Лежа под ней, он стал очевидцем событий, стремительно, как в тяжелом сне, развернувшихся в последующие минуты, каким медленным и нестрашным выглядит воздушный бой. Мересьеву, летавшему в боевой авиации с первого дня войны, не доводилось видеть воздушный бой с земли ни разу. И вот он, привыкший к молниеносным скоростям воздушной схватки, с удивлением смотрел, каким медленным и нестрашным выглядит воздушный бой отсюда, как тягучи движения стареньких тупоносых «ишачков» и каким безобидным слышится сверху

гром их пулеметов, напоминающий здесь что-то домашнее: не то стрекотанье швейной машины, не то хруст медленно разрываемого коленкора.

Двенадцать немецких бомбардировщиков гусиным строем обошли аэродром стороной и исчезли в ярких лучах высоко стоявшего солнца. Оттуда, из-за облаков с полыхающими от солнца краями, на которые больно было смотреть, слышался басовитый, похожий на гуденье майских жуков рев их моторов.

Еще отчаяннее бесновались и лаяли в леске автоматические зенитки. Дымки разрывов расплывались в небе, похожие на летящие семена одуванчика. Но видно ничего не было, кроме редкого взблескивания крыльев истребителей.

Гуд гигантских майских жуков все чаще и чаще перебивали короткие звуки разрываемого коленкора: гррр, гррр, гррр! В сверкании солнечных лучей шел невидимый с земли бой, но был он так не похож на то, что видит участник воздушной схватки, и казался он снизу таким незначительным и неинтересным, что Алексей следил за ним совершенно спокойно.

Даже когда сверху послышался пронзительно сверлящий, нарастающий визг и, точно черные капли, стряхнутые с кисточки, понеслись вниз, стремительно увеличиваясь в объеме, серии бомб, он не испугался и слегка приподнял голову, чтобы посмотреть, куда они упадут.

Тут несказанно удивил Алексея «метеорологический сержант». Когда визг бомб поднялся до самой высокой ноты, девушка, стоявшая по пояс в щели и, как всегда, исподтишка смотревшая на него, вдруг выскочила, бросилась к носилкам, упала и всем дрожащим от волнения и страха телом закрыла его, прижимая к земле.

На мгновение рядом, возле самых глаз, увидел он ее загорелое, совсем детское, с пухлыми губами и тупым облупившимся носиком лицо. Грянул разрыв — где-то в лесу. Сразу же ближе раздался другой, третий, четвертый. Пятый грохнул так, что, подпрыгнув, загудела земля и со свистом упала обрубленная осколком широкая крона березы, под которой лежал Алексей. Еще раз мелькнуло перед глазами бледное, искаженное ужасом девичье лицо, он почувствовал на своей щеке ее прохладную щеку, и в коротком перерыве между грохотом двух бомбовых очередей губы этой девушки испуганно и неистово шепнули:

— Милый!.. Милый!

Новая бомбовая очередь потрясла землю. Над аэродромом с грохотом взметнулись к небу столбы разрывов — точно выскочила из земли шеренга деревьев, их кроны мгновенно распахнулись, потом с громом опали комьями мерзлого грунта, оставив в воздухе бурый, едкий, пахнущий чесноком дым.

Когда дым осел, кругом было уже тихо. Звуки воздушного боя едва слышались из-за леса. Девушка уже вскочила на ноги, щеки ее из зеленовато-бледных стали багровыми, она покраснела до слез и, не глядя на Алексея, извинялась:

— Я не сделала вам больно? Дура я, дура, господи, извините меня!

— Что ж теперь каяться? — ворчал Юра, которому стыдно было, что не он, а эта вот девчонка с метеостанции закрыла собой его друга.

Ворча, он отряхнул свой комбинезон, почесал в затылке, покачал головой, смотря на лучистый излом обезглавленной осколком березы, ствол которой быстро заплывал прозрачным соком. Этот сок раненого дерева, сверкая, стекал по мшистой коре и капал на землю, чистый и прозрачный, как слеза.

— Смотрите ж, береза плачет, — сказала Леночка, которая в минуту опасности не потеряла своего задорно-удивленного вида.

— Заплачешь! — мрачно ответил Юра. — Ну, сеанс окончен, понесли. Цел санитар-то, не пригрело его?

— Весна! — сказал Мересьев, посмотрев на израненный ствол дерева, на прозрачный, сверкающий на солнце сок, частыми каплями падающий на землю, на курносого, в не по росту большой шинели «метеорологического сержанта», которого он не знал даже, как зовут.

Когда втроем — Юра спереди, а девушки сзади — несли его носилки к самолету через дымящиеся еще воронки, в которые натекала талая вода, он с любопытством косился на маленькую крепкую руку, высывавшуюся из грубого обшлага шинели и цепко державшую носилки. Что с ней? Или эти слова померещились ему с испугу?

В этот знаменательный для Алексея Мересьева день ему довелось стать свидетелем еще одного события. Уже близок был серебристый самолет с красными крестами на крыльях и фюзеляже, уже видно было, как, по-

качивая головой, ходит вокруг него бортмеханик, оглядывая, не побито ли машину осколком и взрывной волной,— когда один за другим стали садиться истребители. Они вырывались из-за леса и, скользнув вниз, не делая обычного круга, приземлялись и с ходу подруливали к лесной опушке, к своим капонирам.

Скоро небо стихло. Аэродром очистился, смолкла воркотня моторов в лесу. Но у командного пункта еще стояли люди и смотрели в небо, загораживая ладонями глаза от солнца.

— «Девятка» не пришла! Кукушкин застрял! — сообщил Юра.

Алексей вспомнил маленькое желчное личико Кукушкина, всегда сохранявшее брюзгливое выражение, и вспомнил, как этот самый Кукушкин сегодня заботливо поддерживал его носилки. Неужели? Эта мысль, такая обычная для летчиков в горячие дни, сейчас, когда Алексей выключился из жизни аэродрома, заставила его вздрогнуть.

В это время в небе послышался рокот.

Юра радостно подскочил:

— Он!

У командного пункта произошло движение. Что-то случилось. «Девятка» не садилась, а шла над аэродромом по широкому кругу, и, когда она проходила над головой Алексея, он увидел, что часть крыла у нее отбита и — самое страшное! — из фюзеляжа виднелась только одна «нога». Воздух одна за другой пропороли красные ракеты. Кукушкин снова прошел над головами. Его самолет напоминал птицу, кружащуюся над разоренным гнездом и не знающую, куда ей деться. Он шел уже на третий круг.

— Сейчас прыгнет, бензин на исходе, на соплях дожимает! — прошептал Юра, смотря на часы.

В таких случаях, когда посадка была уже невозможна, летчику разрешалось, набрав высоту, выбрасываться с парашютом. Вероятно, такой приказ получила уже с земли и «девятка».

Но она упрямо ходила по кругу.

Юра смотрел то на самолет, то на часы. Когда ему казалось, что мотор работает тише, он приседал и отворачивался. Неужели он думает спасти машину? «Прыгай, да прыгай же!» — думал каждый.

С аэродрома соскользнул истребитель с единицей на

хвосте: рванувшись в воздух, он с первого же круга мастерски подстроился к раненой «девятке». По спокойно-мастерскому стилю полета Алексей угадал, что это сам командир полка. Решив, очевидно, что у Кукушкина испортилось радио или что он растерялся, он пошел к нему, покачал крыльями, сигналив: «делай, что я», и стал уходить в сторону, забирая высь. Он приказывал ему отойти в сторону и прыгать. Как раз в это время Кукушкин сбавил газ и пошел на посадку. Раненый самолет его с поломанным крылом пронесся над самой головой Алексея, быстро приближаясь к земле. Вот где-то у самой черты земли он резко накренился влево, припав на здоровую «ногу», немного пробежал на одном колесе, сбавляя скорость, потом упал направо и, зацепив здоровым крылом за землю, стремительно повернулся вокруг своей оси, поднимая целые тучи снега.

В последнее мгновение он скрылся из глаз. Когда же снежная пыль осела, стало видно — в стороне от раненой, накренившейся набок машины что-то чернеет на снегу. И к этой черной точке бежали люди и, покрякивая сиреной, во весь опор неся санитарный автомобиль.

«Спас, спас машину! Вот так Кукушкин! Когда это он так научился?» — думал Мересьев, лежа на носилках и завидуя товарищу.

Ему самому захотелось что есть духу бежать туда, где на снегу лежал этот маленький, никем не любимый человек, оказавшийся вдруг таким стойким, таким мастером. Но Алексей был спеленат, прижат к полотну носилок, раздавлен огромной болью, которая снова со всей силой навалилась на него, как только схлынуло нервное напряжение.

Все эти происшествия заняли не больше часа, но их было так много, что Алексей не сразу разобрался в них. Только когда носилки его были закреплены в специальных гнездах санитарного самолета и он невзначай опять перехватил на себе пристальный взгляд «метеорологического сержанта», он по-настоящему понял значение слов, сорвавшихся у девушки с побелевших губ между разрывами двух бомбовых очередей. Ему стало стыдно, что он даже не знает по имени эту славную самоотверженную девушку.

— Товарищ сержант... — тихо сказал он, благодарно посмотрев на нее.

За ревом прогреваемого мотора вряд ли эти слова

дошли до нее. Но она шагнула к нему и протянула небольшой сверток.

— Товарищ старший лейтенант, это ваши письма. Я берегла их, я знала, что вы живы, что вы вернетесь. Знала, чувствовала...

Она положила ему на грудь тоненькую стопку писем. Среди них он узнал треугольнички матери с выведенными нечетким старческим почерком адресами и знакомые конверты, похожие на те, что он всегда носил с собой в кармане гимнастерки. Он просиял, увидев эти конверты, и сделал движение, чтобы высвободить руку из-под одеяла.

— Это от девушки? — горестно спросил «метеорологический сержант», снова краснея до того, что длинные бронзовые ресницы слиплись от слез.

Мересьев понял, что он не ослышался тогда, во время разрыва, понял и не решился сказать правду.

— От замужней сестры. У нее другая фамилия, — сказал он, чувствуя, что сам себе противен.

Сквозь рокот прогреваемых моторов послышались голоса. Открылся боковой люк, в него влез незнакомый врач в халате поверх шинели.

— Один больной уже здесь? — спросил он, посмотрев на Мересьева. — Отлично! Вносите другого, сейчас летим. А вы что тут делаете, мадам? — Он посмотрел сквозь запотевшие очки на «метеорологического сержанта», старавшегося спрятаться за спину Юры. — Прошу выйти, сейчас летим. Эй! Давайте носилки!

— Пишите, ради бога пишите, я буду ждать! — услышал Алексей шепот девушки.

Врач с помощью Юры поднимал в самолет носилки, на которых кто-то тихо и протяжно стонал. Когда их ставили в гнездо, простыня слетела, и Мересьев увидел на них искаженное страданием лицо Кукушкина. Доктор потер руки, осмотрел кабину, похлопал Мересьева по животу:

— Отлично, великолепно! Итак, молодой человек, вот вам компаньон, чтобы не скучно было лететь. А? Теперь все посторонние вон. А эта Лорелея в сержантском звании исчезла? Очень хорошо. Прошу двигаться!..

Он вытолкал замешкавшегося Юру. Двери закрыли, самолет вздрогнул, тронулся, запрыгал и потом стих и плавно поплыл в родной стихии под ровный рокот моторов.

Врач, держась за стены, подошел к Мересьеву.

— Как себя чувствуем? Дайте пульс.— Он с любопытством посмотрел на Алексея и покачал головой: — М-да! Сильная личность! Про ваши приключения друзья рассказывают что-то такое совершенно невероятное, джек-лондоновское.

Он присел в свое кресло, поерзал в нем, усаживаясь поудобнее, и сразу обмяк и поник, засыпая. И видно стало, как смертельно устал этот немолодой бледный человек.

«Что-то джек-лондоновское!» — подумал Мересьев, и в памяти возникло далекое воспоминание детства — рассказ о человеке, который с обмороженными ногами движется через пустыню, преследуемый больным и голодным зверем. Под убаюкивающий, ровный гул моторов все начало плыть, терять очертания, растворяться в серой мгле, и последней мыслью засыпающего Алексея была странная мысль о том, что нет ни войны, ни бомбежки, ни этой мучительной, непрерывной, ноющей боли в ногах, ни самолета, несущегося к Москве, что все это из чудесной книжки, читанной в детстве в далеком городе Камышине.

Часть вторая

1

Андрей Дегтяренко и Леночка не преувеличивали, расписывая своему другу великолепие столичного госпиталя, куда по просьбе командующего армией был помещен Алексей Мересьев, а за компанию и лейтенант Константин Кукушкин, доставленный вместе с ним в Москву.

До войны это была клиника института, где известный советский ученый изыскивал новые методы быстрого восстановления человеческого организма после болезней и травм. У этого учреждения были крепко сложившиеся традиции и мировая слава.

В дни войны ученый превратил клинику своего института в офицерский госпиталь. По-прежнему больным предоставлялись тут все виды лечения, какие только знала к тому времени передовая наука. Война, бушевавшая недалеко от столицы, вызвала такой приток ране-

ных, что госпиталю пришлось вчетверо увеличить число коек по сравнению с тем, на какое он был рассчитан. Все подсобные помещения — приемные для встреч с посетителями, комнаты для чтения и тихих игр, комнаты медицинского персонала и общие столовые для выздоравливающих — были превращены в палаты. Ученый уступил для раненых даже свой кабинет, смежный с его лабораторией, а сам вместе со своими книгами и привычными вещами перебрался в маленькую комнатку, где раньше была дежурка. И все же порой приходилось ставить койки в коридорах.

Среди сверкающих белизной стен, казалось самым архитектором предназначенных для торжественной тишины храма медицины, отовсюду слышались протяжные стоны, оханье, храп спящих, бред тяжелобольных. Прочно воцарился тут тяжкий, душный запах войны — запах окровавленных бинтов, воспаленных ран, заживо гниющего человеческого мяса, который не в силах было истребить никакое проветривание. Уже давно рядом с удобными, сделанными по чертежам самого ученого кроватями стояли походные раскладушки. Не хватало посуды. Наряду с красивым фаянсом клиники были в ходу мятые алюминиевые миски. Разорвавшаяся неподалеку бомба взрывной волной выдавила стекла огромных итальянских окон, и их пришлось забить фанерой. Не хватало воды, то и дело выключался газ, и инструменты приходилось кипятить на старинных спиртовках. А раненые все поступали. Их привозили все больше и больше — на самолетах, на автомашинах, в поездах. Приток их рос по мере того, как на фронте возрастала мощь нашего наступления.

И все же персонал госпиталя — весь, начиная с его шефа, заслуженного деятеля наук и депутата Верховного Совета, и кончая любой сиделкой, гардеробщицей, швейцаршей, — все эти усталые, иногда полуголодные, сбившиеся с ног, не высыпающиеся люди продолжали фанатически блюсти порядки своего учреждения. Сиделки, дежурившие порой по две и даже по три смены подряд, использовали любую свободную минуту для того, чтобы чистить, мыть, скрести. Сестры, похудевшие, постаревшие, шатавшиеся от усталости, по-прежнему являлись на работу в крахмальных халатах и были так же скрупулезно требовательны в исполнении врачебных назначений. Ординаторы, как и прежде, придирались к

малейшему пятнышку на постельном белье и свежим носовым платком проверяли чистоту стен, лестничных перил, дверных ручек. Сам же шеф, огромный краснолицый старик с седеющей гривой над высоким лбом, уса-тый, с черной, густо посеребренной эспаньолкой, неистовый ругатель, дважды в день, как и до войны, в сопровождении стаи накрахмаленных ординаторов и ассистентов обходил в положенные часы палаты, смотрел диагнозы новичков, консультировал тяжелые случаи.

В те дни боевой страды у него была уйма дел и вне этого госпиталя. Но он всегда находил время для любимого детища, выкраивая часы за счет отдыха и сна. Распекая кого-нибудь из персонала за нерадивость — а он делал это шумно, страстно, обязательно на месте происшествия, в присутствии больных,— он всегда говорил, что его клиника, образцово, как и прежде, работающая в настороженной, затемненной, военной Москве,— это и есть их ответ всем этим гитлерам и герингам, что он не желает слышать никаких ссылок на трудности войны, что бездельники и лодыри могут убираться ко всем чертям и что именно сейчас-то, когда все так трудно, в госпитале должен быть особо строгий порядок. Сам он продолжал совершать свои обходы с такой точностью, что сиделки все так же проверяли по его появлению стенные часы в палатах. Даже воздушные тревоги не нарушали точности этого человека. Должно быть, именно это и заставляло персонал творить чудеса и в совершенно невероятных условиях поддерживать довоенные порядки.

Однажды во время утреннего обхода шеф госпиталя — назовем его Василием Васильевичем — наткнулся на две койки, стоявшие рядом на лестничной площадке третьего этажа.

— Что за выставка? — рявкнул он и метнул из-под мохнатых своих бровей в ординатора такой взгляд, что этот высокий сутулый, уже немолодой человек очень почтенной внешности вытянулся, как школьник.

— Только ночью привезли... Летчики. Вот этот с переломом бедра и правой руки. Состояние нормальное. А тот,— он показал рукой на очень худого человека неопределенных лет, неподвижно лежавшего с закрытыми глазами,— тот тяжелый. Раздроблены плюсны ног, гангрена обеих ступней, а главное — крайнее истощение. Я не верю, конечно, но сопровождавший их военврач второго ранга пишет, будто больной с раздробленными

ступнями восемнадцать дней выползал из немецкого тыла. Это, конечно, преувеличение.

Не слушая ординатора, Василий Васильевич приподнял одеяло. Алексей Мересьев лежал со скрещенными на груди руками; по этим обтянутым темной кожей рукам, резко выделявшимся на белизне свежей рубашки и простыни, можно было бы изучать костное строение человека. Профессор бережно покрыл летчика одеялом и ворчливо перебил ординатора:

— Почему здесь лежат?

— В коридоре места уже нет... Вы сами...

— Что «вы сами», «вы сами»! А в сорок второй?

— Но это же полковничья.

— Полковничья? — Профессор вдруг взорвался: — Какой это болван придумал? Полковничья! Дурачье!

— Но ведь нам же сказано: оставить резерв для Героев Советского Союза.

— «Героев», «героев»! В этой войне все герои. Да что вы меня учите? Кто здесь начальник? Кому не нравятся мои распоряжения, может немедленно убираться. Сейчас же перенести летчиков в сорок вторую! Выдумываете всякие глупости: «полковничья»!

Он пошел было прочь, сопровождаемый притихшей свитой, но вдруг вернулся, наклонился над койкой Мересьева и, положив на плечо летчика свою пухлую, изъеденную бесконечными дезинфекциями, шелушащуюся руку, спросил:

— А верно, что ты больше двух недель полз из немецкого тыла?

— Неужели у меня гангрена? — упавшим голосом проговорил Мересьев.

Профессор царапнул сердитым взглядом свою остановившуюся в дверях свиту, глянул летчику прямо в черные большие его зрачки, в которых были тоска и тревога, и вдруг сказал:

— Таких, как ты, грешно обманывать. Гангрена. Но носа не вешать. Неизлечимых болезней на свете нет, как нет и безвыходных положений. Запомнил? То-то.

И он ушел, большой, шумный, и уже откуда-то издадека, из-за стеклянной двери коридора, слышалась его басовитая воркотня.

— Забавный дядька, — сказал Мересьев, тяжело смотря ему вслед.

— Псих. Видал? Под нас подыгрывается. Знаем мы

таких простеньких! — отозвался со своей койки Кукушкин, криво усмехаясь. — Значит, сподобились чести в «полковничью» попасть.

— Гангрена, — тихо произнес Мересьев и повторил с тоской: — Гангрена...

2

Так называемая полковничья палата помещалась во втором этаже в конце коридора. Окна ее выходили на юг и на восток, и поэтому солнце кочевало по ней весь день, постепенно перемещаясь с одних коек на другие. Это была сравнительно небольшая комната. Судя по темным пятнам, сохранившимся на паркете, стояли в ней до войны две кровати, две тумбочки и круглый стол посредине. Теперь здесь помещались четыре койки. На одной лежал весь забинтованный, похожий на запеленатого новорожденного раненый. Он лежал всегда на спине и смотрел из-под бинтов в потолок пустым, неподвижным взглядом. На другой, рядом с которой лежал Алексей, помещался подвижный человечек с морщинистым рябым солдатским лицом, с белесыми тонкими усиками, услужливый и разговорчивый.

Люди в госпитале быстро знакомятся. К вечеру Алексей уже знал, что рябой — сибиряк, председатель колхоза, охотник, а по военной профессии снайпер, и снайпер удачливый. Со дня знаменитых боев под Ельней, когда он в составе своей Сибирской дивизии, в которой вместе с ним служили два его сына и зять, включился в войну, он успел, как он выражался, «нащелкать» до семидесяти немцев. Был он Герой Советского Союза, и, когда назвал Алексею свою фамилию, тот с интересом оглядел его невзрачную фигуру. Фамилия эта в те дни была широко известна в армии. Большие газеты даже посвятили снайперу передовые. Все в госпитале — и сестры, и врач-ординатор, и сам Василий Васильевич — называли его уважительно Степаном Ивановичем.

Четвертый обитатель палаты, лежавший в бинтах, за весь день ничего о себе не сказал. Он вообще не произнес ни слова, но Степан Иванович, все на свете знавший, потихоньку рассказал Мересьеву его историю. Звали того Григорий Гвоздев. Он был лейтенант танковых войск и тоже Герой Советского Союза. В армию он пришел из танкового училища и воевал с первых дней войны, приняв первый бой на границе, где-то у Брест-Литов-

ской крепости. В известном танковом сражении под Белостоком он потерял свою машину. Тут же пересел на другой танк, командир которого был убит, и с остатками танковой дивизии стал прикрывать войска, отступавшие к Минску. В бою на Буге он потерял вторую машину, был ранен, пересел на третью и, заменив погибшего командира, принял на себя командование ротой. Потом, очутившись в немецком тылу, он создал кочующую танковую группу из трех машин и с месяц бродил с ней по глубоким немецким тылам, нападая на обозы и колонны. Он заправлялся горючим, довольствовался боеприпасами и запасными частями на полях недавних сражений. Здесь, по зеленым лощинам у большаков, в лесах и болотах, в изобилии и без всякого призора стояли подбитые машины любых марок.

Родом он был из-под Дорогобужа. Когда из сводок Советского Информбюро, которые аккуратно принимали на рацию командирской машины танкисты, Гвоздев узнал, что линия фронта подошла к родным его местам, он не вытерпел, взорвал три своих танка и с бойцами, которых у него уцелело восемь человек, стал пробираться лесами.

Перед самой войной ему удалось побывать дома, в маленькой деревеньке на берегу извилистой луговой речки. Мать его, сельская учительница, тяжело заболела, и отец, старый агроном, член областного Совета депутатов трудящихся, вызвал сына из армии.

Гвоздев вспоминал деревянный приземистый домик у школы, мать, маленькую, исхудалую, беспомощно лежавшую на старом диване, отца в чесучовом, старинного покроя пиджаке, озабоченно покашливавшего и пощипывавшего седую бородку возле ложа больной, и трех сестер-подростков, маленьких, чернявых, очень похожих на мать. Вспоминал сельскую фельдшерицу Женю — тоненькую, голубоглазую, которая проводила его на подводе до самой станции и которой он обещал каждый день писать письма. Пробираясь, как зверь, по вытоптаным полям, по сожженным, пустым деревням Белоруссии, обходя города и избегая проезжих дорог, он тоскливо гадал, что увидит в маленьком родном доме, удалось ли его близким уйти и что с ними стало, если они не ушли.

То, что Гвоздев увидел на родине, оказалось страшнее самых мрачных предположений. Он не нашел ни

домика, ни родных, ни Жени, ни самой деревни. От по-лоумной старухи, которая, приплясывая и бормоча, что-то варила в печке, стоявшей среди черных пепелищ, он узнал, что, когда подходили немцы, учительше было очень худо и что агроном с девочками не решились ни увезти, ни покинуть ее. Гитлеровцы узнали, что в деревне осталась семья члена областного Совета депутатов трудящихся. Их схватили и в ту же ночь повесили на березе возле дома, а дом зажгли. Женю, которая побежала к самому главному немецкому офицеру просить за семью Гвоздева, будто бы долго мучили, будто домогался ее офицер, и что уж там произошло, старуха не знала, а только вынесли девушку из избы, где жил офицер, на вторые сутки, мертвую, и два дня лежало ее тело у реки. А деревня сгорела всего пять дней назад, и спалили ее немцы за то, что кто-то ночью зажег их бензоцистерны, стоявшие на колхозной конюшне.

Старуха отвела танкиста на пепелище дома и показала старую березу. На толстом суку в детстве висели его качели. Теперь береза засохла, и на убитом жаром суку ветер покачивал пять веревочных обрезков. Приплясывая и бормоча про себя молитвы, старуха повела Гвоздева на реку и показала место, где лежало тело девушки, которой он обещал писать каждый день, да так потом ни разу и не собрался. Он постоял среди шелестевшей осоки, потом повернулся и пошел к лесу, где ждали его бойцы. Он не сказал ни слова, не проронил ни одной слезы.

В конце июня, во время наступления армии генерала Конева на Западном фронте, Григорий Гвоздев вместе со своими бойцами пробился через немецкий фронт. В августе он получил новую машину, знаменитую «Т-34», и до зимы успел прослечь в батальоне человеком «без меры».

Про него рассказывали, о нем писали в газетах истории, казавшиеся невероятными, но происходившие на самом деле. Однажды, посланный в разведку, он на своей машине ночью на полном газу проскочил немецкие укрепления, благополучно пересек минное поле, стреляя и сея панику, прорвался в занятый немцами городок, зажатый в полукольцо частями Красной Армии, и вырвался к своим на другом конце, наделав немцам немало переполоху. В другой раз, действуя в подвижной группе в немецком тылу, он, выскочив из засады, ри-

нулся на немецкий гужевой обоз, давя гусеницами солдат, лошадей и подводы.

Зимой во главе небольшой танковой группы он атаковал гарнизон укрепленной деревни у Ржева, где помещался маленький оперативный штаб противника. Еще у околицы, когда танки проходили оборонительную полосу, в его машину угодила ампула с горючей жидкостью. Чадное, душное пламя окутало танк, но экипаж его продолжал бороться. Точно гигантский факел, несся танк по деревне, стреляя из всего своего бортового оружия, маневрируя, настигая и гусеницами давя бегущих немецких солдат. Гвоздев и экипаж, который он подобрал из людей, вышедших вместе с ним из окружения, знали, что они вот-вот должны погибнуть от взрыва бака или боеприпасов. Они задыхались в дыму, обжигались о накаляющуюся броню, одежда уже тлела на них, но они продолжали драться. Тяжелый снаряд, разорвавшийся под гусеницами машины, опрокинул танк, и то ли взрывной волной, то ли поднятыми песком и снегом сбило с него пламя. Гвоздева вынули из машины обгоревшим. Он сидел в башне рядом с убитым стрелком, которого заменил в бою...

Второй месяц уже находился танкист на грани жизни и смерти, без надежды поправиться, ничем не интересуясь и иной раз не произнося за сутки ни одного слова.

Мир тяжело раненных обычно ограничен стенами их госпитальной палаты. Где-то за пределами этих стен идет война, вершатся великие и малые события, бурлят страсти, и каждый день накладывает какой-то новый штришок на душу человека. В палату «тяжелых» жизнь внешнего мира не впускают, и бури за стенами госпиталя доходят сюда только отдаленными и глухими отголосками. Палата поневоле жила своими маленькими событиями. Муха, сонная и пыльная, появившаяся неизвестно откуда на отогретом дневным солнцем стекле,— происшествие. Новые туфли с высокими каблуками, которые надела сегодня палатная сестра Клавдия Михайловна, собиравшаяся прямо из госпиталя в театр,— новость. Компот из чернослива, поданный на третье вместо всем надоевшего урюкового киселя,— тема для беседы.

И то всегдашнее, что заполняло для «тяжелого» томительно медленные госпитальные дни, что приковывало к себе его мысли, была его рана, вырвавшая его из

рядов бойцов, из трудной боевой жизни и бросившая сюда, на эту вот мягкую и удобную, но сразу же опустылевшую койку. Он засыпал с мыслью об этой ране, опухоли или переломе, видел их во сне и, проснувшись, сейчас же лихорадочно старался узнать, убавилась ли опухоль, сошла ли краснота, повысилась или понизилась температура. И как в ночной тишине настороженное ухо склонно вдесятеро преувеличивать каждый шорох, так и тут эта постоянная сосредоточенность на своем недуге делала раны еще более болезненными и заставляла даже самых твердых и волевых людей, спокойно смотревших в бою в глаза смерти, пугливо улавливать оттенки в голосе профессора и с замиранием сердца угадывать по лицу Василия Васильевича его мнение о ходе болезни.

Кукушкин много и сердито брюзжал. Ему все казалось, что шины наложены не так, что они слишком зажаты и что от этого кости срастутся неправильно и их придется ломать. Гриша Гвоздев молчал, погруженный в унылое полузабытье. Но нетрудно было заметить, с каким взволнованным нетерпением осматривает он свое багрово-красное, увешанное лохмотьями обгорелой кожи тело, когда Клавдия Михайловна, меняя ему повязки, горстями бросает вазелин на его раны, и как он настораживается, когда слышит разговор врачей. Степан Иванович, единственный в палате, кто мог передвигаться, правда согнувшись кочергой и цепляясь за спинки кроватей, постоянно смешно и сердито бранил настягшую его «дуру бомбу» и вызванный контузией «растреклятый радикулит».

Мересьев тщательно скрывал свои переживания, делал вид, что его не интересуют разговоры врачей. Но всякий раз, когда ноги разбинтовывали для электризации и он видел, как медленно, но неуклонно ползет вверх по подъему предательская багровая краснота, глаза его расширились от ужаса.

Характер у него был беспокойным, мрачным. Неловкая шутка товарища, складка на простыне, щетка, упавшая из рук у старой сиделки, вызывали в нем вспышки гнева, которые он с трудом подавлял. Правда, строгий, медленно увеличивающийся рацион отличной госпитальной пищи быстро восстанавливал его силы, и во время перевязок или облучения худоба его не вызывала уже больше испуганных взглядов молоденьких практиканток. Но с той же быстротой, с какой крепнул организм, стано-

вилось хуже его ногам. Краснота перевалила уже подъем и расползлась по щиколоткам. Пальцы совершенно потеряли чувствительность, их кололи булавками, и булавки эти входили в тело, не вызывая боли. Распространение опухоли удалось приостановить каким-то новым способом, носившим странное название «блокада». Но боль росла. Она становилась совершенно нестерпимой. Днем Алексей тихо лежал, уткнувшись лицом в подушку. Ночью Клавдия Михайловна впрыскивала ему морфий.

Все чаще и чаще в разговорах врачей звучало теперь страшное слово «ампутация». Василий Васильевич иногда останавливался у койки Мересьева, спрашивал:

— Ну как, ползун, мозжит? Может, отрезать, а? Чик — и к стороне.

Алексей весь холодел и сжимался. Стиснув зубы, чтобы не закричать, он только мотал головой, и профессор сердито бормотал:

— Ну, терпи, терпи — твое дело. Попробуем еще вот это, — и делал новое назначение.

Дверь за ним закрывалась, стихали в коридоре шаги обхода, а Мересьев лежал с закрытыми глазами и думал: «Ноги, ноги, ноги мои!..» Неужели остаться без ног, калекой на деревяшках, как старый перевозчик дядя Аркаша в родном его Камышине! Чтобы при купанье так же, как тот, отстегивать и оставлять на берегу деревянные, а самому на руках, по-обезьяньи лезть в воду...

Эти переживания усугублялись еще одним обстоятельством. В первый же день в госпитале он прочел письма из Камышина. Маленькие треугольнички матери, как и все вообще материнские письма, были коротки, наполовину состояли из родственных поклонов и успокоительных заверений в том, что дома все слава богу и что он, Алеша, о ней может не беспокоиться, а наполовину — из просьб беречь себя, не стесняться, не мочить ног, не лезть туда, где опасно, остерегаться коварства врага, о котором мать достаточно наслышана от соседок. Письма эти по содержанию были все одинаковы, и разница в них была только в том, что в одном мать сообщала, как попросила соседку помолиться за воина Алексея, хотя сама в бога не верит, но все же на всякий случай, — а вдруг что-нибудь там да есть; в другом — беспокоилась о старших братьях, сражавшихся где-то на юге и давно не писавших, а в последнем писала, что видела во сне, будто на волжское половодье

съехали к ней все сыны, будто вернулись они с удачной рыбалки вместе с покойником-отцом и она всех угощала любимым семейным лакомством — пирогом с ви zigой,— и что соседки истолковали этот сон так: кто-нибудь из сыновей должен обязательно приехать домой с фронта. Старуха просила Алексея попытаться начальство, не отпустят ли его домой хоть на денек.

В синих конвертах, надписанных крупным и круглым ученическим почерком, были письма от девушки, с которой Алексей вместе учился в ФЗУ. Звали ее Ольгой. Она работала теперь техником на Камышинском лесозаводе, где в отрочестве работал и он токарем по металлу. Девушка эта была не только другом детства. И письма от нее были необычные, особенные. Недаром читал он их по нескольку раз, возвращался к ним снова и снова, ища за самыми простыми строчками какой-то иной, не вполне понятный ему самому, радостный, скрытый смысл.

Писала она, что хлопот у нее полон рот, что теперь и ночевать домой она не ходит, чтобы не терять времени, а спит тут же, в конторе, что завода своего теперь Алексей, пожалуй, и не узнал бы и что поразился бы и сошел бы с ума от радости, если бы догадался, что они сейчас производят. Между прочим писала, что в редкие выходные, которые случаются у нее не чаще раза в месяц, бывает она у его матери, что чувствует себя старушка неважно, так как от старших братьев — ни слуху ни духу, что живется матери туго, в последнее время она стала сильно прихварывать. Девушка просила почаще и побольше писать матери и не волновать ее дурными вестями, так как он для нее теперь, может быть, единственная радость.

Читая и перечитывая письма Оли, Алексей раскусил материнскую хитрость со сном. Он понял, как ждет его мать, как надеется на него, и понял также, как страшно потрясет он их обеих, сообщив о своей катастрофе. Долго раздумывал он, как ему быть, и не хватило духу написать домой правду. Он решил подождать и написал обоим, что живет хорошо, перевели его на тихий участок, а чтобы оправдать перемену адреса, сообщил для пушского правдоподобия, что служит теперь в тыловой части и выполняет специальное задание и что, по всему виду, проторчит он в ней еще долго.

И вот теперь, когда в беседах врачей все чаще и чаще звучало слово «ампутация», ему становилось страш-

но. Как он калекой приедет в Камышин? Как он покажет Оле свои культяпки? Какой страшный удар нанесет он своей матери, растерявшей на фронтах всех сыновей и ожидающей домой его, последнего! Вот о чем думал он в томительно-тоскливой тишине палаты, слушая, как сердито стонут матрацные пружины под беспокойным Кукушкиным, как молча вздыхает танкист и как барабанит пальцами по стеклу согнутый в три погибели Степан Иванович, проводящий все дни у окна.

«Ампутация? Нет, только не это! Лучше смерть... Какое холодное, колючее слово! Ампутация! Да нет же, не быть тому!» — думал Алексей. Страшное слово даже снилось ему в виде какого-то стального, неопределенных форм паука, раздиравшего его острыми, коленчатыми ногами.

3

С неделю обитатели сорок второй палаты жили вчетвером. Но однажды пришла озабоченная Клавдия Михайловна с двумя санитарями и сообщила, что придется потесниться. Койку Степана Ивановича, к его великой радости, установили у самого окна. Кукушкина перенесли в угол, рядом со Степаном Ивановичем, а на освободившееся место поставили хорошую низкую кровать с мягким пружинным матрацем.

Это взорвало Кукушкина. Он побледнел, застучал кулаком по тумбочке, стал визгливо ругать и сестру, и госпиталь, и самого Василия Васильевича, грозил жаловаться кому-то, куда-то писать и так разошелся, что чуть было не запустил кружкой в бедную Клавдию Михайловну, и, может быть, даже запустил бы, если бы Алексей, бешено сверкая своими цыганскими глазами, не осадил его грозным окриком.

Как раз в этот момент и внесли пятого.

Он был, должно быть, очень тяжел, так как носилки скрипели, глубоко прогибаясь в такт шагам санитаров. На подушке бессильно покачивалась круглая, наголо выбритая голова. Широкое желтое, точно налитое воском, одутловатое лицо было безжизненно. На полных бледных губах застыло страдание.

Казалось, новичок был без сознания. Но как только носилки поставили на пол, больной сейчас же открыл глаза, приподнялся на локте, с любопытством осмотрел палату, почему-то подмигнул Степану Ивановичу —

дескать, как она, жизнь-то, ничего? — басовито прокашлялся. Грузное тело его было, вероятно, тяжело контужено, и это причиняло ему острую боль. Мересьев, которому этот большой распухший человек с первого взгляда почему-то не понравился, с неприязнью следил за тем, как два санитары, две сиделки и сестра общими усилиями с трудом поднимали того на кровать. Он видел, как лицо новичка вдруг побледнело и покрылось испариной, когда неловко повернули его бревноподобную ногу, как болезненная гримаса перекосила его побелевшие губы. Но тот только скрипнул зубами.

Очутившись на койке, он сейчас же ровно выложил по краю одеяла каемку пододеяльника, стопками разложил на тумбочке принесенные за ним книжки и блокноты, аккуратно расставил на нижней полочке пасту, одеколон, бритвенный прибор, мыльницу, потом хозяйственным оком подвел итог всем этим своим делам и тотчас, точно сразу почувствовав себя дома, глубоким и раскатистым басом прогудел:

— Ну, давайте знакомиться. Полковой комиссар Семен Воробьев. Человек смирный, некурящий. Прошу принять в компанию.

Он спокойно и с интересом оглядел товарищей по палате, и Мересьев успел поймать на себе внимательно-испытующий взгляд его узеньких золотистых, очень цепких глаз.

— Я к вам ненадолго. Не знаю, кому как, а мне здесь залеживаться недосуг. Меня мои конники ждут. Вот лед пройдет, дороги подсохнут — и айда: «Мы красная кавалерия, и про нас...» А? — пророкотал он, заполняя всю комнату сочным, веселым басом.

— Все мы тут ненадолго. Лед тронется — и айда... ногами вперед в пятидесятую палату, — отозвался Кукушкин, резко отвернувшись к стене.

Пятидесятой палаты в госпитале не было. Так между собой больные называли мертвецкую. Вряд ли комиссар успел узнать об этом, но он сразу уловил мрачный смысл шутки, не обиделся и только, с удивлением глянув на Кукушкина, спросил:

— А сколько вам, дорогой друг, лет? Эх, борода, борода! Что-то вы рано состарились.

С появлением в сорок второй нового больного, которого все стали называть между собой Комиссар, весь строй жизни палаты сразу переменился. Этот грузный и немощный человек на второй же день со всеми пере-знакомился и, как выразился потом о нем Степан Иванович, сумел при этом к «каждому подобрать свой особый ключик».

Со Степаном Ивановичем он потолковал всласть о конях и об охоте, которую они оба очень любили, будучи большими знатоками. С Мересьевым, любившим вникать в суть войны, задорно поспорил о современных способах применения авиации, танков и кавалерии, причем не без страсти доказывал, что авиация и танки — это, конечно, славная штука, но что и конь себя не изжил и еще покажет, и если сейчас хорошо подремонтировать кавалерийские части, да подкрепить их техникой, да в помощь старым рубакам-командирам вырастить широко и смело мыслящую молодежь — наша конница еще удивит мир. Даже с молчаливым танкистом он нашел общий язык. Оказалось, дивизия, в которой он был комиссаром, воевала у Ярцева, а потом на Духовщине, участвуя в знаменитом коневском контрударе, там, где танкист со своей группой выбился из окружения. И Комиссар с увлечением перечислял знакомые им обоим названия деревень и рассказывал, как и где именно досталось там немцам. Танкист по-прежнему молчал, но не отворачивался, как бывало раньше. Лица его из-за бинтов не было видно, но он согласно покачивал головой. Кукушкин же сразу сменил гнев на милость, когда Комиссар предложил ему сыграть партию в шахматы. Доска стояла у Кукушкина на койке, а Комиссар играл «вслепую», лежа с закрытыми глазами. Он в пух и прах разбил сварливого лейтенанта и этим окончательно примирил его с собой.

С прибытием Комиссара в палате произошло что-то подобное тому, что бывало по утрам, когда сиделка открывала форточку и в нудную больничную тишину вместе с веселым шумом улиц врвался свежий и влажный воздух ранней московской весны. Комиссар не делал для этого никаких усилий. Он просто жил, жил жадно и полнокровно, забывая или заставляя себя забывать о мучивших его недугах.

Проснувшись утром, он садился на койке, разводил руки вверх, вбок, наклонялся, выпрямлялся, ритмично вращал и наклонял голову — делал гимнастику. Когда давали умыться, он требовал воду похолоднее, долго фыркал и плескался над тазом, а потом вытирался полотенцем с таким азартом, что краснота выступала на его отекавшем теле, и, глядя на него, всем невольно хотелось сделать то же. Приносили газеты. Он жадно выхватывал их у сестры и торопливо вслух читал сводку Советского Информбюро, потом уже обстоятельно, одну за другой, — корреспонденции с фронта. И читать он умел как-то по-своему — так сказать, активно: то вдруг начинал шепотом повторять понравившееся ему место и бормотать «правильно» и что-то подчеркивал, то вдруг сердито восклицал: «Врет, собака! Ставлю мою голову против пивной бутылки, что на фронте не был. Вот мерзавец! А пишет». Однажды, рассердившись на какого-то завравшегося корреспондента, он тут же написал в редакцию газеты сердитую открытку, доказывая в ней, что на войне таких вещей не бывает, быть не может, прося унять расходившегося вранья. А то задумывался над газетой, откидывался на подушку и лежал так с раскрытыми глазами или начинал вдруг рассказывать интересные истории о своих конниках, которые, если судить с его слов, все были герой к герою и молодец к молодцу. А потом снова принимался за чтение. И странно, эти его замечания и лирические отступления нисколько не мешали слушателям, не отвлекали, а, наоборот, помогали постигать значение прочитанного.

Два часа в день, между обедом и лечебными процедурами, он занимался немецким языком, твердил слова, составлял фразы и иногда, вдруг задумываясь над смыслом чужого языка, говорил:

— А знаете, хлопцы, как по-немецки цыпленок? Кюхельхен. Здорово! Кюхельхен — что-то эдакое маленькое, пушистое, нежное. А колокольчик, знаете как? Глётклинг. Звонкое слово, верно?

Как-то раз Степан Иванович не утерпел:

— А на что вам, товарищ полковой комиссар, немецкий-то язык? Не зря ли себя томите? Силы бы вам поберечь...

Комиссар хитро глянул на старого солдата.

— Эх, борода, разве это для русского человека жизнь? А на каком же языке я буду с немками в Бер-

лине разговаривать, когда туда придем? По-твоему, по-чалдонски, что ли? А?

Степан Иванович, сидевший на койке у Комиссара, хотел, должно быть, резонно возразить, что-де линия фронта идет пока близко от Москвы и что до немок далеко, но в голосе Комиссара звучала такая веселая убежденность, что солдат только крикнул и деловито добавил:

— Так-то так, не по-чалдонски, конечно. Однако побережся бы вам, товарищ комиссар, после эдакой-то контузии.

— Бережен-то конь первым с копыт и валится. Не слышал? Нехорошо, борода!

Никто из больных бороды не носил. Комиссар же всех почему-то именовал «бородами». Получалось это у него не обидно, а весело, и у всех от этого шуточного названия легчало на душе.

Алексей целыми днями приглядывался к Комиссару, пытаясь понять секрет его неиссякаемой бодрости. Несомненно, тот сильно страдал. Стоило ему заснуть и потерять контроль над собой, как он сразу же начинал стонать, метаться, скрежетать зубами, лицо его искажалось судорогой. Вероятно, он знал это и старался не спать днем, находя для себя какое-нибудь занятие. Бодрствуя же, он был неизменно спокоен и ровен, как будто и не мучил его страшный недуг, неторопливо разговаривал с врачами, пошучивал, когда те прощупывали и осматривали у него больные места, и разве только по тому, как рука его при этом комкала простыню, да по бисеринкам пота, выступавшим на переносице, можно было угадать, что трудно ему было сдерживаться. Летчик не понимал, как может этот человек подавлять страшную боль, откуда у него столько энергии, бодрости, жизнерадостности.

Алексее тем более хотелось понять это, что, несмотря на все увеличивавшиеся дозы наркотиков, он сам не мог уже спать по ночам и иногда до утра лежал с открытыми глазами, вцепившись зубами в одеяло, чтобы не стонать.

Все чаще, все настойчивее звучало теперь на осмотрах зловещее слово «ампутация». Чувствуя неуклонное приближение страшного дня, Алексей решил, что жить без ног не стоит.

И вот день настал. На обходе Василий Васильевич долго ощупывал почерневшие, уже не чувствовавшие прикосновений ступни, потом резко выпрямился и произнес, глядя прямо в глаза Мересьеву: «Резать!» Побледневший летчик ничего не успел ответить, как профессор запальчиво добавил: «Резать — и никаких разговоров, слышишь? Иначе подохнешь! Понял?»

Он вышел из комнаты, не оглянувшись на свою свиту. Палату наполнила тяжелая тишина. Мересьев лежал с окаменелым лицом, с открытыми глазами. Перед ним маячили в тумане синие безобразные култышки инвалида-перевозчика, он опять видел, как тот, раздевшись, на четвереньках, по-обезьяньи, опираясь на руки, ползет по мокрому песку к воде.

— Леша,— тихо позвал Комиссар.

— Что? — отозвался Алексей далеким, отсутствующим голосом.

— Так надо, Леша.

В это мгновенье Мересьеву показалось, что это не перевозчик, а он сам ползет на культиках и что его девушка, его Оля, стоит на песке в пестром развевающемся платье, легкая, солнечная, красивая, и, кусая губы, с напряжением смотрит на него. Так будет! И он зарыдал бесшумно и сильно, уткнувшись в подушку, весь сотрясаясь и дергаясь. Всем стало жутко. Степан Иванович, кряхтя, сполз с койки, напялил халат и, шаркая туфлями, перебирая руками по спинке кровати, кряхтя, пошел к Мересьеву. Но Комиссар сделал запрещающий знак: дескать, пусть плачет, не мешай.

И действительно, Алексею стало легче. Скоро он успокоился и почувствовал даже облегчение, какое всегда ощущает человек, когда наконец решит долго мучивший его вопрос. Он молчал до самого вечера, пока за ним не пришли санитары, чтобы нести его в операционную. В этой белой, ослепительно сверкающей комнате он тоже не проронил ни слова. Даже когда ему объявили, что состояние сердца не позволяет усыплять его и операцию придется делать под местным наркозом, он только кивнул головой. Во время операции он не издал ни стона, ни крика. Василий Васильевич, сам делавший эту несложную ампутацию и, по обыкновению своему, грозно пушивший при этом сестер и помощников, не-

сколько раз заставлял ассистента смотреть, не умер ли больной под ножом.

Когда пилили кость, боль была страшная, но он привык переносить страдания и даже не очень понимал, что делают у его ног эти люди в белых халатах, с лицами, закрытыми марлевыми масками.

Очнулся он уже в палате, и первое, что он увидел, было заботливое лицо Клавдии Михайловны. Странно, но он ничего не помнил и даже удивился, почему у этой милой, ласковой белокурой женщины такое взволнованное, вопрошающее лицо. Заметив, что он раскрыл глаза, она просияла, тихонько пожала ему руку под одеялом.

— Какой вы молодец! — И сейчас же взялась за пульс.

«Что это она?» — Алексей чувствовал, что ноги у него болят где-то выше, чем раньше, и не прежней горячей, мозжащей, дергающей болью, а как-то тупо и вяло, будто их крепко стянули выше голени веревками. И вдруг увидел по складкам одеяла, что тело его стало короче. Мгновенно вспомнилось: ослепительное сверканье белой комнаты, свирепая воркотня Василия Васильевича, тупой стук в эмалированном ведре. «Уже?!» — как-то вяло удивился он и, сиюсь улыбнуться, сказал сестре:

— Я, кажется, стал короче.

Улыбка получилась нехорошая, похожая на гримасу. Клавдия Михайловна заботливо поправила ему волосы.

— Ничего, ничего, голубчик, теперь легче будет.

— Да, верно, легче. На сколько килограммов?

— Не надо, родной, не надо. А вы молодец, иные кричат, других ремнями привязывают и еще держат, а вы не пикнули... Эх, война, война!

В это время из вечерней полутьмы палаты послышался сердитый голос Комиссара:

— Вы чего там панихиду затеяли? Вот передайте-ка ему, сестричка, письма. Везет человеку, даже меня завидки берут: столько писем сразу!

Комиссар передал Мересьеву пачку писем. Это были письма из родного полка. Датированы они были разными днями, но пришли почему-то вместе, и вот теперь, лежа с отрезанными ногами, Алексей одно за другим читал эти дружеские послания, повествующие о далекой, полной трудов, неудобств и опасностей, неудержимо тянувшей к себе жизни, которая была потеряна теперь

для него безвозвратно. Он смаковал и большие новости, и дорогие мелочи, о которых писали ему из полка. Было ему одинаково интересно и то, что политработник из корпуса проболтался, будто полк представлен к награждению орденом Красного Знамени, что Иванчук получил сразу две награды, и то, что Яшин на охоте убил лисицу, которая почему-то оказалась без хвоста, что у Степы Ростова из-за флюса расстроился роман с сестрой Леночкой. На миг он уносился мыслью туда, на затерянный среди лесов и озер аэродром, который летчики так часто поругивали за коварный грунт и который казался ему теперь лучшей точкой на земле.

Он так увлекся письмами, что не обратил внимания на разницу в датах и не заметил, как Комиссар подмигнул сестре, с улыбкой показывая в его сторону, и тихо шепнул ей: «Мое-то лекарство куда лучше, чем все эти ваши люминалы и вероналы». Алексей так никогда и не узнал, что, предвидя события, Комиссар прятал часть его писем, чтобы в страшный для Мересьева день, передав летчику дружеские приветы и новости с родного аэродрома, смягчить для него тяжелый удар. Комиссар был старый воин. Он знал великую силу этих небрежно и наспех исписанных клочков бумаги, которые на фронте порой бывают важнее, чем лекарства и сухари.

В письме Андрея Дегтяренко, грубоватом и простом, как и он сам, лежала маленькая бумажка, покрытая мелкими кудрявыми буквами и изобилующая восклицательными знаками:

«Товарищ старший лейтенант! Нехорошо, что вы не держите своего слова!!! В полку вас очень часто вспоминают и, я не вру, только о вас и говорят. Недавно товарищ командир полка в столовой сказал, что вот Мересьев Алексей — это да!!! Вы же знаете, что он так только о самых хороших говорит. Возвращайтесь скорей, вас тут ждут!!! Леля большая, из столовой, просит передать вам, что теперь она без прений будет давать вам по три вторых, пусть даже ее за это Военторг уволит. Только нехорошо, что вы не держите слова!!! Другим вы все-таки написали, а мне ничего не написали. Мне это очень обидно, поэтому не пишу вам отдельного письма, а вы мне напишите, пожалуйста, отдельное, как вы живете и как чувствуете!..»

Под этой забавной запиской стояла подпись: «Метеорологический сержант». Мересьев улыбнулся, но взгляд

его упал на слова: «Возвращайтесь скорее, вас тут ждут», — которые в письме были подчеркнуты. Алексей приподнялся на койке и с видом, с каким шарят по карманам, обнаружив, что потерян важный документ, судорожно провел рукой там, где были ноги. Рука нащупала пустоту.

Лишь в эту минуту Алексей вполне осмыслил всю тяжесть потери. Он никогда больше не вернется в полк, в авиацию, вообще на фронт. Ему никогда больше не поднимать самолета в воздух и не бросаться в воздушный бой, никогда! Теперь он инвалид, лишенный любимого дела, прикованный к месту, обуза в доме, лишний в жизни. Это нельзя исправить, это до самой смерти.

6

После операции с Алексеем Мересьевым случилось самое страшное, что может произойти при подобных обстоятельствах. Он ушел в себя. Он не жаловался, не плакал, не раздражался. Он молчал.

Целые дни, неподвижный, лежал он на спине, смотря все на одну и ту же извилистую трещину на потолке. Когда товарищи заговаривали с ним, он отвечал — и часто невпопад — «да», «нет» и снова смолкал, уставившись в темную трещину штукатурки, точно это был некий иероглиф, в расшифровке которого было для него спасение. Он покорно выполнял все назначения врачей, принимал все, что ему прописывали, вяло, без аппетита съедал обед и опять ложился на спину.

— Эй, борода, о чем думаешь? — кричал ему Комиссар.

Алексей поворачивал в его сторону голову с таким выражением, точно не видел его.

— О чем, спрашиваю, думаешь?

— Ни о чем.

В палату как-то зашел Василий Васильевич.

— Ну, ползун, жив? Как дела? Герой, герой, не пикнул! Теперь, брат, верю, что ты восемнадцать дней от немцев на карачках уползал. Я на своем веку столько вашего брата видел, сколько ты картошки не съел, а таких, как ты, резать не приходилось. — Профессор потерял свои шелушащиеся, красные руки с изъеденными сулемой ногтями. — Чего хмуришься? Его хвалят, а он хмурится. Я ж генерал-лейтенант медицинской службы. Ну, приказываю улыбнуться!

С трудом растягивая губы в пустую, резиновую улыбку, Мересьев думал: «Знать бы, что все так кончится, стоило ли ползти? Ведь в пистолете оставалось три патрона».

Комиссар прочел в газете корреспонденцию об интересном воздушном бое. Шесть наших истребителей, вступив в бой с двадцатью двумя немецкими, сбили восемь, а потеряли всего один. Комиссар читал эту корреспонденцию с таким смаком, будто отличились не неведомые ему летчики, а его кавалеристы. Даже Кукушкин загорелся, когда заспорили, стараясь представить, как все это произошло. А Алексей слушал и думал: «Счастливые! Летают, дерутся, а вот мне уже никогда больше не подняться».

Сводки Советского Информбюро становились все лаконичней. По всему было видно, что где-то в тылу Красной Армии уже сжимается мощный кулак для нового удара. Комиссар со Степаном Ивановичем деятельно обсуждали, где этот удар будет нанесен и что он сулит немцам. Еще недавно Алексей был первым в таких разговорах. Теперь он старался их не слушать. Он тоже угадывал нарастание событий, чуя приближение гигантских, может быть, решающих боев. Но мысль о том, что его товарищи, даже, наверно, Кукушкин, который быстро поправляется, будут участвовать в них, а он обречен на прозябание в тылу и что ничем этого уже не исправишь, была для него так горька, что, когда теперь Комиссар читал газеты или начинался разговор о войне, Алексей закрывался с головой одеялом и двигал щекой по подушке, чтобы не видеть и не слышать. А в голове почему-то вертелась фраза: «Рожденный ползать — летать не может!».

Клавдия Михайловна принесла несколько веток вербы, неведомо как и откуда попавших в суровую, военную, перегороженную баррикадами Москву. На столик каждому она поставила в стакане по прутику. От красненьких веток с белыми пушистыми шариками веяло такой свежестью, точно сама весна вошла в сорок вторую палату. Все в этот день были радостно возбуждены. Даже молчаливый танкист пробурчал несколько слов из-под своих бинтов.

Алексей лежал и думал: в Камышине мутные ручьи бегут вдоль раскисших от грязи тротуаров по сверкающим булыжникам мостовой, пахнет отогретой землей,

свежей сыростью, конским навозом. В такой вот день стояли они с Олей на крутом берегу Волги, и мимо них по необозримым просторам реки в торжественной тишине, звенящей серебряными колокольчиками жаворонков, бесшумно и плавно шел лед. И казалось, что это не льдины движутся по течению, а они с Олей бесшумно плывут навстречу всклокоченной, бурной реке. Они стояли молча, и так много счастья мерещилось им впереди, что тут, над волжскими просторами, на вольном весеннем ветру, им не хватало воздуха. Ничего этого теперь не будет. Она отвернется от него, а если не отвернется, разве он может принять эту жертву, разве вправе он допустить, чтобы она, такая светлая, красивая, стройная, шла рядом с ним, ковыляющим на култышках!.. И он попросил сестру убрать со стола наивную памятку весны.

Вербу убрали, но от тяжелых мыслей трудно было избавиться: что скажет Оля, узнав, что он стал безногим? Уйдет, забудет, вычеркнет его из своей жизни? Все существо Алексея протестовало: нет, она не такая, она не бросит, не отвернется! И это даже хуже. Он представлял себе, как она из благородства выйдет за него замуж, за безногого, как из-за этого бросит она мечты о высшем техническом образовании, впряжется в служебную лямку, чтобы прокормить себя, инвалида-мужа и, кто знает, может быть, и детей.

Имеет ли он право принять эту жертву? Ведь они еще ничем не связаны, ведь она невеста, а не жена. Он любил ее, любил хорошо и поэтому решил, что права он такого не имеет, что надо самому перерубить все связывавшие их узлы, перерубить наотмашь, сразу, чтобы избавить ее не только от тяжелого будущего, но и от мук колебания.

Но тут пришли письма со штемпелем «Камышин» и сразу перечеркнули все эти решения. Письмо Оли было полно какой-то скрытой тревоги. Словно предчувствуя несчастье, она писала, что она будет с ним всегда, что бы с ним ни случилось, что жизнь ее в нем, что она думает о нем каждую свободную минуту и что думы эти помогают ей переносить тяжести военной жизни, бессонные ночи на заводе, рытье окопов и противотанковых рвов в свободные дни и ночи и, что там таить, полуголодное существование. «Твоя последняя маленькая карточка, где ты сидишь на пеньке с собакой и улыбаешься, всегда со мной. Я вставила ее в мамин медальон и ношу на груди.

Когда мне тяжело, открываю и смотрю... И, знаешь, я верю: пока мы любим друг друга, нам ничего не страшно». Писала она также, что его мать последнее время очень беспокоится о нем, и опять требовала, чтобы он писал старушке чаще и не волновал ее дурными вестями.

В первый раз письма из родного города, каждое из которых было раньше счастливым событием, надолго согревавшим душу в трудные фронтовые дни, не обрадовали Алексея. Они внесли новое смятение в его душу, и вот тут-то он и совершил ошибку, которая потом доставила ему столько мук: он не решился написать в Камышин о том, что ему отрезали ноги.

Единственно, кому он подробно написал о своем несчастье и о невеселых своих думах, была девушка с метеостанции. Они почти не были знакомы, и поэтому с ней легко было разговаривать. Не зная даже ее имени, он так и адресовал: ППС, такая-то метеостанция, для «метеорологического сержанта». Он знал, как на фронте берегут письмо, и надеялся, что рано или поздно оно даже с таким странным адресом найдет своего адресата. Да это было ему и не важно. Ему просто хотелось перед кем-нибудь высказаться.

В невеселом раздумье текли однообразные госпитальные дни Алексея Мересьева. И хотя его железный организм легко перенес мастерски сделанную ампутацию и раны быстро затягивались, он заметно слабел и, несмотря на все меры, день ото дня худел и чахнул у всех на глазах.

7

А между тем на дворе буйствовала весна.

Она врывалась и сюда, в сорок вторую палату, в эту комнату, насыщенную запахом йодоформа. Она проникала в форточки прохладным и влажным дыханием талого снега, возбужденным чириканьем воробьев, веселым и звонким скрежетом трамваев на поворотах, гулким стуком шагов по обнажившемуся асфальту, а вечером — однообразным и мягким пиликаньем гармошки. Она заглядывала в боковое окно с освещенной солнцем веточки тополя, на которой набухали продолговатые почки, облитые желтоватым клеем. Она входила в палату золотистыми пятнышками веснушек, осыпавшими бледное доброе лицо Клавдии Михайловны, глядевшими на мир сквозь любой сорт пудры и доставлявшими сестрице

немало огорчений. Весна настойчиво напоминала о себе веселым и дробным биением крупных капель о жестяные карнизы окон. Как и всегда, весна размягчала сердца, будила мечты.

— Эх, вот теперь бы с ружьишком да куда-нибудь на вырубку! Как, Степан Иванович, а?.. В шалашике на заре посидеть бы в засаде... больно хорошо!.. Знаешь, утро розовое, ядреное да с морозцем, а ты сидишь — ухо остро, и вдруг: гл-гл-гл, и крылья — фью-фью-фью... И над тобой садится — хвост веером — и другой, и третий...

Степан Иванович с шумом втягивает в себя воздух, точно и впрямь у него потекли слюнки, а Комиссар не унимается:

— А потом у костерика плащ-палатку постелешь, чайку с дымком да хорошую чарочку, чтобы каждому мускулу тепло стало, а? После трудов-то праведных...

— Ой, и не говорите, товарищ полковой комиссар... А в наших краях об эту пору, знаете, на что бывает охота? Ну не поверите — на щуку, вот те Христос, не слышали? Знатное дело: баловство, конечно, а не без прибытка. Щука-то, как в озерах лед треснет да речки разольются, все к берегу льнет, нерестится она. И для этого дела лезет — ну, только что не на берег — в траву, в мох, что полой водой покрыло. Заберется туда, трется, икру сеет. Идешь бережком — и вроде поленья-кругляши потоплые. Ан это она. Из ружья вдаришь! В другой раз и в мешок всего добра не оберешь. Ей-богу! А то еще...

И начинались охотничьи воспоминания. Разговор незаметно сворачивал на фронтовые дела, принимались гадать, что делается сейчас в дивизии, в роте, не «плачут» ли построенные зимой землянки, и не «поползли» ли укрепления, и каково-то весной немцу, привыкшему на Западе шагать по асфальту.

В послеобеденный час начиналось кормление воробьев. Степан Иванович, вообще не умеющий сидеть без дела и вечно что-нибудь мастеривший своими сухонькими беспокойными руками, придумал собирать оставшиеся от обеда крошки и выбрасывать их в форточку за окно птицам. Это вошло в обычай. Бросали уже не крошки, оставляли целые куски и нарочно крошили их. Таким образом, по выражению Степана Ивановича, на довольствие была поставлена целая воробьиная стая. Всей палате доставляло огромное наслаждение наблю-

дать, как маленькие и шумные птицы деятельно трудятся над какой-нибудь большой коркой, пищат, дерутся, а потом, очистив подоконник, отдыхают, ошипываются на ветке тополя и вдруг дружно вспархивают и улетают куда-то по своим воробьиным делам. Кормление воробьев стало любимым развлечением. Некоторых птичек начали узнавать, наделили даже прозвищами. Особыми симпатиями палаты пользовался куцый нахальный и шустрый воробей, вероятно поплатившийся своим хвостом за дурной, драчливый нрав. Степан Иванович называл его «Автоматчиком».

Интересно, что именно возня с этими шумными птичками окончательно вывела танкиста из его молчаливого состояния. Сначала он вяло и равнодушно следил за тем, как Степан Иванович, согнутый пополам, опираясь на костыли, долго прилаживался на батарее, чтобы подняться на подоконник и дотянуться до форточки. Но когда на следующий день воробьи прилетели, танкист, морщась от боли, даже присел на койке, чтобы лучше видеть суматошную птичью возню. На третий день за обедом он сунул под подушку солидный кусок сладкого пирога, точно этот госпитальный деликатес должен был особенно понравиться горластым нахлебникам. Однажды Автоматчик не появился, и Кукушкин заявил, что его, вероятно, слопала кошка — и поделом. Молчаливый танкист вдруг взбесился и обругал Кукушкина «лязгой», а когда на следующий день куцый опять пищал и дрался на подоконнике, победно вертя головой с нагло поблескивавшими глазками, танкист засмеялся — засмеялся в первый раз за долгие месяцы.

Прошло немного времени, и Гвоздев вовсе ожил. К общему удивлению, он оказался веселым, разговорчивым и легким человеком. Добился этого, конечно, Комиссар, который был действительно мастером подбирать, как говорил Степан Иванович, к каждому человеку свой ключик. И добился вот как.

Самым радостным часом в сорок второй палате было, когда в дверях с таинственным видом, держа руки за спиной, появлялась Клавдия Михайловна и, оглядев всех сияющими глазами, произносила:

— А ну, кто сегодня плясать будет?

Это значило: прибыли письма. Получивший должен был хоть немножко попрыгать на кровати, изображая танец. Чаще всего это приходилось делать Комиссару,

получавшему иногда сразу с десяток писем. Ему писали из дивизии, из тыла, писали сослуживцы, командиры и политработники, писали солдаты, писали по старой памяти командирские жены, требуя, чтобы он «приструнил» разболтавшегося мужа, писали вдовы убитых товарищей, прося житейского совета или помощи в делах, писала даже пионерка из Казахстана, дочь убитого командира полка, имени которой Комиссар никак не мог запомнить. Все эти письма он читал с интересом, на все обязательно отвечал и тут же писал в нужное учреждение с просьбой помочь жене командира такого-то, сердито разносил «разболтавшихся» мужей, грозил управдому, что сам придет и оторвет ему голову, если он не поставит печки семье фронтовика, боевого командира такого-то, и журил девочку из Казахстана со сложным и незапоминающимся именем за двойку по русскому языку во второй четверти.

И у Степана Ивановича шла деятельная переписка и с фронтом и с тылом. Письма своих сыновей, тоже удачливых снайперов, письма дочки — колхозного бригадира — с бесконечным числом поклонов от всей родни и знакомых, с сообщениями, что, хотя колхоз снова послал людей на новостройку, такие-то хозяйственные планы перевыполнил на столько-то процентов, Степан Иванович с великой радостью оглашал немедленно вслух, и вся палата, все сиделки, сестры и даже ординатор, сухой и желчный человек, были всегда в курсе его семейных дел.

Даже нелюдим Кукушкин, который, казалось, был в ссоре с целым светом, получал письма от матери откуда-то из Барнаула. Он выхватывал письмо у сестры, выжидал, когда народ в палате засыпал, и читал, потихоньку шепча про себя слова. В эти минуты на маленьком его лице с резкими, неприятными чертами появлялось особое, совершенно несвойственное ему, торжественное и тихое выражение. Он очень любил свою мать, старушку фельдшерицу, но почему-то стыдился этой своей любви и тщательно скрывал ее.

Только один танкист в радостные минуты, когда в палате шел оживленный обмен полученными новостями, становился еще мрачнее, отворачивался к стене и натягивал на голову одеяло: некому было ему писать. Чем больше писем получала палата, тем острее чувствовал он свое одиночество. Но вот однажды Клавдия Михайловна

явилась какая-то особенно возбужденная. Стараясь не глядеть на Комиссара, она торопливо спросила:

— А ну, кто сегодня пляшет?

Она смотрела на койку танкиста, и доброе лицо ее так все и лучилось широкой улыбкой. Все почувствовали, что произошло что-то необычайное. Палата насто-рожилаь.

— Лейтенант Гвоздев, пляшите! Ну, что же вы?

Мересьев увидел, как вздрогнул Гвоздев, как резко он повернулся, как сверкнули из-под бинтов его глаза. Он тут же сдержался и сказал дрожащим голосом, которому старался придать равнодушный оттенок:

— Ошибка. Рядом лег еще какой-нибудь Гвоздев.— Но глаза его жадно, с надеждой смотрели на три конверта, которые сестра держала высоко, как флаг.

— Нет, вам. Видите: лейтенанту Гвоздеву Г. М., и даже: палата сорок два. Ну?

Забинтованная рука жадно выбросилась из-под одеяла. Она дрожала, пока лейтенант, прихватив конверт зубами, нетерпеливыми щипками раскрывал его. Глаза Гвоздева возбужденно сверкали из-за бинтов. Странное оказалось дело. Три девушки-подруги, слушательницы одного и того же курса, одного и того же университета, разными почерками и в разных словах писали примерно одно и то же. Узнав, что герой-танкист лейтенант Гвоздев лежит раненый в Москве, решили они завязать с ним переписку. Писали они, что если он, лейтенант, не обидится на их назойливость, то не напишет ли он им, как он живет и как его здоровье, а одна из них, подписавшаяся «Анюта», писала: не может ли она ему чем-нибудь помочь, не нужно ли ему хороших книжек, и, если ему что-нибудь надо, пусть, не стесняясь, он обратится к ней.

Лейтенант весь день вертел эти письма, читал адреса, рассматривал почерки. Конечно, он знал о подобного рода переписках и даже сам однажды переписывался с незнакомкой, ласковую записку которой он нашел в большом пальце шерстяных варежек, доставшихся ему в праздничном подарке. Но переписка эта сама собой увяла после того, как его корреспондентка прислала ему с шутливой надписью свою фотографию, где она, пожилая женщина, была снята в кругу своих четырех ребят. Но тут было другое дело. Смущало и удивляло Гвоздева только то, что письма эти пришли так нежи-

данно и сразу, и еще непонятно было, откуда студентки медфакультета вдруг узнали о его боевых делах. Недоумевала по этому поводу вся палата, и больше всех — Комиссар. Но Мересьев перехватил многозначительный взгляд, которым он обменялся со Степаном Ивановичем и сестрой, и понял, что и это — дело его рук.

Как бы там ни было, но на следующий день с утра Гвоздев выпросил у Комиссара бумаги и, самовольно разбинтовав кисть правой руки, до вечера писал, перечеркивал, комкал, снова писал ответы своим неизвестным корреспонденткам.

Две девушки сами собой отсеялись, зато заботливая Анюта стала писать за троих. Гвоздев был человек открытого нрава, и теперь вся палата знала, что делается на третьем курсе медфака, какая увлекательная наука биология и как скучна органика, какой симпатичный голос у профессора и как он славно подает материал и, наоборот, как скучно талдычит свои лекции доцент такой-то, сколько дров навалили на грузовые трамваи на очередном студенческом воскреснике, как сложно одновременно и учиться и работать в эвакуогоспитале и как «задается» студентка такая-то, бездарная зубрила и вообще малосимпатичная особа.

Гвоздев не только заговорил. Он как-то весь развернулся. Дела его быстро пошли на поправку.

Кукушкину сняли лубки. Степан Иванович учился ходить без костылей и передвигался уже довольно прямо. Он целые дни проводил теперь на подоконнике, наблюдая за тем, что делается на «вольном свете». И только Комиссару и Мересьеву становилось с каждым днем хуже. Особенно быстро сдавал Комиссар. Он уже не мог делать по утрам свою гимнастику. Тело его все больше и больше наливалось зловещей желтоватой прозрачной припухлостью, руки сгибались с трудом и уже не могли держать ни карандаша, ни ложки за обедом.

Сиделка по утрам умывала и вытирала ему лицо, с ложки кормила его, и чувствовалось, что не тяжелые боли, а вот эта беспомощность угнетает и выводит его из себя. Впрочем, и тут он не унывал. Так же бодро рокотал днем его бас, так же жадно читал он в газетах новости и даже продолжал заниматься немецким. Только приходилось класть для него книги в специально сконструированный Степаном Ивановичем проволочный пюпитр, и старый солдат, сидя возле, перелистывал ему

страницы. По утрам, пока не было еще свежих газет, Комиссар нетерпеливо выспрашивал у сестры, какова сводка, что нового передали по радио, какая погода и что слышно в Москве. Он упросил Василия Васильевича провести к его кровати радиотрансляцию.

Казалось, чем слабее и немощнее становилось его тело, тем упрямее и сильнее был его дух. Он с тем же интересом читал многочисленные письма и отвечал на них, диктуя по очереди то Кукушкину, то Гвоздеву. Однажды Мересьев, задремавший после процедуры, был разбужен его громовым басом.

— Чинуши! — гремел он гневно. На проволочном пюпитре серел листок дивизионной газеты, которую, невзирая на приказ «не выносить из части», кто-то из друзей регулярно ему присылал. — Опупели они там, в обороне сидя. Кравцов — бюрократ?! Лучший в армии ветеринар — бюрократ?! Гриша, пиши, пиши, сейчас же!

И он продиктовал Гвоздеву сердитый рапорт на имя члена Военного совета армии, прося унять «строкачей», незаслуженно обругавших хорошего, прилежного человека. Отправив с сестрой письмо, он еще долго и сочно бранил «щелкунов», и было странно слышать эти полные деловой страсти слова от человека, не могущего даже повернуть голову на подушке.

Вечером того же дня случилось еще более примечательное происшествие. В тихий час, когда света еще не зажигали и по углам палаты уже начинали сгущаться сумерки, Степан Иванович сидел на подоконнике и задумчиво смотрел на набережную. На реке рубили лед. Несколько баб в брезентовых фартуках пешнями откалывали его узкими полосками вдоль темного квадрата проруби, потом за один-два удара рубили полосы на продолговатые доли, брались за багры и по доскам вытягивали эти доли из воды. Льдины лежали рядами: снизу — зеленовато-прозрачные, сверху — желто-рыхлые. По дороге вдоль реки к месту колки тянулась вереница подвод, привязанных одна к другой. Старикашка в треухе, в стеганых штанах и ватнике, перехваченном поясом, за которым торчал топор, под уздцы подводил к вырубке коней, и женщины баграми вкатывали льдины на дровни.

Хозяйственный Степан Иванович решил, что работают они от колхоза, но что организовано дело бестолково. Уж очень много людей толкалось, мешаясь друг другу. В его хозяйственной голове уже составил план.

Он мысленно разделил всех на группы по трое в каждой — как раз по столько, чтобы они могли вместе без труда вытаскивать на лед глыбы. Каждой группе он мысленно отвел особый участок и платил бы им не чохом, а каждой группе с числа добытых глыб. А вон той круглолицей румяной бабенке он посоветовал бы начать соревнование между тройками... Он до того увлекся своими хозяйственными размышлениями, что не вдруг заметил, как одна из лошадей подошла к вырубке так близко, что задние ноги ее вдруг соскользнули и она очутилась в воде. Сани поддерживали лошадь на поверхности, а течение тянуло ее под лед. Старикашка с топором бестолково засуетился возле, то хватаясь за грядки дровней, то дергая лошадь под уздцы.

— Лошадь тонет! — ахнул на всю палату Степан Иванович.

Комиссар, сделав невероятное усилие, весь позеленев от боли, привстал на локте и, опершись грудью о подоконник, потянулся к стеклу.

— Дубина!.. — прошептал он. — Как он не понимает? Гужи... Надо рубить гужи, конь сам вылезет... Ах, погубит скотину!

Степан Иванович тяжело карабкался на подоконник. Лошадь тонула. Мутная волна порой уже захлестывала ее, но она еще отчаянно боролась, выскакивала из воды и начинала царапать лед подковами передних ног.

— Да руби же гужи! — во весь голос рявкнул Комиссар, как будто старик там, на реке, мог услышать его.

— Эй, дорогой, руби гужи! Топор-то за поясом, руби гужи, руби! — сложив ладони рупором, передал на улицу Степан Иванович.

Старикашка услышал этот словно с неба грянувший совет. Он выхватил топор и двумя взмахами перехватил гужи. Освобожденная от упряжки лошадь сейчас же выскочила на лед и, остановившись у проруби, тяжело поводила блестящими боками и отряхивалась, как собака.

— Это что значит? — раздалось в этот момент в палате.

Василий Васильевич в незастегнутом халате и без обычной своей белой шапочки стоял в дверях. Он принялся неенстова браниться, топтать ногами, не желая слушать никаких доводов. Он сулил разогнать к чертям

обалдевшую палату и ушел, ругаясь и тяжело дыша, так, кажется, и не поняв смысла происшествия. Через минуту в палату вбежала Клавдия Михайловна, расстроенная, с заплаканными глазами. Ей только что была от Василия Васильевича страшная головомойка, но она увидела на подушке зеленое, безжизненное лицо Комиссара, лежавшего неподвижно, с закрытыми глазами, и рванулась к нему.

Вечером ему стало плохо. Впрыскивали камфару, давали кислород. Он долго не приходил в себя. Очнувшись, Комиссар сейчас же попытался улыбнуться Клавдии Михайловне, стоявшей над ним с кислородной подушкой в руках, и пошутить:

— Не волнуйтесь, сестренка. Я и из ада вернусь, чтобы принести вам средство, которым там черти веснушки выводят.

Было невыносимо больно наблюдать, как, яростно сопротивляясь в тяжелой борьбе с недугом, день ото дня слабеет этот большой, могучий человек.

8

Слабел с каждым днем и Алексей Мересьев. В очередном письме он сообщил даже «метеорологическому сержанту», кому единственно поверял теперь свои горести, что, пожалуй, ему отсюда уже не выйти, что это даже и лучше, потому что летчик без ног — все равно что птица без крыльев, которая жить и клевать еще может, но летать — никогда, что не хочет он оставаться бескрылой птицей и готов спокойно встретить самый плохой исход, лишь бы скорее он наступал. Писать так было, пожалуй, жестоко: в ходе переписки девушка призналась, что давно уже равнодушна к «товарищу старшему лейтенанту», но что нипочем бы ему в этом не созналась, не приключись с ним такое горе.

— Замуж хочет, наш брат нынче в цене. Ей ноги что, был бы побольше аттестат, — язвительно прокомментировал верный себе Кукушкин.

Но Алексей помнил бледное, прижавшееся к нему лицо в час, когда смерть просвистела над их головами. Он знал, что это не так. Знал он также, что девушке тяжело читать его грустные откровенности. Не узнав даже, как зовут «метеорологического сержанта», он продолжал верить ей свои невеселые мысли.

Ко всем Комиссар умел найти ключик, а вот Алек-

сей Мересьев не поддавался ему. В первый же день после операции Мересьева появилась в палате книжка «Как закалялась сталь». Ее начали читать вслух. Алексей понял, кому адресовано это чтение, но оно мало утешило его. Павла Корчагина он уважал с детства. Это был один из любимых его героев. «Но Корчагин ведь не был летчиком,— думал теперь Алексей.— Разве он знал, что значит «заболеть воздухом»? Ведь Островский писал в постели свои книжки не в те дни, когда все мужчины и многие женщины страны воюют, когда даже сопливые мальчишки, став на ящики, так как у них не хватает роста для работы на станке, точат снаряды».

Словом, книжка в данном случае успеха не имела. Тогда Комиссар начал обходное движение. Будто невзначай, он рассказал о другом человеке, который с парализованными ногами мог выполнять большую общественную работу. Степан Иванович, всем на свете интересовавшийся, стал удивленно охать. И сам вспомнил, что в их краях есть врач без руки, наипервейший на весь район лекарь, и на лошади он верхом ездит, и охотится, да при этом так одной рукой с ружьем справляется, что белку дробиной в глаз сшибает. Тут Комиссар помянул покойного академика Вильямса, которого лично знал еще по эмтээсовским делам. Этот человек, наполовину парализованный, владея только одной рукой, продолжал руководить институтом и вел работы огромных масштабов.

Мересьев слушал и усмехался: думать, говорить, писать, приказывать, лечить, даже охотиться можно и вовсе без ног, но он-то летчик, летчик по призванию, летчик с детства, с того самого дня, когда мальчишкой, карауля бахчу, где среди вялой листвы на сухой, потрескавшейся земле лежали огромные полосатые шары славившихся на всю Волгу арбузов, услышал, а потом увидел маленькую, серебряную стрекозу, сверкнувшую на солнце двойными крыльями и медленно проплывшую высоко над пыльной степью куда-то по направлению к Сталинграду.

С тех пор мечта стать летчиком не оставляла его. Он думал о ней на школьной парте, думал, работая потом за токарным станком. По ночам, когда все в доме засыпало, он вместе с Ляпидевским находил и спасал челюскинцев, вместе с Водопьяновым сажал тяжелые самолеты на лед среди торосов Северного полюса, вме-

сте с Чкаловым прокладывал не изведанный человеком воздушный путь через полюс в Соединенные Штаты.

Комсомольская организация послала его на Дальний Восток. Он строил в тайге город юности — Комсомольск-на-Амуре. Но и туда, в тайгу, он привез свою мечту о полетах. Среди строителей он нашел парней и девушек, так же, как и он, мечтавших о благородной профессии летчика, и трудно поверить, что они действительно своими руками построили в этом существовавшем пока что только на планах городе свой аэроклуб. Когда смеркалось и туманы окутывали гигантскую стройку, все строители забирались в бараки, закрывали окна, а перед дверями зажигали дымные костры из сырых веток, чтобы отгонять тучи комаров и гнуса, наполнявших воздух своим тонким зловещим звоном. Вот в этот-то час, когда строители отдыхали после трудового дня, аэроклубовцы, возглавляемые Алексеем, смазав свое тело керосином, должны были отгонять комара и гнуса, выходили в тайгу с топорами, кирками, с пилами, заступами и толом. Они пилили, корчевали деревья, взрывали пни, ровняли землю, отвоевая у тайги пространство для аэродрома. И они отвоевали его, собственными руками вырвав у лесной чащи несколько километров для летного поля.

С этого аэродрома Алексей и взмыл в первый раз в воздух на учебной машине, осуществив наконец заветную мечту детства.

Потом он учился в военном авиаучилище, сам учил в нем молодых. Здесь и застала его война, для которой он, несмотря на угрозы школьного начальства, оставил инструкторскую работу и ушел в действующую армию. Все его устремление в жизни, все его волнения, радости, все его планы на будущее и весь его настоящий жизненный успех — все было связано с авиацией...

А они толкуют ему о Вильямсе!

— Он же не летчик был, Вильямс,— сказал Алексей и отвернулся к стене.

Но Комиссар не оставил своих попыток «отомкнуть» его. Однажды, находясь в обычном состоянии равнодушного оцепенения, Алексей услышал комиссарский бас:

— Леша, глянь: тут о тебе написано.

Степан Иванович уже нес Мересьеву журнал. Небольшая статья была отчеркнута карандашом. Алексей быстро пробежал глазами отмеченное и не встретил

своей фамилии. Эта была статейка о русских летчиках времен первой мировой войны. Со страницы журнала глядело на Алексея незнакомое лицо молодого офицера с маленькими усиками, закрученными «шильцем», с белой кокардой на пилотке, надвинутой на самое ухо.

— Читай, читай, прямо для тебя,— настаивал Комиссар.

Мересьев прочел. Повествовалось в статье о русском военном летчике, поручике Валерьяне Аркадьевиче Карповиче. Летая над вражескими позициями, поручик Карпович был ранен в ногу немецкой разрывной пулей «дум-дум». С раздробленной ногой он сумел на своем «фармане» перетянуть через линию фронта и сесть у своих. Ступню ему отняли, но молодой офицер не пожелал увольняться из армии. Он изобрел протез собственной конструкции. Он долго и упорно занимался гимнастикой, тренировался и благодаря этому к концу войны вернулся в армию. Он служил инспектором в школе военных пилотов и даже, как говорилось в заметке, «порой рисковал подниматься в воздух на своем аэроплане». Он был награжден офицерским «георгием» и успешно служил в русской военной авиации, пока не погиб в результате катастрофы.

Мересьев прочел эту заметку раз, другой, третий. Немножко напряженно, но, в общем, лихо улыбался со снимка молодой худощавый поручик с усталым волевым лицом. Вся палата безмолвно наблюдала за Алексеем. Он поерошил волосы и, не отрывая от статейки глаз, нащупал рукой на тумбочке карандаш и тщательно, аккуратно обвел ее.

— Прочел? — хитровато спросил Комиссар. (Алексей молчал, все еще бегая глазами по строчкам.) — Ну, что скажешь?

— Но у него не было только ступни.

— А ты же советский человек.

— Он летал на «фармане». Разве это самолет? Это этажерка. На нем чего не летать? Там такое управление, что ни ловкости, ни быстроты не надо.

— Но ты же советский человек! — настаивал Комиссар.

— Советский человек,— машинально повторил Алексей, все еще не отрывая глаз от заметки; потом бледное лицо его осветилось каким-то внутренним румянцем, и он обвел всех изумленно-радостным взглядом.

На ночь Алексей сунул журнал под подушку, сунул и вспомнил, что в детстве, забираясь на ночь на полати, где спал с братьями, клал он так под подушку уродливого корноухого медведя, сшитого ему матерью из старой плюшевой кофты. И он засмеялся этому своему воспоминанию, засмеялся на всю палату.

Ночью он не сомкнул глаз. Тяжелым сном забылась палата. Скрипя пружинами, вертелся на койке Гвоздев. С присвистом, так, что, казалось, рвутся у него внутренности, храпел Степан Иванович. Изредка поворачиваясь, тихо, сквозь зубы постанывал Комиссар. Но Алексей ничего не слышал. Он то и дело доставал журнал и при свете ночника смотрел на улыбающееся лицо поручика. «Тебе было трудно, но ты все-таки сумел,— думал он.— Мне вдесятеро труднее, но вот увидишь, я тоже не отстану».

Среди ночи Комиссар вдруг стих. Алексей приподнялся и увидел, что лежит он бледный, спокойный и, кажется, уже не дышит. Летчик схватил колокольчик и бешено затряс им. Прибежала Клавдия Михайловна, простоволосая, с помятым лицом и рассыпавшейся косой. Через несколько минут вызвали ординатора. Щупали пульс, впрыскивали камфару, совали в рот шланг с кислородом. Возня эта продолжалась около часа и порой казалась безнадежной. Наконец Комиссар открыл глаза, слабо, еле заметно улыбнулся Клавдии Михайловне и тихонько сказал:

— Извините, взбулгачил я вас, а без толку. До ада так и не добрался и мази-то от веснушек не достал. Так что вам, родная, придется в веснушках щеголять, ничего не поделаешь.

От шутки всем стало легче на душе. Крепок же этот дуб! Может, выстоит он и такую бурю. Ушел ординатор — скрип его ботинок медленно угас в конце коридора; разошлись сиделки; и только Клавдия Михайловна осталась, усевшись бочком на кровати Комиссара. Больные уснули, но Мересьев лежал с закрытыми глазами, думая о протезах, которые можно было бы прикреплять к ножному управлению в самолете хотя бы ремнями. Вспомнил он, что когда-то, еще в аэроклубе, он слышал от инструктора, старого летчика времен гражданской войны, что один коротконогий пилот привязывал к педалям колодочки.

«Я, брат, от тебя не отстану»,— убеждал он Карпо-

вича. «Буду, буду летать!» — звенело и пело в голове Алексея, отгоняя сон. Он лежал тихо, закрыв глаза. Со стороны можно было подумать, что он крепко спит, улыбаясь во сне.

И тут услышал он разговор, который потом не раз вспоминал в трудные минуты жизни.

— Ну зачем, зачем вы так? Это же страшно — смеяться, шутить, когда такая боль. У меня сердце камнеет, когда я думаю, как вам больно. Почему вы отказались от отдельной палаты?

Казалось, что говорила это не палатная сестра Клавдия Михайловна, хорошенькая, ласковая, но какая-то бесплотная. Говорила женщина страстная и протестующая. В голосе ее звучало горе и, может быть, нечто большее. Мересьев открыл глаза. В свете затененного косынкой ночника увидел он на подушке бледное, распухшее лицо Комиссара с тихо и ласково посверкивающими глазами и мягкий, женственный профиль сестры. Свет, падавший сзади, делал ее пышные русые волосы словно сияющими, и Мересьев, сознавая, что поступает нехорошо, не мог оторвать от нее взгляда.

— Ай-яй-яй, сестреночка... Слезки, вот так раз! Может, бромчику примем? — как девочке, сказал ей Комиссар.

— Опять смеетесь. Ну что вы за человек? Ведь это же чудовищно, понимаете — чудовищно: смеяться, когда нужно плакать, успокаивать других, когда самого рвет на части. Хороший вы мой, хороший! Вы не смеете, слышите, не смеете так относиться к себе...

Она долго беззвучно плакала, опустив голову. А Комиссар смотрел на худенькие, вздрагивающие под халатом плечи грустным, ласковым взглядом.

— Поздно, поздно, родная. В личных делах я всегда безобразно опаздывал, все некогда да недосуг, а теперь, кажется, опоздал совсем.

Комиссар вздохнул. Сестра выпрямилась и полными слез глазами, с жадным ожиданием посмотрела на него. Он улыбнулся, еще вздохнул и своим обычным добрым и чуть насмешливым тоном продолжал:

— Слушайте-ка, умница, историю. Мне вдруг вспомнилось. Давно это было, еще в гражданскую войну, в Туркестане. Да... Эскадрон один увлекся погоней за басмачами, да забрался в такую пустыню, что кони — а кони были российские, к пескам непривычные, — падать

начали. И стали мы вдруг пехотой. Да... И вот командир принял решение: вьюки побросать и с одним оружием пешком выходить на большой город. А до него километров сто шестьдесят, да по голому песку. Чуете, умница? Идем мы день, идем второй, идем третий. Солнце палит-жарит. Нечего пить. Во рту кожа трескаться стала, а в воздухе горячий песок, под ногами песок поет, на зубах хрустит, в глазах саднит, в глотку набивается, ну — мочи нет. Упадет человек на бурун, сунется лицом в землю и лежит. А комиссаром у нас был Володин Яков Павлович. На вид хлипкий, интеллигент — историком он был... Но крепкий большевик. Ему бы как будто первому упасть, а он идет и все людей шевелит: дескать, близко, скоро — и пистолетом трясет над теми, кто ложится: вставай, пристрелю...

На четвертые сутки, когда до города всего километров пятнадцать осталось, люди вовсе из сил выбились. Шатает нас, идем как пьяные, и след за нами неровный, как за раненым зверем. И вдруг комиссар наш песню завел. Голос у него дрянной, жидкий, и песню завел чепуховую, старую солдатскую: «Чубарики, чубчики», — а ведь поддерживали, запели! Я скомандовал: «Построиться», шаг подсчитал, и — не поверите — легче идти стало.

За этой песней оторвали другую, потом третью. Понимаете, сестренка, сухими, потрескавшимися ртами да на такой жаре. Все песни по дороге перепели, какие знали, и дошли, и ни одного на песке не оставили... Видите, какая штука.

— А комиссар? — спросила Клавдия Михайловна.

— А что комиссар? Жив, здоров и теперь. Профессор он, археолог. Доисторические поселения какие-то из земли выкапывает. Голоса он после того, верно, лишился. Хрипит. Да на что ему голос? Он же не Лемешев... А ну, хватит баек. Ступайте, умница, даю вам слово конника больше сегодня не помирать.

Мересьев заснул наконец глубоким и покойным сном. Снились ему песчаная пустыня, которой он никогда в жизни не видал, окровавленные, потрескавшиеся рты, из которых вылетают звуки песни, и этот самый Володин, который во сне почему-то походил на комиссара Воробьева.

Проснулся Алексей поздно, когда солнечные зайчики лежали уже посреди палаты, что служило признаком полдня, — и проснулся с сознанием чего-то радостного.

Сон? Какой сон... Взгляд его упал на журнал, который и во сне крепко сжимала его рука. Поручик Карпович все так же натянуто и лихо улыбался с помятой страницы. Мересьев бережно разгладил журнал и подмигнул ему. Уже умытый и причесанный, Комиссар с улыбкой следил за Алексеем.

— Чего ты с ним перемигиваешься? — довольно спросил он.

— Полетим, — ответил Алексей.

— А как же? У него только одной ноги не хватает, а у тебя обеих?

— Так ведь я же советский, русский! — отозвался Мересьев.

Он произнес это слово так, как будто оно гарантировало ему, что он обязательно превзойдет поручика Карповича и будет летать.

За завтраком он съел все, что принесла сиделка, с удивлением посмотрел на пустые тарелки и попросил еще; он был в состоянии нервного возбуждения, напевал, пробовал свистеть, вслух рассуждал сам с собой. Во время профессорского обхода, пользуясь расположением Василия Васильевича, он донял его расспросами, что нужно сделать, чтобы ускорить выздоровление. Узнав, что для этого надо больше есть и спать, он потребовал за обедом два вторых и, давась, с трудом доедал четвертую котлету. Спать же днем он не смог, хотя и пролежал с закрытыми глазами часа полтора.

Счастье бывает эгоистично. Мучая профессора вопросами, Алексей не заметил того, на что обратила внимание вся палата. Василий Васильевич явился с обходом аккуратно, как всегда, когда солнечный луч, медленно переползавший в течение дня по полу через всю палату, коснулся выщербленной паркетины. Профессор был внешне так же внимателен, но все обратили внимание на какую-то внутреннюю, совершенно несвойственную ему рассеянность. Он не бранился, не бросал своих обычных соленых словечек, и в уголках его красных, воспаленных глаз непрерывно дрожали жилки. Вечером он пришел осунувшийся, заметно постаревший. Тихим голосом сделал выговор сиделке, забывшей тряпку на дверной ручке, посмотрел температурный лист Комиссара, заменил ему назначение и молча пошел, сопровождаемый своей тоже растерянно молчавшей свитой, — пошел, споткнулся на пороге и упал бы, если бы

его не подхватили под руки. Этому грузному хриплоголосому, шумному ругателю положительно не шло быть вежливым и тихим. Обитатели сорок второй проводили его недоуменными взглядами. Всем успевшим полюбить этого большого и доброго человека стало как-то не по себе.

На следующее утро все разъяснилось: на Западном фронте был убит единственный сын Василия Васильевича, тоже Василий Васильевич, тоже медик, молодой, подававший надежды ученый, гордость и радость отца. В положенные часы весь госпиталь, затаившись, ждал, придет или не придет профессор с традиционным своим обходом. В сорок второй с напряжением следили за медленным, почти незаметным движением солнечного луча по полу. Наконец луч коснулся выщербленной паркетины — все переглянулись: не придет. Но как раз в это время раздались в коридоре знакомые тяжелые шаги и топот ног многочисленной свиты. Профессор выглядел даже несколько лучше, чем вчера. Правда, глаза его были красны, веки и нос вспухли, как это бывает при сильном насморке, а полные шелушащиеся его руки заметно дрожали, когда он брал со стола Комиссара температурный лист. Но он был по-прежнему энергичен, деловит, только шумная его бранчивость исчезла.

Точно сговорившись, раненые и больные спешили наперебой чем-нибудь его порадовать. Все в этот день чувствовали себя лучше. Даже самые тяжелые ни на что не жаловались и находили, что их дело идет на поправку. И все, может быть даже с излишним усердием, превозносили госпитальные порядки и прямо-таки волшебное действие различных лечений. Это была дружная семья, сплоченная общим большим горем.

Василий Васильевич, обходя палаты, изумлялся, почему это сегодня с утра у него такие лечебные удачи.

Изумлялся ли? Может быть, он раскрыл этот безмолвный наивный заговор, и если раскрыл, может быть, легче стало ему нести свою большую, неизлечимую рану.

9

У окошка, выходящего на восток, ветка тополя уже выбросила бледно-желтые клейкие листочки; из-под них выбились мохнатые красные сережки, похожие на жир-

ных гусениц. По утрам листочки эти сверкали на солнце и казались вырезанными из компрессной бумаги. Они сильно и терпко пахли солоноватым молодым запахом, и аромат их, врываясь в открытые форточки, перебивал госпитальный дух.

Воробьи, прикормленные Степаном Ивановичем, совершенно обнаглели. Автоматчик по случаю весны обзавелся новым хвостом и стал еще более суетлив и драчлив. По утрам птицы устраивали на карнизе столь шумные сборища, что убиравшая палату сиделка, не вытерпев, с ворчаньем лезла на окно и, высунувшись в форточку, сгоняла их тряпкой.

Лед на Москве-реке прошел. Пошумев, река успокоилась, вновь легла в берега, покорно подставив могучую спину пароходам, баржам, речным трамваям, которые в те тяжелые дни заменяли поредевший автотранспорт столицы. Вопреки мрачному предсказанию Кукушкина, никого в сорок второй не смыло половодьем. У всех, за исключением Комиссара, дела шли хорошо, и только и разговоров было что о выписке.

Первым покинул палату Степан Иванович. За день до этого он бродил по госпиталю тревожный, радостно возбужденный. Ему не сиделось на месте. Потолкавшись по коридору, он возвращался в палату, присаживался у окна, начинал что-нибудь мастерить из хлебного мякиша, но сейчас же срывался и снова убежал. Только под вечер, под самые сумерки, он стих, уселся на подоконник и глубоко задумался, вздыхая и охая. Это был час процедур, в палате оставалось трое: Комиссар, молча следивший взглядом за Степаном Ивановичем, да Мересьев, старавшийся во что бы то ни стало уснуть.

Было тихо. Вдруг Комиссар заговорил чуть слышно, повернув голову к Степану Ивановичу, — его силуэт вырисовывался на позлащенном закатом окне:

— А в деревне сейчас сумерки, тихо-тихо. Талой землей, отопревшим навозом, дымком пахнет. Корова в хлеву подстилкой шуршит, беспокоится: телиться ей время. Весна... А как они, бабы-то, успели ль по полю навоз раскинуть? А семена, а упряжь в порядке ли?

Мересьеву показалось, что Степан Иванович даже не с удивлением, а со страхом посмотрел на улыбающегося Комиссара.

— Колдун вы, товарищ полковой комиссар, что ли, чужие думки угадываете... Да-а-а, бабы, они, конечно,

деловые, это верно. Однако ж бабы, черт его знает, как они там без нас... Действительно.

Помолчали. На реке гукнул пароход, и крик его весело прокатился по воде, мечась между гранитными берегами.

— А как думаешь: скоро война кончится? — спросил Степан Иванович почему-то шепотом. — К сенокосу не кончится?

— А что тебе? Год твой не воюет, ты доброволец, свое отвоевал. Вот и просись, отпустят, будешь бабами командовать, в тылу тоже деловой человек не лишний, а? Как, борода?

Комиссар с ласковой улыбкой смотрел на старого солдата.

Тот спрыгнул с подоконника, взволнованный и оживленный.

— Отпустят? А? Вот я тоже располагаю, должны бы. Ведь вот думаю сейчас: нешто в комиссию заявить? И верно, три войны — империалистическую отгрохал, гражданскую всю как есть прошел, да и этой хватил. Можя, и хватит, а? Как посоветуешь, товарищ полковой комиссар?

— Так и пиши в заявлении: отпустите, мол, к бабам в тыл, а другие пускай меня от немца защищают! — не стерпев, крикнул со своей койки Мересьев.

Степан Иванович виновато посмотрел на него, а Комиссар сердито поморщился:

— Чего тебе советовать, Степан Иванович, сердца своего спроси, оно у тебя русское, оно подскажет.

На следующий день Степан Иванович выписался. Переодевшись в свое, военное, он пришел в палату прощаться. Маленький, в старой, вылинявшей, добела застиранной гимнастерке, туго перехваченной поясом и так запроваленной, что не было на ней ни одной складки, он казался моложе лет на пятнадцать. На груди у него сверкали начищенные до ослепительного блеска звезда Героя, орден Ленина и медаль «За отвагу». Халат он набросил на плечи, как плащ-палатку. Распахиваясь, халат не скрывал его солдатского величия. И весь Степан Иванович, от кончика стареньких кирзовых сапог и до тонких усиков, которые он смочил и молодцевато, «шилцем», подкрутил вверх, смахивал на бравого русского воина с рождественской открытки времен войны 1914 года.

Солдат подходил к каждому товарищу по палате и прощался, называя его по званию и отщелкивая при этом каблуками с таким усердием, что на него было весело смотреть.

— Разрешите попрощаться, товарищ полковой комиссар! — отрубил он с особым удовольствием у крайней койки.

— До свиданья, Степа. Счастливо.— И Комиссар, преодолев боль, сделал движение ему навстречу.

Солдат упал на колени, обнял его большую голову, и они, по русскому обычаю, поцеловались трижды накрест.

— Поправляйся, Семен Васильевич, дай тебе бог здоровья и долгих лет, золотой ты человек! Отец нас так не жалел, век помнить буду...— растроганно бормотал солдат.

— Ступайте, ступайте, Степан Иванович, его вредно волновать,— твердила Клавдия Михайловна, дергая солдата за руку.

— И вам, сестрица, спасибо за ласку и заботу вашу,— торжественно обратился к ней Степан Иванович и отвесил ей полновесный земной поклон.— Ангел вы наш советский, вот вы кто...

Совершенно смущенный, не зная, что еще сказать, он стал пятиться к двери.

— А куда же писать тебе, в Сибирь, что ли? — с улыбкой спросил Комиссар.

— Да уж что там, товарищ полковой комиссар! Известно, куда солдату в войну пишут,— ответил смущенно Степан Иванович и, еще раз поклонившись земно, теперь уже всем, скрылся за дверь.

И стало в палате сразу тихо и пустовато. Потом заговорили о своих полках, о своих товарищах, о больших, ожидающих их боевых делах. Все поправлялись, и это были теперь не мечты, а деловые разговоры. Кукушкин уже ходил по коридорам, придираясь к сестрам, посмеиваясь над ранеными, уже ухитрился перессориться со многими из ходячих больных. Танкист тоже поднимался теперь с койки и, останавливаясь перед коридорным зеркалом, подолгу рассматривал свое лицо, шею, плечи, уже разбинтованные и заживающие. Чем оживленнее становилась его переписка с Анютой, чем глубже вникал он в ее университетские дела, тем тревожнее рассматривал он свое лицо, обезображенное ожогом. В сумерки

или в полутемной комнате оно было хорошо, даже, пожалуй, красиво: тонкого рисунка, с высоким лбом, с маленьким, чуть горбатым носом, с черными короткими усиками, опущенными в госпитале, с упрямым выражением свежих юношеских губ; но при ярком свете становилось заметным, что кожа была покрыта шрамами и стянута около них. Когда он волновался или возвращался распаренный из водолечебницы, рубцы эти безобразили его совершенно, и, посмотрев на себя в зеркало в такую минуту, Гвоздев готов был плакать.

— Ну, чего ты киснешь? В киноартисты, что ли, собрался? Коли она, эта твоя, настоящая, так ее это не испугает, а коли испугает,— значит, дура, и катись она тогда к чертям собачьим! Скатертью дорога, настоящую найдешь,— утешал Мересьев.

— Все бабы такие,— вставил Кукушкин.

— И ваша мать? — спросил Комиссар; Кукушкина, единственного во всей палате, он величал на «вы».

Трудно даже передать, какое впечатление этот спокойный вопрос произвел на лейтенанта. Кукушкин вскинулся на койке, свирепо сверкнул глазами и побледнел так, что лицо его стало белее простыни.

— Ну, вот видите, значит, бывают на свете и хорошие,— примирительно сказал Комиссар.— Почему же Грише не повезет? В жизни, хлопцы, так и бывает: по что пойдешь, то и найдешь.

Словом, вся палата оживала. Только Комиссару становилось все хуже. Он жил на морфии, на камфаре, и от этого иной раз по целым суткам беспокойно дергался на койке в состоянии наркотического полузабытья. С уходом Степана Ивановича он как-то особенно подался. Мересьев попросил переставить свою койку поближе к Комиссару, чтобы помочь ему в случае надобности. Его все больше и больше тянуло к этому человеку.

Алексей понимал, что жизнь без ног будет несравнимо тяжелей и сложнее, чем у остальных людей, и его инстинктивно тянуло к человеку, который, несмотря ни на что, умел по-настоящему жить и, невзирая на свою немощь, как магнит, притягивал к себе людей. Теперь Комиссар все реже и реже выходил из состояния тяжелого полузабытья, но в моменты просветления он был прежним.

Как-то поздним вечером, когда госпиталь затих и в его помещениях воцарилась тяжелая тишина, нарушае-

мая лишь глухими стонами, храпом и бредом, чуть слышно доносившимися из палат, в коридоре послышались знакомые тяжелые, громкие шаги. Мересьеву сквозь стеклянную дверь был виден весь слабо освещенный затемненными лампами коридор с фигурой дежурной сестры, сидевшей в дальнем конце у столика и вязавшей нескончаемую кофту. В конце коридора показалась высокая фигура Василия Васильевича. Он медленно шел, заложив руки за спину. Сестра вскочила было при его приближении, но он досадливо отмахнулся от нее. Халат у него был не застегнут, шапочки на голове не было, пряди густых седоватых волос свешивались ему на лоб.

— Вася идет,— шепнул Мересьев Комиссару, которому он только что излагал свой проект протеза особой конструкции.

Василий Васильевич точно споткнулся и стал, опираясь рукой о стену, что-то бормоча под нос, потом оттолкнулся от стены и вошел в сорок вторую. Он остановился посреди палаты и начал тереть лоб, точно пытаясь вспомнить что-то. От него пахло спиртом.

— Присаживайтесь, Василий Васильевич, поспеваем,— предложил Комиссар.

Нетвердым шагом, подволакивая ноги, профессор подошел к его кровати, сел так, что застонали прогнувшиеся пружины, потер руками виски. Он и раньше не раз во время обходов задерживался возле Комиссара поговорить о ходе военных дел. Он заметно отличал Комиссара среди больных, и в этом ночном визите не было, собственно, ничего странного. Но Мересьев почему-то почувствовал, что между этими людьми может произойти какой-то особый разговор, при котором не нужен третий. Закрыв глаза, он сделал вид, что спит.

— Сегодня двадцать девятое апреля, день его рождения. Ему исполнилось,— нет, должно было исполниться тридцать шесть лет,— тихо сказал профессор.

С большим усилием Комиссар выпростал из-под одеяла огромную, распухшую руку и положил ее на руку Василия Васильевича. И случилось невероятное: профессор заплакал. Было невыносимо видеть, как плачет этот большой, сильный, волевой человек. Алексей невольно втянул голову в плечи и закрылся одеялом.

— Перед тем как ехать туда, он пришел ко мне. Он сказал, что записался в ополчение, и спросил, кому

передать дела. Он работал тут, у меня. Я был так поражен, что даже накричал на него. Я не понимал, зачем кандидату медицины, талантливому ученому нужно было брать винтовку. Но он сказал — я помню это слово в слово, — он сказал мне: «Папа, бывает время, когда кандидат медицины должен брать винтовку». Он так сказал и опять спросил: «Кому сдавать дела?». Мне стоило только поднять телефонную трубку — и ничего, ничего бы не случилось, понимаете — ничего! Ведь он же заведовал у меня отделением, он работал в военном госпитале... Ведь так?

Василий Васильевич замолчал. Было слышно, как он тяжело и хрипло дышит.

— ...Не надо, голубчик, что вы, что вы, уберите руку, я знаю, как вам больно шевелиться... Да, и я думал всю ночь, как быть. Вы понимаете, мне было известно, что еще у одного человека — вы знаете, о ком я говорю, — был сын, офицер, и его убили в первые дни войны! И вы знаете, что сделал этот отец? Он послал на фронт второго сына, послал летчиком-истребителем — на самую опасную воинскую специальность... Я думал тогда об этом человеке, мне стало стыдно своих мыслей, и я не позвонил по телефону...

— А сейчас жалеете?

— Нет. Разве это называется сожалением? Я хожу и думаю: неужели я убийца своего единственного сына? Ведь он мог быть сейчас здесь, со мной, и мы бы оба делали с ним очень полезные для страны дела. Ведь это же был настоящий талант — живой, смелый, сверкающий. Он мог стать гордостью советской медицины... если бы мне тогда позвонить!

— Вы жалеете, что не позвонили?

— О чем вы? Ах, да... Не знаю, не знаю.

— А если бы теперь все повторилось снова, вы сделали бы иначе?

Наступило молчание. Слышалось ровное дыхание спящих. Ритмично поскрипывала кровать — очевидно, профессор в тяжелом раздумье раскачивался из стороны в сторону, — да в батареях парового отопления глухо постукивала вода.

— Так как же? — спросил Комиссар, и в голосе его чувствовалась бесконечная теплота.

— Не знаю... На ваш вопрос сразу не ответишь. Не знаю, но, кажется, повторись все сначала, я поступил бы

так же. Я же не лучше, но и не хуже других отцов...
Какая это страшная вещь — война...

— И поверьте, другим отцам при страшной вести было не легче вашего. Нет, не легче.

Василий Васильевич долго сидел молча. О чем он думал, какие мысли ползли в эти тягучие минуты под его высоким морщинистым лбом?

— Да, вы правы, ему было не легче, и все-таки он послал второго... Спасибо, голубчик, спасибо, родной! Эх! Что там толковать...

Он встал, постоял у койки, заботливо положил на место и закрыл руку Комиссара, подоткнул у него одеяло и молча вышел из палаты. А ночью Комиссару стало плохо. Без сознания, он то начинал метаться по койке, скрежеща зубами и громко стелая, то вдруг стихал, вытягивался, и всем казалось, что наступил конец. Он был так плох, что Василий Васильевич, который со дня смерти сына переехал из огромной пустой квартиры в госпиталь, где он спал теперь на клеенчатой кушетке в маленьком своем кабинетике, распорядился отгородить его от остальных ширмой, что делалось обычно, как было известно, перед тем как больной отправлялся в «пятидесятую палату».

Потом, когда с помощью камфары и кислорода пульс наладился, дежурный врач и Василий Васильевич ушли досыпать остаток ночи; за ширмой осталась только Клавдия Михайловна, встревоженная и заплаканная. Мересьев тоже не спал, со страхом думая: «Неужели это конец?» А Комиссар все мучился. Он метался и в бреду вместе со стоном упрямо, хрипло выговаривал какое-то слово, и показалось Мересьеву, что он требует:

— Пить, пить, да пить же!

Клавдия Михайловна вышла из-за ширмы и дрожащими руками налила воды в стакан.

Но больной воды не принял, стакан напрасно стучал о его зубы, вода плескалась на подушку, а Комиссар упорно, то прося, то требуя, то приказывая, произносил все то же слово. И вдруг понял Мересьев, что слово это не «пить», а «жить», что в крике этом бессознательно бунтует против смерти все существо могучего человека.

Потом Комиссар стих и открыл глаза.

— Слава богу! — прошептала Клавдия Михайловна и с облегчением стала свертывать ширму.

— Не надо, оставьте, — остановил ее голос Комис-

сара.— Не надо, сестренка, так нам уютнее, и плакать не надо: и без вас на свете слишком сыро... Ну, что вы, советский ангел!.. Как жалко, что ангелов, даже таких, как вы, встречаешь только на пороге... туда.

10

Странное состояние переживал Алексей.

С тех пор как он поверил, что путем тренировки сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным летчиком, им овладела жажда жизни и деятельности.

Теперь у него была цель жизни: вернуться к профессии истребителя. С тем же фанатическим упрямством, с каким он, обезножев, выползал к своим, стремился он к этой цели. Еще в ранней юности привыкший осмысливать свою жизнь, он прежде всего точно определил, что он должен сделать, чтобы достичь этого как можно скорее, не тратя попусту драгоценного времени. И вышло, что он должен, во-первых, быстрее поправиться, вернуть утраченные во время голодания здоровье и силу, а для этого больше есть и спать; во-вторых, восстановить боевые качества летчика и для этого развивать себя физически доступными ему, пока еще коечному больному, гимнастическими упражнениями, в-третьих, и это было самое важное и трудное, развивать обрубленные по голень ноги так, чтобы сохранить в них силу и ловкость, а потом, когда появятся протезы, научиться проделывать на них все необходимые для управления самолетом движения.

Даже хождение для безногого — нелегкое дело. Мересьев же намеревался управлять самолетом, и именно истребителем. А для этого, в особенности в мгновения воздушного боя, когда все рассчитано на сотые доли секунды и согласованность движений должна подниматься до степени безусловного рефлекса, ноги должны уметь проделывать не менее точную, искусную, а главное — быструю работу, чем руки. Нужно было так себя натренировать, чтобы пристегнутые к обрубкам ног куски дерева и кожи выполняли эту тонкую работу как живой орган.

Любому человеку, знакомому с техникой пилотажа, это показалось бы невероятным. Но Алексей верил теперь, что это в пределах человеческих возможностей, а

раз так, то он, Мересьев, обязательно этого достигнет. И вот Алексей взялся за осуществление своего плана. С педантизмом, который поражал его самого, он взялся исполнять прописанные процедуры и принимал положенное количество лекарств. Он много ел, всегда требовал добавки, хотя иной раз у него и не было аппетита. Что бы ни случилось, он заставлял себя отсыпать положенное число часов и даже выработал привычку спать после обеда, которой долго сопротивлялась его деятельная и подвижная натура.

Заставить себя есть, спать, принимать лекарства трудно. С гимнастикой было хуже. Обычная система, по которой Мересьев раньше делал зарядку, человеку, лишенному ног, привязанному к койке, не годилась. Он придумал свою: по целым часам сгибался, разгибался, упершись руками в бока, крутил торс, поворачивал голову с таким азартом, что хрустели позвонки. Товарищи по палате добродушно посмеивались над ним. Кукушкин поддразнивал его, называя то братьями Знаменскими, то Лядумегом, то именами каких-то других знаменитых бегунов. Он видеть не мог этой гимнастики, которую считал образцом госпитальной дури, и обычно, как только Алексей за нее брался, убегал в коридор, брюзжа и сердясь.

Когда с ног сняли бинты и Алексей получил в пределах койки большую подвижность, он усложнил упражнения. Подсунув обрубки ног под спинку кровати, упершись руками в бока, он медленно сгибался и разгибался, с каждым разом замедляя темп и увеличивая число «поклонов». Затем он разработал серию упражнений для ног. Улегшись на спину, он по очереди то сгибал их, подтягивая к себе, то разгибал, выбрасывая вперед. Когда он в первый раз проделал это, то сразу понял, какие огромные, а может быть, непреодолимые трудности его ожидают. В обрубленных по голень ногам подтягивание вызывало острую боль. Движения были робки и неверны. Их трудно было рассчитать, как, скажем, трудно лететь на самолете с поврежденным крылом или хвостом.

Невольно сравнивая себя с самолетом, Мересьев понял, что вся идеально рассчитанная конструкция человеческого тела у него нарушена и, хотя тело еще цело и крепко, оно никогда не достигнет прежней, с детства выработанной гармонии движений.

Гимнастика ног причиняла острую боль, но Мересьев с каждым днем отводил ей на минуту больше, чем вчера. Это были страшные минуты — минуты, когда слезы сами лились из глаз и приходилось до крови кусать губы, чтобы сдержать невольный стон. Но он заставлял себя проделывать упражнения сначала один, потом два раза в день, с каждым разом увеличивая их продолжительность. После каждого такого упражнения он бессильно падал на подушку с мыслью: сумеет ли он снова возобновить их? Но приходило положенное время, и он принимался за свое. Вечером он ощупывал мускулы бедра, голени и с удовольствием чувствовал под рукой не дряблое мясо и жирок, как это было вначале, а прежний, тугой мускул.

Ноги занимали у Мересьева все мысли. Порой, забывшись, он ощущал боль в ступне, менял позу, и только тут доходило до его сознания, что ступни нет. В силу какой-то нервной аномалии отрезанные части ног еще долго как бы жили вместе с телом, вдруг начинали чесаться, ныть к сырой погоде и даже болели. Он так много думал о ногах, что часто видел себя во сне здоровым, быстрым. То по тревоге несется во весь опор к самолету, с ходу вспрыгивает на крыло, садится в кабину и пробует ногами рули, пока Юра снимает чехол с мотора. То вместе с Олей, взявшись за руки, бегут они что есть духу по цветущей степи, бегут босиком, ощущая ласковое прикосновение влажной и теплой земли. Как это хорошо и как тяжело после этого, проснувшись, увидеть себя безногим!

После таких снов Алексей впадал иногда в угнетенное состояние. Ему начинало казаться, что он зря себя мучает, что никогда ему не летать, как никогда не бегать ему босиком по степи с милой девушкой из Камышина, которая становилась ему все ближе, все желаннее, по мере того как все больше и больше времени отдаляло его от нее.

Отношения с Олей не радовали Алексея. Почти каждую неделю Клавдия Михайловна заставляла его «плясать», то есть прыгать на койке, прихлопывая в ладоши, чтобы получить от нее конверт, надписанный круглым и аккуратным ученическим почерком. Письма эти становились все пространнее, все теплее, как будто короткая, юная, прерванная войной любовь становилась для Оли все более и более зрелой. С тревожной тоской

читал он эти строки, зная, что не имеет права ответить ей тем же.

Школьные товарищи, учившиеся вместе в фабзавуче при деревообделочном заводе в городе Камышине, питавшие в детстве друг к другу романтическую симпатию, которую они лишь в подражание взрослым именовали любовью, расстались потом на шесть-семь лет. Сначала девушка уехала учиться в механический техникум. Потом, когда она вернулась и стала работать механиком на заводе, Алексея уже не было в городе. Он учился в летной школе. Встретились снова они незадолго перед войной. Ни он, ни она не искали этой встречи и, может быть, даже не вспоминали друг друга — слишком уж много воды утекло с тех пор. Но однажды весенним вечером Алексей шел по улице городка, провожая куда-то мать, и им навстречу попала девушка, на которую он даже не обратил внимания, заметив лишь ее стройные ноги.

«Что же ты не поздоровался? Аль забыл — ведь это же Оля», — и мать назвала фамилию девушки.

Алексей обернулся. Девушка тоже обернулась и смотрела им вслед. Взгляды их встретились, и он почувствовал, как сразу встрепенулось сердце. Оставив мать, он бегом пустился к девушке, стоявшей на тротуаре под голым топольком.

«Ты?» — удивленно произнес он, оглядывая ее такими глазами, словно перед ним была какая-то красивая заморская диковинка, неведомо как попавшая на тихую вечернюю, полную весенней грязи улицу.

«Алеша?» — так же удивленно и даже недоверчиво спросила она.

Они смотрели друг на друга, в первый раз после шестилетней или семилетней разлуки. Перед Алексеем стояла миниатюрная девушка, стройная, гибкая, с круглым и милым мальчишеским лицом, чуть побрызганным по переносице золотыми веснушками. Она смотрела на него большими серыми лучистыми глазами, слегка подняв мягко очерченные брови со щеточками на концах. В этой легкой, свежей, изящной девушке было очень мало от того круглолицего, румяного и грубоватого подростка, крепкого, как гриб боровичок, важно ходившего в засаленном отцовском рабочем пиджаке с закатанными рукавами, каким она была в год их последних встреч в фабзавуче.

Позабыв про мать, Алексей восхищенно смотрел на нее, и ему казалось, что он все эти шесть или семь лет никогда ее не забывал и мечтал об этой встрече.

«Вот ты теперь какая!» — сказал он наконец.

«Какая?» — спросила она звонким гортанным, тоже совсем другим, чем в школе, голосом.

Из-за угла вырвался ветерок, просвистел в голых прутьях тополя. Рванул юбку девушки, охватившую ее стройные ноги. Простым, естественно грациозным движением прижала она юбку и, засмеявшись, присела.

«Вот какая!» — повторил Алексей, уже не скрывая своего восхищения.

«Да какая же, какая?» — смеялась она.

Посмотрев на молодых людей, мать грустно улыбнулась и пошла своей дорогой. А они все еще стояли, любуясь друг другом, и не давали друг другу говорить, перебивая себя восклицаниями: «а помнишь», «а знаешь», «а где теперь...», «а что теперь...»

Они долго стояли так, пока Оля не показала на окна ближайших домиков, за стеклами которых среди гераней, елочек белели любопытствующие лица.

«У тебя есть время? Пойдем на Волгу», — сказала она, и, взявшись за руки, чего они не делали даже в годы отрочества, позабыв обо всем на свете, они отправились на крутоярье — высокий, обрывающийся к реке холм, откуда открывался просторный вид на широко разлившуюся Волгу, по которой торжественно плыли льдины.

С этих пор мать редко видела дома своего любимца. Неприхотливый в одежде, он начал вдруг ежедневно гладить себе брюки, чистить мелом пуговицы форменной куртки, достал из чемодана фуражку с белым верхом и парадным летным знаком, ежедневно брил свою жесткую щетину, а по вечерам, повертевшись около зеркала, отправлялся к заводу встречать Олю, возвращающуюся с работы. Днем он тоже где-то пропадал, был рассеян, невпопад отвечал на вопросы. Старушка материнским чутьем все поняла. Поняла и не обиделась: старому стариться, молодому расти.

Молодые люди ни разу не говорили о своей любви. Возвращаясь после прогулки над сверкающей в вечернем солнце тихой Волгой или вдоль окружавших город бахчей, где на черной и густой, как деготь, земле уже лежали толстые плети с лапчатыми темно-зелеными

листьями, считая дни таявшего отпуска, Алексей давал себе слово поговорить с Олей начистоту. Приходил новый вечер. Он встречал ее у завода, провожал до деревянного двухэтажного домика, где у нее была маленькая комната, светлая и чистая, как кабинка самолета. Терпеливо ждал, пока она переодевалась, скрывшись за дверью платяного шкафа, и старался не смотреть на мелькавшие из-за двери голые локти, плечи, ноги. Потом она шла умываться и возвращалась румяная, свежая, с мокрыми волосами, всегда в одной и той же беленькой шелковой блузке, которую она носила по будням.

И они шли в кино, в цирк или в сад. Куда — Алексею было все равно. Он не смотрел на экран, на арену, на гуляющую толпу. Он смотрел на нее, смотрел и думал: «Вот теперь обязательно, ну обязательно объяснюсь по дороге домой!» Но дорога кончалась, и у него не хватало духу.

Раз в воскресенье они с утра решили ехать в луга за Волгу. Он зашел за ней в лучших своих белых брюках и в рубашке с открытым воротом, которая, по словам матери, очень шла к его смуглому скуластому лицу. Оля была уже готова. Сунула ему в руку какой-то узелок, завернутый в салфетку, и они пошли к реке. Старый безногий перевозчик, инвалид первой мировой войны, любимец мальчишек, учивший в свое время Алексея ловить пескарей на перекате, гремя своими деревяшками, оттолкнул тяжелую лодку и короткими рывками стал грести. Мелкими толчками, пересекая течение наискось, лодка пошла через реку навстречу пологому, ярко зеленовшему берегу. Девушка сидела на корме, задумчиво ведя рукой по воде.

«Дядя Аркаша, ты нас не помнишь?» — спросил Алексей.

Перевозчик равнодушно посмотрел на молодые лица.

«Не помню», — сказал он.

«Ну как же, я Алеша Мересьев, ты меня на косях учил пескарей вилкой щучить».

«Ну что ж, может, и учил, много вас тут у меня озоровало, где же всех упомнить!»

Лодка прошла мостки, у которых стоял бокастый катер с гордой надписью «Аврора» на облупленном борту, и с хрустом врезалась в крупный песок берега.

«Теперь здесь мое место. Я не от горкомхоза, а от себя — частник, значит, — пояснил дядя Аркаша, слезая

в воду своими деревяшками и подталкивая лодку к берегу; деревяшки тонули в песке, и лодка шла туго.— Придется вам прыгать так»,— флегматично сказал перевозчик.

«Сколько тебе?» — спросил Алексей.

«А давай сколько не жаль. С вас побольше бы полагалось, вон вы какие счастливые! Только не припомню я вас, нет, не припомню».

Прыгая с лодки, они промочили ноги, и Оля предложила разуться. Они разулись. От прикосновения босых ног к влажному теплomu речному песку стало им так свободно и весело, что захотелось бегать, кувыркаться, кататься по траве, как козлята.

«Лови!» — крикнула Оля и, быстро-быстро перебирая крепкими загорелыми ногами, побежала через песчаную отмель на пологий заливной берег и в изумрудную зелень цветущих лугов.

Алексей бежал за ней что есть силы, видя перед собой только пестрое пятно ее легкого цветастого платья. Он бежал, чувствуя, как цветы и султанчики щавеля больно хлещут его по босым ногам, как тепло и мягко поддается под ступнями влажная, разогретая солнцем земля. Ему казалось, что для него очень важно догнать Олю, что от этого зависит многое в их будущей жизни, что, наверно, сейчас тут, на цветущем, одуряюще пахнущем лугу, он легко скажет ей все, что до сих пор не хватало духу ей высказать. Но как только он начинал ее настигать и протягивал к ней руки, девушка делала крутой поворот, как-то по-кошачьи вывертывалась и, рассыпая звонкий смех, убегала в другом направлении.

Она была упряма. Так он ее и не догнал. Она сама свернула с луга на берег и бросилась в золотой горячий песок, вся покрасневшая, с открытым ртом, высоко, часто вздымающейся грудью, жадно вдыхая воздух и смеясь. На цветущем лугу, среди белых звездочек ромашек, он сфотографировал ее. Потом они купались, и он покорно уходил в прибрежный кустарник и отворачивался, пока она переодевалась и выжимала мокрый купальный костюм.

Когда она окликнула его, он увидел ее сидящей на песке, с поджатыми под себя загорелыми ногами, в одном тонком и легком платье, с головой, обмотанной лохматым полотенцем. Расстелив на траве чистую салфетку, прижав ее по углам камешками, она раскладывала

на ней содержимое узелка. Они пообедали салатом, холодной рыбой, аккуратно завернутой в промасленную бумагу; было даже самодельное печенье. Оля не позабыла даже соли, даже горчицы, которые стояли в маленьких баночках из-под кольдкрема. Было что-то очень милое и трогательное в том, как эта легкая и ясная девушка хозяйничает серьезно и умело. Алексей решил: довольно тянуть. Все. Сегодня вечером он с ней объяснится. Он убедит ее, он докажет ей, что она обязательно должна стать его женой.

Повалявшись на пляже, еще раз выкупавшись и договорившись вечером встретиться у нее, они, усталые и счастливые, медленно пошли к перевозу. Почему-то не было ни катера, ни лодки. Они долго, до хрипоты звали дядю Аркашу. Солнце ложилось уже в степь. Снопья ярко-розовых лучей, скользя по гребню крутоярья на той стороне, золотили крыши домов городка, пыльные притихшие деревья кроваво сверкали в стеклах окон. Летний вечер был зноен и тих. Но что-то в городке случилось. На улицах, обычно пустынных в такую пору, сновало много народу, проехали два грузовика, набитые людьми, прошла строем небольшая толпа.

«Напился, что ли, дядя Аркаша? — предположил Алексей. — А что, если придется здесь ночевать?»

«С тобой я ничего не боюсь», — сказала она, взглянув на него большими лучистыми глазами.

Он обнял ее и поцеловал, поцеловал в первый и единственный раз. На реке уже глухо постукивали уключины. С того берега двигалась переполненная народом лодка. Теперь с неприязнью посмотрели они на эту приближающуюся к ним лодку, но почему-то покорно пошли ей навстречу, словно предчувствуя, что она им везет.

Люди молча спрыгивали с лодки на берег. Все были празднично одеты, но лица у них были озабоченны и хмуры. Молча проходили по кладям мимо парочки серьезные торопливые мужчины и взволнованные, заплаканные женщины. Ничего не понимая, молодые люди спрыгнули в лодку, и дядя Аркаша, не глядя на их счастливые лица, сказал:

«Война... Сегодня по радио сообщили, что началась...»

«Война?.. С кем?» — Алексей даже подскочил на скамейке.

«Все с им, проклятым, с германцем, с кем же, — сердито загребая веслами и резко толкая их, ответил дядя

Аркаша. — Уже народ по военкоматам пошел... Мобилизация».

Прямо с прогулки, не заходя домой, Алексей зашел в военный комиссариат. С ночным поездом, отошедшим в 12.40, он уже уехал по назначению в свою летную часть, едва успев забежать домой за чемоданом и даже не прошившись с Олей.

Они переписывались редко, но не потому, что их симпатии ослабели и они стали забывать друг друга,— нет. Ее писем, написанных круглым ученическим почерком, он ждал нетерпеливо, носил их в кармане и, оставаясь наедине, перечитывал снова и снова. Это их прижимал он к груди и на них смотрел в суровые дни лесных скитаний. Но отношения между молодыми людьми оборвались так внезапно и в такой неопределенной стадии, что в письмах этих они говорили друг с другом как старые добрые знакомые, как друзья, боясь примешивать к этому что-то большее, что так и осталось невысказанным.

И вот теперь, попав в госпиталь, Алексей с недоумением, возраставшим от письма к письму, замечал, как Оля вдруг пошла сама ему навстречу, как, не стесняясь, говорила она теперь в письмах о своей тоске, жалела, что не вовремя приехал за ними тогда дядя Аркаша, просила, что бы с ним ни случилось, пусть он знает, что есть человек, на которого он может всегда рассчитывать, и чтобы, скитаясь по чужим краям, он знал, что у него есть угол, куда он может, как свой, вернуться с войны. Казалось, писала какая-то новая, другая Оля. Когда он глядел на ее карточку, ему всегда думалось: дунь ветер, и она улетит вместе со своим цветастым платьем, как улетают парашютики семян созревших одуванчиков. Писала же эти письма женщина — хорошая, любящая, тоскующая по любимому и ожидающая его. Это радовало и смущало, радовало помимо воли, а смущало потому, что Алексей считал — он не имеет права на такую любовь и недостоин такой откровенности. Ведь он не нашел в себе силы написать в свое время, что он уже не тот цыгановатый, полный сил юноша, а безногий инвалид, похожий на дядю Аркашу. Не решившись написать правду, боясь убить больную мать, он принужден был теперь обманывать Олю в письмах, запутываясь в этом обмане с каждым днем все больше и больше.

Вот почему письма из Камышина вызывали в нем самые противоречивые чувства: радости и горя, надеж-

ды и тревоги; они одновременно и вдохновляли и мучили его. Однажды солгав, он принужден был выдумывать дальше, а врать он не умел, и поэтому его ответы Оле были коротки и сухи.

Легче было писать «метеорологическому сержанту». Это была несложная, но самоотверженная, честная душа. В минуту отчаяния, после операции, чувствуя потребность излить кому-нибудь свое горе, Алексей написал ей большое и мрачное письмо. В ответ получил вскоре тетрадный лист, исписанный витиеватыми буквами, точно бублик тмином, осыпанный восклицательными знаками и украшенный кляксами от слез. Девушка писала, что, если бы не военная дисциплина, она сейчас же все бы бросила и приехала к нему, чтобы ухаживать за ним и делить его горе. Она умоляла больше писать. И столько было в сумбурном письме наивного, полудетского чувства, что Алексею стало грустно, и он бранил себя за то, что, когда эта девушка передавала ему Олины письма, он на ее вопрос назвал Олю своей замужней сестрой. Такого человека нельзя было обманывать. Он честно написал ей о невесте, живущей в Камышине, и о том, что не решился сообщить матери и Оле правду о своем несчастье.

Ответ «метеорологического сержанта» прибыл по тем временам неправдоподобно быстро. Девушка писала, что посылает письмо с одним заехавшим к ним в полк майором, военным корреспондентом, который ухаживал за ней и на которого она, конечно, не обратила внимания, хотя он веселый и интересный. По письму видно, что она огорчена и обижена, хочет сдержаться, хочет — и не может. Пеняя ему за то, что он не сказал ей тогда правды, она просила считать ее своим другом. В конце письма уже не чернилами, а карандашом было приписано, что пусть он, «товарищ старший лейтенант», знает, что она крепкий друг и что если та, из Камышина, ему изменит (она-де знает, как ведут себя женщины там, в тылу), или разлюбит, или убьют его увечья, то пусть он не забывает о «метеорологическом сержанте», только пусть пишет ей всегда одну правду. С письмом передали Алексею тщательно зашитую посылочку. В ней было несколько вышитых носовых платочков из парашютного шелка с его меткой, кiset, на котором был изображен летящий самолет, гребенка, одеколон «Магнолия» и кусок туалетного мыла. Алексей знал, как дороги были

девушкам-солдатам все эти вещички в те трудные времена. Знал, что мыло и одеколон, попавшие к ним в каком-нибудь праздничном подарке, сохраняются ими обычно как священные амулеты, напоминающие прежнюю, гражданскую жизнь. Он знал цену этим подаркам, и ему было радостно и неловко, когда он раскладывал их на своей тумбочке.

Теперь, когда он со всей свойственной ему энергией тренировал искалеченные ноги, мечтая вернуть себе возможность летать и воевать, он чувствовал в себе неприятную раздвоенность. Его очень тяготило, что он вынужден лгать и недоговаривать в письмах к Оле, чувство к которой крепло в нем с каждым днем, и откровенничать с девушкой, которую он почти не знал.

Но он дал себе торжественное слово, что, только осуществив свою мечту, вернувшись в строй, восстановив свою работоспособность, он вновь заговорит с Олей о любви.

С тем большей фанатичностью стремился он к этой своей цели.

11

Комиссар умер первого мая.

Произошло это как-то незаметно. Еще утром, умытый и причесанный, он дотошно выпрашивал у брившей его парикмахерши, хороша ли погода, как выглядит праздничная Москва, порадовался, что начали разбирать на улицах баррикады, посетовал, что в этот вот сверкающий, богатый весенний день не будет демонстрации, пошутил над Клавдией Михайловной, предпринявшей по случаю праздника новую героическую попытку запудрить свои веснушки. Казалось, ему стало лучше, и у всех родилась надежда: может быть, дело пошло на поправку.

Уже давно, с тех пор как он лишился возможности читать газеты, к его койке провели наушники радиотрансляции. Гвоздев, немного смекавший в радиотехнике, что-то реконструировал в них, и теперь они орали и пели на всю палату. В девять часов диктор, голос которого в те дни слушал и знал весь мир, начал читать приказ народного комиссара обороны. Все замерли, боясь пропустить хотя бы слово и вытянув головы к двум черным кругляшам, висевшим на стене. Уже прозвучали слова: «Под непобедимым знаменем великого Ленина —

вперед к победе!» — а в палате еще царила напряженная тишина.

— Вот разъясните мне такое дело, товарищ полковой комиссар... — начал было Кукушкин и вдруг вскрикнул с ужасом: — Товарищ комиссар!

Все оглянулись. Комиссар лежал на кровати, прямой, вытянутый, строгий, с глазами, неподвижно устремленными в какую-то точку на потолке, и на лице его, осунувшемся и побелевшем, окаменело торжественное, покойное и величавое выражение.

— Умер! — вскрикнул Кукушкин, бросаясь на колени у его кровати. — У-ме-ер!

Убегали и выбегали растерянные сиделки, металась сестра, застегивая на ходу халат, влетел ординатор. Не обращая ни на кого внимания, по-детски зарыв лицо в одеяло, шумно сопя, вздрагивая плечами и всем телом, рыдал на груди покойного лейтенант Константин Кукушкин, вздорный и неуживчивый человек...

Вечером этого дня в опустевшую сорок вторую принесли новичка. Это был летчик-истребитель, майор Павел Иванович Стручков, из дивизии воздушного прикрытия столицы. В праздник немцы решили совершить на Москву большой налет. Их соединения, двигавшиеся несколькими эшелонами, были перехвачены и после жестокого сражения разбиты где-то в районе Подсолнечной, и только один «юнкерс» прорвался сквозь кольцо и, набирая высоту, продолжал путь к столице. Экипаж его решил, должно быть, любой ценой выполнить задание, чтобы омрачить праздник. Вот за ним-то, заметив его еще в суматохе воздушного боя, и погнался Стручков. Он летел на великолепной советской машине — из тех, какими начала тогда переоснащаться истребительная авиация. Он настиг немца высоко, в шести километрах над землей, уже над подмосковной дачной местностью, сумел ловко подобраться к его хвосту и, поймав врага в целик, нажал гашетку. Нажал и удивился, не услышав знакомого тарахтенья. Спускной механизм отказал.

Немец шел чуть впереди. Стручков тянулся за ним, держась в мертвой зоне, прикрытый килем его хвоста от двух пулеметов, защищавших бомбардировщик сзади. В свете чистого майского утра Москва уже вырисовывалась неясно на горизонте ворохом серых громад, затянутых дымкой. И Стручков решил. Расстегнул ремни, откинул колпак и сам как-то весь поджался, на-

прыг все мускулы, будто готовясь прыгнуть на немца. Точно приладив ход своей машины к ходу бомбардировщика, он прицелился. Мгновение они висели в воздухе рядом, один позади другого, словно близко привязанные друг к другу невидимой нитью. Стручков четко видел в прозрачном колпаке «юнкерса» глаза немецкого башенного стрелка, следившего за каждым его маневром и выжидавшего, когда хоть кусок его крыла выйдет из мертвой зоны. Он видел, как от волнения немец сорвал с себя шлем, и даже различил цвет его волос, русых и длинных, спадавших на лоб сосульками. Черные рыльца спаренного крупнокалиберного пулемета неотрывно смотрели в сторону Струčkова и пошевеливались, как живые, выжидая. На мгновение Стручков почувствовал себя безоружным человеком, на которого вор наставил пистолет.

И он сделал то, что делают в таких случаях смелые безоружные люди. Он сам бросился на врага, но не с кулаками, как это сделал бы на земле,— он бросил вперед свой самолет, нацелившись сверкающим кругом своего винта в хвостовое оперение немца.

Он даже не услышал треска. В следующее мгновение, подброшенный страшным толчком, он почувствовал, что перевертывается в воздухе. Земля пронеслась у него над головой и, став на место, со свистом ринулась ему навстречу, ярко-зеленая и сияющая. Тогда он рванул кольцо парашюта. Но прежде чем без сознания повиснуть на стропах, краем глаза он успел заметить, что рядом, вращаясь, как кленовый лист, сорванный осенним ветром, обгоняя его, несется вниз сигарообразная туша «юнкерса» с отрубленным хвостом. Струčkова, бессильно раскачивавшегося на стропах, крепко ударило о крышу дома, и он без сознания упал на праздничную улицу московского пригорода, жители которого с земли наблюдали его великолепный таран. Они подхватили его, отнесли в ближайший дом. Прилегающие улицы сразу же наполнила такая толпа, что вызванный врач еле пробрался к крыльцу. От удара о крышу у летчика оказались поврежденными коленные чашечки.

Весть о подвиге майора Струčkова была немедленно передана по радио специальным выпуском «Последних известий». Председатель Моссовета сам провожал его в лучший госпиталь столицы. И когда Струčkова доставили в палату, вслед за ним санитарки внесли цветы, куль-

ки с фруктами, коробки конфет — дары благодарных москвичей.

Это был веселый, общительный человек. Чуть ли не с порога палаты он осведомился у больных, как тут в госпитале «насчет пожрать», строг ли режим, есть ли хорошенькие сестры. А пока его перебинтовывали, успел рассказать Клавдии Михайловне забавный анекдот на вечную тему о Военторге и вернуть довольно смелый комплимент ее внешности. Когда сестра вышла, Стручков подмигнул ей вслед:

— Симпатияга. Строга? Небось держит вас в страхе божьем? Ничего, не дрейфьте. Что вас, тактике не учили, что ли? Неприступных женщин нет, как нет и неприступных укреплений! — И он расхохотался раскатисто, громко.

Он вел себя в госпитале как старожил, как будто пролежал тут целый год. Со всеми в палате он сразу перешел на «ты» и, когда ему понадобилось высморкаться, бесцеремонно взял с тумбочки Мересьева носовой платок из парашютного шелка со старательно вышитой «метеорологическим сержантом» меткой.

— От симпатии? — Он подмигнул Алексею и спрятал платок себе под подушку. — Тебе, друг, хватит, а не хватит — симпатия еще вышьет, ей это — лишнее удовольствие.

Несмотря на румянец, пробивавшийся сквозь загар его щек, был он уже не молод. На висках, у глаз, гусиными лапками лучились глубокие морщины, и во всем чувствовался старый солдат, привыкший считать домом то место, где стоит его вещевой мешок, где на рукомоynике лежат его мыльница и зубная щетка. Он внес с собой в палату много веселого шума, и сделал это так, что никто не был на него за это в обиде и всем казалось — знают они его уже давным-давно. Новый товарищ пришелся всем по сердцу, и только не понравилась Мересьеву явная склонность майора к женскому полу, которую он, впрочем, не таил и о которой охотно распространялся.

На следующий день хоронили Комиссара.

Мересьев, Кукушкин, Гвоздев сидели на подоконнике выходящего во двор окна и видели, как тяжелая упряжка артиллерийских коней вкатила во двор пушечный лафет, как, сверкая на солнце трубами, собрался военный оркестр и строем подошла воинская часть. Во-

шла Клавдия Михайловна и согнала больных с окна. Она была, как и всегда, тихая и энергичная, но Мересьев почувствовал, что голос у нее изменился, дрожит и срывается. Она пришла измерить новичку температуру. В это время оркестр во дворе заиграл траурный марш. Сестра побледнела, термометр выпал из ее рук, и сверкающие капельки ртути побежали по паркетному полу. Закрыв лицо руками, Клавдия Михайловна выбежала из палаты.

— Что с ней? Милого ее, что ли... — Стручков кивнул головой в сторону окна, откуда плыла тягучая музыка. Никто ему не ответил.

Свесившись через подоконник, все смотрели на улицу, куда из ворот медленно выплывал на лафете красный гроб. В зелени, в цветах лежало тело Комиссара. За ним на подушках несли ордена — один, два, пять, восемь... Опустив головы, шли какие-то генералы. Среди них, тоже в генеральской шинели, но почему-то без фуражки, шел и Василий Васильевич. Позади, поодаль от всех, перед медленно отбивавшими шаг бойцами, простоволосая, в белом халатике, спотыкаясь и, должно быть, не видя ничего перед собой, шла Клавдия Михайловна. В воротах кто-то накинул ей на плечи пальто. Она продолжала идти, пальто соскользнуло с ее плеч и упало, и бойцы прошли, раскалывая шеренги пополам и обходя его.

— Хлопцы, кого хоронят? — спросил майор.

Он тоже все пытался подняться к окну, но ноги его, зажатые в лубки и залитые в гипс, мешали ему, и он не мог дотянуться.

Процессия удалилась. Уже издали глухо плыли по реке, отдаваясь от стен домов, тягучие торжественные звуки. Уже вышла из ворот хромая дворничиха и закрыла со звоном металлические ворота, а обитатели сорок второй все еще стояли у окна, провожая Комиссара в его последний путь.

— Кого же хоронят? Ну? Чего это вы все точно деревянные! — нетерпеливо спрашивал майор, все еще не оставляя своих попыток дотянуться до подоконника.

Тихо, глухо, надтреснутым и словно сырым голосом ответил ему наконец Константин Кукушкин:

— Настоящего человека хоронят... Большевика хоронят.

И Мересьев запомнил это: настоящего человека.

Лучше, пожалуй, и не назовешь Комиссара. И очень захотелось Алексею стать настоящим человеком, таким же, как тот, кого сейчас увезли в последний путь.

12

Со смертью Комиссара изменился весь строй жизни сорок второй палаты.

Некому было сердечным словом нарушать мрачную тишину, которая порой наступает в палатах госпиталей, когда, не сговариваясь, все погружаются вдруг в невеселые думы и на всех нападает тоска. Некому было шуткой поддержать упавшего духом Гвоздева, дать совет Мересьеву, ловко и не обидно осадить брюзгу Кукушкина. Не стало центра, стягивавшего и сплывавшего всех этих разнохарактерных людей.

Но теперь это было не так уж и нужно. Лечение и время делали свое дело. Все быстро поправлялись, и чем ближе двигалось дело к выписке, тем меньше думали они о своих недугах. Мечтали о том, что ждет их за стенами палаты, как встретят их в родной части, какие ожидают их дела. И всем им, натосковавшимся по привычному военному быту, хотелось поспеть к новому наступлению, о котором еще не писали и даже не говорили, но которое как бы чувствовалось в воздухе и, словно надвигающаяся гроза, угадывалось по наступившей вдруг на фронтах тишине.

Вернуться из госпиталя к боевым трудам для военного человека — дело обычное. Только для Алексея Мересьева представляло оно проблему: сумеет ли он восполнить искусством и тренировкой отсутствие ног, сядет ли он опять в кабину истребителя? Все с бóльшим и бóльшим упорством стремился он к намеченной цели. Постепенно наращивая минуты, он довел время тренировки ног и общей гимнастики до двух часов утром и вечером. Но и этого казалось ему мало. Он начал заниматься гимнастикой после обеда. Майор Стручков, искоса наблюдавший за ним веселыми, насмешливыми глазами, всякий раз объявлял:

— А теперь, граждане, вы увидите загадку природы: великий шаман Алексей Мересьев, непревзойденный в лесах Сибири, в своем репертуаре.

Действительно, в упражнениях, которые с таким упорством проводил Алексей, было что-то фанатическое;

делавшее его похожим на шамана. Смотреть на его бесконечное раскачиванье, равномерные повороты, на упражнения для шеи и рук, которые он делал упорно, с методичностью раскачивающегося маятника, было трудно, и ходячие товарищи его отправлялись на это время бродить по коридору, а прикованный к койке Стручков закрывался с головой одеялом и пытался уснуть. Никто в палате, конечно, не верил в возможность летать без ног, однако упорство товарища все уважали и, скрывая это за шутками, пожалуй, даже преклонялись перед ним.

Трещины в коленных чашечках майора Струčkова оказались серьезнее, чем предполагалось сначала. Заживали они медленно, ноги были все еще в лубках, и, хотя никаких сомнений в его выздоровлении не было, майор не уставал на все лады бранить «окаянные чашечки», причинившие ему столько хлопот. Эта воркотня его стала переходить в постоянное раздражение. Из-за какой-нибудь мелочи он взрывался, начинал бранить все и вся. В такую минуту казалось — он может ударить того, кто попытался бы его урезонить. По молчаливому согласию, товарищи оставляли его тогда в покое, давая ему, как говорил он сам, «расстрелять все патроны», и дожидались, пока его природная жизнерадостность не возьмет верх над раздражением и расшатавшимися на войне нервами.

Свое все возрастающее нетерпение Стручков объяснял тем, что был лишен возможности даже потихоньку покуривать в уборной, и еще тем, что нельзя было ему повидаться, хотя бы в коридоре, с рыженькой сестричкой из операционной, с которой он уже будто бы перемигнулся, когда его носили на перевязку. Может быть, это было в какой-то степени и так, но Мересьев заметил, что вспышки раздражения вздыбливали майора после того, как видел он в окне пролетавшие над Москвой самолеты или по радио и из газет узнавал о новом интересном воздушном бое, об успехе знакомого летчика. Это приводило в нетерпеливо-раздраженное состояние и самого Мересьева. Но он даже и виду не показывал и теперь, сравнивая себя со Стручковым, внутренне торжествовал. Ему казалось, что он хоть немного стал приближаться к избранному им облику «настоящего человека».

Майор Стручков оставался верен себе: много ел, сочно хохотал по всякому малейшему поводу, любил

потолковать о женщинах и при этом казался одновременно и женолюбом и женоненавистником. Особенно ополчался он почему-то на женщин тыла.

Мересьев терпеть не мог этих стручковских разговоров. Слушая Стручкова, он невольно видел перед собой все время Олю или смешного солдатика с метеостанции — девушку, которая, как рассказывали в полку, прикладом винтовки выкинула из своей будки и чуть вгорячах не пристрелила чересчур предприимчивого старшину из батальона аэродромного обслуживания, и Алексею казалось, что это на них клеветает майор Стручков. Однажды, хмуро выслушав очередную историю майора, которую он закончил сентенцией о том, что «все они такие» и с любой можно поладить «в два счета», Мересьев не сдержался.

— С любой? — спросил он, стиснув зубы так, что скулы побелели.

— С любой, — беспечно отозвался майор.

В палату вошла Клавдия Михайловна, вошла и увиди-лась тяжелому напряжению, которое она увидела на лицах больных.

— В чем дело? — спросила она, бессознательным движением заправляя под косынку локон.

— Беседуем про жизнь, сестричка! Наше дело такое, стариковское, — беседовать, — весь просияв, улыбнулся ей майор.

— И с этой? — зло спросил Мересьев, когда сестра вышла.

— А что, она из другого теста, что ли?

— Клавдию Михайловну оставьте! — строго сказал Гвоздев. — У нас один старик ее советским ангелом назвал.

— Кто хочет пари, ну?

— Пари? — крикнул Мересьев, свирепо сверкая цыганскими глазами. — На что же споришь?

— Да хоть на пистолетную пулю, как спорила раньше офицерня: ты выиграешь — в меня стреляешь, я выиграю — в тебя, — смеясь и стараясь превратить все в шутку, сказал Стручков.

— Пари? На это? Ты что, забыл, что ты советский командир? Если ты прав, можешь плюнуть мне в морду! — Алексей зло покосился на Стручкова. — Но смотри, как бы я тебе не плюнул.

— Не хочешь пари — не надо. Разбушевался. Поду-

маешь!.. Я вам, хлопцы, и так докажу, что нечего из-за нее беситься.

С этого дня Стручков стал оказывать Клавдии Михайловне всяческое внимание, веселил ее анекдотами, рассказывать которые он был великий мастер. В нарушение неписаного правила, по какому летчики очень неохотно делятся с посторонними своими военными приключениями, рассказывал ей всяческие случаи из своей действительно большой и интересной жизни и даже, вздыхая, намекал на какие-то свои семейные неудачи, на горькое одиночество, хотя все в палате знали, что он холост и никаких особых неудач у него нет.

Клавдия Михайловна, не очень, правда, отличая его от других, иногда присаживалась к нему на койку, слушая его рассказы о боевых перелетах, причем, как бы забывшись, он брал ее руку, и она не отнимала. У Мересьева накипала тяжелая ярость. Вся палата была возмущена Стручковым. А тот вел себя так, словно с ним действительно побились об заклад. Стручкова всерьез предупредили, чтобы он бросил свою недостойную игру. Палата готовилась уже решительно вмешаться в это, как вдруг события приняли совершенно иной оборот.

Однажды вечером, в час своего дежурства, Клавдия Михайловна зашла в сорок вторую без дела, просто поболтать, за что особенно любили ее раненые. Майор затеял какой-то рассказ, она присела возле его койки. Что произошло, никто не видел. Все оглянулись, услышав только, как она резко вскочила. Гневно, с сомкнутыми на лбу темными бровями, с пятнистым румянцем, покрывшим щеки, смотрела она на смущенного, даже испуганного Стручкова.

— Товарищ майор, если бы вы не были больным, а я сестрой милосердия, я дала бы вам по физиономии.

— Ну что вы, Клавдия Михайловна, я, право же, не хотел... И подумаешь, важность...

— Ах, важность? — Она смотрела на него уже не с гневом, а с презрением. — Хорошо, тогда нам не о чем говорить. Слышите! И вот перед вашими товарищами прошу вас впредь обращаться ко мне только по делу, когда вам потребуется медицинская помощь. Спокойной ночи, товарищи.

И она ушла необычной для нее тяжелой походкой, должно быть изо всех сил стараясь казаться спокойной.

Мгновение вся палата молчала. Потом послышался

торжествующий, злой смех Алексея, и все накинулись на майора:

— Что, съел?

Мересьев с сияющими глазами вежливо осведомился:

— Разрешите сейчас плевать, товарищ майор, или погодить?

Стручков сидел озадаченный. Однако он не сдался и сказал, не очень, правда, уверенно:

— М-да, атака отбита. Ну ничего, повторим.

До самой ночи лежал он молча, тихонько что-то на-свистывая и иногда вслух отвечая на какие-то свои мысли: «М-да».

Вскоре после этого случая выписался Константин Кукушкин. Он выписался без всяких переживаний, заявив на прощанье, что медицина надоела ему до чертиков. Прощался он небрежно и только все наказывал Мересьеву и сестре, если ему будут письма от матери, обязательно переслать их к нему в полк и письма эти беречь и не терять.

— Ты напиши, как устроишься, как встретят,— напутствовал его Мересьев.

— А что мне тебе писать? Какое тебе до меня дело? Не буду я тебе писать, бумагу изводить,— все равно не ответишь.

— Ну, как знаешь.

Этой фразы Кукушкин, должно быть, не слышал. Не оборачиваясь, выходил он уже из палаты. Так же, не оглядываясь, вышел он из дверей госпиталя, прошел по набережной, скрылся за углом, хотя отлично знал, что, по заведенному в госпитале обычаю, вся палата в эту минуту торчит в окнах, провожая товарища.

Впрочем, он все-таки написал Алексею, и написал довольно скоро. Письмо было суховатое, деловое. О себе он сообщил только, что в полку ему, кажется, обрадовались; впрочем, тут же оговорился, что в последних боях были большие потери и тут рады каждому более или менее опытному человеку. Перечислил фамилии убитых и раненых товарищей, написал, что Мересьева по-прежнему помнят, что командир полка, получивший теперь звание подполковника, узнав о гимнастических подвигах Алексея и о его намерении вернуться в авиацию, заявил: «Мересьев вернется. Раз он решил — своего добьется», и что начальник штаба ответил: нельзя, дескать, объять необъятное, а командир заявил на это,

что для таких, как Мересьев, необъятного нет. К удивлению Алексея, были даже строчки и о «метеорологическом сержанте». Кукушкин писал: сей сержант так одолел его расспросами, что он, Кукушкин, принужден был скомандовать ему налево кругом марш... В конце письма писал Кукушкин, что уже в первый день пребывания в части он сделал два вылета, что ноги зажили вполне и что в ближайшие дни полк пересядет на новые самолеты, «Ла-5», которые скоро прибудут и про которые Андрей Дегтяренко, летавший на приемку, сказал, что по сравнению с ними все машины немецких марок — сундуки и рухлядь.

13

Наступило раннее лето. В сорок вторую палату оно заглянуло все с той же ветки тополя, листья на которой стали жесткими и блестящими. Они порывисто шелестели, точно перешептывались, и к вечеру тускнели от налетающей с улицы пыли. Красивые сережки на ветке этой давно уже превратились в кисточки зеленых блестящих бусинок, а теперь бусинки полопались, из них полез легкий пух. В полдень, в самую жару, этот теплый тополевыи пух носило по Москве, он залетал в открытые окна палаты и пышными розоватыми валиками лежал у двери и по углам, куда сгоняли его теплые сквознячки.

Стояло прохладное, светлое и сверкающее летнее утро, когда Клавдия Михайловна торжественно привела в палату пожилого человека в железных, перевязанных веревочками очках, у которого даже новый, топорщщийся от избытка крахмала халат не изменял внешности старого мастерового. Он принес что-то завернутое в белую тряпку и, положив на полу у койки Мересьева, осторожно и важно, точно фокусник, стал развязывать узелки. Под руками у него скрипела кожа, а в палате разнесся приятный и острый, кисловатый запах дубильных веществ.

В свертке старика оказалась пара новых желтых скрипучих протезов, очень ловко сконструированных и пригнанных по мерке. Протезы — это составляло едва ли не главную гордость мастера — были обуты в новенькие желтые, казенного образца башмаки. Башмаки сидели так ловко, что создавалось впечатление живых обутых ног.

— Калошки надеть, так хоть под венец! — сказал мастер, любуясь поверх очков изделием своих рук. — Сам Василий Васильевич наказал мне: «Сделай, говорит, Зуев, такие протезы, чтобы лучше ног были». И — нате, пожалуйте, Зуев сделал. Царские!

У Мересьева сердце тоскливо сжалось при виде своих искусственных ног, сжалось, похолодело, но жажда поскорее попробовать протезы, пойти, пойти самостоятельно победила все остальное. Он выкинул из-под одеяла свои култышки и стал торопить старика с примеркой. Но старому протезисту, делавшему, по его словам, еще в «мирное время» протезы какому-то «большому князю», сломавшему ногу на скачках, такая торопливость не нравилась. Он был очень горд изделием и хотел как можно дольше растянуть удовольствие от его вручения.

Он обтер протезы рукавом, ногтем сколупнул с кожи пятнышко, подышал на это место, обтер его полой белоснежного халата, потом поставил протезы на пол, неторопливо свернул тряпку, спрятал ее в карман.

— Ну, старина, давай, что ли, — торопил Мересьев, сидя на кровати.

Сейчас он взглянул на голые обрубленные ноги глазами постороннего и остался ими доволен. Они были крепкие, жилистые, и не жир, как это всегда бывает при вынужденной неподвижности, а тугие мускулы переливались под смуглой кожей, точно это были не обрубки, а полноценные ноги много и скоро ходящего человека.

— А что давай, что давай?.. Скоро, да не споро, — ворчал старик. — Мне Василий Васильевич говорит: «Отличись, говорит, Зуев, на этих протезах; лейтенант, говорит, без ног летать собрался». А я что, я готов, я — пожалуйте, возьмите. С такими протезами не только что ходить, а и на лисапете кататься, с барышнями польку-бабочку танцевать... Работка!

Он сунул обрубок правой ноги Алексея в шерстистое и мягкое гнездо протеза и крепко охватил ногу прикрепляющими ремнями. Отошел, полюбовался, прищелкнул языком:

— Хороша обувка!.. Не беспокоит? То-то! Лучше Зуева, почитай, и мастера в Москве нет. Зуев — золотые руки.

Он ловко надел второй протез и едва успел застегнуть ремни, как Мересьев неожиданно сильным, пружинистым движением спрыгнул с койки на пол. Раздался

глухой стук, Мересьев вскрикнул от боли и тут же, около кровати, тяжело рухнул во весь рост.

У старого мастера от удивления очки полезли на лоб. Он не ожидал от своего заказчика такой прыти. Мересьев лежал на полу, беспомощный, пораженный, широко разбросав свои искусственные ноги в ботинках. В глазах его были недоумение, обида, страх. Неужели он обманулся?

Всплеснув руками, Клавдия Михайловна бросилась к нему. Вместе со старым мастером подняли они Алексея и посадили на койку. Он сидел подавленный, обмякший, с тоскливым выражением на лице.

— Э-э-э, мил человек, этак-то негоже, вовсе негоже,— ворчал мастер. — Ишь спрыгнул, будто и верно живые ноги ему приставили. Нос-то вешать ни к чему, друг милый, только теперь твое дело такое — начинать все сначала. Теперь забудь, что ты вояка, теперь ты дитя малое — по шажку, по шажку учишься ходить; сначала с костыликами, потом по стеночкам, потом с палочкой. Да не вдруг, да помаленьку, а он — на-кася! Ноги-то и хорошие, да не свои. Таких, мил друг, как папа с мамой сработали, тебе уж никто не сделает.

От неудачного прыжка ноги тяжело ныли. Но Мересьев хотел сейчас же попробовать протезы. Ему принесли легкие алюминиевые костыли. Он уперся ими в пол, зажал под мышками подушки и теперь тихо, осторожно соскользнул с койки и встал на ноги. И точно: он походил теперь на младенца, не умеющего ходить, инстинктом угадывающего, что пойти он может, и боящегося оторваться от спасительной, поддерживающей его стенки. Как младенца, которого мать или бабушка выводят в первое путешествие на просунутом под мышками полотенце, Мересьева с двух сторон заботливо поддерживали Клавдия Михайловна и старый протезист. Постояв на месте, чувствуя с непривычки острую боль в местах прикрепления протезов, Мересьев неуверенно переставил сначала один, потом другой костыль, перенес на них тяжесть корпуса и подтянул сперва одну, потом другую ногу. Туго и хрустко заскрипела кожа, раздалось два тяжелых удара об пол: бум, бум.

— Ну, и в добрый час, в добрый час,— забормотал старый мастер.

Мересьев сделал еще несколько осторожных шагов, и дались они ему, эти первые шаги на протезах, с таким

трудом, что, дойдя до двери и обратно, он почувствовал, будто бы куль муки втащил на пятый этаж. Добравшись до койки, он повалился на нее грудью, весь мокрый от пота, не имея сил даже повернуться на спину.

— Ну, как протезы? То-то, благодари бога, что есть на свете мастер Зуев! — по-стариковски хвалился протезист, осторожно развязывая ремни, освобождая слегка уже отекавшие и опухшие с непривычки ноги Алексея. — На таких не только что летать, и до самого господа бога долететь можно. Работа!

— Спасибо, спасибо, старик, работа знатная, — бормотал Алексей.

Мастер молча потоптался, будто желая и не решаясь что-то спросить или, наоборот, сам ожидая вопроса.

— Ну, прощайте, коли так. Счастливо обнести, — сказал он, несколько разочарованно вздохнул и медленно двинулся к двери.

— Эй, мастер, — окликнул его Стручков, — на-ка вот, выпьешь по случаю «царских»-то протезов! — И он сунул в руку старику комок крупных кредиток.

— Ну, спасибо, спасибо, — оживился старик, — по такому случаю как не выпить! — Он солидно уложил деньги куда-то в задний карман, для чего загнул халат таким жестом, как будто это был фартук ремесленника. — Спасибо вам, выпьем, а уж протезы — будь здоров, на совесть. Мне Василий Васильевич говорит: «Особые нужны, Зуев, не подгадь!» Ну, а Зуев, само собой, разве подгадит! Вы ему при случае, Василь-то Васильевичу, отрапортуйте: дескать, довольны работой.

И старик удалился, кланяясь, что-то бормоча. А Мересев лежал, рассматривая валявшиеся подле кровати свои новые ноги, и чем больше он на них смотрел, тем больше они ему нравились и остроумностью конструкции, и мастерством работы, и легкостью: на лисапете ездить, польку-бабочку танцевать, на самолете летать аж до господа бога. «Буду, все буду, обязательно буду», — думал он.

В этот день Оле было отправлено пространное и веселое письмо, в котором он сообщал: работа его по приемке самолетов движется к концу, и надеется он, что начальство пойдет ему навстречу и, может быть, к осени, а в крайнем случае зимой направит его с нудной работы в осточертевшем тылу на фронт, в полк, где товарищи его не забыли и ждут. Это было первое радостное его

письмо со дня катастрофы, первое, в котором он писал невесте, что все время думает и тоскует по ней, и — правда, очень робко — выражал заветную мысль, что, может быть, встретятся они после войны и, если она не переменит своего мнения, проживут вместе. Он несколько раз перечел письмо и потом, вздохнув, тщательно вымарал последние строки.

Зато «метеорологическому сержанту» пошло письмо задорное и веселое, с красочным описанием этого дня, с изображением протезов, каких нешивал сам государь император, с описанием его, Мересьева, на протезах, делающего свои первые шаги, и старого болтуна-мастера, с рассказом о своих надеждах и на лисапете ездить, и польку-бабочку танцевать, и долететь до самого неба. «Так что ждите теперь меня там, в полку, не забывайте и скажите коменданту, чтобы на новом месте обязательно помещение мне оставил», — писал Мересьев и косился вниз, на пол. Протезы валялись так, что казалось — будто кто-то спрятался под кровать и лежит там, широко разбросав ноги, обутые в новые желтые ботинки. Алексей оглянулся, убедился, что никто за ним не следит, и ласково погладил холодную скрипучую кожу.

И еще в одном месте вскоре горячо обсудили появление «царских протезов» в сорок второй палате — на третьем курсе медицинского факультета Московского государственного университета. Вся женская часть, составлявшая в те времена подавляющее большинство этого курса, со слов Анюты была отлично осведомлена о делах сорок второй палаты. Анюта очень гордилась своим корреспондентом, и, увы, письма лейтенанта Гвоздева, отнюдь не рассчитанные на широкую гласность, читались вслух в выдержках, а иногда и целиком, за исключением особо интимных мест, которых, к слову сказать, по мере роста переписки становилось все больше и больше.

Весь третий курс медиков во главе с Анютой симпатизировал героическому Грише Гвоздеву, не любил вздорного Кукушкина, находил, что советский снайпер Степан Иванович чем-то похож на толстовского Платона Каратаева, преклонялся перед несокрушимым духом Мересьева и как свое личное несчастье воспринял смерть Комиссара, которого после восторженных отзывов Гвоздева все сумели оценить и по-настоящему полюбить.

Многие не удержались от слез, когда читалось письмо о том, как ушел из жизни этот большой и шумный человек.

Все чаще и чаще ходили письма между госпиталем и университетом. Молодые люди не довольствовались почтой, которая шла в те дни слишком медленно. Гвоздев привел как-то в письме слова Комиссара о том, что письма теперь доходят до адресата, как свет далеких звезд. Корреспондент может погаснуть, а письма его будут еще долго ползти и ползти, рассказывая адресату о жизни давно умершего человека. Деятельная и предприимчивая Анюта стала искать более совершенных средств связи и нашла их в лице пожилой сестры, которая имела две службы и работала в университетской клинике и в госпитале Василия Васильевича.

С тех пор университет узнавал о происшествиях в сорок второй палате на второй, самое большое — на третий день и мог быстро на них откликаться. В связи с «царскими протезами» в столовой завязался спор, будет Мересьев летать или нет. Спор молодой, горячий, в котором обе стороны одинаково симпатизировали летчику. Учитывая большую сложность управления истребителем, пессимисты говорили: нет. Оптимисты считали, что для человека, который, уходя от врагов, полмесяца лез ползком через лесную чащобу и прополз бог знает сколько километров, нет ничего невозможного. Для подкрепления своих доводов оптимисты вспоминали примеры из истории и книг.

В этих спорах Анюта не участвовала. Протезы неизвестного ей летчика не очень ее занимали. В редкие свободные минуты она обдумывала свои отношения с Гришей Гвоздевым, которые, как ей казалось, все более и более усложнялись. Сначала, узнав о командире-герое с такой трагической биографией, она написала ему, движимая бескорыстным желанием как-то смягчить его горе. Потом, по мере того как их заочное знакомство крепло, фигура абстрактного героя Отечественной войны уступила место настоящему, живому юноше, и юноша этот все больше и больше интересовал ее. Она заметила, что беспокоится и тоскует, когда от него нет писем. Это новое радовало и пугало ее. Что это, любовь? Разве можно полюбить человека только по письмам, ни разу его не видав, не слышав даже его голоса? В письмах танкиста становилось все больше и больше мест, которые

нельзя было читать однокурсникам. После того как сам Гвоздев признался ей однажды, что то же чувство, как он выразился, «заочной любви» овладело и им, Анюта убедилась, что она влюбилась, и влюбилась не по-детски, как это бывало в школе, а по-настоящему. Ей казалось, что жизнь потеряет для нее смысл, если перестанут приходить эти письма, которых она ждала теперь с таким нетерпением.

Так, не видя друг друга, объяснились они в любви. После этого с Гвоздевым стало твориться что-то странное. Письма его стали нервными, мятущимися, полными недомолвок. Потом, собравшись с духом, он написал ей, что это нехорошо, что они объяснились, не видя друг друга, что она, вероятно, не представляет себе, как сильно ожог обезобразил его, что он вовсе не похож на ту старую фотографию, которую послал ей. Он не хочет ее обманывать и просит прекратить писать о чувствах, пока она не увидит своими глазами, с кем имеет дело.

Девушка сначала возмутилась, потом испугалась. Вынула из кармана карточку. На нее смотрело тонкое юношеское лицо с упрямыми скулами, красивым прямым носом, с маленькими усиками и изящными губами. «А теперь? Какой-то ты теперь, милый ты мой, несчастный?» — шептала она, глядя на карточку. Как медик, она знала, что ожоги плохо рубцуются и оставляют глубокие, незаживающие следы. Ей почему-то на миг представился муляж головы человека после волчанки, который она видела в анатомическом музее. Точно вспаханное синими бороздами и буграми лицо с неровными, изъеденными губами, с клочками бровей и красными веками без ресниц. А что, если он такой? Девушка ужаснулась, даже побледнела, но тут же мысленно накричала на себя... Ну и что, если так? Он дрался с врагами на горящем танке, он защищал ее свободу, ее право учиться, ее честь и жизнь. Он — герой, он столько раз рисковал на войне и рвется обратно, чтобы снова драться и снова рисковать жизнью. А она? Что она сделала для войны? Рыла окопы, дежурила на крыше, работает теперь в эвакогоспитале? Разве это можно сравнить с тем, что сделал он?! «Я сама недостойна его за одни эти сомнения!» — кричала она на себя, невольно отгоняя страшное видение изуродованного шрамами лица.

Она написала ему письмо, самое нежное и самое

большое за всю их переписку. Об этих ее колебаниях Гвоздев, понятно, ничего не узнал. Получив в ответ на свои тревоги хорошее письмо, он долго читал и перечитывал его, поведал о нем даже Стручкову, на что тот, благосклонно выслушав, ответил:

— Не дрейфь, танкист: «нам с лица не воду пить, и с корявой можно жить», это, брат, когда сказано? То-то. А ныне, брат, и вовсе — нынче мужчина в большом дефиците.

Откровение это, понятно, не успокоило Гвоздева. Приближался срок его выписки, он все чаще гляделся в зеркало, то рассматривая себя издали, так сказать беглым, поверхностным взглядом, то приближая свое изуродованное лицо к самому стеклу, и часами разглаживал язвины и шрамы.

По его просьбе Клавдия Михайловна купила ему пудры и крема. Он сразу же убедился, что изъяны его никакой косметикой не скроешь. Однако ночью, когда все спали, он потихоньку ходил в уборную и там подолгу массировал багровые рубцы, засыпал их пудрой и снова массировал, а потом с надеждой смотрел в зеркало.

Издали он выглядел хоть куда — крепкий, широкоплечий, с узким тазом, на прямых поджарых ногах. Но вблизи! Красные шрамы на щеках и подбородке, рубчатая, стянутая кожа приводила его в отчаяние. Он со страхом думал: а как-то взглянет она? Вдруг ужаснется, вдруг поглядит на него, повернется и уйдет, пожав плечами. Или, что было бы хуже всего, побеседует с ним из вежливости часок-другой, а потом скажет что-нибудь такое официальное, холодное — и до свиданья. Гвоздев волновался, бледнел от обиды, как будто все это уже совершилось.

Тогда он выхватывал из кармана халата фотографическую карточку и испытующе смотрел на полную девушку с высоким лбом, с мягкими негустыми и пышными волосами, зачесанными назад, с толстеньким вздернутым, истинно русским носиком и нежными, детскими губами. На верхней губе темнело едва заметное родимое пятнышко. Немного выпуклые, должно быть серые или голубые, глаза смотрели на него с этого нехитрого и милого лица открыто и честно.

«Какая же ты есть? Ну, скажи: не испугаешься, не убежишь? Хватит у тебя сердца не заметить моего бе-

зобразия?» — точно спрашивал он ее, испытующе смотря на карточку.

Тем временем мимо него вдоль коридора, постукивая костылями и поскрипывая протезами, взад-вперед размеренно, неутомимо двигался старший лейтенант Мересьев. Прошел раз, прошел два, десять, пятнадцать, двадцать раз. Он бродил — по какой-то своей программе — утром и вечером, задавая себе уроки и с каждым днем удлиняя путь.

«Славный малый! — думал про него Гвоздев. — Упорный, упрямый. Экая силища воли у человека! За неделю научился быстро и ловко ходить на костылях. А у иных на это уходят месяцы. Вчера отказался от носилок и сам пошел в процедурную по лестнице. И дошел и поднялся обратно. Слезы текут по лицу, а он поднимается. И даже накричал на санитарку, которая хотела ему помочь. А как он сиял, когда самостоятельно добрался до верхней площадки! Точно взошел на Эльбрус».

Гвоздев отошел от зеркала и посмотрел вслед Мересьеву, быстро перебиравшему ногами и костылями. Ишь чешет! А какое у него хорошее, симпатичное лицо! Маленький шрамик, пересекающий бровь, несколько его не портит, даже придает какую-то значительность. Вот бы ему, Гвоздеву, сейчас такое лицо. Что ноги — ног не видать! Ходить и летать он, конечно, научится. Но лицо (куда денешься с эдакой вот брюквой!), на котором точно пьяные черти ночью горох молотили...

...Алексей Мересьев, совершавший в счет вечернего урока двадцать третий рейс вдоль коридора, всем своим усталым, измученным телом чувствовал, как отекли и горят бедра, как ноют занемевшие от костылей плечи. Проходя мимо Гвоздева, он косился на танкиста, стоявшего у стенного зеркала: чудак, ну чего он терзает свою бедную физиономию! Кинозвездой ему, конечно, теперь не стать, а танкистом — за милую душу... Велика беда — лицо, была бы голова цела, да руки, да ноги. Да, да, ноги, настоящие ноги, а не эти вот обрубки, которые болят и горят, точно протезы сделаны не из кожи, а из раскаленного железа.

Тук, тук. Скрип, скрип. Тук, тук. Скрип, скрип...

Закусив губы и сдерживая слезы, которые все-таки выжимала на глаза острая боль, старший лейтенант Мересьев с трудом совершал свой двадцать девятый рейс по коридору, заканчивая суточный урок.

Григорий Гвоздев вышел из госпиталя в середине июня.

За день или за два перед этим они хорошо поговорили с Алексеем, и оба как-то внутренне даже порадовались, что они товарищи по несчастью и у них обоих одинаково сложное состояние личных дел. Как бывает в таких случаях, оба без утайки рассказали друг другу свои опасения, поведали все, что каждому из них было вдвойне тяжело носить в себе, потому что гордость не позволяла ни с кем делиться своими сомнениями. Показали друг другу карточки девушек.

У Алексея была изрядно затертая и выгоревшая любительская фотография. Он сам снял Олю в тот прозрачный яркий июньский день, когда бегали они босиком по теплой траве в цветущей степи Заволжья. Худенькая, как девочка, в пестром своем платье, она сидела, поджав босые ноги, с рассыпанным букетом на коленях, в траве, среди цветущих ромашек, сама ясная, беленькая и чистая, как ромашка в утренней росе. Перебирая цветы, она задумчиво наклонила голову набок, и глаза у нее были раскрыты широко и восторженно, как будто в первый раз увидела она великолепие мира.

Посмотрев на фотографию, танкист заявил, что такая девушка в беде не бросит. Ну, а бросит — и черт с ней: значит, внешность у нее обманчивая, а тогда так и надо, даже к лучшему: значит, дрянь, а с дрянью разве можно связать свою жизнь!

Алексеем лицо Анюты тоже понравилось. Сам того не заметив, он изложил Гвоздеву своими словами то же, что только что услышал от него. Немудреная эта беседа никакой ясности, понятно, в личные дела их не внесла, но обоим стало легче, словно прорвался тяжелый, затяжной нарыв.

Условились они, что Гвоздев, выйдя из госпиталя, с Анютой, которая по телефону обещала ему зайти за ним, пройдет мимо окон палаты и Алексей тотчас же изложит танкисту в письме свое о ней впечатление. Гвоздев же, со своей стороны, обещал написать приятелю, как его Анюта встретит, как отнесется к его изуродованному лицу и как пойдут у них дела. Мересьев тотчас же загадал: если у Гриши все будет хорошо, он немедленно расскажет Оле в письме все о себе, взяв с нее слово не огор-

чать мать, которая все еще была слаба и еле поднималась с постели.

Вот почему оба они одинаково волновались, ожидая выписки танкиста. Волновались так, что не спали ночь, и ночью оба потихоньку вылезли в коридор — Гвоздев, чтобы еще раз помассировать шрамы перед зеркалом, а Мересьев, чтобы, обмотав для тишины концы костылей тряпками, лишний раз потренироваться в ходьбе.

В десять часов Клавдия Михайловна, лукаво улыбаясь, сообщила Гвоздеву, что за ним пришли. Точно ветер сдунул его с койки. Покраснев так, что рубцы на его лице стали еще заметнее, он стал быстро собирать вещи.

— Славная девушка, серьезная такая, — улыбаясь, говорила сестра, глядя на эти суматошные сборы.

Гвоздев весь так и засветился.

— Серьезно? Вам понравилась? Нет, правда хорошая? — Он так волновался, что убежал, позабыв проститься.

— Мальчишка! — буркнул майор Стручков. — Такие и на муху ловятся.

В последние дни с этим бесшабашным человеком стало твориться что-то неладное. Он стал молчалив, часто без повода раздражался и, получив теперь возможность сидеть на койке, целыми днями смотрел в окно, упершись кулаками в щеки, не отвечая на вопросы.

Вся палата: и помрачневший майор, и Мересьев, и двое новеньких высунулись в окно, ожидая появления товарища на улице. Было тепло. По небу быстро, меняя форму, ползли мягкие, пушистые облака со светящимися золотыми краями. Над рекой в этот момент торопливо проходила серенькая рыхлая тучка, рассеянно роняя по пути крупный, редкий, сверкавший на солнце дождь. Гранит набережной от этого блестел, как полированный, асфальт покрылся темными мраморными пятнами, и так славно тянуло от него парной влагой, что хотелось высунуться из окна и подставить голову под этот ласковый дождик.

— Идет! — прошептал Мересьев.

Тяжелая дубовая дверь подъезда медленно растворилась. Из нее вышли двое: полненькая девушка без шляпки, с простой прической, в белой блузке и темной юбке и молодой военный, в котором даже Алексей не сразу признал танкиста. В одной руке военный нес че-

модан, на другой руке шинель, и ступал он так легко и пружинисто, прочно, что было приятно смотреть на него. Должно быть, пробуя свои силы, радуясь возможности широко двигаться, он даже не сбежал, а как-то ловко соскользнул со ступенек подъезда, взял свою спутницу под руку, и они пошли по набережной, приближаясь к окну палаты, посыпаемые редким и крупным золотым дождем.

Алексей смотрел на них, и сердце его наполнялось радостью, обошлось хорошо, недаром у нее такое открытое, простое и милое лицо. Такая не отвернется. Ну да, такие не отворачиваются от человека в беде.

Они поравнялись с окном, остановились, подняв головы. Молодые люди стояли у отлакированного дождем гранитного парапета набережной, на фоне косых светящихся линий, оставляемых медленно летящими каплями. И тут заметил Алексей, что у танкиста на лице растерянность и напряженная тревога и что Анята его, и в самом деле такая же славная, как на фотографии, чем-то озадачена, смущена, что рука ее нетвердо лежит на руке танкиста и поза у нее взволнованная и нерешительная, точно вот-вот сейчас она выдернет эту руку и убежит.

Помахав руками, напряженно поулыбавшись, парочка тронулась по набережной и скрылась за поворотом. В палате все молча разбрелись по своим местам.

— А дела у Гвоздича не баские,— заметил майор и, услышав в коридоре стук каблуков Клавдии Михайловны, вздрогнул и резко отвернулся к окну.

Остаток дня Алексей чувствовал себя тревожно. Вечером он даже не занимался ходьбой, раньше всех завалился спать, но еще долго после того, как уснула палата, нервно скрипели пружины его койки.

На следующее утро он еще на пороге спросил сестру, не передали ли для него письмо. Письма не было. Он вяло умылся, вяло поел. Но хождением он занимался больше, чем обычно, и, наказывая себя за вчерашнюю слабость, проделал лишних пятнадцать рейсов в счет невыполненной вчера нормы. Это неожиданное достижение заставило его забыть все тревоги. Он доказал, что двигаться на костылях может свободно, не слишком утомляясь. Ведь если пятьдесят метров коридора помножить на сорок пять, по числу рейсов, то получалось две тысячи двести пятьдесят метров, или два с четвертью километра,— сколько было примерно от

офицерской столовой до аэродрома. Он мысленно прикинул в уме этот памятный путь, который вел мимо развалин старой сельской церкви, мимо кирпичного куба спаленной школы, уныло глядевшего на дорогу черными глазницами пустых окон, через лесок, где прятались накрытые еловыми ветками бензовозы, мимо землянок командного пункта, мимо маленькой дощатой будки, где над картами и схемами священнодействовал «метеорологический сержант». Немало, ей-богу, немало!

Мересьев решил увеличить дневной урок до сорока шести рейсов, по двадцать три утром и вечером, а завтра со свежими силами попробовать ходить без костылей.

Это сразу отвлекло его от тусклых мыслей, подняло в нем дух, настроило на деловой лад. Вечером он принялся за свои путешествия с таким подъемом, что почти не заметил, как перекатил за тридцать рейсов. Вот в эту-то минуту гардеробщица с вешалки и остановила его, появившись с письмом. Он взял маленький конвертик, адресованный: «Старшему лейтенанту Мересьеву в собственные руки». Слово «собственные» было подчеркнуто, и это не понравилось Алексею. На письме над обращением тоже стояло, опять подчеркнутое: «Только адресу».

Прислонившись к подоконнику, Алексей распечатал конверт, и по мере того как читал он это пространное послание, написанное Гвоздевым ночью на вокзале, мрачнее и мрачнее становилось его лицо. Писал Гвоздев, что Анюта оказалась именно такой, какой они ее представляли, что красивее ее, может быть, нет в Москве, что встретила она его, как родного, и еще больше ему понравилась.

«...Но то, о чем мы с тобой толковали, все так и получилось. Она хорошая. Она мне ничего не сказала и даже виду не подала. Все по-хорошему. Но ведь я-то не слепой, вижу — пугает ее моя проклятая рожа. Все как будто ничего, а вдруг оглянусь — замечу: смотрит на меня, и не то ей стыдно, не то страшно, не то жалко меня, что ли... Привела меня к себе в университет. Лучше бы мне туда не ходить. Окружили меня студентки, смотрят... Ты представляешь, они, оказывается, всех нас знают, Анюта им все про нас рассказывала... И вижу, она на них глядит как-то виновато: дескать, извините, что такое страшилище привела. А главное, Алеша, виду она

не показывает, ухаживает за мной, ласковая и все говорит, говорит, словно замолчать боится. Потом пошли к ней. Живет она одна, родители в эвакуации, семья, видать, почтенная. Стала чаем угощать, а сама все в чайник на мое отражение глядит и все вздыхает. Словом, чувствую: не могу, к чертям! Я ей прямо и сказал, так, мол, и так. «Вижу, внешность моя вам не по душе. Что ж, и правильно, понимаю, и не обижен». Она в слезы, а я говорю: «Не плачьте, вы девушка хорошая, вас любой полюбит, зачем себе жизнь портить». Потом я сказал ей: «Теперь вы меня видали, какой я есть красавец, и подумайте хорошенько, а я в часть поеду, адрес пришлю. Коли не передумаете, напишите». И сказал ей: «Не нвольте себя, был я — и нет меня: война». Она, конечно: «Нет, нет, что вы», — плачет. В это время объявили какую-то дурацкую воздушную тревогу, она вышла, а я под шумок утек — и прямо в офицерский полк. С ходу получил направление. Все хорошо, литер в кармане, еду. Только, Алеша, еще больше я в нее влюбился и уж как без нее дальше жить буду — не знаю».

Читал Алексей письмо друга, и ему казалось, что заглянул он в свое будущее. Вот именно так, наверно, произойдет и с ним. Оля не оттолкнет, не отвернется, нет, она вот так же великодушно захочет принести себя в жертву, будет улыбаться сквозь слезы, ласкать, подавляя в себе неприязнь.

— Нет, нет, не надо! Не надо! — вслух сказал Алексей.

Он быстро доковылял до палаты, сел за стол и единым духом написал Оле письмо, короткое, холодно-деловое. Он не решился написать правду — зачем? Мать больная, стоит ли обрушивать на нее еще одно горе. Он писал Оле, что много думал над их отношениями, что, наверно, ей тяжело ждать. Сколько еще времени продлится война? А годы идут, молодость уходит. Война же — такая вещь, что ожидания могут пройти впустую. А вдруг убьют его, и она овдовеет, не побывав даже женой, или того хуже: его искалечат и ей придется выйти замуж за инвалида. Зачем? Пусть она не пропускает молодости и скорее его позабудет. Она может ему не отвечать, он не обидится. Он понимает ее, хотя это и очень тяжело. Так будет лучше.

Письмо жгло руки. Не перечитывая, запечатал он его в конверт, быстро доковылял до синего почтового ящика,

висевшего в коридоре за сверкающим титаном с кипяченой водой.

Вернувшись в палату, он снова уселся за стол. Кому поведать свою тоску? Матери нельзя. Гвоздеву? Он, конечно, понял бы, да где он — ищи его теперь в бесконечной путанице множества фронтовых дорог. В полк? Но до него ли там счастливым, занятым обычными боевыми делами! «Метеорологическому сержанту!» Вот кому. И он стал писать, и писалось легко, как легко плачется на плече друга. Но вдруг оборвал на полуфразе, задумался, с ожесточением скомкал и разорвал написанное.

— «Нет мук страшнее муки слова», — насмешливо процитировал Стручков.

Он сидел на койке с письмом Гвоздева в руках, которое он, должно быть, по бесцеремонности своей взял с тумбочки Алексея и прочитал.

— Что это сегодня на всех напало?.. Гвоздев тоже, ой, дуралей! Девица поморщилась, горе какое!.. Развел психологию, тоже мне брат Карамазов... Не сердись, что прочел? Какие у нас, у фронтовиков, секреты!

Алексей не сердился. Он думал. А может быть, завтра подкараулить почтальона и взять у него письмо обратно?

Спал эту ночь Алексей тревожно, и снился ему то занесенный сугробами аэродром и неведомой конструкции самолет «Ла-5» с птичьими лапами вместе шасси; в кабину будто бы лез технарь Юра, лез и говорил, что Алексей «свое отлетал», теперь его очередь летать; то дед Михайла в белой рубахе и мокрых портках будто парил Алексея веником на соломе и все смеялся: перед свадьбой-де и запарить не грех. А потом, под самое утро, приснилась Оля. Сидела она на перевернутой лодке, опустив в воду загорелые и крепкие свои ножки, легкая, тоненькая, какая-то вся светящаяся. Будто она, загородившись ладошкой от солнца, смеялась, манила его к себе, а он будто плыл к ней, но течение, сильное и бурное, тянуло его назад от берега, от девушки. Он все сильнее работал руками, ногами, всеми мускулами и подплывал к ней все ближе, ближе и видел уже, как ветер треплет пряди ее волос, как сверкают капли воды на загорелой коже ее ног...

На этом он и проснулся, радостный, просветленный.

Проснулся и долго лежал с закрытыми глазами, стараясь снова заснуть и вернуть приятный сон. Но это удается только в детстве. Образ хрупкой загорелой девушки из сна как-то сразу осветил все. Не раздумывать, не раскидать, не разводиться, как говорил майор, достоевщину, а плыть к Оле, навстречу, плыть против течения, плыть вперед чего бы это ни стоило, положить все силы — и доплыть! А письмо? Он хотел было идти к ящику и караулить почтальона, но махнул рукой: пусть идет своей дорогой. Настоящей любви такое письмо не спугнет. Теперь, проверив, что любовь настоящая, что его ждут веселым и печальным, здоровым и больным — всяким, он ощущал большой подъем сил.

Утром он попробовал ходить без костылей. Осторожно спустился с кровати. Встал. Постоял, расставив ноги и беспомощно разведя руки для баланса. Потом, придерживаясь за стену руками, сделал шаг. Захрустела кожа протеза. Тело понесло в сторону, но он сбалансировал рукой. Сделал второй шаг, все еще не отрываясь от стены. Он никогда не думал, что ходить так трудно. В детстве, мальчишкой, он учился ходить на ходулях. Встанет на колодочки, оттолкнется спиной от стены — шаг, другой, третий, неудержимо тянет вбок, и он соскакивает, а ходули валяются в пыльную мураву, которой заросла окраинная улица. Но на ходулях легче, с них можно спрыгнуть. С протезов не спрыгнешь. И когда его на третьем шаге бросило в сторону и подвернулась нога, он грузно, ничком грохнулся на пол.

Для учебы он выбрал процедурный час, когда население палаты уносили в лечебные кабинеты. Он никого не позвал на помощь, подполз к стене, медленно, опираясь о нее, поднялся на ноги, пощупал ушибленный бок, посмотрел на синяк на локте, уже начавший багроветь, и, стиснув зубы, опять сделал шаг вперед, отделившись от стены. Теперь он, кажется, усвоил секрет. Его составные ноги отличались от обычных прежде всего отсутствием эластичности. Он не знал их свойств и не выработал в себе привычки, своего рода рефлекса, чтобы менять положение ног при хождении, переносить тяжесть с пятки на ступню, делая шаг, и снова перекладывать тяжесть корпуса на пятку следующей ноги. И, наконец, ставить ступни не параллельно, а под углом, носками врозь, что придает при передвижении большую устойчивость.



Все это приходит к человеку в раннем детстве, когда он под надзором матери делает первые неуклюжие шажки на мягких коротеньких ножках. Эти навыки запечатлеваются на всю жизнь, становятся естественным импульсом. Когда же человек надел протезы и естественные соотношения его организма изменились, этот с детства приобретенный импульс не помогает, а, наоборот, затрудняет движения. Выработывая новые навыки, приходится все время этот импульс преодолевать. Многие, лишившись ног, не обладая силой воли, до старости не могут снова постигнуть так легко дающееся нам в детстве искусство ходить.

Мересьев умел добиваться своего. Учтя ошибки, он снова оттолкнулся от стены и, отворачивая носок искусственной ноги в сторону, стал на пятку, потом перенес тяжесть корпуса на носок. Сердито скрипнул протез. В момент, когда тяжесть переходила на носок, Алексей резко оторвал от пола вторую ногу и выбросил ее вперед. Пятка тяжело грохнула об пол. Теперь, балансируя руками, он стоял среди комнаты, не решаясь на следующий шаг. Стоял, шатался, все время теряя равновесие и чувствуя, как холодный пот выступает у переносицы.

В таком виде и застал его Василий Васильевич. Он постоял в дверях, понаблюдал за Мересьевым, подошел и взял его под мышки:

— Браво, ползун! А почему один, без сестры, без санитаря? Гордыня человеческая... Ну ничего, во всяком деле важен первый шаг, теперь самое трудное сделал.

В последнее время Василия Васильевича сделали начальником очень высокого медицинского учреждения. Дело было большое, отнимало уйму времени. С госпиталем пришлось проститься. Но по-прежнему старик числился его шефом и, хотя хозяйничали в нем уже другие, ежедневно появлялся в палатах, когда находил время, делал обход, консультировал. Только лишился он навсегда после гибели сына прежней веселой и деятельной своей ворчливости, ни на кого больше не кричал, не сквернословил, и те, кто знал его близко, видели в этом признак быстро надвигающейся старости.

— Ну, Мересьев, давайте вместе учиться... А вы идите себе, идите, тут не цирк, нечего смотреть. Ну, докончите обход без меня,— цыкнул он на сопровождающих.— А ну, голубчик, давайте, раз... Да держитесь, дер-

житесь за меня, чего стесняться! Держитесь, я генерал, меня слушаться надо. Ну, два, так... Теперь на правую. Хорошо.левой. Здорово!

Знаменитый медик весело потер руки, как будто, уча человека ходить, совершал бог вещь какой важный медицинский эксперимент. Но такое уж было свойство его характера — увлекаться всем, за что бы он ни брался, и вкладывать в это свою большую, энергичную душу. Он заставил Мересьева пройти вдоль палаты, и, когда тот, совершенно измученный, брякнулся на стул, он поставил свой стул рядом с ним.

— Ну, а летать — как, будем? То-то. Ныне, батенька, война такая: люди с оторванной рукой роту в атаку ведут, смертельно раненные строчат из пулемета, доты вон грудью закрывают... Только вот мертвые не воюют... — Старик потускнел, вздохнул. — Да и те воюют, славой своей. Да... Ну-с, начнем, молодой человек.

Когда Мересьев отдыхал после второго рейса по палате, профессор вдруг показал на койку Гвоздева:

— А этот как, танкист? Ожил, выписался?

Мересьев сказал, что ожил, поехал воевать, только одна беда: лицо, в особенности нижнюю его часть, ожог изуродовал непоправимо.

— Уже написал? Уже разочарование, девушки не любят? Так посоветуйте ему усы и бороду. Серьезно. Еще прослышет оригиналом, девушкам это вполне может понравиться!

В дверь сунулась запыхавшаяся сестра и заявила, что звонят из Совнаркома. Василий Васильевич тяжело поднялся со стула, и по тому, как опирался он при этом о колени своими пухлыми синими шелушащимися руками, как тяжело разогнул он спину, стало особенно заметно, насколько подался он за последние недели. Уже в дверях он оглянулся и весело крикнул:

— Так обязательно напишите этому... как его, вашему другу, что я ему бороду прописал. Испытанное средство! Шумный успех у дам!

А вечером старый служитель клиники принес Мересьеву палку, великолепную старинную, черного дерева палку, с удобной ручкой из слоновой кости и с какими-то накладными монограммами.

— От профессора, от Василия Васильевича: свою собственную прислал в подарок. Вам ходить с палочкой велел.

Скучно было в госпитале в этот летний вечер. И в сорок вторую потянулись экскурсии. Соседи справа, слева, даже сверху приходили смотреть профессорский подарок.

Палка действительно была хороша.

15

Предгрозовое затишье на фронте затянулось. В сводках отмечались бои местного значения, поиски разведчиков. Раненых было мало, начальство разгрузило сорок вторую палату, оставив в ней две койки: справа мересьевскую и слева, у окна, выходившего на набережную, майора Стручкова.

Поиск разведчиков! Мересьев и Стручков были опытные воины, и они знали: чем больше эта пауза, чем длительнее это напряженное затишье, тем крепче и сильнее грянет гроза.

Однажды в сводке промелькнуло сообщение, что где-то на южном участке фронта снайпер Герой Советского Союза Степан Ивушкин убил двадцать пять немцев, доведя общий счет уничтоженных им врагов до двухсот. Пришло письмо от Гвоздева. Он не писал, конечно, ни где он, ни что с ним, но сообщал, что снова попал в хозяйство своего прежнего командира Павла Алексеевича Ротмистрова, что жизнью доволен, что там масса черешни, что все они объедаются ею, и просил Алексея, если он получит это письмо, черкнуть пару слов Анюте. Он тоже ей пишет, да кто знает, доходят ли до нее его письма, так как он все время на марше и местопребывание постоянно меняется.

Военному человеку даже по этим двум весточкам о друзьях стало ясно, что гром грянет где-то на юге. Конечно, Алексей и Анюте написал и Гвоздеву послал профессорский совет насчет бороды, только знал он, что тот теперь находится в состоянии той самой предбоевой военной лихорадки, которая так трудна и в то же время так дорога каждому воину, и теперь Гвоздеву не до бороды, а может быть, и не до Анюты.

Случилось в сорок второй и еще одно радостное происшествие. Был опубликован Указ, которым майору Стручкову Павлу Ивановичу присваивалось звание Героя Советского Союза. Но и эта большая радость не надолго взбодрила майора. Он продолжал хмуриться. Уг-

нетало его, что из-за этих «чертовых чашечек» он должен лежать в такое горячее время. Была для хандры и другая причина, которую он тщательно скрывал и которая открылась Алексею совершенно неожиданно.

Теперь, когда Мересьев всей силой своей воли устремился к одной цели — научиться ходить, — он плохо замечал, что творится вокруг него. День свой он рассчитал по строгому графику. Три часа в день — по часу утром, в полдень и вечером — проводил на протезах, расхаживая по коридору. Сначала больных раздражала фигура в синем халате, бесконечно, с методичностью маятника мелькавшая в дверях палат, и равномерный скрип протезов, тягуче разносившийся в коридорных просторах. Потом к этому так привыкли, что как-то и не мыслили определенных часов суток без этой маячащей фигуры, и, когда Мересьев однажды заболел гриппом, из соседних палат в сорок вторую пришли гонцы узнать, что случилось с безногим лейтенантом.

По утрам Алексей делал зарядку, а потом, сидя на стуле, тренировал ноги для управления самолетом. Иной раз он упражнялся до одури, до того, что начинало звенеть в ушах, перед глазами мельтешили сверкающие зеленые круги и пол начинал качаться под ногами. Тогда он шел к рукомойнику, мочил голову, потом отлеживался, чтобы прийти в себя и не пропустить часа ходьбы и гимнастики.

На этот раз, находившись до головокружения, он, не видя ничего перед собой, нащупал дверь и тихо опустился на свою койку. Только тогда проникли в его сознание голоса: ровный, чуть-чуть насмешливый — Клавдии Михайловны и бурный, обиженный — майора Стручкова.

Оба были так увлечены разговором, что и не заметили, как вошел Мересьев.

— Да поймите же меня, я серьезно говорю! Доходит это до вас? Женщина вы или нет?

— Женщина, конечно, только ничего до меня не доходит, и серьезно на эту тему вы говорить не можете. Да и не нужна она мне, ваша серьезность.

Стручков вышел из себя. Резко, будто выкрикивая ругательство, он закричал на всю палату:

— Да люблю же я вас, черт возьми! Надо же не женщиной, а поленом осиновым быть, чтобы этого не видеть! Ну, дошло? — Он отвернулся, забарабанил пальцами по окну,

Клавдия Михайловна тихо пошла к двери — неслышной, осторожной походкой опытной медицинской сестры.

— Стойте, куда вы? Ну, что вы мне ответите?

— Здесь не время и не место об этом разговаривать. Я на работе.

— Что вы крутите? Что вы жилы из меня тянете? Отвечайте! — В голосе майора слышалась тоска.

Клавдия Михайловна остановилась в дверях. Ее стройная фигурка четко вырисовывалась на фоне темного коридора. Мересьев и не подозревал, что эта тихая и немолодая уже сестра может быть такой по-женски сильной и привлекательной. Она стояла, закинув голову, и словно с пьедестала смотрела на майора:

— Хорошо, я вам отвечу. Я не люблю вас и, вероятно, никогда не смогла бы полюбить.

Она ушла. Майор бросился на кровать и сунул голову в подушку. Мересьеву стали понятны все стручковские чудачества последних дней — его вспыльчивость, нервозность, когда в комнате появлялась сестра, резкие переходы от веселости к вспышкам бешеного гнева.

Он, должно быть, действительно страдал. Алексею было его жалко, и в то же время он был доволен. Когда майор поднялся с койки, Алексей не удержался от удовольствия пошутить:

— Что ж, разрешите плюнуть, товарищ майор?

Если бы он знал, что произойдет, он никогда, даже в шутку, не сказал бы этого. Майор подбежал к его койке и отчаянным каким-то голосом крикнул:

— Плюй! Ну, плюй, и будешь прав. Есть за что. Не хочешь?.. Что же теперь делать-то буду, а? Ну что, научи, скажи — ты ведь слышал... — Он сел на койку и закачался, стиснув голову кулаками. — Наверно, думаешь — легкое развлечение? Легкое! Я же всерьез, я же ей предложение, дура, сделал!

Вечером Клавдия Михайловна пришла в палату с назначениями. Она была, как всегда, тихая, ласковая, терпеливая. Казалось, что вся она излучает покой. Майору она тоже улыбалась, но посматривала на него с некоторым изумлением и опаской.

Стручков сидел у окна, сердито кусая ногти. Когда шаги Клавдии Михайловны, удаляясь, застучали по коридору, он проводил ее сердитым и восхищенным взглядом:

— «Советский ангел»... И какой дурак дал ей такое прозвище! Это же черт в халате!

Вошла сестра из канцелярии, тощая пожилая женщина.

— Мересьев Алексей — ходячий? — осведомилась она.

— Бегающий, — буркнул Стручков.

— Я пришла сюда не для шуток! — строго заметила сестра. — Мересьева Алексея, старшего лейтенанта, зовут к телефону.

— Барышня? — оживился майор, подмигивая в сторону сердитой сестры.

— Я ей в паспорт не смотрела, — проскрипела та, величественно выплывая из палаты.

Мересьев соскочил с койки. Бодро постукивая палкой, он опередил сестру и действительно бежал по коридору. Он уже около месяца ждал ответа от Оли, и у него мелькнула нелепая мысль: а что, если она? Этого не могло быть: в такое время приехать из-под Сталинграда в Москву! Да и как она могла найти его тут, в госпитале, когда он ей писал, что работает в тыловой организации, и не в Москве, в пригороде.

Но в эту минуту Мересьев верил в чудо и, даже сам не замечая того, бежал, в первый раз по-настоящему бежал на протезах, изредка опираясь на палку, переваливаясь с боку на бок, и протезы скрипели: скрип, скрип, скрип...

В телефонной трубке звенел грудной, приятный, но совершенно незнакомый голос. Его спросили, он ли старший лейтенант Алексей Петрович Мересьев из сорок второй палаты.

Сердито и резко, как будто в вопросе этом содержалось что-то для него обидное, Мересьев крикнул в трубку:

— Да!

Голос в трубке на минуту осекся. Потом с заметным напряжением холодно извинился за беспокойство.

— Говорит Анна Грибова. Я знакомая вашего друга, лейтенанта Гвоздева, вы меня не знаете, — с некоторым усилием произнесла девушка, явно обиженная неласковым ответом.

Но Мересьев, схватившись обеими руками за трубку, уже кричал в нее что есть мочи:

— Вы Анюта? Та самая? Нет, я вас отлично знаю, отлично! Гриша мне...

— Где он, что с ним? Он сорвался так внезапно. Я вышла из комнаты по тревоге. Я санпост. Вернулась — никого нет, ни записки, ни адреса. Я ничего не понимаю, где он, почему исчез, что с ним... Алеша, дорогой, вы меня извините, что я вас так называю, я вас тоже знаю и очень волнуюсь, где он, почему так внезапно...

У Алексея стало тепло на душе. Он был рад за друга. Значит, этот чужак ошибся, переосторожничал. Вот действительно брат Карамазов! Значит, не пугают настоящих девушек увечья война. Значит, и он, да, он, может рассчитывать, что его вот так же взволнованно будут искать! Все это с быстротой тока неслось в его голове в то время, как он, захлебываясь, кричал в трубку:

— Анята! Все в порядке, Анята! Досадное недоразумение. Он жив-здоров и воюет. Ну да! Полевая почта 42531-В. Он бороду отращивает, Анята, ей-богу, роскошная борода, как у... как у... как у... партизана. Она к нему очень идет.

Бороду Анята не одобрила. Она сочла ее лишней. Еще более обрадованный, Мересьев заявил, что, раз так, Гриша ее одним махом сбреет ко всем чертям, хотя все находят, что борода его очень красит.

В общем, они повесили трубки друзьями, сговорившись, что перед выпиской Мересьев обязательно ей позвонит.

Возвращаясь в палату, Алексей вспомнил, что к телефону он бежал, попробовал бежать — и не вышло. От резких ударов протеза об пол острая боль пронзила все его тело. Ну ничего: не сегодня — завтра, не завтра — послезавтра, а он побежит, черт возьми! Все будет хорошо! Он не сомневался, что снова станет и бегать, и летать, и воевать, и, любя зарю, дал себе зарок: после первого воздушного боя, после первого сбитою немца написать Оле обо всем. Будь что будет!

Часть третья

1

В разгар лета 1942 года из тяжелых дубовых дверей госпиталя в Москве, опираясь на крепкую, черного дерева палку, вышел коренастый молодой человек в от-

крытом френче военного летчика, в форменных брюках навывпуск, с тремя кубиками старшего лейтенанта на голубых петлицах. Его провожала женщина в белом халате. Косынка с красным крестом, какие носили сестры милосердия в прошлую мировую войну, придавала ее добродушному, миловидному лицу немного торжественное выражение. На площадке подъезда они остановились. Летчик снял мятую, выгоревшую пилотку и неловко поднес к губам руку сестры, а та взяла ладонями его голову и поцеловала в лоб. Потом, слегка переваливаясь, он быстро спустился по ступенькам и, не оглядываясь, пошел по асфальту набережной мимо длинного здания госпиталя.

Раненые в синих, желтых, коричневых пижамах махали ему из окон руками, палками, костылями, что-то кричали, что-то советовали, напутствуя его. Он тоже махал им рукой, но видно было, что стремился он как можно скорее уйти от этого большого серого здания и отворачивался от окон, чтобы скрыть свое волнение. Он шел быстро, странной, прямой, подпрыгивающей походкой, легко опираясь на далку. Если бы не тихий скрип, отмечавший каждый его шаг, никому и в голову не пришло бы, что у этого стройного и крепко сбитого подвижно-го человека ампутированы ноги.

Алексея Мересьева направили после госпиталя долечиваться в санаторий Военно-Воздушных Сил, находившийся под Москвой. Туда же ехал и майор Стручков. Из санатория за ними выслали машину. Но Мересьев убедил госпитальное начальство, что в Москве у него родственники, не навестив которых он не может уехать. Он оставил вещевой мешок Стручкову и ушел из госпиталя пешком, обещав добраться до санатория вечером на электричке.

Родственников у него в Москве не было. Но уж очень хотелось ему посмотреть столицу, не терпелось попробовать свои силы в самостоятельной ходьбе, потолкаться в шумной толпе, которой до него не было никакого дела. Он позвонил Аняте и попросил, если она сможет, встретиться с ним часов в двенадцать. Где? Ну, где же?.. Ну, у памятника Пушкину, что ли... И вот теперь он шел один по набережной величавой, закованной в гранит реки, которая сверкала на солнце чешуей мелкой ряби, и жадно вдыхал всей грудью теплый летний, пахнувший чем-то очень знакомым, приятно сладким воздухом.

Как же кругом хорошо!

Все женщины казались ему красивыми, зелень деревьев поражала яркостью. Воздух был так свеж, что от него, как от хмеля, кружилась голова, и так прозрачен, что терялись перспективы, и казалось: протяни руку — и можно дотронуться до этих старых зубчатых, никогда не виданных им в натуре кремлевских стен, до купола Ивана Великого, до громадной пологой арки моста, тяжелым изгибом повисшей над водой. Томный, сладковатый запах, висевший над городом, напоминал детство. Откуда он? Почему так взволнованно бьется сердце и вспоминается мать, не теперешняя, худенькая старушка, а молодая, высокая, с пышными волосами? Ведь они же с ней ни разу не бывали в Москве.

До сих пор Мересьев знал столицу по фотографиям в журналах и газетах, по книгам, по рассказам тех, кто побывал в ней, по протяжному звону старинных курантов в полночь, пронсящему над засыпающим миром, по пестрому и яркому шуму демонстраций, бушевавшему в радиорепродукторе. И вот она перед ним раскинулась, разомлевшая в ярком летнем зное, просторная и прекрасная.

Алексей прошел по пустынной набережной вдоль Кремля, отдохнул у прохладного гранитного парапета, глядя в серую, затянутую радужной пленкой воду, плескавшуюся у подножия каменной стены, и медленно стал подниматься на Красную площадь. Цвели липы. Среди асфальта улиц и площадей в подстриженных кронах желтевших нехитрыми, сладко пахнущими цветами, деловито гудели пчелы, не обращая внимания ни на гудки проезжавших машин, ни на дребезжанье и скрежет трамваев, ни на жаркое, пахнущее нефтью марево, дрожащее над раскаленным асфальтом.

Так вот ты какая, Москва!

После четырехмесячного лежания в госпитале Алексей был так поражен ее летним великолепием, что не сразу заметил: столица была одета в военную форму и находилась, как говорят летчики, в готовности номер один, то есть в любую минуту могла подняться на борьбу с врагом. Широкая улица у моста была преграждена большой уродливой баррикадой, сделанной из бревенчатых клеток, заполненных песком; как забытые ребенком на столе кубики, по углам моста возвышались квадраты четырехамбразурных бетонных дотов. На серой глади

Красной площади разноцветными красками намалеваны дома, газоны, аллеи. Окна магазинов на улице Горького забиты щитами, засыпаны песком. А в переулках, тоже похожие на игрушки, рассыпанные и забытые своевольным дитятей, лежали сваренные из рельсов ржавые ежи. Военному человеку, попавшему сюда с фронта, да еще не знавшему раньше Москвы, все это не очень бросалось в глаза. Изумляли только странная раскраска некоторых домов и стен, напоминая нелепые картины футуристов, да еще «Окна ТАСС», смотревшие на прохожих с заборов, с витрин, словно соскочившие на улицы со страниц Маяковского.

Поскрипывая протезами и уже тяжелее опираясь на палку, изрядно уставший, Мересьев шел вверх по улице Горького и с удивлением искал глазами ямы, язвы, расколотые бомбами дома, зияющие провалы, выбитые окна. Живя на одном из самых западных военных аэродромов, он почти каждую ночь слышал, как над землянкой эшелон за эшелоном плыли на восток немецкие бомбардировщики. Не успевала смолкнуть вдали одна волна, как наплывала другая, и воздух иной раз гудел всю ночь. Знали летчики: фриц идет на Москву. И представляли себе, какой там должен быть сейчас ад.

И вот теперь, рассматривая военную Москву, Мересьев искал глазами следы налетов, искал и не находил. Ровны были асфальтовые мостовые, непо потревоженными шеренгами стояли дома. Даже стекла в окнах, хотя и залепленные сетками бумажных полосок, за редким исключением, были целы. Но фронт был близко, и это угадывалось по озабоченным лицам жителей, из которых половина были военные, в пыльных сапогах, в мокрых от пота, липших к плечам гимнастерках, с «сидорами», как тогда звали вещевые мешки, за плечами. Вот на залитую солнцем улицу вырвалась из переулка длинная колонна пыльных грузовиков с помятыми крыльями, с простреленными стеклами кабин. Запыленные бойцы в плащ-палатках, развевавшихся за плечами, сидя в расхлябанных деревянных кузовах, с интересом оглядывались кругом. Колонна двигалась, обгоняя троллейбусы, легковые машины, трамваи, как живое напоминание о том, что неприятель здесь, близко. Мересьев проводил колонну долгим взглядом. Вот прыгнуть бы в этот пыльный кузовок, а к вечеру, глядишь, был бы уже на фронте, на родном аэродроме! Он представил себе свою

землянку, в которой они жили вместе с Дегтяренко, нары, устроенные на козлах из елок, острый запах смолы, хвои и бензина от самодельной лампы, сделанной из сплющенного сверху снарядного стакана, вой прогреваемых моторов по утрам и не затихавший ни днем, ни ночью шум сосен над головой. Землянка эта представилась покойной, уютной, настоящим домом. Эх, поскорее бы туда, в эти болота, которые летчики проклинали за сырость, за толкость грунта, за непрерывный комариный звон!

До памятника Пушкину Алексей еле дошел. По пути он несколько раз отдыхал, опираясь обеими руками на палку и делая вид, что рассматривает какие-то пустячки, выставленные в запыленных витринах промтоварных магазинов. С каким удовольствием он сел... нет, не сел, а повалился на теплую, разогретую солнцем зеленую скамью недалеко от памятника, повалился и вытянул ноющие, затекшие, натертые ремнями ноги. Но радостное настроение не схлынуло, несмотря на усталость. Уж очень хорош был этот яркий день! Бездонно было небо, простиравшееся над каменной женщиной, стоящей на угловой башне крайнего дома. Мягкий, ласковый ветерок тянул вдоль бульвара свежий и сладкий запах цветущих лип. Задорно звенели и дребезжали трамваи, и славно смеялись маленькие москвичи, бледные, худенькие, сосредоточенно рывшиеся в теплом и пыльном песке у подножия памятника. Чуть поодаль, в глубине бульвара, за веревочной изгородью, под конвоем двух румяных девах в щеголеватых гимнастерках серебрилась огромная сигара азростата, и этот атрибут войны показался Мересьеву не ночным сторожем московского неба, а большим и добродушным зверем, бежавшим из зоопарка и дремавшим сейчас на бульваре в холодке под цветущими деревьями.

Мересьев зажмурил глаза, подставляя улыбающееся лицо солнцу.

Сначала малыши не обратили внимания на летчика. Они напоминали воробьев на подоконнике сорок второй палаты. Под веселый их щебет Алексей всем своим существом впитывал солнечное тепло и уличный шум. Но вот один босой мальчуган, удирая от приятеля, споткнулся о вытянутые ноги летчика и полетел в песок.

На мгновенье круглая рожица его исказилась плаксивой гримасой, потом на ней появилось озадаченное

выражение, сменившееся настоящим ужасом. Мальчуган вскрикнул и, со страхом глянув на Алексея, пустился прочь. Вся ребячья стайка собралась возле него и что-то долго тревожно чирикала, искоса поглядывая на летчика. Потом медленно и опасливо она стала приближаться.

Поглощенный своими думами, Алексей не видел всего этого. Он заметил мальчуганов, смотревших на него с удивлением и страхом, и только тогда до сознания его дошел их разговор.

— И все ты, Витамин, врешь! Летчик как летчик, старший лейтенант,— серьезно заметил бледный и худой паренек лет десяти.

— И не вру. Провалиться мне, честное пионерское,— деревянные! Говорю вам: не настоящие, а деревянные,— оправдывался круглолицый Витамин.

Мересьева точно в сердце укололи. И сразу не так уж ярко и весело показался ему день. Он поднял глаза, и от взгляда его ребята попятились, продолжая смотреть ему на ноги. Задетый за живое, Витамин задорно напирал на худенького:

— Ну, хочешь, спрошу? Думаешь, струшу? Давай на спор!

Он вдруг отделился от стайки и, осторожно ступая, готовый каждую минуту сорваться, как это делал воробей Автоматчик, стал боком приближаться к Мересьеву.

— Дяденька старший лейтенант...— сказал он, весь напрягаясь, как бегун на старте перед рывком.— Дяденька, у вас какие ноги — настоящие или деревянные? Вы инвалид?

И тут он, этот похожий на воробья мальчуган, заметил, что карие глаза летчика заплывают слезами. Если бы Мересьев вскочил, заорал на него, бросился бы за ним, размахивая своей диковинной палкой с золотыми буквами, это не произвело бы на него такого впечатления. Не умом — нет, воробьиным своим сердчишком мальчуган почувствовал, какую боль он причинил этому смуглому военному, сказав слово «инвалид». Он молча отступил в притихшую толпу приятелей, и та тихо исчезла, точно растаяла в знойном душистом воздухе, пахущем медом и разогретым асфальтом.

Кто-то назвал его по имени. Он сразу вскочил. Перед ним была Аня. Он сразу узнал ее, хотя в жизни она была не такая хорошенькая, как на фотографии.

У нее было бледное, усталое лицо, она была в полувоенной форме — гимнастерке и сапогах. Старенькая пилотка пирожком лежала у нее поверх прически. Но глаза, зеленоватые выпуклые глаза, смотрели на Мересьева так светло и просто, излучали такое дружелюбие, что неизвестная эта девушка показалась давно знакомой, точно выросли они с ней на одном дворе.

Мгновение они молча изучали друг друга.

— Я вас совсем другим себе представляла.

— Каким же это?..— Мересьев чувствовал, что не в силах согнать с лица не очень уместную улыбку.

— Да таким... как бы это сказать... героическим, высоким, ну, сильным, что ли, с такой вот челюстью и с трубкой, обязательно с трубкой... Мне Гриша о вас столько писал...

— Вот Гриша ваш — это действительно герой! — перебил ее Алексей и, увидев, как девушка просияла, продолжал, подчеркивая слова «у вас», «ваш»: — Он у вас настоящий человек. Я — что, а он, ваш-то Гриша, он, наверно, вам ничего о себе не рассказывал...

— Знаете что, Алеша... Вас можно называть Алешей? Я так привыкла по его письмам... У вас дел больше в Москве нет? Да? Пойдемте ко мне, я уже отдежурила, у меня целые сутки свободные. Пойдемте! У меня есть водка. Вы любите водку? Я вас угощу.

На миг откуда-то из глубины памяти глянуло на Алексея и подмигнуло ему хитрое лицо майора Стручкова: дескать, видишь, живет одна, водка, ага! Но Стручков был так посрамлен, что Алексей ему теперь ни на грош не верил. До вечера оставалось много времени, и они пошли по бульвару, весело болтая, как старые добрые друзья. Ему было приятно, что девушка эта еле сдержалась, кусая губы, когда он рассказывал о том, какая беда постигла Гвоздева в начале войны. Зеленоватые глаза ее светились, когда он описывал его военные приключения. Как она гордится им! Как, вся зардевшись, выспрашивает о нем всё новые и новые подробности! Как негодует, рассказывая о том, что Гвоздев ни с того ни с сего прислал ей вдруг свой денежный аттестат! И почему он так неожиданно сорвался и уехал? Не предупредил, не оставил записки, не дал адреса. Военная тайна? Но какая же это военная тайна, когда человек уезжает не простившись и потом ничего не пишет?

— Кстати, почему вы мне по телефону так стара-

тельно подчеркивали, что он отращивает бороду? — спросила Аня, испытующе взглянув на Алексея.

— Так, сбрехнул, чепуха,— попытался уклониться Мересьев.

— Нет, нет, скажите! Я не отстану, скажите. Это тоже военная тайна?

— Какая же тут тайна! Да просто это профессор наш Василий Васильевич ему... прописал, чтобы он девушкам... чтобы он одной девушке больше нравился.

— Ах, вот что, теперь я все понимаю. Та-а-а-ак!

Аня как-то сразу потускнела, стала старше, точно выключился свет в выпуклых зеленоватых глазах, вдруг стали заметнее бледность ее лица, крохотные, точно иголкой прочерченные морщинки на лбу и у глаз. И вся она, в старенькой гимнастерке, с выгоревшей пилоткой на темно-русых гладких волосах, показалась Алексею очень усталой и утомленной. Только яркий, сочный маленький ее рот с едва приметным пушком и крохотной родинкой-точкой над верхней губой говорил, что девушка совсем еще молода, что вряд ли ей стукнуло и двадцать лет.

В Москве, бывает, идешь, идешь по широкой улице, под сенью красавцев домов, а потом свернешь с этой улицы, сделаешь в сторону шагов десять — и перед тобой старый пузатый домик, вросший в землю и смотрящий тусклыми от старости стеклами маленьких окон. В таком вот домике и жила Аня. Они поднялись по узкой, тесной лесенке, на которой пахло кошками и керосином, во второй этаж. Девушка открыла ключом дверь. Перешагнув через стоящие меж дверьми, на холодке, сумки с провизией, миски и котелки, они вошли в темную и пустую кухню, через нее — в коридорчик, заставленный и завешанный, и оказались у небольшой двери.

Худенькая старушка высунулась из двери напротив.

— Анна Даниловна, там вам письмо,— сказала она и, проводив молодых людей любопытным взором, скрылась.

Отец Ани был преподавателем. Вместе с институтом эвакуировались в тыл и родители Ани. Две маленькие комнаты, тесно, как мебельный магазин, заставленные старинной мебелью в полотняных чехлах, остались на попечении девушки. От мебели, от старых шерстяных портьер и пожелтевших занавесей, картин,

олеографий, от статуэток и вазочек, стоявших на пианино, тянуло духом сырости и запустения.

— Вы извините, я на казарменном положении: из госпиталя хожу прямо в университет, а сюда так, навещаюсь,— сказала Аня, краснея, и поспешно вместе со скатертью стянула со стола всяческий мусор.

Она вышла, вернулась, постелила скатерть и аккуратно одернула края.

— А если домой вырвешься, так устанешь, что еле дойдешь до дивана и спишь не раздеваясь. Уж где тут убираться!

Через несколько минут уже пел электрический чайник. На столе сверкали старые, с вытертыми боками фасонистые чашки. На фаянсовой доске лежал нарезанный лепестками черный хлеб, в вазе на самом доннышке виднелся мелко-мелко крошенный сахар. Под вязаным, тоже прошлого века, чехлом с шерстяными помпонами вызревал чай, источая приятный аромат, напоминающий о довоенных временах, а посреди стола сверкала голубизной непочатая бутылка под конвоем двух тоненьких рюмок.

Мересьев был усажен в глубокое бархатное кресло. Из зеленой бархатной обивки вылезло столько мочала, что ее не в силах были скрыть вышитые шерстью дорожки, аккуратно приколотые к сиденью и спинке. Но было оно таким уютным, так ловко и ласково обнимало оно человека со всех сторон, что Алексей тотчас же развалился на нем, блаженно вытянув затекшие, горящие ноги.

Аня села возле него на маленькую скамеечку и, глядя снизу вверх, как девочка, снова начала расспрашивать его о Гвоздеве. Потом вдруг спохватилась, ругнула себя, захопотала, потащила Алексея к столу.

— Может быть, выпьете, а? Гриша говорил, что танкисты, ну, конечно, и летчики...

Она придвинула к нему рюмку. Водка голубовато сверкала в ярких солнечных лучах, пересекавших комнату. Запах спирта напоминал далекий лесной аэродром, командирскую столовку, веселый гул, сопровождавший выдачу за обедом «нормы горячего». Заметив, что вторая рюмка пуста, он спросил:

— А вы?

— Я не пью,— сказала Аня просто.

— А если за него, за Гришу?

Девушка улыбнулась, молча налила себе рюмку; держа ее за тонкую талию, задумчиво чокнулась с Алексеем.

— За его удачу! — решительно сказала она, лихо опрокинула рюмку в рот, но тотчас же поперхнулась, закашлялась, покраснела и еле отдышалась.

Мересьев почувствовал, как с непривычки водка ударила ему в голову, разлилась по телу теплом и покоем. Он налил еще. Анюта решительно затрясла головой.

— Нет-нет, я не пью, вы же видели.

— А за мою удачу? — сказал Алексей. — Анюта, если бы вы знали, как мне нужна удача!

Как-то очень серьезно посмотрев на него, девушка подняла рюмку, ласково кивнула ему головой, тихо пожала ему руку у локтя и снова выпила. Задохнувшись, она еле откашлялась.

— Что я делаю? После круглосуточного дежурства! Это только за вас, Алеша. Вы же... мне Гриша много о вас писал... Я очень, очень хочу вам удачи! И у вас удача будет, обязательно, слышите — обязательно! — Она рассмеялась звонким, рассыпчатым смехом. — Что же вы не кушаете? Кушайте хлеб. Не стесняйтесь, у меня еще есть. Это вчерашний, а сегодняшний я еще не получала. — Улыбаясь, она придвинула ему фаянсовую дощечку с тоненькими лепестками хлеба, нарезанного, как сыр. — Да кушайте, кушайте, чудак, а то охмелеете, что с вами будет?

Алексей отодвинул от себя дощечку с лепестками хлеба, глянул Анюте прямо в зеленоватые ее глаза и на ее маленький, пухлый, с яркими губами рот.

— А что бы вы сделали, если бы я вас сейчас поцеловал? — спросил он глухим голосом.

Она испуганно глянула на него, сразу, должно быть, отрезвев, даже не гневно, нет, а изучающе и разочарованно, как человек смотрит на осколок битого стекла, который минуту назад издали сверкал и мнился ему драгоценным камнем.

— Вероятно, выгнала бы вас и написала бы Грише, что он плохо разбирается в людях, — холодно сказала она, вновь настойчиво придвигая ему хлеб. — Закусите, вы пьяны.

Мересьев просиял:

— Вот это правильно, вот за это спасибо вам, умница! От всей Красной Армии спасибо! Я напишу Гри-

ше, что он хорошо, он здорово разбирается в людях.

Они проболтали часов до трех, пока пыльные сверкающие столбы, пронизавшие комнату наискосок, не стали забираться на стену. Пора было на поезд. С какой-то грустью Алексей встал с удобного зеленого кресла, унося на френче обрывок мочала. Аня пошла его провожать. Они шли под руку, и, отдохнув, ступал он так уверенно, что девушке подумалось: полно, так ли, не шутил ли Гриша, говоря, что у приятеля нет ног? Аня рассказывала Алексею об эвакуационном госпитале, где она вместе с другими медичками работала теперь по сортировке раненых, о том, как им сейчас трудно, потому что с юга каждый день прибывает по нескольку эшелонов, и о том, какие эти раненые чудесные люди, как стойко переносят они страдания. Вдруг на полужизне она перебила себя и спросила:

— А вы серьезно сказали, что Гриша отращивает бороду? — Она помолчала, задумалась, потом тихо прибавила: — Я все поняла. Скажу вам честно, как папе: ведь действительно сначала тяжело смотреть на эти его шрамы. Нет, не тяжело — это не то слово, а немножко страшно, что ли... нет, и не страшно, это тоже не то... Я не знаю, как сказать. Вы меня поняли? Это, может быть, нехорошо... Что сделаешь! Но бежать, бежать от меня — чудак, господи, какой страшный чудак! Если будете ему писать, напишите, что он меня очень, ну, очень этим обидел.

Огромное помещение вокзала было почти пусто. Наполняли его военные, то деловито спешившие, то молча сидевшие у стен на скамейках, на своих мешках, на корточках и на полу, озабоченные, хмурые, точно занятые какой-то одной, общей мыслью. Когда-то по этой дороге осуществлялась основная связь с Западной Европой. Теперь путь на Запад был перерублен врагом километрах в восьмидесяти от Москвы, и по слепому короткому отростку шло пригородное сообщение. Ходили только фронтальные составы, на которых военные люди часа за два добирались из столицы прямо до вторых эшелонов своих дивизий, державших здесь оборону, да из поездов электрички каждые полчаса высыпали на платформу толпы рабочих, живших в пригородах, крестьянок с молоком, ягодами, грибами и овощами. Их шумная волна на мгновение заливала вокзальное поме-

щение, но сейчас же выплескивалась на площадь, и вновь на вокзале оставались одни фронтовики.

В центральном зале висела большая, до самого потолка, карта советско-германского фронта. Девушка в военном, толстощекая и румяная, стоя на лесенке-стремянке, держа в руке газету со свежей сводкой Совинформбюро, перекалывала на карте булавками шнурок, отмечающий линию фронта.

В нижней части карты шнурок резко, углом перемещался вправо. Немцы наступали на юге. Они прорвались в изюм-барвенковские ворота. Фронт их шестой армии, тупым клином вдававшийся в глубь страны, уже тянулся к голубой жиле донской излучины. Девушка переколола шнурок вплотную к Дону. Совсем рядом толстой артерией извивалась Волга с крупным кружком Сталинграда и маленькой точкой Камышина над ним. Было ясно, что вражеский клин, прилипший к Дону, тянется к этой основной водной артерии и уже близок от нее и от исторического города. Большая толпа, над которой возвышалась девушка на стремянке, в подавленном молчании смотрела на ее пухлые руки, перекалывавшие булавки.

— Прет, собака... Гляди, как прет! — сокрушено подумал вслух молодой солдат, обливавшийся потом в еще не обмявшейся новенькой шинели, угловато корбившейся на нем.

Худой седоусый железнодорожник в замасленной форменной фуражке хмуро посмотрел на бойца с высоты своего роста.

— Прет? А ты чего пускаешь? Известно, прет, коли ты от него пятишься. Вояки! Вон куда — аж на самую матушку Волгу пустили! — В тоне его слышались боль и скорбь, точно сына корил он за большой, непростительный промах.

Боец виновато огляделся и, вздернув на плечах новенькую свою шинельку, стал выдираться из толпы.

— Да, провоевали изрядно, — вздохнул кто-то и горько покачал головой. — Э-эх!

— За что его ругать?.. Он чем виноват? Мало их, что ли, полегло? Силища-то какая прет, почитай вся Европа на танках. Удержи-ка ее сразу, — заступился за бойца старый человек в брезентовом пыльнике, с виду не то сельский учитель, не то фельдшер. — Коли подумать как следует, должны мы с вами этому бой-

цу в ножки поклониться, что живые да свободные по Москве ходим. Какие страны немец за недели танками затапывал! А мы год с лишним воюем — и ничего, и бьем, и сколько уже его набили. Ему вон, бойцу-то, весь мир должен в ножки кланяться, а вы — «пятышь-ся»!

— Да знаю, знаю, не агитируй меня, бога ради! Ум-то знает, а сердце-то болит, душа-то разрывается,— хмуро отозвался железнодорожник.— Ведь по нашей земле фашист идет, наши дома терзает...

— А он там? — спросила Аня, показывая рукой на юг.

— Там. И она там, — отвечал Алексей.

У самой голубой петли Волги, повыше Сталинграда, он видел маленький кружочек с надписью «Камышин». Для него это была не просто географическая точка. Зеленый городок, заросшие травой окраинные улицы, тополя, шелестящие глянцевитыми пыльными листьями, запах пыли, укропа, петрушки из-за огородных плетней, полосатые шары арбузов, словно разбросанные на черной и сухой глине бахчи в высохшей ботве, остро пахнущие полынью степные ветры, необозримая сверкающая гладь реки и девушка, стройная, сероглазая, загорелая, и мать, седая, суетливо-беспомощная...

— И они там, — сказал он еще раз.

2

Поезд электрички, бойко журча колесами и сердито рвякая сиреной, ревно бежал по Подмоскovie. Алексей Мересьев сидел у окна, притиснутый к самой стенке бритым старичком в широкополой горьковской шляпе, в золотом пенсне на черном шнурочке. Огородная тяпка, заступ и вилы, аккуратно обернутые газетой и перевязанные шнурком, торчали у старичка меж колен. Как и все в те грозные дни, старичок жил войной. Он бойко тряс перед носом Мересьева сухой ладошкой и многозначительно шептал ему на ухо:

— Вы не смотрите, что я штатский, — я отлично понял наш план: заманить врага в приволжские степи, да-с, дать ему растянуть свои коммуникации, как говорят теперь, оторваться от баз, а потом вот отсюда, с запада и с севера, раз-раз, коммуникации перерезать и разделаться с ним. Да-с, да-с... И это очень разумно. Ведь про-

тив нас не один Гитлер. Своим кнутом он гонит на нас Европу. Ведь мы один на один против армии шести стран сражаемся. Единоборствуем. Надо амортизировать этот страшный удар хотя бы пространством, да-с. Это единственный разумный выход. Ведь в конце концов союзнички-с молчат... А? Как вы думаете?

— Я думаю, чепуху вы говорите. Родная земля — слишком дорогой материал для амортизаторов, — неприветливо отозвался Мересьев, вспомнив почему-то пепелище мертвой деревни, по которой он проползал зимой.

Но старичок бубнил и бубнил у самого уха, обдавая летчика запахом табака и ячменного кофе.

Алексей высунулся в окно. Подставляя лицо порывам теплого пыльного ветра, жадно смотрел он на бегущие мимо поезда платформы с полинявшими зелеными решетками, с кокетливыми ларьками, забытыми горбылем, на дачки, глядевшие из лесной зелени, на изумрудные заливные лужки у высохших русел крохотных речушек, на восковые свечи сосновых стволов, янтарно золотевшие среди хвои в лучах заката, на широкие синеющие вечерние дали, открывшиеся из-за леса.

— ...Нет, вот вы военный, вы скажите: хорошо это? Вот уже больше года мы деремся с фашизмом один на один, а? А союзнички-с, а второй фронт? Вот вы представьте картину. Воры напали на человека, который, ничего не подозревая, работал себе в поте лица. И он не растерялся, этот человек, схватился с ними драться и дерется. Кровью истекает и дерется, бьет их чем попало. Он один, а их много, они вооружены, они его давно подстерегали. Да-с. А соседи видят эту сцену и стоят у своих хат и сочувствуют: дескать, молодец, ах, какой молодец! Так их, ворюг, и надо, бей их, бей! Да вместо того, чтобы помочь от воров отбиться, камушки, железки ему протягивают: на, дескать, ударь этим крепче. А сами в сторонке. Да-с, да-с, так они и делают сейчас, союзнички... Пассажиры-с...

Мересьев с интересом оглянулся на старичка. Многие теперь смотрели в их сторону, и со всех концов переполненного вагона слышалось:

— Что ж, и правильно. Один на один воюем. Где он, второй фронт-то?

— Ничего, с работой, бог даст, и одни справимся, а к обеду, чай, и они поспеют, второй-то фронт.

Поезд притормозил около дачной платформы. В вагон вошло несколько раненых в пижамах, на костылях и с палочками, с кулечками ягод и семечек. Они ездили, должно быть, из какого-то госпитального дома для выздоравливающих на здешний базар. Старичок сейчас же сорвался с места.

— Садитесь, голубчик, садитесь,— и чуть не насильно усадил рыжего парня на костылях, с забинтованной ногой на свое место.— Ничего, ничего, сидите, не беспокойтесь, мне сейчас выходить.

Для пушшего правдоподобия старичок со своими тятками и граблями сделал даже движение к двери. Молочницы стали тесниться на скамейках, уступая раненым место. Откуда-то сзади Алексей услышал осуждающий женский голос:

— И не стыдно человеку? Возле увечный воин стоит, мается, затолкали совсем, а он, здоровый, сидит и ухом не ведет. Словно сам от пули заговоренный. А еще командир, летчик!

Алексей вспыхнул от незаслуженной этой обиды. Бешено шевельнулись его ноздри. Но вдруг, просияв, он вскочил с места:

— Садись, браток.

Раненый смутился, отпрянул:

— Что вы, товарищ старший лейтенант! Не беспокойтесь, я постою. Тут недалеко, две остановки.

— Садись, говорят!— крикнул ему Мересьев, чувствуя прилив озорной веселости.

Он пробрался к стенке вагона и, прислонившись к ней, встал, опираясь о палку обеими руками. Стоял и улыбался.

Старушка в клетчатом платке поняла, должно быть, свою оплошность.

— Вот народ!.. Ближние кто, уступите место командиру с клюшкой. И не стыдно? Вон ты, в шляпке: кому война, а тебе, знать, мать родна,— расселась!.. Товарищ командир, ступайте сюда вот, на мое местечко... Да раздайтесь вы, бога ради, дайте командиру пройти!

Алексей сделал вид, что не слышит. Нахлынувшая было радость потускнела. В это время проводница назвала нужную ему остановку, и поезд стал мягко тормозить. Пробираясь сквозь толпу, Алексей опять столкнулся у двери со старичком в пенсне. Тот подмигнул ему, как старому знакомому.

— А что, думаете, все-таки второй фронт откроют? — спросил он шепотом.

— Не откроют, так сами справимся,— ответил Алексей, сходя на деревянный перрон.

Журча колесами, голосисто покрикивая сиреной, поезд скрылся за поворотом, оставив негустой след пыли. Платформу, на которой осталось всего несколько пассажиров, сразу обняла душистая вечерняя тишина. До войны здесь, должно быть, было очень хорошо и покойно. Сосновый лес, плотно обступивший платформу, ровно и успокаивающе звенел своими вершинами. Наверно, года два тому назад в такие вот погожие вечера по тропкам и дорожкам, ведущим через лесную сень к дачам, расходились с поездов толпы нарядных женщин в легких пестрых платьях, шумные детишки, веселые загорелые мужчины, возвращавшиеся из города с кулечками снеди, бутылками вина — гостинцами дачникам. Немногие, оставленные теперь поездом пассажиры с тямками, заступами, вилами и другим огородным инвентарем быстро сошли с платформы и деловито зашагали в лес, погруженные в свои заботы. Только Мересьев со своей палкой напоминал гуляющего, любовался красотой летнего вечера, дышал полной грудью и жмурился, ощущая на коже теплое прикосновение солнечных лучей, пробившихся сквозь ветви сосен.

В Москве ему подробно объяснили дорогу. Как истый военный, по немногим ориентирам он без труда определил путь к санаторию, находившемуся в десяти минутах ходьбы от станции, на берегу небольшого спокойного озера. Когда-то, до революции, один русский миллионер решил построить под Москвой летний дворец, да такой, чтобы подобного ни у кого не было. Он заявил архитектору, что не пожалеет денег, лишь бы дворец был совершенно оригинальным. Потрафляя вкусу патрона, архитектор построил у озера какой-то гигантский диковинный кирпичный терем с узкими решетчатыми окнами, башенками, крылечками, с ходами и переходами, с острыми коньками крыш. Аляповатым, нелепым пятном было вписано это сооружение в раздольный русский пейзаж у самого озера, заросшего осокой. А пейзаж был хорош! К воде, в тихую пору стеклянно-гладкой, сбегал изящной и беспокойной стайкой молодой осинник, трепеща листьями. То там, то тут белели в пенистой зелени стволы берез. Синеватое кольцо старого бора окаймляло озеро широ-

ким зубчатым кругом. И все это повторялось в опрокинутом виде в водном зеркале, растворяясь в прохладной голубизне тихой прозрачной влаги.

Многие из знаменитых художников подолгу живали у здешнего хозяина, славившегося на всю Русь отменным хлебосольством, и этот раздольный пейзаж, и в целом и отдельными своими уголками, был навеки запечатлен на многих полотнах как образец могучей и скромной красоты великорусской природы.

Вот в этом-то дворце и помещался санаторий Военно-Воздушных Сил РККА. В мирное время летчики живали здесь с женами, порой и целыми семьями. В дни войны их направляли сюда долечиваться после госпиталей. Алексей пришел к санаторию не по широкой асфальтовой, обсаженной березами круглой дороге, а по тропе, проторенной прямо от станции через лес к озеру. Он зашел, так сказать, с тыла и, никем не замеченный, затерялся в большой и шумной толпе, окружившей два битком набитых автобуса, что стояли у парадного подъезда.

Из разговоров, из реплик, из напутственных выкриков и пожеланий Алексей уловил, что провожают летчиков, направляющихся из санатория прямо на фронт. Отъезжающие были веселы, возбуждены, как будто ехали они не туда, где за каждым облачком стерегла их смерть, а в родные мирные гарнизоны; на лицах провожавших отражались нетерпение, грусть. Алексей понимал это. С начала нового гигантского сражения, разгравшегося на юге, он сам испытывал эту необоримую тягу. Она развивалась по мере того, как на фронте нарастали события и усложнялась обстановка. Когда же в военных кругах, правда еще пока тихо и осторожно, стало произноситься слово «Сталинград», эта тяга переросла в щемящую тоску, и вынужденное госпитальное безделье стало невыносимым.

Из окон щеголеватых машин выглядывали загорелые возбужденные лица. Невысокий лысоватый армянин в полосатой пижаме, хромой, один из тех общепризнанных остроумцев и добровольных комиков, какие обязательно попадают в каждой партии отдыхающих, ковыляя, суетился около автобусов и, размахивая палкой, напутствовал кого-то из отъезжающих:

— Эй, кланяйтесь там в воздухе фрицам! Федя! Расквитайся с ними за то, что они тебе курс лунных ванн не дали закончить. Федя, Федя! Ты им там в воздухе

докажи, что непорядочно с их стороны мешать советским асам принимать лунные ванны.

Федя, загорелый парень с круглой головой, с большим шрамом, пересекавшим высокий лоб, высовывался из окна и кричал, что пусть лунный комитет санатория будет покоен.

В толпе и автобусах грохнул смех, под смех этот машины тронулись и медленно поплыли к воротам.

— Ни пуха ни пера! Счастливого пути! — слышалось из толпы.

— Федя, Федя! Присылай скорее номер полевой почты! Зиночка вернет тебе твое сердце заказным пакетом...

Автобусы скрылись за поворотом аллеи. Осела позлащенная закатом пыль. Отдыхающие в халатах, в полосатых пижамах медленно разбрелись по парку. Мересьев вошел в вестибюль санатория, где на вешалках висели фуражки с голубыми околышами, а на полу лежали по углам кегли, волейбольные мячи, крокетные молотки и теннисные ракетки. До канцелярии довел его давешний хромым. При ближайшем рассмотрении у него оказалось серьезное, умное лицо с большими, красивыми грустными глазами. По пути он шутиливо отрекомендовался председателем санаторного лункома и заявил, что лунные ванны, как доказала медицина, — лучшее средство для лечения любого ранения, что стихии и неорганизованности в этом деле он не допускает и сам выпиывает наряды на вечерние прогулки. Шутил он как-то автоматически. Глаза у него при этом сохраняли все то же серьезное выражение и зорко, с любопытством изучали собеседника.

В канцелярии Мересьева встретила девушка в белом халате, такая рыжая, что казалось — будто голова у нее охвачена буйным пламенем.

— Мересьев? — строго спросила она, откладывая книжку, которую читала. — Мересьев Алексей Петрович? — Она окинула летчика критическим взглядом. — Что вы меня разыгрываете! Вот у меня записано: «Мересьев, старший лейтенант, из энского госпиталя, без ног», а вы...

Только теперь Алексей рассмотрел ее круглое белое, как у всех рыжих, личико, совершенно потерявшееся в ворохе медных волос. Яркий румянец проступал сквозь тонкую кожу. Она смотрела на Алексея с веселым удивлением круглыми, как у совы, светлыми нагловатыми глазами.

— И все-таки я Мересьев Алексей, и вот мое направление... А вы Леля?

— Нет, откуда вы взяли? Я Зина. У вас что, протезы, что ли, такие? — Она недоверчиво смотрела на ноги Алексея.

— Ага! Так та самая Зиночка, которой Федя отдал свое сердце?

— Это вам майор Бурназян наговорил? Успел. Ух, как я ненавижу этого Бурназяшку! Над всем, над всем смеется! Что особенного в том, что я учила Федю танцевать? Подумаешь!

— А теперь вы меня будете учить, идет? Бурназян мне обещал выписать путевку на лунные ванны.

Девушка с еще большим удивлением глянула на Алексея:

— То есть как это — танцевать? Без ног? Ну вас!.. Вы, должно быть, тоже над всем смеетесь.

В это время в комнату вбежал майор Стручков и сгреб Алексея в свои объятия.

— Зиночка, так договорились — старшего лейтенанта в мою комнату.

Люди, пролежавшие долго в одном госпитале, встречаются потом как братья. Алексей обрадовался майору, как будто он несколько лет не видел его. Вещевой мешок Стручкова уже лежал в санатории, и майор чувствовал себя тут дома, всех знал, и все его знали. За сутки он успел уже кое с кем подружиться и кое с кем поссориться.

Маленькая комната, которую они заняли вдвоем, выходила окнами в парк, подступавший прямо к дому толпой стройных сосен, светло-зелеными зарослями черники и тонкой рябинкой, на которой трепетало, как на пальме, несколько изящных резных листьев-лапок и желтела одна-единственная, зато очень увесистая гроздь ягод.

Сразу же после ужина Алексей забрался в кровать, растянулся на прохладных, влажных от вечернего тумана простынях и мгновенно уснул.

И увидел он в эту ночь странные, тревожные сны. Голубой снег, луна. Лес, как мохнатая сеть, накрыл его, и надо ему из этой сети вырваться, но снег держит его за ноги. Алексей мучается, чувствуя, что настигает его неясная, но страшная беда, а ноги вмерзли в снег, и нет сил вырвать их оттуда. Он стонет, переворачивается — и перед ним уже не лес, а аэродром. Долговязый технарь

Юра в кабине странного, мягкого и бескрылого самолета. Он машет рукой, смеется и вертикально взлетает в небо. Дед Михайла подхватывает Алексея на руки и говорит ему, как ребенку: «Ну и пусть его, пусть, а мы с тобой попаримся, косточки погреем, хорошо, мило-дорого!» Но кладет он его не на горячий полóк, а на снег. Алексей хочет подняться — и не может: земля прочно притягивает его. Нет, это не земля притягивает, это медведь навалился на него своей жаркой тушей, душит, ломает, храпит. Мимо едут автобусы с летчиками, но они не замечают его, эти люди, весело смотрящие из окон. Алексей хочет им крикнуть, чтобы помогли, хочет броситься к ним или хотя бы посигналить рукой, но не может. Рот открывается, но слышен лишь шепот. Алексей начинает задыхаться, он чувствует, как останавливается у него сердце, он делает последнее усилие... почему-то мелькает перед глазами смеющееся лицо Зиночки в буйном пламени рыжих волос, насмешливо светятся ее нагловатые, любопытные глаза...

Алексей просыпается с ощущением безотчетной тревоги. Тихо. Легонько посапывая носом, спит майор. Прозрачный лунный столб, пересекая комнату, уперся в пол. Почему же вдруг вернулись образы этих страшных дней, которые Алексей почти никогда не вспоминал, а если и начинал вспоминать, то они ему самому казались бредовой сказкой? Ровный и тихий звон, сонный ропот вместе с душистой прохладой ночного воздуха льется в ярко освещенное луной, широко распахнутое окно. Он то взволнованно наплывает, то глохнет, удаляясь, то тревожно застывает на шипящей ноте. Это шумит за окном бор.

Усевшись на кровати, летчик долго слушает таинственный звон сосен, потом резко встряхивает головой, точно отгоняет наваждение, и снова наполняет его упрямая, веселая энергия. В санатории ему полагается прожить двадцать восемь дней. После этого решится, будет ли он воевать, летать, жить или ему будут вечно уступать место в трамвае и провожать его сочувственными взглядами. Стало быть, каждая минута этих долгих и вместе с тем коротких двадцати восьми дней должна быть борьбой за то, чтобы стать настоящим человеком.

Сидя на кровати в дымчатом свете луны, под храп майора Алексей составил план упражнений. Он включил сюда утреннюю и вечернюю зарядки, хождение, бег,

специальную тренировку ног, и что особенно его увлекло, что сулило ему всесторонне развить его надставленные ноги — была идея, мелькнувшая у него во время разговора с Зиночкой.

Он решил научиться танцевать.

3

В тихий, прозрачный августовский полдень, когда все в природе сверкало и лоснилось, но по каким-то еще незаметным признакам уже чувствовалась в горячем воздухе тихая грусть увядания, на берегу крохотной речки, извивавшейся с мягким журчаньем между кустами, на маленьком песчаном пляжике загорало несколько летчиков.

Разомлевшие от жары, они дремали, и даже неутомимый Бурназян молчал, зарывая в теплый песок свою изувеченную, неудачно сросшуюся после ранения ногу. Они лежали, скрытые от посторонних взоров серой листвою орешника, но им была видна протоптанная в зеленой траве дорожка, протянувшаяся по косогору над поймой. На этой-то дорожке Бурназян, возившийся со своей ногой, и увидел удивившее его зрелище.

Из леска в полосатых пижамных штанах и ботинках, но без рубашки вышел вчерашний новичок. Осмотрелся, никого не заметил и вдруг пустился бежать странными скачками, прижимая к бокам локти. Пробежал метров двести и перешел на шаг, тяжело дыша, весь облитый потом. Отдышался, снова побежал. Тело его блестело, как бока загнанной лошади. Бурназян молча показал товарищам на бегуна. Они стали следить за ним из-за кустов. От несложных этих упражнений новичок задыхался, на лице его то и дело появлялись гримасы боли, порой он постанывал, но все бежал и бежал.

— Эй, друг! Лавры Знаменских покою не дают? — не вытерпел наконец Бурназян.

Новичок остановился. Усталость и боль точно соскользнули с его лица. Он равнодушно посмотрел на кусты и, ничего не ответив, ушел в лес странной, раскачивающейся походкой.

— Это что же за циркач? Сумасшедший? — озадаченно спросил Бурназян.

Майор Стручков, только что очнувшийся от дремы, пояснил:

— У него нет ног. Он тренируется на протезах, он хочет вернуться в истребительную авиацию.

Точно холодной водой плеснули на этих разомлевших людей. Они повскакали, заговорили разом. Всех поразило, что парень, у которого они не заметили ничего, кроме странной походки, оказался без ног. Его идея летать без ног на истребителе показалась нелепой, невероятной, даже кощунственной. Вспомнили случаи, когда людей из-за пустяков, из-за потери двух пальцев на руке, из-за расшалившихся нервов или обнаруженного плоскостопия, отчисляли из авиации. К здоровью пилотов всегда, даже во время войны, предъявлялись требования, неизмеримо повышенные по сравнению с требованиями в других родах войск. Наконец, казалось совершенно невозможным управлять такой тонкой и чуткой машиной, как истребитель, имея вместо ног протезы.

Конечно, все сходились на том, что мересьевская затея неосуществима. Но дерзкая фанатическая мечта безногого их увлекла.

— Твой друг или безнадежный идиот, или великий человек,— заключил спор Бурназян,— середины для него нет.

Весть о том, что в санатории живет безногий, мечтающий летать на истребителе, мгновенно распространилась по палатам. Уже к обеду Алексей оказался в центре всеобщего внимания. Впрочем, сам он, казалось, этого внимания не замечал. И все, кто наблюдал за ним, кто видел и слышал, как он раскатисто смеялся с соседями по столу, много и с аппетитом ел, по традиции отвешивал положенное число комплиментов хорошеньким подавальщицам, как с компанией гулял он по парку, учился играть в крокет и даже побросал мяч на волейбольной площадке, не заметили в нем ничего необычного, кроме медлительной, подпрыгивающей походки. Он был слишком обыкновенен. К нему сразу привыкли и перестали обращать на него внимание.

На второй день своего пребывания в санатории Алексей появился под вечер в канцелярии у Зиночки. Он галантно вручил ей завернутое в лопушок обеденное пирожное и, бесцеремонно усевшись у стола, спросил ее, когда она собирается выполнить свое обещание.

— Какое? — спросила она, высоко подняв подрисованные дуги бровей.

— Зиночка, вы обещали научить меня танцевать.

— Но... — пыталась возразить она.

— Мне говорили, что вы такая талантливая учительница, что безногие у вас пляшут, а нормальные, наоборот, лишаются не только ног, но и голову теряют, как было с Федей. Когда начнем? Давайте не тратить времени попусту.

Нет, этот новичок ей положительно нравился. Безногий — и учи его танцевать! А почему нет? Он очень симпатичный, смуглый, с ровным румянцем, пробивающимся сквозь темную кожу щек, с красивыми волнистыми волосами.

Ходит он совсем как здоровый, и глаза у него занятные, какие-то шальные и немножечко, пожалуй, грустные. Танцы в жизни Зиночки занимали немалое место. Она любила и действительно умела танцевать... Нет, а Мересьев — положительно ничего!

Словом, она согласилась. Она объявила, что училась танцам у знаменитого на все Сокольники Боба Горохова, который, в свою очередь, является лучшим учеником и последователем уже совершенно знаменитого на всю Москву Поля Судаковского, преподающего танцы где-то в военных академиях и даже в клубе Наркоминдела; что она унаследовала от этих великих людей лучшие традиции салонных танцев и что, пожалуй, она научит танцевать и его, хотя, конечно, не очень уверена, как это можно танцевать, не имея настоящих ног. Условия же ему предъявлялись при этом суровые: он будет послушен и прилежен, постарается в нее не влюбиться — это мешает урокам, — а главное — не будет ревновать, когда ее будут приглашать танцевать другие кавалеры, так как, танцуя с одним, можно быстро дисквалифицироваться и это вообще скучно.

Мересьев безоговорочно принял условия. Зиночка трянула пламенем своих волос и, ловко двигая стройными маленькими ножками, тут же, в канцелярии, показала ему первое па. Когда-то Мересьев лихо плясал «русскую» и старые танцы, какие играл в камышинском городском садике оркестр пожарной команды. Он обладал чувством ритма и быстро схватывал веселую науку. Трудность заключалась для него теперь в том, что управлять, и при этом ловко, маневренно управлять, приходилось не живыми, эластичными, подвижными ногами, а кожаным приспособлением, приложенным к голени с помощью ремней. Нужны были нечеловеческие усилия,

напряжение мускулов, воли, чтобы движением голени заставляя жить тяжелые, неповоротливые протезы.

И он заставил их подчиниться. Каждое вновь разученное колено, все эти глissады, парады, змейки, точки — вся хитрая техника салонного танца, теоретизированная знаменитым Полем Судаковским, оснащенная могучей и звучной терминологией, доставляла ему большую радость. Каждое новое па веселило его, как мальчишку. Выучив его, он поднимал и начинал кружить свою учительницу, празднуя победу над самим собой. И никто, и в первую очередь его учительница, и подозревать не мог, какую боль причиняет ему все это сложное, разнохарактерное топтанье, какой ценой дается ему эта наука. Никто не замечал, как порой он вместе с потом небрежным жестом, улыбаясь, смахивает с лица невольные слезы. Однажды он приковылял в свою комнату совершенно измученный, разбитый и веселый.

— Учусь танцевать! — торжественно объявил он майору Стручкову, задумчиво стоявшему у окна, за которым тихо догорал летний день и последние лучи солнца желтовато искрились меж вершин деревьев.

Майор молчал.

— И научусь! — упрямо добавил Мересьев, с удовольствием сбрасывая с ног протезы и изо всех сил царапая ногтями затекшие от ремней ноги.

Стручков не обернулся, он издал какой-то странный звук, точно всхлипнул, и плечи его при этом вскинулись. Алексей молча полез под одеяло. Что-то странное творилось с майором. Этот немолодой человек, еще недавно потешавший и возмущавший палату своим веселым цинизмом и шутливым пренебрежением к женскому полу, вдруг влюбился, влюбился, как пятиклассник, безотчетно, безудержно и, увы, казалось, безнадежно. По несколько раз бегал он в канцелярию санатория звонить в Москву, Клавдии Михайловне. С каждым отъезжающим слал ей цветы, ягоды, шоколадки, писал записочки и длиннейшие письма и радовался, шутил, когда ему вручали знакомый конверт.

А она его знать не хотела, не обнадеживала, даже не жалела. Она писала, что любит другого, мертвого, майору по-дружески советовала оставить и забыть ее, зря не тратиться и не терять времени. Вот этот-то деловой, сухой тон, тон дружеского участия, такой оскорбительный в делах любви, и выводил его из себя.

Алексей уже лег, укрылся одеялом и дипломатически затих, когда майор вдруг отскочил от окна, затряс его за плечи и закричал у него над ухом:

— Ну чего, чего ей надо? Что я, обсевок в поле? Урод, старик, дрянь какая-нибудь? Да другая бы на ее месте... Да что там говорить!

Он бросился в кресло, обхватил голову ладонями, закачался так, что и кресло застонало.

— Ведь женщина же она! Должна же она чувствовать ко мне... ну, хоть любопытство, что ль. Ведь ее же, черта, любят, и как любят!.. Э-эх, Лешка, Лешка! Ты его знал, этого вашего... Ну скажи: ну чем он лучше меня, чем он ей в сердце вцепился? Умен, красавец? Что за герой такой?

Алексей вспомнил комиссара Воробьева, его большое, распухшее тело, желтевшее на белых простынях, и женщину, застывшую над ним в вековечной позе женского горя, и этот неожиданный рассказ про то, как красноармейцы шли в пустыне.

— Он был настоящий человек, майор, большевик. Дай бог нам с тобой стать такими.

4

По санаторию распространилась весть, казавшаяся нелепой: безногий летчик... увлекся танцами.

Как только Зиночка кончала свои дела в конторе, в коридоре ее уже ждал ученик. Он встречал ее с букетом земляники, шоколадкой или апельсином, оставленным от обеда. Зиночка важно подавала ему руку, и они шли в пустовавший летом зал, где прилежный ученик заблаговременно сдвигал к стенам ломберные столики и стол для игры в пинг-понг. Зиночка грациозно показывала ему новую фигуру. Нахмутив брови, летчик серьезно следил за вензелями, которые вычерчивали на полу маленькие, изящные ножки. Потом девушка делалась серьезной, хлопала в ладоши и начинала отсчитывать:

— Раз-два-три, раз-два-три, глиссад направо... Раз-два-три, раз-два-три, глиссад налево... Поворот. Так. Раз-два-три, раз-два-три... Теперь змейка. Делаем вместе.

Может быть, ее увлекла задача научить танцевать безногого, какой не доводилось, вероятно, решать ни Бобу Горохову, ни даже самому Полю Судаковскому. Может быть, нравился девушке ее смуглый, черноволо-

рый загорелый ученик с упрямыми, «шалыми» глазами, а вернее всего — то и другое вместе, но только отдавала учебе она все свое свободное время и всю душу.

По вечерам, когда пустели пляжи, волейбольные и городошные площадки, любимым развлечением в санатории были танцы. Алексей неукоснительно участвовал в вечерах, недурно танцевал, не пропуская ни одного танца, и его учительница уже не раз жалела, что поставила ему такие суровые условия обучения. Играл баян, крутились пары. Мересьев, разгоряченный, со сверкающими от возбуждения глазами, выделял все эти глиссады, змейки, повороты, точки, ловко и, как казалось, без труда вел свою легонькую и изящную даму с пылающими кудрями. И никому из наблюдавших за этим разудалым танцором не могло даже в голову прийти, что делает он, исчезая порой из зала.

С улыбкой на разгоряченном лице выходил он на улицу, небрежно обмахиваясь платком, но, как только переступал порог и вступал в полутьму ночного леса, улыбка тотчас же сменялась гримасой боли. Цепляясь за перила, шатаясь, со стоном сходил он со ступенек крыльца, бросался в мокрую, росистую траву и, прижавшись всем телом к влажной, еще державшей дневное тепло земле, плакал от жгучей боли в натруженных, стянутых ремнями ногах.

Он распускал ремни, давал ногам отдохнуть. Потом снова надевал колодки, вскакивал и быстро шагал к дому. Незаметно он появлялся в зале, где, обливаясь потом, играл неутомимый инвалид-баянист, подходил к рыженькой Зиночке, которая уже искала его в толпе глазами, широко улыбался, показывая ровные белые, точно из фарфора отлитые, зубы, и ловкая, красивая пара снова устремлялась в круг. Зиночка пеняла ему за то, что он оставил ее одну. Он весело отшучивался. Они продолжали танцевать, ничем не отличимые от других пар.

Тяжелые танцевальные упражнения уже давали свои результаты: Алексей все меньше и меньше ощущал сковывающее действие протезов. Они как бы постепенно прирастали к нему.

Алексей был доволен. Лишь одно тревожило его теперь — отсутствие писем от Оли. Больше месяца назад, в связи с неудачей Гвоздева, послал он ей свое, как ему теперь казалось, роковое и, во всяком случае, совершенно нелепое письмо. Ответа не было. Каждое утро после

зарядки и бега, для которого он с каждым днем удлинял маршрут на сто шагов, он заходил в канцелярию и смотрел ящик с письмами. В ячейке «М» писем было всегда больше, чем в других. Но напрасно снова и снова перебирал он эту пачку.

Но вот однажды, когда он занимался танцами, в окне комнаты, где продолжалось обучение, показалась черная голова Бурназяна. В руках он держал свою палку и письмо. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, Алексей выхватил конверт, надписанный крупным ученическим почерком, и выбежал, оставив в окне озадаченного Бурназяна, а посреди комнаты — рассерженную учительницу.

— Зиночка, все нынче этакие вот... современные кавалеры,— тоном тетки-сплетницы проскрипел Бурназян.— Не верьте, девушка, бойтесь их, как черт святых мошей. Ну его, поучите-ка лучше меня! — И, бросив палку в комнату, Бурназян, тяжело кряхтя, полез в окно, возле которого стояла озадаченная, грустная Зиночка.

А Алексей, держа в руке заветное письмо, быстро, точно боялся, что за ним гонятся и могут отнять его богатство, бежал к озеру. Тут, продравшись через шелестящие камыши, сел он на мшистый камень на отмели, совершенно скрытый высокой травой со всех сторон, осмотрел дорогое письмо, дрожавшее в пальцах. Что в нем? Какой приговор оно в себе заключает? Конверт был потрепан и затерт. Немало побродил он, должно быть, по стране, разыскивая адресата. Алексей осторожно оторвал от него полоску и сразу глянул в конец письма. «Целую, родной. Оля»,— значилось внизу. У него отлегло от сердца. Уже спокойно расправил он на колене тетрадные листы, почему-то испачканные глиной и чем-то черным, закапанные свечным салом. Что же это стало с аккуратной Оленькой? И тут прочел он такое, от чего сердце его сжалось гордостью и тревогой. Оказывается, Оля вот уже месяц, как покинула завод и теперь живет где-то в степи, где камышинские девушки и женщины роют противотанковые рвы и строят обводы вокруг «одного большого города». Нигде ни словом не был упомянут Сталинград. Но и без этого, по тому, с какой заботой и любовью, с какой тревогой и надеждой писала она об этом городе, было ясно, что речь идет о нем.

Оля писала, что тысячи их, добровольцев, с лопатами, с кирками, с тачками день и ночь работают в степи

и роют, носят землю, бетонируют и строят. Письмо было бодрое, и лишь по отдельным строчкам, прорвавшимся в нем, можно было догадаться, как лихо приходится им там, в степи. Только рассказав о своих делах, целиком, должно быть, захвативших ее, Оля отвечала на его вопрос. Серdito писала она, что оскорблена его последним письмом, которое получила она тут, «на окопах», что, если бы он не был на войне, где так треплются нервы, она ему этого оскорбления не простила бы.

«Родной мой,— писала она,— что же это за любовь, если она боится жертв? Нет такой любви, милый, а если и есть, то, по-моему, и не любовь это вовсе. Вот я сейчас не мылась неделю, хожу в штанах, в ботинках, из которых пальцы торчат в разные стороны. Загорела так, что кожа слезает клочьями, а под ней какая-то неровная, фиолетовая. Если бы я, усталая, грязная, худая и некрасивая, пришла бы к тебе сейчас отсюда, разве ты оттолкнул бы меня или даже осудил меня? Чудачок ты, чудачок! Что бы с тобой ни случилось, приезжай и знай, что я тебя всегда и всякого жду... Я много думаю о тебе, и, пока не попала «на окопы», где все мы засыпаем каменным сном, едва добравшись до своих нар, я тебя часто видела во сне. И ты знай: пока я жива, у тебя есть место, где тебя ждут, всегда ждут, всякого ждут... Вот ты пишешь, что с тобой что-нибудь может случиться на войне. А если бы со мной «на окопах» случилось какое-нибудь несчастье или искалечило бы меня, разве б ты от меня отступился? Помнишь, в фабзавуче мы решали алгебраические задачи способом подстановки? Вот поставь меня на свое место и подумай. Тебе стыдно станет этих твоих слов...»

Мересьев долго сидел над письмом. Палило солнце, ослепительно отражаясь в темной воде, шелестел камыш, и синенькие бархатные стрекозы бесшумно перелетали с одной шпажки осоки на другую. Шустрые жучки на длинных тонких ножках бегали по гладкой воде у корешков камыша, оставляя за собой кружевной, зыбкий след. Маленькая волна тихонько обсасывала песчаный берег.

«Что это? — думал Алексей.— Предчувствие, дар угадывать?» «Сердце — вещун», — говорила когда-то мать. Или трудности окопной работы умудрили девушку, и она чутьем поняла то, что он не решался ей сказать? Он

еще раз перечитал письмо. Да нет же, никакого предчувствия, откуда это он взял! Просто она отвечает на его слова. Но как отвечает!

Алексей вздохнул, медленно разделся, положил одежду на камень. Он всегда купался здесь, в этом известном только ему одному заливишке, у песчаной косы, закрытой шелестящей стеной камышей. Отстегнув протезы, он медленно сполз с камня, и, хотя ему было очень больно ступать обрубками ног по крупному песку, он не стал на четвереньки. Морщась от боли, вошел он в озеро и опрокинулся в холодную, плотную воду. Отплыв от берега, он лег на спину и замер. Он видел небо, голубое, бездонное. Суевой толпой ползли, напирая друг на друга, мелкие облака. Перевернувшись, он увидел берег, опрокинутый в воду и точно повторенный на ее голубой прохладной глади, желтые кувшинки, плававшие среди круглых, лежавших на воде листьев, белые крылатые точки лилий. И вдруг представилась ему на мшистом камне Оля, какой он видел ее во сне. Она сидела в пестром платье, свесив ноги. Только ноги ее не касались воды. Два обрубка болтались, не доставая до поверхности. Алексей ударил кулаком по воде, чтобы прогнать это видение. Нет, способ подстановки, предложенный Олей, ему не помог!

5

Обстановка на юге осложнялась. Уж давно газеты не сообщали о боях на Дону. Вдруг в сводке Совинформбюро мелькнули названия задонских станиц, лежащих на пути к Волге, к Сталинграду. Тем, кто не знал тамошних краев, эти названия мало что говорили. Но Алексей, выросший в той местности, понял, что линия донских укреплений прорвана и война перекинулась к стенам исторического города.

Сталинград! Это слово еще не упоминалось в сводке, но оно было у всех на устах. Его произносили осенью 1942 года с тревогой, с болью, о нем говорили даже не как о городе, а как о близком человеке, находящемся в смертельной опасности. Для Мересьева эта общая тревога увеличивалась тем, что Оля находилась где-то там, в степи под городом, и кто знает, какие испытания предстояло ей пережить! Он писал ей теперь каждый день. Но что значили его письма, адресуемые на какую-то полевую почту? Найдут ли они ее в сумятице отступле-

ния, в пекле гигантской битвы, которая завязалась в приволжской степи?

Санаторий летчиков волновался, как муравейник, на который наступили ногой. Брошены были все привычные занятия: шашки, шахматы, волейбол, городки, неизменный фронтной «козел» и «очко», в которое любители острых ощущений тайком резались раньше в приозерных кустах. Ничто не шло на ум. За час до подъема, к первой, семичасовой сводке, передаваемой по радио, сходились даже самые ленивые. Когда в эпизодах сводки упоминались подвиги летчиков, все ходили мрачные, обиженные, придирались к сестрам, ворчали на режим и на пищу, как будто администрация санатория была виновата в том, что им приходится в такое горячее время торчать здесь, на солнце, в лесной тиши у зеркального озера, а не сражаться там, над сталинградскими степями. В конце концов отдыхающие заявили, что они сыты отдыхом, и потребовали досрочной отправки в действующие части.

Под вечер прибыла комиссия отдела комплектования ВВС. Из пыльной машины вышло несколько командиров с петлицами медицинской службы. С переднего сиденья тяжело снялся, опираясь руками о спинку, известный в Военно-Воздушных Силах медик, военврач первого ранга Мировольский, грузный толстяк, любимый летчиками за отеческое к ним отношение. За ужином было объявлено, что комиссия с утра начнет отбор выздоравливающих, желающих досрочно прекратить отпуск для немедленного направления в часть.

В этот день Мересьев встал с рассветом, не делал своих обычных упражнений, ушел в лес и пробродил там до завтрака. Он ничего не стал есть, нагрубил подавальщице, попенявшей ему на то, что он все оставил в тарелках, а когда Стручков заметил ему, что не за что ругать девушку, которая ничего ему, кроме добра, не желает, выскочил из-за стола и ушел из столовой. В коридоре, у сводки Совинформбюро, висевшей на стене, стояла Зина. Когда Алексей проходил мимо, она сделала вид, что не видит его, и только гневно повела плечиком. Но когда он прошел, действительно не заметив ее, девушка с обидой, чуть не плача, окликнула его. Алексей сердито оглянулся через плечо.

— Ну, что вы хотите? Чего вам?

— Товарищ старший лейтенант, за что вы... — тихо

сказала девушка, краснея так, что цвет лица ее слился с медью волос.

Алексей сразу пришел в себя и весь как-то поник.

— Сегодня решается моя судьба,— глухо сказал он.— Ну, пожмите руку на счастье...

Прихрамывая больше, чем всегда, он прошел к себе и заперся в комнате.

Комиссия расположилась в зале. Туда притащили всяческие приборы — спирометры, силомеры, таблицы для проверки зрения. Весь санаторий собрался в смежном помещении, и желающие досрочно уехать, то есть почти все отдыхающие, выстроились было тут в длиннейшую очередь. Но Зиночка выдала всем билеты, на которых были написаны часы и минуты явки, и попросила разойтись. После того как первые прошли комиссию, разнесся слух, что смотрят снисходительно и не очень придираются. Да и как было комиссии придираться, когда гигантская битва, разгоравшаяся на Волге, требовала новых и новых усилий! Алексей сидел на кирпичной ограде перед затейливыми сенцами, болтал ногами и, когда кто-нибудь выходил из двери, спрашивал, будто не особенно интересуясь:

— Ну как?

— Воюем! — весело отвечал вышедший, застегивая на ходу гимнастерку или подтягивая ремень.

Перед Мересьевым пошел Бурназян. У двери он оставил свою палку и вошел, бодрясь, стараясь не болтаться из стороны в сторону и не припадать на короткую ногу. Его держали долго. Под конец из открытого окна долетели до Алексея обрывки сердитых фраз. Потом из двери вылетел вспаренный Бурназян. Он царапнул Алексея злым взглядом и, не поворачиваясь, проковылял в парк.

— Бюрократы, тыловые крысы! Что они понимают в авиации? Это им балет, что ли?.. Короткая нога... Клистирки, шприцы проклятые!

У Алексея похолодело под ложечкой, но он вошел в комнату бодрым шагом, веселый, улыбающийся. Комиссия сидела за большим столом. Посередине мясистой глыбой возвышался военврач первого ранга Мирвольский. Сбоку, за маленьким столиком со стопками личных дел, сидела Зиночка, хорошенькая, совсем игрушечная в своем белом, туго накрахмаленном халатике, с медной прядью волос, кокетливо выбивавшейся из-под

марлевой косынки. Она протянула Алексею его «дело» и, передавая, тихонько пожала руку.

— Ну-с, молодой человек,— сказал врач, щурясь,— снимайте гимнастерку.

Недаром Мересьев столько занимался спортом и загорал. Врач залюбовался его плотным, крепко сбитым телом, под смуглой кожей которого отчетливо угадывалась каждая мышца.

— С вас Давида лепить можно,— блеснул познаниями один из членов комиссии.

Мересьев легко прошел все испытания, он выжал кистью раза в полтора больше нормы, выдохнул столько, что измерительная стрелка коснулась ограничителя. Давление крови было у него нормальное, нервы в отличном состоянии. В заключение он ухитрился рвануть стальную ручку крафт-аппарата так, что прибор испортился.

— Летчик? — с удовольствием спросил врач, разваливаясь в кресле и уже нацеливаясь писать на уголке «личного дела старшего лейтенанта Мересьева А. П.» резолюцию.

— Летчик.

— Истребитель?

— Истребитель.

— Ну и отправляйтесь истреблять. Там сейчас ваш брат ох как нужен!.. Да вы с чем лежали в госпитале?

Алексей замялся, чувствуя, что все внезапно проваливается, но врач уже читал его личное дело, и широкое, доброе лицо его растягивалось от удивления.

— Ампутация ног... Что за чушь! Тут описка, что ли? Ну, чего вы молчите?

— Нет, не описка,— тихо и очень медленно, точно поднимаясь по ступенькам на эшафот, выговорил Алексей.

Врач и вся комиссия подозрительно уставились на этого крепкого, отлично развитого, подвижного парня, не понимая, в чем дело.

— Засучите брюки! — нетерпеливоскомандовал врач.

Алексей побледнел, беспомощно оглянулся на Зиночку, медленно поднял брюки и так и остался стоять перед столом на кожаных своих протезах, поникший, с опущенными руками.

— Так что же вы, батенька мой, нас морочите? Столько времени отняли. Не думаете же вы без ног пойти в авиацию? — сказал наконец врач.

— Я не думаю: я пойду! — тихо сказал Алексей, и его цыганские глаза сверкнули упрямым вызовом.

— Вы с ума сошли! Без ног?

— Да, без ног — и буду летать, — уже не упрямо, а очень спокойно ответил Мересьев; он полез в карман своего летного френча старого образца и достал оттуда аккуратно свернутую вырезку из журнала. — Видите, он же летал без ноги, почему же я не могу летать без обеих?

Врач, прочтя заметку, удивленно, с уважением посмотрел на летчика.

— Но для этого нужна чертовская тренировка. Видите, он тренировался десять лет. Нужно ж научиться орудовать протезами как ногами, — сказал он смягчаясь.

Тут Алексей неожиданно получил подкрепление: Зиночка выпорхнула из-за своего столика, молитвенно сложила на груди ручки и, покраснев так, что на висках ее выступили бисеринки пота, залепетала:

— Товарищ военврач первого ранга, вы поглядите, как он танцует! Лучше всех здоровых. Ну честное слово!

— Как — танцует? Что за черт! — Врач пожал плечами и добродушно переглянулся с членами комиссии.

Алексей с радостью ухватился за мысль, поданную Зиночкой:

— Вы не пишите ни «да», ни «нет». Приходите сегодня вечером к нам на танцы. Вы убедитесь, что я могу летать.

Идя к двери, Мересьев видел в зеркало, как члены комиссии о чем-то оживленно переговаривались.

Перед обедом Зиночка отыскала Алексея в чаще запущенного парка. Она рассказала, что, когда он вышел, комиссия еще долго толковала о нем и что врач заявил, что Мересьев — необыкновенный парень и, может быть, — кто знает! — действительно будет летать. Русский человек на что только не способен! На это один из членов комиссии возразил, что история авиации таких примеров не знает. Врач же ответил ему, что история авиации много чего не знала и многому научили ее советские люди в этой войне.

В последний вечер перед отправкой в действующую армию отобранных добровольцев, а таких оказалось в санатории человек двести, танцы были устроены по расширенной программе. Из Москвы на грузовике приехал военный оркестр. Духовая музыка сотрясала решетча-

тые окна теремов, сенцы и переходы. Без устали, обливаясь потом, отплясывали летчики. Среди них, веселый, ловкий, подвижной, все время танцевал Мересьев со своей златокудрой дамой. Пара была хоть куда!

Военврач первого ранга Мировольский, сидевший у открытого окна с кружкой холодного пива, не сводил глаз с Мересьева и его огненноволосой партнерши. Он был медик, больше того — он был военный медик. На бесконечных примерах знал он, как отличаются протезы от живых ног.

И вот теперь, наблюдая за смуглым плотным летчиком, красиво ведущим свою маленькую, изящную даму, он никак не мог отделаться от мысли, что все это какая-то сложная мистификация. Под конец, после того как летчик лихо сплясал в центре рукоплещущего круга «барыню» — да с гиком, с прихлопываниями ладонями по бедрам, по щекам — и потом, вспотевший и оживленный, пробился к Мировольскому, тот с уважением пожал ему руку. Мересьев молчал, но глаза его, в упор смотревшие на врача, молили, требовали ответа.

— Я, как вы понимаете, не имею права направить вас прямо в часть. Но я дам вам заключение для управления кадров. Я напишу наше мнение, что при соответствующей тренировке вы будете летать. Словом, в любом случае считайте мой голос «за», — ответил врач.

Мировольский вышел из зала под руку с начальником санатория, тоже опытным военным врачом. Оба восхищенные, сбитые с толку. Перед сном, сидя с папиросами, они еще долго рассуждали о том, на что только не способен советский человек, если он чего-нибудь как следует захочет...

В это время, когда внизу еще гремела музыка и в прямоугольниках оконных отсветов двигались по земле тени танцующих, Алексей Мересьев сидел наверху, в крепко запертой ванной комнате, до крови закусив губу, опустив ноги в холодную воду. Едва не теряя сознание от боли, он отмачивал синие кровавые мозоли и широкие язвы, образовавшиеся от неистового движения протезов.

Когда же через час майор Стручков вошел в комнату, Мересьев, умытый, свежий, расчесывал перед зеркалом свои мокрые волнистые волосы.

— Тебя там Зиночка ищет. Хоть погулял бы с ней на прощанье. Жалко девчонку.

— Пойдем вместе, Павел Иванович, ну пойдем, что тебе? — стал спрашивать Мересьев.

Ему было как-то не по себе от мысли остаться наедине с этой славной смешной девушкой, так старательно учившей его танцам. После Олиного письма он чувствовал себя в ее присутствии как-то особенно тягостно. И теперь он настойчиво тащил Стручкова с собой, пока тот, ворча, не взялся наконец за фуражку.

Зиночка ждала на балконе. В руках у нее был совершенно ошипанный букет. Венчики и лепестки цветов, растерзанные и оборванные, усеивали пол у ее ног. Заслышав шаги Алексея, она вся подалась вперед, но, увидев, что он не один, поникла и сжалась.

— Пошли с лесом прощаться! — беспечным тоном предложил Алексей.

Они взялись под руки и молча двинулись по старой липовой аллее. Под ногами у них, на земле, залитой пятнами белесого лунного света, шевелились угольно-черные тени и то здесь, то там, как разбросанные золотые монеты, сверкали первые листья осени. Кончилась аллея. Вышли из парка и по мокрой седой траве направились к озеру. Низина, точно белой бараньей шкурой, была покрыта пеленой густого клочковатого тумана. Он льнул к земле и, доходя им до пояса, таинственно сиял и дышал в холодном лунном свете. Воздух был сыр, пропитан сытными запахами осени и то прохладен и даже студен, а то тепел и душен, как будто в этом озере тумана были какие-то свои ключи, свои теплые и холодные течения...

— Похоже, что мы великаны и идем над облаками, а? — задумчиво сказал Алексей, с неловкостью ощущая, как плотно прижимается к его локтю маленькая сильная ручка девушки.

— Похоже, что мы дураки: промочим ноги и схватим на дорогу простуду! — проворчал Стручков, погруженный в какие-то свои невеселые думы.

— У меня перед вами преимущество. Мне нечего промачивать и простужать, — усмехнулся Алексей.

Зиночка потянула их к закрытому туманом озеру.

— Идемте, идемте, там сейчас должно быть очень хорошо.

Они едва не забрели в воду и удивленно остановились, когда она вдруг зачернела сквозь пушистые пряди тумана где-то уже совсем под ногами. Возле оказались

мостики, и рядом едва вырисовывался темный силуэт ялика. Зиночка упорхнула в туман и вернулась с веслами. Утвердили уключины, Алексей сел грести, Зиночка с майором расположились рядом на кормовом сиденье. Лодка медленно двинулась по тихой воде, то окунаясь в туман, то выскальзывая на простор, полированная чернь которого была щедро посеребрена луной. Они думали каждый о своем. Ночь была тихая, вода под веслами рассыпалась каплями ртути и казалась такой же тяжелой. Глухо стучали уключины, где-то скрипел коростель, и совсем уже издали едва доносился по воде надрывный, шалый крик филина.

— И не поверишь, что рядом воюют... — тихо сказала Зиночка. — Будете мне писать, товарищи? Вот вы, например, напишете, Алексей Петрович, хоть немножечко? Хотите, я вам открыток со своим адресом дам? Набросаете: жив, здоров, кланяюсь — и в ящик, а?..

— Нет, братцы, с каким удовольствием еду! К черту, хватит, за дело, за дело! — выкрикнул Стручков.

И снова все смолкли. Гулко булькала о борта лодки мелкая и ласковая волна, звучно и сонно журчала вода под днищем, тугими взблескивающими узлами клубилась за кормой. Туман таял, и уже видно было, как от самого берега тянулся к лодке зябкий, голубовато блестящий лунный столб и как маячили пятнышки кувшинок и лилий.

— Давайте споем, а? — предложила Зиночка и, не дожидаясь ответа, завела песню о рябине.

Она одна грустно пропела первый куплет, и тут глубоким и сильным баритоном поддержал ее майор Стручков. Он никогда раньше не пел, и Алексей даже не подозревал, что у него такой славный бархатный голос. И вот над водной гладью раздольно поплыла эта песня, задумчивая и страстная. Два свежих голоса, мужской и женский, тосковали, поддерживая друг друга. Алексею вспомнилась тонкая рябина с одинокой гроздьёю, стоящая под окном его комнаты, вспомнилась большеглазая Варя из подземной деревеньки; потом все исчезло: озеро, и этот волшебный лунный свет, и лодка, и певцы, и он увидел перед собой в серебристом тумане девушку из Камышина, но не Олю, что сидела на фотографии среди ромашек на цветущем лугу, а какую-то новую, незнакомую, усталую, с пятнистыми от загара щеками и потрескавшимися губами, в просоленной гимнастёрке и с лопа-

той в руках, где-то там, в степях под Сталинградом. Он бросил весла, и уже втроем согласно допели они последний куплет.

6

Ранним утром вереница военных автобусов выезжала со двора санатория. Еще у подъезда майор Стручков, сидевший на подножке в одном из них, завел свою любимую песню о рябине. Песня перекинулась в другие машины, и прощальные приветствия, пожелания, остроты Бурназяна, напутствия Зиночки, что-то кричавшей Алексею в автобусное окно,— все потонуло в простых и многозначительных словах этой старинной песни, много лет находившейся в забвении и снова воскресшей и овладевшей сердцами в дни Великой Отечественной войны.

Так и уехали автобусы, увозя с собой дружные, густые аккорды мелодии. Когда песня была допета, пассажиры стихли, и никто не сказал ни слова, пока не замелькали за окнами первые заводы и поселки столичного пригорода.

Майор Стручков, сидевший на подножке в расстегнутом кителе, улыбаясь, смотрел на подмосковные пейзажи. Ему было весело. Он двигался, переезжал, этот вечный военный странник, он чувствовал себя в своей стихии. Он направлялся в какую-то пока неизвестную ему летнюю часть, но все равно он ехал домой. Мересьев сидел молчаливый и тревожный. Он чувствовал, что самое трудное впереди, и кто знает, удастся ли ему преодолеть эти новые препятствия.

Прямо с автобуса, никуда не заходя, не позаботившись даже о ночлеге, Мересьев пошел к Мирвольскому.

И тут ждала его первая неудача. Его доброжелатель, которого он с таким трудом расположил в свою пользу, оказалось, вылетел в срочную командировку и вернется не скоро. Алексею предложили подать рапорт общим порядком. Мересьев присел тут же в коридоре на подоконнике и написал рапорт. Он отдал его командиру-интенданту, маленькому и худому, с усталыми глазами. Тот обещал сделать все, что сможет, и попросил зайти дня через два. Напрасно летчик просил, умолял, даже грозил. Прижимая к груди костлявые кулачки, интендант говорил, что таков общий порядок и нарушить его он не в силах. Должно быть, и в самом деле он ничем не мог помочь. Мересьев махнул рукой и побрел прочь. ✓

Так начались его скитания по военным канцеляриям. Дело осложнялось тем, что в госпиталь его доставили в спешке без вещевого, продовольственного и денежного аттестатов, о возобновлении которых он своевременно не позаботился. У него не было даже командировки. И хотя ласковый и услужливый интендант обещал ему срочно запросить по телефону из полка необходимые документы, Мересьев знал, как все это медленно делается, и понял, что ему предстоит жить некоторое время без денег, без квартиры и без пайка в суровой военной Москве, где строго считали каждый килограмм хлеба, каждый грамм сахара.

Он позвонил в госпиталь Аняте. Судя по голосу, она была чем-то озабочена или занята, но очень обрадовалась ему и потребовала, чтобы на эти дни он поселился в ее квартире, тем более что она сама находится в госпитале на казарменном положении и он никого не стеснит.

Санаторий снабдил своих питомцев на дорогу пятидневным сухим пайком, и Алексей, не раздумывая, бодро направился к знакомому ветхому домику, ютившемуся в глубине двора за могучими спинами новых огромных построек. Есть крыша, есть еда — теперь можно ждать. Он поднялся по знакомой темной витой лесенке, опять пахнувшей на него запахом кошек, керосиновой гари и сырого белья, нащупал дверь и крепко в нее постучал.

Остренькое старушечье личико высунулось в щель приоткрытой двери, придерживаемой двумя толстыми цепочками. Алексея долго рассматривали с недоверием и любопытством, спросили, кто он, к кому и как его фамилия. Только после этого загремели цепочки и дверь открылась.

— Анны Даниловны нет, но она звонила о вас. Входите, я вас проведу в ее комнату.

Старушка так и шарила выцветшими, тусклыми глазами по его лицу, френчу, особенно по вещевому мешку.

— Вам, может, водички согреть? Вон на печке Анечкина керосинка, я согрею...

Без всякой неловкости вошел Алексей в знакомую комнату. Должно быть, способность солдата ощущать себя везде дома, столь развитая в майоре Стручкове, стала сообщаться и ему. Почувствовав знакомый запах старого дерева, пыли, нафталина, всех этих десятилетиями верой и правдой прослуживших старых вещей, он

даже заволновался, как будто после долгих скитаний попал под родную крышу.

Старушка шла за ним по пятам и все говорила, говорила про очереди у какой-то булочной, где, если повезет, по карточкам можно было получить вместо черного хлеба сдобные плюшки, про то, что наемни в трамвае она слышала от очень солидного военного, что немцам сильно досталось у Сталинграда, что Гитлер будто даже от досады спятил с ума, посажен в желтый дом, а в Германии действует его двойник, что соседка ее, Алевтина Аркадьевна, совершенно напрасно получающая рабочую карточку, взяла у нее и не отдает великолепный эмалированный бидон для молока, что Анна Даниловна, дочь очень достойных людей, находящихся сейчас в эвакуации, — отличная девушка, смиренная и строгая, что, не в пример некоторым, она не шляется бог знает с кем и кавалеров к себе не водит.

— А вы что, жених ее будете? Герой Советского Союза, танкист?

— Нет, я простой летчик, — ответил Мересьев и чуть не засмеялся, увидев, как при этом недоумение, обида, недоверие и гнев одновременно отразились на подвижном лице старушки.

Она подобрала губы, сердито хлопнула дверью и уже из коридора, без прежнего заботливого дружелюбия, ворчливо сказала:

— Так если вода теплая нужна, кипятите сами на синей керосинке.

Анюта была, должно быть, сильно занята у себя на эвакуационном пункте. Сегодня, в непогожий осенний день, квартира имела совершенно заброшенный вид. На всем лежал толстый слой пыли; на окнах и на тумбочках желтели и вяли давно не поливавшиеся цветы. На столе стоял чайник, валялись корки, уже зазеленевшие по краям. Пианино тоже было одето серым и мягким чехлом пыли. И, казалось, задыхаясь в спертом, тяжелом воздухе, уныло гудела большая, сильная муха, бившаяся о тусклое, желтое стекло.

Мересьев распахнул окна. Они выходили на косогор, исчерченный тесными полосками грядок. Свежий воздух рванулся в комнату, сдул улежавшуюся пыль так, что поднялся серый туман. Тут Алексею пришла в голову веселая мысль: прибрать эту запущенную комнату, удивить и порадовать Анюту, если она вечером вырвется по-

видаться с ним. Он выпросил у старушки ведро, тряпку, швабру и с жаром принялся за это исстари презируемое мужчинами дело. Часа полтора он тер, обметал, смахивал, мыл, радуясь нехитрой своей работе.

Вечером он сходил к мосту, где еще по пути сюда заметил девочек, торговавших яркими тяжелыми осенними астрами. Купил несколько цветков, поставил их в вазы на столе и на пианино и уселся в удобное зеленое кресло, чувствуя во всем теле приятную усталость и жадно приюхиваясь к запахам жаркого, которое старушка готовила на кухне из его припасов.

Но Анята пришла такая усталая, что, едва поздоровавшись с ним, сразу грохнулась на диван, даже не заметив, что вокруг нее все блестит и сверкает. Только через несколько минут, отдышавшись, выпив воды, она удивленно огляделась и, все поняв, устало улыбнулась и благодарно пожала локоть Мересьева.

— Недаром, должно быть, Гриша в вас так влюблен, что я даже немножко ревную. Алешенька, неужели это вы... все сами? Какой же вы славный! А от Гриши ничего не имеете? Он там. Третьего дня пришло письмо, коротенькое, два слова: он в Сталинграде и, чудак, пишет — отращивает бороду. Вот затеял, нашел время!.. А там ведь очень опасно? Ну скажите, Алеша, ну?.. Столько ужасного говорят про Сталинград!

— Там война.

Алексей вздохнул и нахмурился. Он завидовал всем, кто был там, на Волге, где завязалось гигантское сражение, про которое теперь столько говорили.

Они беседовали весь вечер, отлично, с аппетитом поужинали жарким из тушенки и, так как вторая комната квартиры оказалась заколоченной, по-братски разместились в одной: Анята на кровати, а Алексей на диване, и сразу заснули крепким молодым сном.

Когда Алексей открыл глаза и сейчас же вскочил с постели, пыльные снопы солнечных лучей уже косо лежали на полу. Аняты не было. К спинке его дивана была приколотая записка: «Тороплюсь в госпиталь. Чай на столе, хлеб в буфете, сахара нет. Раньше субботы не вырваться. А.»

Все эти дни Алексей почти не выходил из дому. От нечего делать он перечинил старушке все примусы, керосинки, запаял кастрюли, поправил выключатели и штепсели и даже отремонтировал по ее просьбе кофей-

ную меленку злодейке Алевтине Аркадьевне, так и не вернувшей, впрочем, эмалированного бидона. Всем этим он снискал прочное благорасположение старушки и ее мужа, работника Стройтреста, активиста противоздушной обороны, тоже по суткам пропадавшего из дому. Супруги пришли к заключению, что танкисты, конечно, хорошие люди, но и летчики им нисколько не уступают и даже, если к ним приглядеться, несмотря на свою воздушную профессию,— хозяйственный, семейный, серьезный народ.

Ночь накануне явки в отдел кадров за заключением Алексей пролежал на диване с открытыми глазами. На рассвете встал, побрился, умылся и точно в час открытия учреждения первым подошел к столу майора административной службы, которому надлежало решить его судьбу. Майор ему сразу не понравился. Будто не замечая Алексея, он долго возился у стола, доставал и раскладывал перед собой папки с бумагами, кому-то звонил по телефону и обстоятельно объяснялся с секретаршей по поводу того, как надо нумеровать личные дела, потом куда-то вышел и не скоро вернулся. К этому времени Алексей успел возненавидеть его продолговатое длинноносое лицо с аккуратно выбритыми щеками, яркогубое, с покатым лбом, переходившим незаметно в сверкающую лысину. Наконец майор перевернул листок календаря и только после этого поднял глаза на посетителя.

— Вы ко мне, товарищ старший лейтенант? — солидным, самоуверенным баском спросил он.

Мересьев объяснил свое дело. Майор запросил у секретарши его бумаги и в ожидании их сидел, вытянув ноги, сосредоточенно ковыряя во рту зубочисткой, которую он при этом вежливо прикрывал ладонью левой руки. Когда бумаги принесли, он вытер зубочистку платком, завернул ее в бумажку, сунул в карман кителя и принялся читать «личное дело». Должно быть, дойдя до ампутированных ног, он торопливо показал Алексею на стул: дескать, садитесь, чего же вы стоите,— и снова углубился в бумаги. Дочитав последний листок, он спросил:

— Ну, и что вы, собственно, хотите?

— Хочу получить назначение в истребительный полк.

Майор откинулся на спинку стула, удивленно уставился на летчика, все еще стоявшего перед ним, и сам

придвинул ему стул. Широкие брови еще выше всползли на гладкий и жирноватый лоб.

— Но вы же летать не можете?

— Могу, буду. Направьте меня в тренировочную школу на пробу.— Мересьев почти кричал, и столько было в его тоне неукротимого желанья, что военные, сидевшие за соседними столами, подняли головы, стараясь узнать, чего так настойчиво требует этот смуглый красивый парень.

— Но слушайте, как это можно летать без ног? Смешно... Этого нигде не видано. И кто вам разрешит? — Майор понял, что перед ним какой-то фанатик, может быть сумасшедший.

Косясь на сердитое лицо Алексея, на его горячие, «шалые» глаза, он старался говорить как можно мягче.

— Этого нигде не видано, но это увидят! — упрямо твердил Мересьев; он вынул из записной книжки завернутую в целлофан журнальную вырезку и положил ее на стол перед майором.

Военные за соседними столами уже бросили работать и с интересом прислушивались к разговору. Один, будто за делом, подошел к майору, спросил спички и заглянул в лицо Мересьеву. Майор пробежал глазами статейку.

— Это для нас не документ. У нас есть инструкция. Там точно определены все степени годности в авиацию. Я не могу вас допустить к управлению машиной, даже если бы у вас не хватало двух пальцев, а не обеих ног. Забирайте ваш журнал — это не доказательство. Я уважаю ваше стремление, но...

Чувствуя, как все в нем закипает, что еще мгновение — и он запустит чернильницей в этот сверкающий голый лоб, Мересьев глухо выдавил из себя:

— А это?

Он положил на стол последний свой аргумент — бумажку за подписью военврача первого ранга.

Майор с сомнением взял записку. Она была надлежащим образом оформлена, со штампом отдела медико-санитарной службы, с печатью; под ней стояла подпись уважаемого в авиации врача. Майор прочел ее и стал более любезным. Нет, перед ним не сумасшедший. Действительно, этот необыкновенный парень собирается летать без ног. Он даже как-то ухитрился убедить военврача, серьезного, авторитетного человека.

— И все-таки, при всем желании, не могу,— вздохнул майор, отодвигая «дело» Мересьева.— Военврач первого ранга может писать что ему угодно, у нас же инструкция ясная и определенная, не допускающая отклонений... Если я ее нарушу, в ответе кто будет: военврач?

Мересьев с ненавистью посмотрел на этого сытого, самодовольного человека, такого самоуверенного, спокойного, вежливого, на чистенький подворотничок его аккуратного кителя, на его волосатые руки с тщательно подстриженными большими и некрасивыми ногтями. Ну как ему объяснишь? Разве он поймет? Разве он знает, что такое воздушный бой? Он, может быть, выстрела не слышал в своей жизни. Сдерживаясь изо всех сил, он глухо спросил:

— А как же мне быть?

— Если непременно хотите, могу направить на комиссию в отдел формирования.— Майор пожал плечами.— Только предупреждаю: напрасно будете трудиться.

— А, черт возьми, пишите на комиссию! — прохрипел Мересьев, тяжело рухнув на стул.

Так начались его скитания по учреждениям. Усталые, по горло заваленные делами люди слушали его, удивлялись, сочувствовали, поражались и разводили руками. И действительно, что они могли сделать? Существовала инструкция, совершенно правильная инструкция, утвержденная командованием, существовали освященные многими годами традиции, и как было нарушить их, да еще в таком не вызывающем сомнений случае! Всем было искренне жаль неугомонного инвалида, мечтавшего о боевой работе, ни у кого не поворачивался язык решительно сказать ему «нет», и его направляли из отдела кадров в отдел формирования, от стола к столу, ему сочувствовали и отсылали его на комиссию.

Мересьева больше уже не выводили из себя ни отказы, ни поучающий тон, ни унижительное сочувствие и снисхождение, против чего бунтовала вся его гордая душа. Он научился держать себя в руках, усвоил тон просителя и, хотя в день получал иной раз по два-три отказа, не хотел терять надежду. Страничка из журнала и заключение военврача первого ранга настолько истрепались от частого доставания из кармана, что разлезлись на сгибах, и ему пришлось оклеить их промасленной бумагой.

Тяготы скитаний осложнялись тем, что ответа из полка еще не пришло, и он по-прежнему жил без аттестатов. Запасы, выданные в санатории, уже иссякли. Правда, супруги-соседи, с которыми он подружился, видя, что он перестал варить себе еду, усиленно зазывали его обедать. Но он знал, как бьются эти старые люди на своем крохотном огородишке, на косогоре под окнами, где были заранее учтены каждое перышко лука, каждая морковина, знал, как по-братски, с детской тщательностью делят они по утрам свой хлебный рацион,— знал и отказался, бодро заявив, что во избежание канители с готовкой он обедает теперь в командирской столовой.

Настала суббота, день, когда должна была освободиться Анюта, с которой ежевечерне он подолгу болтал по телефону, докладывая ей о невеселом ходе своих дел. И он решился. В вещевом мешке хранился у него старый серебряный отцовский портсигар с лихо несущейся тройкой, нанесенной на крышку изящной чернью, и с надписью: «От друзей в день серебряной свадьбы». Алексей не курил, но мать, провожая на фронт своего любимца, для чего-то сунула ему в карман тщательно сберегаемую в семье отцовскую реликвию, и так и возил он с собой эту массивную, неуклюжую вещь, кладя ее в карман «на счастье» при вылетах. Он отыскал в вещевом мешке портсигар и пошел с ним в «комиссионку».

Худая, пропахшая нафталином женщина повертела портсигар в руках, костлявым пальцем показала на надпись и заявила, что именных вещей на комиссию не принимают.

— Да я же недорого, по вашей цене.

— Нет-нет! К тому же, гражданин военный, мне кажется, что вам еще рановато принимать подарки по случаю серебряной свадьбы,— ядовито заметила нафталиновая дама, посмотрев на Алексея своими недружелюбными бесцветными глазами.

Густо покраснев, летчик схватил портсигар со стойки и бросился к выходу. Кто-то остановил его за рукав, дохнув в ухо густым винным перегаром.

— Занятная вещица. И недорого? — осведомилась заросшая щетиной синеватая морда, обладатель которой протягивал к портсигару жилистую дрожащую руку.— Массивный. Из уважения к герою Отечественной войны пять серых дам.

Алексей, не торгуясь, схватил пять сотенных и выбежал на свежий воздух из этого царства старой, вонючей рухляди. На ближайшем рынке купил он кусочек мяса, сала, буханку хлеба, картошки, луку. Не забыл даже несколько хвостиков петрушки. Нагруженный явился «домой», как говорил он теперь сам себе, жуя по дороге кусочек сала.

— Решил опять пайком: погано готовят,— соврал он старушке, выкладывая на кухонный стол свою добычу.

Вечером Анюту ждал роскошный ужин: картофельный суп на мясном бульоне, в янтаре которого плавали зеленые кудряшки петрушки, зажаренное с луком мясо и даже клюквенный кисель — старушка сварила его на крахмальном отваре, добытом из картофельных очистков. Девушка пришла усталая, бледная. С видимым усилием заставила она себя умыться и переодеться. Торопливо съев первое и второе, она растянулась в волшебном старом кресле, которое, казалось, обнимало усталого человека добрыми плюшевыми лапами и нашептывало ему на ухо хороший сон. Так она и задремала, не дождавшись, пока под краном в бидоне остудится изготовленный по всем правилам кисель.

Когда после короткого сна она открыла глаза, серые сумерки уже сгущались в маленькой и снова чистенькой комнате, загроможденной старыми уютными вещами. У обеденного стола под матовым абажуром старой лампы увидела она Алексея. Он сидел, охватив голову обеими руками и сжав ее так, точно хотел раздавить меж ладонями. Лица его не было видно, но во всей этой позе было такое тяжелое отчаяние, что жалость к этому сильному, упрямому человеку теплой волной подкатила к горлу девушки. Она тихо встала, подошла к нему, обняла большую его голову и стала гладить, пропуская меж пальцев жестковатые пряди его волос. Он поймал ее руку и поцеловал в ладонь, потом вдруг вскочил, веселый и улыбающийся.

— А кисель? Вот так раз! Я старался, надрывался, доводил его под краном до должной температуры — и пожалуйте, она заснула. Каково это повару переживать!

Они весело съели по тарелке этого «образцового» — уксуснокислого киселя, поболтали, словно по уговору не касаясь двух тем: о Гвоздеве и о его, Мересьева, делах. Потом стали устраивать постели, каждый на своем ло-

же. Анюта вышла в коридор, подождала, пока об пол не стукнули протезы Алексея, потом, потушив лампу, разделась и улеглась. Было темно, они молчали, но по тому, как иногда шелестели простыни и скрипели пружины, она догадывалась, что он не спит.

— Алеша, не спите? — не выдержала наконец Анюта.

— Не сплю.

— Думаете?

— Думаю. А вы?

— Тоже думаю.

Помолчали. За окнами проскрежетал на повороте трамвай. Синяя вспышка над его дугой на миг осветила комнату, и каждый из них на мгновение увидел лицо другого. Оба лежали с открытыми глазами.

...Алексей в этот день не сказал Анюте ни слова о результатах своих хождений, и она поняла, что дела его плохи и, может быть, уже гаснет надежда в этой неукротимой душе. Женским своим чутьем она угадывала, как тяжело должно быть сейчас этому человеку, и поняла также, что, как ни лихо ему в эту минуту, высказанное участие только разбередит его боль, а сочувствие оскорбит.

Он же, лежа на спине, на заломленных за голову руках, думал о том, что вот в трех шагах от него на кровати в темноте лежит хорошенькая девушка, невеста друга, славный, добрый товарищ. До нее ему сделать два-три шага по темной комнате, но никогда, ни за что на свете не сделал бы он эти три шага, точно мало знакомая, приютившая его девушка была его собственной сестрой. Он думал, что майор Стручков, вероятно, обручал бы его, может быть, даже не поверил бы ему. А впрочем, кто знает, может быть, теперь именно он-то и смог бы понять его больше, чем кто бы то ни было... А какая она славная, Анюта, и как, бедная, устает и как вместе с этим увлекается своей тяжелой работой в эвакогоспитале!

— Алеша! — тихо позвала Анюта.

С дивана Мересьева слышалось ровное дыхание. Летчик спал. Девушка поднялась с постели, осторожно ступая босыми ногами, подошла к нему и, точно маленькому, поправила ему подушку и подоткнула вокруг него одеяло.

Мересьева вызвали на комиссию первым. Огромный рыхлый военврач первого ранга, вернувшийся наконец из командировки, сидел на председательском месте. Он сразу узнал Алексея и даже вышел из-за стола ему навстречу.

— Что, не берут? Да, дорогой мой, сложное ваше дело. Ведь закон перешагивать приходится. А как через закон-то прыгнешь? — добродушно посочувствовал он.

Алексея не стали даже смотреть. На его бумажке военврач написал красным карандашом: «Отделу кадров. Считаю возможным направить в ТАП на испытание». С этой бумажкой Алексей отправился прямо к начальнику отдела кадров. К генералу его не пустили, Мересьев было вспылал, но у адъютанта генерала, стройного молоденького капитана с черненькими усиками, было такое веселое, добродушно-дружелюбное лицо, что Мересьев, исстари не терпевший, как он выражался, «архангелов», уселся возле его столика и неожиданно для себя обстоятельно рассказал капитану свою историю. Рассказ его часто прерывали телефонные звонки. Капитану то и дело приходилось срываться и бегать в кабинет шефа. Но, вернувшись, он сейчас же садился против Мересьева и, уставившись на него детскими, навивными глазами, в которых были одновременно и любопытство, и восхищение, даже недоверие, торопил:

— Ну, ну, ну и дальше? — Или вдруг разводил руками и недоуменно спрашивал: — Не врешь? Ей-богу, не врешь? Н-да, это н-да!

Когда Мересьев рассказал ему о своих скитаниях по канцеляриям, капитан, несмотря на свою юношескую внешность, оказавшийся изрядным докой в аппаратных делах, возмущенно вскричал:

— Вот черти! Они же напрасно гоняли. Ты замечательный, ну, просто я не знаю, как сказать... ну, исключительный парень!.. Только они правы: без ног не летают.

— Летают... Вот...— И Мересьев выложил вырезку из журнала, заключение военврача и его направление.

— Да как же ты полетишь без ног? Чудак! Нет уж, брат, по пословице: «Из безногого танцора не выйдет».

На другого Мересьев наверняка обиделся бы, может быть, даже, вспылыв, нагрубил бы ему. Но живое лицо

капитана источало такое доброжелательство, что вместо этого Алексей вскочил и с мальчишеским задором крикнул:

— Не выйдет? — и вдруг пустился по приемной в пляс.

Капитан восхищенно следил за ним, потом, ни слова не говоря, схватил его бумаги и скрылся в кабинете.

Он долго не появлялся. Летчик, вслушиваясь в доносившиеся из-за двери глухие отзвуки двух голосов, чувствовал, как в страшном напряжении сжалось все тело, остро и часто бьется сердце, точно шел он на быстрой машине в крутое пике. Капитан вышел из кабинета улыбающийся, довольный.

— Вот что, — сказал он, — конечно, о том, чтобы тебя в летный состав, генерал и слушать не стал. Но вот он тут написал: направить в БАО для несения службы, без снижения в окладе и в довольствии. Понял? Без снижения...

Капитан был поражен, увидев на лице Алексея вместо радости возмущение.

— В БАО? Никогда! Да поймите же вы все: не о брюхе, не об окладе я хлопочу. Я летчик, понимаете? Я летать, я воевать хочу!.. Почему этого никто не понимает? Ведь чего проще...

Капитан был озадачен. Вот принесло посетителя! Другой бы на его месте опять в пляс пустился, а этот... Чудак какой-то! Но этот чудак капитану нравился все больше. Он проникся к нему сочувствием, он хотел во что бы то ни стало помочь ему в невероятном его предприятии. Вдруг у него мелькнула мысль. Он подмигнул Мересьеву, поманил его пальцем и зашептал, оглядываясь на кабинет шефа:

— Генерал сделал все, что мог. Больше не в его власти. Ей-богу! Его б самого за сумасшедшего приняли: безногого — в летный состав. Дуй прямо к нашему хозяину, только он может.

Через полчаса Мересьев, которому его новый знакомый исколотал пропуск, нервно ходил по коврам приемной большого начальника. Как он не догадался раньше! Ну да, именно сюда и надо было ему обратиться сразу, не теряя попусту столько времени. Или пан, или пропал... Говорили, что начальник и сам был асом. Он должен понять. Уж он не направит истребителя в БАО!

В приемной чинно сидели генералы, полковники. Они

переговаривались вполголоса, некоторые явно волновались, много курили, и только старший лейтенант ходил по коврам взад и вперед своей странной, подпрыгивающей походкой. Когда все посетители прошли и настала очередь Мересьева, он резко подошел к столу, за которым сидел молодой майор с круглым открытым лицом.

— Вы к самому, товарищ старший лейтенант?

— Да. У меня есть лично к нему очень важное дело.

— А может быть, все-таки вы и меня могли бы познакомить с вашим делом? Да вы садитесь. Курите? — Он протянул Мересьеву раскрытый портсигар.

Алексей не курил, но почему-то взял папиросу, помял в руках и положил на стол и вдруг, так же как и капитану, разом выпалил обо всех своих злоключениях. В этот день он решительно переменял свое мнение об «архангелах», стерегущих генеральские «предбанники». Майор слушал его не то чтобы учтиво, нет, а очень как-то по-дружески, участливо и внимательно. Он прочел заметку в журнале, познакомился с заключением. Воодушевленный участием, Мересьев вскочил и, позабыв, где находится, хотел было опять продемонстрировать, как он пляшет... Тут чуть было все не рухнуло. Дверь кабинета быстро открылась, оттуда вышел высокий, худой черноволосый человек, которого Алексей сразу узнал по фотографиям. На ходу он застегивал шинель и что-то говорил шедшему за ним генералу. Он был очень озабочен и даже не заметил Мересьева.

— Я в Кремль,— бросил он майору, взглянув на часы.— Закажите на шесть ночной самолет на Сталинград. Посадка в Верхней Погромной,— и ушел так же быстро, как появился.

Майор тут же заказал самолет и, вспомнив про Мересьева, развел руками:

— Не повезло, улетаем. Придется ожидать. У вас есть где жить?

На смуглом лице необычайного посетителя, минутой тому назад казавшемся упрямым и волевым, майор увидел вдруг такое разочарование и такую усталость, что переменял решение.

— Ладно... Я знаю нашего хозяина, он поступил бы так же.

Он написал несколько слов на официальном бланке, сунул записку в конверт, надписал: «Начальнику отдела кадров» — и, передавая Мересьеву, пожал ему руку:

— Желаю от всей души удачи!

В бумажке значилось: «Лейтенант Мересьев А. был на приеме у командующего. К нему следует отнестись со всей внимательностью. Необходимо всем, чем можно, помочь ему вернуться в боевую авиацию».

Через час капитан с усиками вводил Мересьева в кабинет своего шефа. Старый генерал, грузный, с сердитыми лохматыми бровями, прочитал бумажку, поднял на летчика голубые веселые глаза и усмехнулся:

— Уже и там побывал... Скор, скор! Так это ты обиделся, что я тебя в БАО? Ха-ха-ха! — Он засмеялся раскатисто и шумно.— Молодец! Узнаю летуна хороших кровей. В БАО он не хочет, оскорбился... Умора!.. Что же мне с тобой делать-то, плясун, а? Разобьешься, а с меня голову снимут: зачем, старый дурак, направил! А впрочем, кто тебя знает... на этой войне наши ребята и не так мир удивляли... Давай бумаженцию.

Синим карандашом, непонятным почерком генерал небрежно, не дописывая слов, написал поперек бумажки: «Направить в школу тренировочного обучения». Мересьев схватил бумажку дрожащими руками. Он прочитал ее тут же, у стола, потом на лестничной площадке, потом внизу, возле часового, проверявшего пропуска при входе, потом в трамвае и, наконец, стоя под дождем на тротуаре. Из всех людей, населяющих земной шар, только он один мог понять, что означают и что стоят эти пять небрежно выведенных слов.

В этот день на радостях Алексей Мересьев продал свои часы — подарок командира дивизии, — накупил на рынке всяческой снеди и вина, по телефону умолил Аюту как-нибудь подмениться часа на два там, у себя в эвакогоспитале, пригласил чету старичков и устроил пир на весь мир по случаю своей великой победы.

8

В школе тренировочного обучения, разместившейся под Москвой, подле небольшого осоавиахимовского аэродромчика, в те тревожные дни была страдная пора.

В Сталинградском сражении авиации было много работы. Небо над волжской крепостью, вечно бурое, никогда не прояснявшееся от дыма пожарищ и разрывов, было ареной непрерывных воздушных схваток, боев, перераставших в целые битвы. Обе стороны несли весьма

значительные потери. Борющийся Сталинград непрерывно требовал у тыла летчиков, летчиков, летчиков... Поэтому школа тренировочного обучения, где подучивались летчики, вышедшие из госпиталей, а приехавшие из тыла пилоты, летавшие до сих пор на гражданских самолетах, переучивались для полетов на новых боевых машинах, работала с предельной нагрузкой. Тренировочные самолеты, стрекозоподобные «ушки» и «уточки», облепляли маленький, тесный аэродром, как мухи небраный кухонный стол. Они жужжали над ним с восхода и до заката, и, когда ни взглянешь на исчерченное вкривь и вкось колесами поле, всегда здесь кто-нибудь взлетал или садился.

Начальник штаба школы тренировочного обучения, маленький, очень толстый краснолицый крепыш с красными от бессонницы глазами, сердито посмотрел на Мересьева, точно взглядом этим хотел сказать: «Какой черт еще тебя принес? Мало мне тут заботы!» — и вырвал у него из рук пакет с направлением и бумагами.

«Придерется к ногам и прогонит», — подумал Мересьев, с опаской смотря на бурую щетину, курчавившуюся на широком, давно не бритом лице подполковника. Но того уже звали звонки двух телефонов сразу. Он прижимал плечом к уху одну трубку, что-то раздраженно гудел в другую, и в то же время глазами бегал по мересьевским документам. Должно быть, прочел он в них только одну генеральскую резолюцию, потому что тут же, не кладя телефонной трубки, написал под ней: «Третий тренировочный отряд. Лейтенанту Наумову. Зачислить». Потом, положив обе трубки, устало спросил:

— А вещевого аттестат? А продовольственный? Нету? У всех нету. Знаю, знаю я эти песни. Госпиталь, суматоха, не до того. А я чем вас кормить буду? Пишите рапорт, без аттестата приказом не проведу.

— Есть написать рапорт! — с удовольствием отрубил Мересьев, весь подтягиваясь и козыряя. — Разрешите идти?

— Ступайте! — Подполковник махнул рукой. И вдруг раздался его свирепый окрик: — Стойте! Это что такое? — Он указал пальцем на тяжелую, покрытую золотыми монограммами палку — подарок Василия Васильевича. Мересьев, выходя из кабинета, в волнении забыл ее в углу. — Что за пижонство? Бросить палку! Не воинская часть, а цыганский табор! Горсад какой-то: палки, тро-

сточки, стеки, хлыстики... Скоро будете на шею амулеты вешать и черных кошек в кабину брать. Чтоб я больше этой дряни не видел! Пижон!

— Есть, товарищ подполковник!

Хотя впереди было много трудностей и неудобств: надо было писать рапорт, объяснить сердитому подполковнику обстоятельства утраты аттестатов; хотя из-за неразберихи, создаваемой безостановочно проходившим через школу потоком людей, кормили в ней слабовато и, пообедав, курсанты начинали сейчас же мечтать об ужине; хотя в набитом битком здании средней школы, временно превращенной в общежитие номер три для летного состава, трубы полопались, стояла чертова померзень и всю первую ночь Алексей дрожал под одеялом и кожаным регланом,— он чувствовал себя здесь, среди этой суеты и неудобств, как чувствует себя, вероятно, рыба, которую волна слизнула в море, после того как она полежала, задыхаясь, на песке. Все тут нравилось ему, и даже самые неудобства этого бивуачного жилья напоминали ему, что он близок к осуществлению своей мечты.

Родная обстановка, родные люди в старых, шершавых и выгоревших за войну кожаных регланах и в собачьих унтах, загорелые, хриплоголосые, веселые; родная атмосфера, пропахшая сладковатым и острым запахом авиационного бензина, наполненная ревом прогреваемых моторов и ровным, успокаивающим рокотом летящих самолетов; чумазы технари в замасленных комбинезонах, сбившиеся с ног; сердитые, загоревшие до бронзового цвета инструкторы; румяные девчата в метеорологической будке; сизый слоистый дым лежанки в домике командного пункта; хрипенье зуммеров и резкие телефонные звонки; недостаток ложек в столовой, забираемых «на память» отъезжающими на фронт; «боевые листки», написанные цветными карандашами, с обязательными карикатурами на юнцов, мечтающих в воздухе о девушках; бурая мягкая грязь летного поля, вкривь и вкось исчерченная колесами и костылями, веселая речь, приправленная солеными словечками и авиационными терминами,— все это было знакомое, устоявшееся.

Мересьев сразу расцвел, развернулся. Вернулись к нему, казалось прочно утраченные, жизнерадостность и некоторая веселая бесшабашность, всегда немножко свойственные истребителям. Он подтянулся, с удоволь-

ствием, ловко и красиво отвечал на приветствия младших, четко рубил шаг при встрече со старшими и, получив новую форму, сейчас же отдал ее «подгонять» пожилому сержанту, портному по своей гражданской профессии, сидевшему в БАО на выписке продуктов.

По ночам сержант подрабатывал, «пригоняя к костям» казенные размеры формы для взыскательных, щеголеватых лейтенантов.

В первый же день Мересьев отыскивал на летном поле инструктора третьего отряда лейтенанта Наумова, под начало которого он был отдан. Наумов, маленький, очень подвижной, головастый, длиннорукий человек, бегал в районе «Т» и, смотря на небо, где ходила в зоне крохотная «ушка», ругательски ругал того, кто ею управляет:

— Сундук... Мешок с... золотом... «Был истребителем!»! Кого обмануть хочет?

В ответ на приветствие Мересьева, по полной форме представившегося своему будущему инструктору, он только махнул рукой и показал в воздух:

— Видали? «Истребитель», гроза воздуха, болтается, как... цветок в проруби...

Инструктор понравился Алексею. Он любил вот таких немножко сумасшедших в общежитии, по уши влюбленных в свое дело людей, с которыми способному и старательному человеку легко найти общий язык. Он сделал несколько дельных замечаний по поводу летавшего. Маленький лейтенант уже внимательно оглядел его с ног до головы.

— В мой отряд? Как фамилия? На чем летали? Были в боях? Сколько времени не поднимались?

Алексей не был уверен, что лейтенант выслушал его ответы: он опять запрокинул голову и, загородив ладошкой лицо от солнца, затряс кулачком.

— Шмаровоз!.. Смотрите, как он поворачивает! Точно бегемот в гостинной.

Он назначил Алексею явиться к началу летного дня и обещал сейчас же «попробовать».

— А теперь ступайте отдохните. С дороги полезно. Кушали? А то у нас в сутолоке могут забыть накормить... Чертова кукла! Ну, только приземлись, я тебе покажу «истребителя»!

Мересьев не пошел отдыхать, тем более что на аэродроме, по которому ветер гонял сухую и острую пес-

чаную пыль, казалось, было даже теплее, чем в классе «девятом А», где стоял его топчан. Он нашел в БАО сапожника, отдал ему свой недельный табачный паек и попросил сшить из командирского ремня две маленькие лямки с пряжками особой конструкции, с помощью которых он мог бы крепко пристегивать протезы к ножным рычажкам управления. За срочность и необычность заказа сапожник выговорил себе на «полмитрия» и обещал сделать лямки на совесть. Мересьев же вернулся на аэродром и дотемна, до того, как последний самолет загнали на линейку и привязали веревкой к ввинченным в землю штопорам, следил за полетами, как будто это было не обычное тренировочное «лазание» по зонам, а какое-то сверхасовское соревнование. Он не вглядывался в полет. Он просто жил атмосферой аэродрома, впитывая ее деловую суету, несмолкающий рев моторов, глухое хлопанье ракетниц, запах бензина и масла. Все существо его ликовало, он даже и не думал, что завтра самолет может послушаться, выйти из повиновения, что может случиться катастрофа.

Утром он явился на летное поле, когда оно было еще пусто. На линейках ревели прогреваемые моторы, напряженно выдыхали огонь «полярные» печи, и механики, развертывая винты, отскакивали от них, как от змеи. Слышалась знакомая утренняя перекличка:

— К запуску!

— Контакт!

— Есть контакт!

Кто-то обругал Алексея за то, что он невесть зачем трется у самолетов в такую рань. Он отшутился и все повторял про себя веселую, засевшую почему-то в уме фразу: «Есть контакт, есть контакт, есть контакт». Наконец самолеты, подпрыгивая, неуклюже переваливаясь и подрагивая крыльями, поползли к старту, придерживаемые механиками за подкрылки. Наумов был уже здесь и курил самокрутку, такую маленькую, что казалось — он извлекает дым из сложенных в щепотку коричневых пальцев.

— Пришел? — спросил он, не ответив на сделанное по полной форме официальное приветствие Алексея.— Ну и ладно: первым пришел — первым и полетишь. А ну, садись в заднюю кабину девятки, а я сейчас. Посмотрим, что ты за гусь.

Он стал быстрыми затяжками докуривать крохотный

«чинарик», а Алексей заторопился к самолету. Ему хотелось прикрепить ноги до того, как подойдет инструктор. Славный он малый, но кто его знает: а вдруг заупрямится, откажется пробовать, поднимет шум? Мересьев карабкался по скользкому крылу, судорожно цепляясь за борт кабины. От волнения, от непривычки он все срывался и никак не мог закинуть ногу в кабину, так что узколицый, немолодой, унылого вида механик, удивленно поглядев на него, решил: «Пьян, собака».

Но вот наконец Алексею удалось закинуть в кабину свою негнущуюся ногу, с невероятными усилиями подтянул он другую и грузно плюхнулся в сиденье. Он сейчас же пристегнул кожаными хомутиками протезы к педальному управлению. Конструкция оказалась удачной, хомутики упруго и прочно прижимали протезы к рычажкам, и он чувствовал их, как в детстве чувствовал под ногой хорошо пригнанный конек.

В кабину сунулась голова инструктора.

— А ты, друг, часом не пьян? Дыхни.

Алексей дыхнул. Не почуя знакомого запаха, инструктор погрозил механику кулаком.

— К запуску!

— Контакт!

— Есть контакт!

Мотор несколько раз пронзительно фыркнул, потом послышалось отчетливо различимое биение его поршеньков. Мересьев даже вскрикнул от радости и машинально потянул рукой рычажок газа, но тут он услышал в переговорной трубке сердитое ругательство инструктора:

— Поперед батьки в пекло не лезь!

Инструктор сам дал газ, мотор зарокотал, завыл, и самолет, подпрыгивая, взял разбег. Машинально управляя, Наумов взял ручку на себя, и маленькая эта машина, похожая на стрекозу, ласково поименованная на северных фронтах «лесником», на центральных — «капустником», на юге — «кукурузником», всюду служащая мишенью для добродушных солдатских острот и всюду уважаемая, как старый, испытанный, чудаковатый, но боевой друг, машина, на которой все летчики учились когда-то летать, — круто полезла в воздух.

В косо поставленном зеркале инструктор видел лицо нового курсанта. Сколько он наблюдал таких лиц при первом взлете после длительного перерыва! Он видел снисходительное добродушие асов, видел, как загора-

лись глаза летчиков-энтузиастов, ощутивших родную стихию после долгого скитания по госпиталям. Он видел, как, очутившись в воздухе, бледнели, начинали нервничать, кусать губы те, кого травмировало во время тяжелой воздушной аварии. Он наблюдал зазорное любопытство новичков, отрывавшихся от земли в первый раз. Но такого странного выражения, какое инструктор видел в зеркале на лице этого красивого смуглого парня, явно не новичка в летном деле, ни разу не доводилось наблюдать Наумову за многие годы его инструкторской работы.

Сквозь смуглую кожу новичка проступил пятнистый, лихорадочный румянец. Губы у него побледнели, но не от страха, нет, а от какого-то непонятого Наумову благородного волнения. Кто он? Что с ним происходит? Почему технарь принял его за пьяного?

Когда самолет оторвался от земли и повис в воздухе, инструктор видел, как глаза курсанта, черные, упрямые, цыганские глаза, на которые тот не опустил защитных очков, вдруг заплыли слезами и как слезы поползли по щекам и были смазаны ударившей в лицо на повороте воздушной струей.

«Чудак какой-то! С ним нужно осторожно. Мало ли что!» — решил про себя Наумов. Но было в этом взволнованном лице, глядевшем на него из четырехугольника зеркала, что-то такое, что захватило и инструктора. Он с удивлением почувствовал, что и у него клубок подкатывает к горлу и приборы начинают расплываться перед глазами.

— Передаю управление,— сказал он, но не передал, а только ослабил руки и ноги, готовый в любой момент выхватить управление из рук этого непонятого чудака.

Через приборы, дублировавшие каждое движение, Наумов почувствовал уверенные, опытные руки новичка, «летчика божьей милостью», как любил говаривать начальник штаба школы, старый воздушный волк, летавший еще в гражданскую войну.

После первого круга Наумов перестал опасаться за ученика.

Машина шла уверенно, «грамотно». Только странно, пожалуй, было, что, ведя ее по плоскости, курсант все время то делал маленькие повороты вправо, влево, то бросал машину на небольшую горку, то пускал вниз. Он точно проверял свои силы. Про себя Наумов решил, что завтра же новичка можно направить одного в зону, а

после двух-трех полетов пересадить на «утенка» — учебно-тренировочный самолет «УТ-2», маленькую фанерную копию истребителя.

Было холодно, термометр на стойке крыла показывал минус 12. Резкий ветер задувал в кабину, пробивался сквозь собачий мех унтов, леденил ноги инструктора. Пора было возвращаться.

Но всякий раз, когда Наумов командовал в трубку: «На посадку!» — он видел в зеркале немую просьбу горячих черных глаз, даже не просьбу, а требование, и не находил в себе духа повторить приказание. Вместо десяти минут они летали около получаса.

Высочив из кабины, Наумов запрыгал около самолета, прихлопывая рукавицами, топая ногами. Ранний морозец действительно в это утро был островат. Курсант же что-то долго возился в кабине и вышел из нее медленно, как бы неохотно, а сойдя на землю, присел у крыла со счастливым, действительно пьяным каким-то лицом, пылавшим румянцем от мороза и возбуждения.

— Ну, замерз? Меня сквозь унты ух как прохватило! А ты, на-ка, в ботиночках. Не замерзли ноги?

— У меня нет ног,— ответил курсант, продолжая улыбаться своим мыслям.

— Что? — Подвижное лицо Наумова вытянулось.

— У меня нет ног,— повторил Мересьев отчетливо.

— То есть как это «нет ног»? Как это понимать? Больные, что ли?

— Да нет — и всё... Протезы.

Мгновение Наумов стоял точно пригвожденный к месту ударом молотка по голове. То, что ему сказал этот странный парень, было совершенно невероятным. Как это нет ног? Но ведь он только что летал, и неплохо летал...

— Покажи,— сказал инструктор с каким-то страхом.

Алексея это любопытство не возмутило и не оскорбило. Наоборот, ему захотелось окончательно удивить смешного, веселого человека, и он движением циркового фокусника разом поднял обе штанины.

Курсант стоял на протезах из кожи и алюминия, стоял и весело смотрел на инструктора, механика и ожидавших очереди на полеты.

Наумов сразу понял и волнение этого человека, и необыкновенное выражение его лица, и слезы в его черных глазах, и ту жадность, с какой он хотел продлить

ощущение полета. Курсант его поразил. Наумов бросился к нему и бешено затряс его руки.

— Родной, да как же?.. Да ты... ты просто даже не знаешь, какой ты есть человек!..

Теперь главное было сделано. Сердце инструктора завоевано. Вечером они встретились и вместе составили план тренировки. Сошлись на том, что положение Алексея трудное, малейшая ошибка может привести к тому, что ему навсегда запретят водить самолет, и, хотя именно теперь ему больше чем когда бы то ни было хотелось скорее пересечь на истребитель, лететь туда, куда устремлялись сейчас лучшие воины страны — к знаменитому городу на Волге,— он согласился тренироваться терпеливо, последовательно и всесторонне. Он понимал, что в его положении он может бить только «в яблочко».

9

Свыше пяти месяцев занимался Мересьев в учебно-тренировочной школе. Аэродром занесло снегом, самолеты переставили на лыжи. Уходя в зону, Алексей видел теперь под собой вместо ярких осенних красок земли только два цвета: белый и черный. Уже отшумели вести о разгроме немцев у Сталинграда, о гибели шестой немецкой армии, о пленении Паулюса. Невиданное, неудержимое наступление развертывалось на юге. Танкисты генерала Ротмистрова прорвали фронт и, предприняв смелый рейд, громили глубокие тылы противника. Кропотливо «скрипеть» в воздухе на маленьких учебных самолетах, когда на фронте вершились такие дела, а в небе над фронтом развертывались такие бои, было Алексею труднее, чем день за днем вышагивать несчетное число раз вдоль госпитального коридора или выделявать мазурки и фокстроты на вспухших, остро болящих ногах.

Но еще в госпитале он дал себе слово вернуться в авиацию. Он поставил перед собой цель и упрямо стремился к ней через горе, боль, усталость и разочарования. Как-то на его новый военный адрес пришел толстый пакет. Клавдия Михайловна пересылала письма и спрашивала, как он живет, каковы успехи, добился ли он осуществления своей мечты.

«Добился или нет?» — спросил он себя и, не ответив, принялся разбирать письма. Их было несколько — от матери, от Оли, от Гвоздева, и еще одно, очень удивившее

его: адрес был написан рукой «метеорологического сержанта», а внизу стояло: «От капитана К. Кукушкина». Это письмо он прочел первым.

Кукушкин сообщал, что его снова подбили, он прыгнул с горящего самолета, прыгнул удачно, сел у своих, но вывихнул при этом руку и теперь лежит в медсанбате, «подыхая со скуки», среди, как писал он, «доблестных работников клистира», но что все это чепуха и скоро он опять будет в строю. Пишет же это письмо под диктовку известная адресату Вера Гаврилова, которую и теперь еще, с легкой руки Мересьева, в полку зовут «метеорологическим сержантом». Говорилось в письме также, что она, эта Вера, очень славный товарищ и поддерживает его, Кукушкина, в несчастье. В скобках от Веры замечено было, что Костя, конечно, преувеличивает. Из письма этого узнал Алексей, что в полку его еще помнят, что в столовой среди портретов героев, воспитанных полком, повесили и его портрет и что гвардейцы не теряют надежды увидеть его снова у себя. Гвардейцы! Мересьев, усмехнувшись, покачал головой. Чем-то, должно быть, сильно были заняты головы Кукушкина и его добровольного секретаря, если позабыли они даже сообщить ему такую новость, как получение полком гвардейского знамени.

Потом Алексей распечатал письмо матери. Это было обычное старушечье суетливое послание, полное волнений и забот о нем. Не худо ли ему, не холодно ли, хорошо ли его там кормят и тепло ли одели на зиму и не нужно ли ему, например, связать варежки? Она уже пять пар связала и отдала в подарок воинам Красной Армии. В большие пальцы положила записки с пожеланием долго носить. Хорошо бы, парочка таких попала к нему! Добрые, теплые варежки из ангорской шерсти, которую она начесала у своих кроликов. Да, она забыла сообщить: теперь у нее есть кролики — самец, самка и семеро крольчат. Только в конце, за всей этой ласковой старушечьей болтовней, было самое главное: немцев прогнали от Сталинграда и набили их там видимо-невидимо, даже, говорят, какого-то их самого главного взяли в плен. Так вот, когда их погнали, приезжала в Камышин на пять дней Оля; приезжала и жила у нее, так как Олин домик разбомбили. Работает она теперь в саперном батальоне, в звании лейтенанта, и уже ранена была в плечо, поправилась и награждена орденом — каким, старушка, по-

нятно, не догадалась сообщить. Она добавила, что, живя у нее, Оля все спала, а когда не спала, то говорила о нем, что вместе они гадали и по картам все выходило, что у трефового короля лежит на сердце дама бубен. Мать писала, что она со своей стороны лучшей невестки, чем эта самая дама бубен, себе и не желает.

Алексей улыбнулся трогательной старушечьей дипломатии и осторожно вскрыл серенький конверт от «дамы бубен». Письмо было недлинное. Оля сообщала, что после «окопов» лучшие бойцы их рабочего батальона были зачислены в регулярную саперную часть. Она теперь техник-лейтенант. Это их часть строила под огнем укрепления у Мамаева кургана, ставшего теперь таким знаменитым, а потом укрепленное кольцо у Тракторного завода, и за это награждена была их часть орденом Боевого Красного Знамени. Писала Оля, что доставалось им тут изрядно, что все — от консервов до лопат — приходилось возить из-за Волги, которая простреливалась из пулеметов. Писала, что во всем городе не осталось теперь ни одного целого дома, а земля рябая и похожа на снимки лунного ландшафта.

Писала Оля, что после госпиталя везли их на машине через весь Сталинград. Видела она целые горы набитых немцев, собранных для погребения. А сколько их валялось по дорогам! «И захотелось мне, чтобы этот твой друг танкист, я не помню его имени, тот самый, у которого всю семью убили, попал сюда и посмотрел на это своими глазами. Честное слово, все это нужно бы снять для кино и показывать таким, как он. Пусть видят, как мы отомстили за них врагу». В конце она писала — Алексей несколько раз прочел эту непонятную ему фразу, — что теперь, после Сталинградской битвы, она чувствует себя достойной его, героя героев. Писано все это было второпях, на станции, где стоял их эшелон. Не знала она, куда их повезут и какой у нее будет новый военный адрес. До следующего ее письма Алексей был лишен возможности ответить ей, что не он, а она, эта маленькая, хрупкая девочка, тихо и кропотливо трудящаяся в самом пекле войны, — настоящий герой героев. Он еще раз со всех сторон осмотрел письмо и конверт. На обратном адресе было отчетливо подписано: гвардии младший техник-лейтенант Ольга такая-то.

Много раз в минуты отдыха на аэродроме вынимал и перечитывал Алексей это письмо. Еще долго согревало

оно его на пронзительном зимнем ветру летного поля и в промозглом, обросшем по углам курчавыми хлопьями изморози классе «девятом А», где по-прежнему он обитал.

Наконец инструктор Наумов назначил ему испытания. Летать предстояло на «утенке», и инспектировать полет должен был не инструктор, а начальник штаба, тот самый краснолицый, полнокровный толстяк подполковник, что так неласково встретил его по прибытии в школу.

Зная, что за ним внимательно следят с земли и что теперь решается его судьба, Алексей в этот день превзошел самого себя. Он бросал маленький, легонький самолет в такие рискованные фигуры, что у бывалого подполковника против воли вырывались восхищенные замечания. Когда Мересьев вылез из машины и предстал перед начальством, по возбужденному, радостному, лучащемуся всеми своими морщинками лицу Наумова понял он, что дело в шляпе.

— Отличный почерк! Да... Летчик, что называется, милостью божьей,— проворчал подполковник.— Вот что, синьор, не останешься ли у нас инструктором? Нам таких надо.

Мересьев отказался наотрез.

— Ну и, выходит, дурак! Эка хитрость — воевать. А тут людей бы учил.

Вдруг подполковник увидел палку, на которую опирался Мересьев, и даже побагровел:

— Опять? Дать сюда! Ты что, в пикник собрался с тросточкой? Ты где находишься, на бульваре? На «губу» за невыполнение приказа! Двое суток!.. Амулеты развели, асы... Шаманите. Еще бубнового туза на фюзеляже не хватает. Двое суток! Слышали?

Вырвав палку из рук Мересьева, подполковник осматривался кругом, приглядываясь, обо что бы ее сломать.

— Товарищ подполковник, разрешите доложить: он без ног,— вступился за друга инструктор Наумов.

Начальник штаба еще больше побагровел. Вытаращив глаза, тяжело задышал.

— Как так? Ты еще мне тут голову морочишь! Верно?

Мересьев утвердительно кивнул головой, взволнованно следя за своей заветной палкой, которой сейчас угрожала несомненная опасность. Он действительно не рас-

ставался теперь с подарком Василия Васильевича. Подполковник подозрительно косился на дружков.

— Ну, коли так, батенька, знаешь... А ну, покажи ноги... Да-а-а!..

Из тренировочной школы Алексей Мересьев вышел с отличным отзывом. Сердитый подполковник, этот старый «воздушный волк», сумел больше чем кто бы то ни было оценить величие подвига летчика. Он не пожалел восторженных слов и в отзыве своем рекомендовал Мересьева для службы «в любой вид авиации как искусного, опытного и волевого летчика».

10

Остаток зимы и раннюю весну провел Мересьев в школе переподготовки. Это было старое стационарное училище военных летчиков с отличным аэродромом, великолепным общежитием, богатым клубом, на сцене которого гастрольные труппы московских театров ставили иногда выездные спектакли. Эта школа тоже была переполнена, но в ней свято сохранялись довоенные порядки, и даже за мелочами формы приходилось тщательно следить, потому что за невычищенные сапоги, за отсутствие пуговицы на реглане или за то, что летный планшет в пояхах наденешь поверх пояса, приходилось по приказу коменданта «рубать» часа по два строевую подготовку.

Большая группа летчиков, в которую был зачислен и Алексей Мересьев, переучивалась на новый тогда советский истребитель — «Ла-5». Подготовка велась серьезно: изучали мотор, материальную часть, проходили технику. Слушая лекции, Алексей поражался, как далеко ушла советская авиация за сравнительно небольшое время, какое он провел вне армии. То, что в начале войны казалось смелым новаторством, теперь безнадежно устарело. Юркие «ласточки» и легкие «миги», приспособленные для высотных боев, казавшиеся в начале войны шедеврами, снимались с вооружения. Им на смену советские заводы выпускали рожденные уже в дни войны, освоенные в баснословно короткие сроки великолепные «яки» последних моделей, входившие в моду «Ла-5», двухместные «илы» — эти летающие танки, скользящие над самой землей и сеющие прямо на головы врага и бомбы, и пули, и снаряды, уже получившие в немецкой армии паническое прозвище «шварцер тод», то есть

«черная смерть». Новая техника, рожденная гением боющегося народа, неизмеримо усложнила воздушный бой и требовала от летчика не только знания своей машины, не только дерзкой непреклонности, но и умения быстро ориентироваться над полем боя, расчленив воздушное сражение на отдельные составные части и на свой страх и риск, часто не ожидая команды, принимать и осуществлять боевые решения.

Все это было необычайно интересно. Но на фронте шли жестокие незатухающие наступательные бои, и, сидя в высоком, светлом классе за удобным черным учебным столом, слушая лекции, Алексей Мересьев тягуче и мучительно тосковал по фронту, по боевой обстановке. Он научился подавлять в себе физическую боль. Он умел заставлять себя совершать невероятное. Но и у него не хватало воли подавлять в себе эту безотчетную тоску вынужденного безделья, и он иногда неделями бродил по школе молчаливый, рассеянный и злой.

К счастью для Алексея, в той же школе проходил переподготовку и майор Стручков. Они встретились как старые друзья. Стручков попал в школу недели на две позже, но сразу же врос в ее своеобразный деловой быт, приспособился к ее необычным для военного времени строгостям, стал для всех своим человеком. Он сразу понял настроение Мересьева и, когда они после вечернего умыванья расходились по спальням, подтолкнул его в бок.

— Не горюй, парень: на наш век войны хватит! Вон еще сколько до Берлина-то: шагать да шагать! Навоюемся. Досыта навоюемся.

За два или три месяца, которые они не виделись, майор заметно, как говорят в армии, «подался» — осунулся, постарел.

В середине зимы летчики курса, на котором учились Мересьев и Стручков, начали летную практику. Уже до этого «Ла-5», маленький короткокрылый самолет, очертаниями своими похожий на крылатую рыбку, был хорошо знаком Алексею. Частенько в перерывы он уходил на аэродром и смотрел, как с короткой пробежки взлетали и как круто уходили в небо эти машины, как вертелись они в воздухе, сверкая на солнце голубоватым брюшком. Подходил к самолету, осматривал его, гладил рукой крыло, похлопывал по бокам, точно это была не машина, а холеная и красивая породистая лошадь. Но вот группа

вышла на старт. Каждый стремился скорее попробовать свои силы, и началось сдержанное препирательство. Первым инструктор вызвал Стручкова. Глаза у майора засияли, он озорновато улыбнулся и что-то возбужденно насвистывал, пока пристегивал ремни парашюта и закрывал кабину.

Потом грозно зарокотал мотор, самолет сорвался с места, и вот он уже бежал по аэродрому, оставляя за собой хвост снежной пыли, радужно переливающейся на солнце, вот повис в небе, блестя крыльями в солнечных лучах. Стручков описал над аэродромом крутую дугу, заложил несколько красивых виражей, перевернулся через крыло, проделал мастерски, с настоящим шиком весь комплекс положенных упражнений, скрылся из глаз, вдруг вынырнул из-за крыши школы и, рокоча мотором, на полной скорости пронесся над аэродромом, чуть не задев фуражек ожидавших на старте курсантов. Снова исчез, затем появился и уже солидно снизился, с тем чтобы мастерски сесть на три точки. Стручков выскочил из кабины возбужденный, ликующий, бешеный, как мальчишка, которому удалась шалость.

— Не машина — скрипка! Ей-богу, скрипка! — шумел он, перебивая инструктора, выговаривавшего ему за лихачество. — На ней Чайковского исполнять... Ей-богу. Живем, Алешка! — И он сгреб Мересьева в свои сильные объятия.

Машина действительно была хороша. На этом сходились все. Но когда очередь дошла до Мересьева и он, прикрепив к педалям управления ремнями свои протезы, поднялся в воздух, он вдруг почувствовал, что конь этот для него, безногого, слишком резв и требует особой осторожности. Оторвавшись от земли, он не ощутил того великолепия, полного контакта с машиной, который и дает радость полета. Это была отличная конструкция. Машина чувствовала не только каждое движение, но и дрожание руки, лежащей на рулях, тотчас же фиксируя его соответствующим движением в воздухе. Своей отзывчивостью она действительно походила на хорошую скрипку. Вот тут-то и почувствовал Алексей со всей остротой непоправимость своей утраты, неповоротливость своих протезов и понял, что при управлении этой машиной протез — даже самый лучший, при самой большой тренировке — не заменит живой, чувствующей, эластичной ноги.

Самолет легко и упруго пронзал воздух, послушно отвечал на каждое движение рычагов управления. Но Алексей боялся его. Он видел, что на крутых виражах ноги запаздывают, не достигается та стройная согласованность, которая воспитывается в летчике как своего рода рефлекс. Это опаздывание могло бросить чуткую машину в штопор и стать роковым. Алексей чувствовал себя как лошадь в путах. Он не был трусом, нет, он не дрожал за свою жизнь и вылетел, даже не проверив парашюта. Но он боялся, что малейшая его оплошность навсегда вычеркнет его из истребительной авиации, наглухо закроет перед ним путь к любимой профессии. Он осторожничал вдвойне и посадил самолет совершенно расстроенный, причем и тут из-за неповоротливости ног дал такого «козла», что машина несколько раз неуклюже подпрыгнула на снегу.

Алексей вылез из кабины молчаливый, хмурый. Товарищи и даже сам инструктор, кривя душой, принялись наперебой хвалить и поздравлять его. Такая снисходительность его только обидела. Он махнул рукой и молча заковылял через снежное поле к серому зданию школы, тяжело раскачиваясь и подволакивая ноги. Оказаться несостоятельным теперь, когда он уже сел на истребитель, было самым тяжелым крушением после того мартовского утра, когда его подбитый самолет ударился о верхушки сосен. Алексей пропустил обед, не пришел к ужину. Вопреки правилам школы, строжайше запрещавшим пребывание в спальнях днем, он лежал в ботинках на кровати, заломив под голову руки, и никто — ни дежурный по школе, ни проходившие мимо командиры, знавшие о его горе, не решались сделать ему замечание. Зашел Стручков, попытался заговорить, но не добился ответа и ушел, сочувственно качая головой.

Вскоре после Струčkова, почти вслед за ним, в спальню, где лежал Мересьев, вошел замполит школы подполковник Капустин, коротенький и нескладный человек в толстых очках, в плохо пригнанной, мешковато сидевшей на нем военной форме. Курсанты любили слушать его лекции по международным вопросам, когда этот неуклюжий по внешности человек наполнял сердца слушателей гордостью за то, что они участвуют в великой войне. Но как с начальником с ним не очень считались, полагая его человеком гражданским, в авиации случайным, ничего не смыслящим в летном деле. Не обращая внимания на



Мересьева, Капустин осмотрел комнату, понюхал воздух и вдруг рассердился:

— Кой черт здесь накурил? Ведь есть же курилки. Товарищ старший лейтенант, что это значит?

— Я не курю,— равнодушно ответил Алексей, не меняя позы.

— А почему вы лежите на койке? Не знаете правил? Почему не встали, когда вошел старший начальник?.. Встаньте.

Это не было командой. Наоборот, это было сказано очень по-штатски, мирно, но Мересьев вяло повиновался и вытянулся около койки.

— Правильно, товарищ старший лейтенант,— поощрил Капустин.— А теперь сядьте, и посоветуемся.

— О чем?

— А вот как нам с вами быть. Может быть, выйдем отсюда? Мне курить хочется, а у вас тут нельзя.

Они вышли в полутемный коридор, скупо освещенный синими огнями затемненных ламп, и стали у окна. Во рту у Капустина засопела трубка. Когда она разгоралась при затяжках, его лицо, широкое и задумчивое, на миг выступало из полутьмы.

— Я сегодня собираюсь на инструктора вашей группы наложить взыскание.

— За что?

— За то, что он выпустил вас в зону, не получив разрешения командования школы... Ну да, что вы на меня уставились? Собственно, мне надо бы и на себя взыскание наложить за то, что я до сих пор с вами не потолковал. Все некогда да недосуг, а собирался... Ну ладно. Так вот, Мересьев, не такое это простое дело — вам летать, да... За то и влеплю я, кажется, инструктору.

Алексей молчал. Что за человек стоял возле него, пыхая трубкой? Бюрократ, считающий, что кто-то нарушил его полномочия, не доведя вовремя до его сведения, что в жизни школы произошло необыкновенное событие? Чинуша, нашедший в правилах отбора летного состава статью, запрещающую выпускать в воздух людей с физическими недостатками? Или просто чудак, придравшийся к первому поводу показать власть? Что ему нужно, зачем он явился, когда и без него тошно на душе так, что хоть в петлю головой...

Мересьев внутренне весь встопорщился, с трудом сдерживая себя. Но месяцы несчастий научили его остере-

регаться поспешных выводов, да и в самом этом нескладном Капустине было что-то неуловимо напоминавшее комиссара Воробьева, которого Алексей мысленно называл настоящим человеком. Вспыхивал и гаснул огонек в трубке, выступало из синей мглы и вновь таяло в ней широкое толстоносое лицо с умными, пронизательными глазами.

— Видите, Мересьев, я не хочу говорить вам комплимент, но, как там ни верти, ведь вы единственный в мире человек, без ног управляющий истребителем. Единственный! — Он посмотрел в дырочку мундштука на тусклый свет лампочки и озабоченно покачал головой: — Я не говорю сейчас о вашем стремлении вернуться в боевую авиацию. Это, конечно, подвиг, но в нем самом нет ничего особенного. Сейчас такое время, что каждый делает для победы все, что может... Да что же такое с проклятой трубкой содеялось?

Он снова принялся ковырять мундштук и казался весь погруженным в это дело, а Алексей, встревоженный неясным предчувствием, теперь уже нетерпеливо ждал, что ему скажут.

Не прекращая возни с трубкой, Капустин продолжал, совершенно не заботясь о том, какое впечатление производят его слова:

— Тут дело не в вас, старшем лейтенанте Алексее Мересьеве. Дело в том, что вы без ног достигли мастерства, которое до сих пор во всем мире считается доступным только очень здоровому человеку, да и то вряд ли одному из ста. Вы не просто гражданин Мересьев, вы великий экспериментатор... Ага, продулся наконец! Чем это я его засорил?.. Так вот, и мы не можем, не имеем права — понимаете, не имеем права! — подходить к вам как к рядовому летчику. Вы затеяли важный эксперимент, и мы обязаны вам помочь всем, чем можем. А чем? Ну-ка, скажите сами: чем вам можно помочь?

Капустин опять набил свою трубочку, закурил, и опять красный отсвет ее, то загораясь, то затухая, выхватывал из полутьмы и снова отдавал ей это широкое и толстоносое лицо.

Капустин обещал договориться с начальником школы, чтобы он увеличил Мересьеву число вылетов, и предложил Алексею самому составить себе программу тренировок.

— Так ведь сколько же на это бензину уйдет? — по-

жалел Алексей, удивляясь тому, как просто и деловито этот маленький, нескладный человек разрешил его сомнения.

— Бензин — продукт важный, особенно теперь. На кубики меряем. Но есть вещи подороже бензина. — И Капустин принялся старательно выколачивать о каблук теплую золу из своей кривой трубочки.

Со следующего дня Мересьев стал тренироваться отдельно. Он работал не только с упорством, как тогда, когда он учился ходить, бегать, танцевать. Его охватило настоящее вдохновение. Он старался проанализировать технику полета, обдумать все ее детали, разложить ее на мельчайшие движения и разучить каждое движение особенно.

Теперь он изучал, именно изучал то, что в юности постиг стихийно; умом доходил до того, что раньше брал опытом, навыком. Мысленно расчленив процесс управления самолетом на составные движения, он вырабатывал в себе особую сноровку для каждого из них, перенося все рабочие ощущения ног со ступни на голень.

Это была очень трудная, кропотливая работа. Результаты ее вначале почти не ощущались. И все же Алексей чувствовал, что с каждым разом самолет как бы больше и больше срастается с ним, становится послушней.

— Ну, как дела, маэстро? — спрашивал его при встрече Капустин.

Мересьев поднимал большой палец. Он не преувеличивал. Дела подвигались хотя и не очень ходко, но уверенно и твердо, и, что самое главное, в результате этих тренировок Алексей перестал ощущать себя в самолете неумелым, слабым всадником, сидящим на горячем и быстром коне. Он снова верил в свое мастерство. Это как бы передавалось самолету, и тот, как живое существо, как конь, чувствующий хорошего ездока, становился все более покорным. Машина постепенно раскрывала Алексею все свои полетные качества.

11

Когда-то, в детстве, на первом ровном, прозрачном и нетвердом льду, затянувшем волжский залив, Алексей учился кататься на коньках. Собственно, коньков у него не было. Матери коньки были не по карману, и кузнец, у которого она стирала белье, сделал по ее просьбе ма-

ленькие деревянные колодочки с металлическим ползком из толстой проволоки и дырками по бокам.

С помощью веревок и палочек Алексей прикреплял эти колодки к стареньким, подшитым валенкам. В него и вышел он на залив — на тонкий, прогибающийся под ногами, гулко и мелодично потрескивающий лед, по которому вдоль и поперек с криком и гамом скользила детвора камышинских окраин. Мальчишки носились как черти, гонялись друг за другом, на коньках прыгали и танцевали. Со стороны это казалось простым, легким делом. Но, как только Алексей спустился на залив, лед выскользнул из-под него, и он пребольно упал на спину.

Мальчик тотчас же вскочил на ноги, боясь показать товарищам, что ушибся. Он остерегался падать назад и, двигая ногами, подался вперед, но тотчас же упал носом. Снова вскочил, постоял на дрожащих ногах, обдумывая, что же случилось, присматриваясь к тому, как двигались другие. Теперь он знал, что нельзя слишком наклоняться вперед, так же как нельзя и откидываться назад. Стараясь держаться прямо, он сделал несколько движений в сторону и повалился на бок. Так падал и вскакивал он до вечера и вернулся домой с катка, к огорчению матери, весь в снегу, с подкашивающимися от усталости ногами.

На следующее утро он опять был на катке. Он уже делал довольно верные движения ногами, меньше падал, мог, разбежавшись, прокатиться с разгона несколько метров, но, как ни старался, как ни тужился, с утра и до темноты пропадая на льду, дело дальше этого не шло.

Но вот однажды — Алексей навсегда запомнил этот морозный метельный день, когда по полированному льду ветер полосками тянул сухой снег, — он сделал какое-то удачное движение и вдруг, неожиданно для себя, покатился, покатился сильно, увереннее и увереннее с каждым кругом. То, что незаметно копил он в себе, падая, разбиваясь, вновь и вновь повторяя свои попытки, — все эти маленькие привычки, приобретаемые им, точно вдруг сложились в единый навык, и он заработал ногами, чувствуя, как все тело его, все его мальчишеское, озорное, упрямое существо ликует и радуется.

Так случилось с ним и теперь. Он много, упорно летал, стремясь вновь слиться с самолетом, почувствовать его через металл и кожу протезов. Порой начинало ему казаться, что это удастся. Он радовался, бросал машину

в какую-нибудь замысловатую фигуру, но сразу же чувствовал, что движения ее неверны, самолет словно взбрыкивает, выходит из повиновения, и, ощутив горечь погасшей надежды, Алексей вновь принимался за скучные свои тренировки.

Но вот однажды в оттепельный мартовский день, когда аэродром за одно утро вдруг потемнел, а пористый снег осел так, что самолеты оставляли на нем глубокие борозды, Алексей поднялся на своем истребителе в зону. Ветер при подъеме был встречно-боковой, самолет сносило, и его все время приходилось подправлять. Вот тут-то, возвращая самолет на курс, ощутил вдруг Мересьев, что машина ему послушна, что он чувствует ее всем своим существом. Это ощущение мелькнуло как молния. Алексей сперва не поверил ему. Слишком много пережил он разочарований, чтобы сразу поверить своему счастью.

Он сделал крутой и глубокий вираж вправо. Машина была покорна и точна. Алексей почувствовал то же, что мальчишкой пережил когда-то на волжском заливчике, на темном, остро похрустывавшем льду. Хмурый день точно сразу посветлел. Радостно заколотилось сердце; он почувствовал, как шея чуть оцепенела от знакомого холодка волнения.

За какой-то невидимой чертой были подведены итоги его упорных тренировок. Он перешел эту черту и теперь легко, без напряжения пожинал плоды многих и многих дней тяжелого труда. Он добился главного, что так долго ему не давалось: он слился со своей машиной, ощутил ее как продолжение собственного тела. Даже бесчувственные и неповоротливые протезы не мешали теперь этому слиянию. Ощущая в себе волны нарастающей радости, Алексей заложил несколько глубоких виражей, сделал мертвую петлю и, едва выйдя из нее, бросил машину в штопор. Земля со свистом, бешено завертелась, и аэродром, и здание школы, и башенка метеостанции с надутым полосатым мешком — все это слилось в сплошные круги. Он уверенно вывел машину из штопора, сделал упругую петлю. Только теперь знаменитый в те дни «Ла-5» раскрыл перед летчиком все свои явные и тайные качества. Что это была за машина в опытных руках! Чутко отзываясь на каждое движение, она легко вычерчивала сложнейшие фигуры, свечой взмывала вверх, компактная, ловкая, быстрая.

Мересьев вылез из самолета, шатаясь, как пьяный, с лицом, расплывшимся в бессмысленной улыбке, не видя перед собой разъяренного инструктора, не слыша его брани. Пусть ругается! «Губа»? Хорошо, он готов отсидеть положенное на гауптвахте. Разве теперь не все равно? Ясно: он летчик, хороший летчик, не зря на его тренировки тратили сверх нормы драгоценный бензин. Уж он отработает этот бензин сторицей, только бы поскорей на фронт, в бой!

В общежитии его ждала еще радость. На подушке лежало письмо от Гвоздева. Где, сколько и в чем кармане кочевало оно в поисках адресата, трудно было даже установить, так как конверт был измят, выпачкан, пропитан маслом. Пришло же письмо в свежем конверте, надписанном рукой Анюты.

Танкист писал Алексею, что приключилась с ним препаршивая история. Он ранен в голову — и чем? Крылом немецкого самолета. Лежит сейчас в корпусном госпитале, из которого, впрочем, на днях собирается выходить. А случилось это невероятное происшествие так. После того как шестая немецкая армия была отрезана и окружена у Сталинграда, их корпус прорвал фронт отступающих немцев и, проскочив в образовавшуюся брешь, всеми своими танками устремился по степи на немецкие тылы.

Гвоздев командовал в этом рейде танковым батальоном.

Это был веселый рейд! Стальная армада вламывалась в расположения немецких тылов, в укрепленные деревни, на узловые станции, сваливаясь на них неожиданно, как снег на голову. Танки проносились по улицам, расстреливая и уничтожая все вражеское, попадавшееся на пути, и, когда остатки гарнизонов разбежались, танкисты и мотопехота, привезенная на броне, поджигали склады боеприпасов, рвали мосты, стрелки, поворотные круги на станциях, запирая поезда отступающих немцев. Из запасов врага заправлялись трофейным горючим, набирали продовольствие и неслись дальше, прежде чем немцы успевали опомниться, подтянуть силы для отпора или хотя бы определить направление дальнейшего движения танков.

«Погуляли мы, Алешка, по степи, как буденновцы! И боялась же нас немчуря! Не поверишь — порой тройкой танков и трофейным броневичком брали целые села

с базовыми складами. Паника, брат Алешка, в военном деле — великая вещь. Хорошая паника врага дороже двух полнокровных дивизий у наступающих. Только ее надо умело поддерживать, как огонь в костре, делать новые и новые неожиданные удары и не давать ей затухать. Похоже, что на фронте проткнули мы немецкую броню, а под броней-то оказалась пустота. И шли мы, как мутовка сквозь тесто...

...И вот случился со мной этот самый грех. Позвал нас хозяин. Разведсамолет сбросил ему вымпел. Там-то и там-то огромный базовый аэродром. Сотни три самолетов, горючее, грузы. Командующий себя за рыжий ус пощипал и приказывает: «Гвоздев, ночью, без шума, без выстрела, чинно, будто свои, подойди к аэродрому поближе, а потом всей оравой с пальбой налети и, прежде чем они очухаются, переверни все вверх дном, чтобы ни одна сволочь не улетела». Получили задачу мой и еще один батальон, приданный мне в подчинение. А основное «хозяйство» прежним курсом поползло на Ростов.

И вот, Алешка, попали мы на этот аэродром, как лиса в курятник. Алешенька, друг, не поверишь — до самых махальщиков до немецких доползли по дороге. На нас немцы никакого внимания — свои и свои; утро, туман, ничего не разберешь, только слышно — моторы да траки лязгают. Потом как рванулись мы да как вдарим! Ну, Лешка, потеха была! Самолеты рядами стояли, а мы по ним бронебойными, по пять, по шесть машин одним снарядом прошиваем. Потом видим — не управиться: их экипажи, что посмелей, моторы заводить стали. Ну, мы задраили люки и пошли на таран, броней бить по хвостам. Самолеты транспортные, громадные, до мотора не достанешь, так мы по хвостам. Без хвоста — все равно что и без мотора: не полетишь. Тут вот и пригрело меня. Высунул я из люка посмотреть обстановку, а машина как раз по самолету ударила. Осколком крыла и двинуло мне по голове. Спасибо, шлем амортизировал, а то бы конец... Но все ерунда, дело идет на выпуск, и скоро опять увижу я моих танкачей. Беда в другом: сбрили мне в госпитале бороду. Копил ее, копил, широкая стала борода, а они сбрили без всякой жалости. Ну, да пес с ней, с бородой! Хотя идем мы и ходко, все же, полагаю, до конца войны другая вырастет и прикроет мое безобразие. Хотя, знаешь, Алеша: Анята почему-то невзлюбила мою бороду и все время в письмах ее травит».

Письмо было длинное. Видно было, что Гвоздев писал его, изнывая от госпитальной скуки. Между прочим в конце сообщал, что под Сталинградом, когда его танкисты, потерявшие в бою машины и ожидавшие новой техники, вели бой в пешем строю, в районе знаменитого Мамаева кургана встретил он здесь Степана Ивановича. Старик уж на курсах побывал и в начальство вышел. Он теперь старшина и командует взводом противотанковых ружей. Однако снайперских повадок своих он не бросил. Только, по словам его, зверь у него теперь стал посерьезнее: не фриц-ротозей, вылезший из окопа погреться на солнышке, а немецкий танк — машина хитрая и крепкая. Но по-прежнему в охоте за этим зверем старик силен сибирской своей промысловой смекалкой, каменным терпением, выдержкой и точностью боя. При встрече распили они с Гвоздевым флягу дрянного трофейного винца, отыскавшегося у запасливого Степана Ивановича, поминули всех друзей, и при этом будто бы послал старик Мересьеву нижайший свой поклон и пригласил их обоих, коли останутся живы, приехать после войны к нему в колхоз промыслять белку или баловаться охотой на чирков.

Тепло и грустно стало на душе у Мересьева от этого письма. Все друзья по сорок второй палате давно уже воюют. Где-то сейчас Гриша Гвоздев и старый Степан Иванович? Что с ними? По каким краям носят их военные ветры, живы ли они? Где Оля?..

И опять вспомнил Алексей слова комиссара Воробьева, что военные письма, как лучи угасших звезд, долго-долго идут к нам и бывает — звезда давно погасла, а луч ее, веселый и яркий, еще долго пронзает пространства, неся людям ласковое сверканье уже не существующего светила.

Часть четвертая

1

В жаркий летний день 1943 года по фронтовой дороге, проторенной обозами наступавших дивизий Красной Армии, прямо через заброшенное, заросшее могучим багровым бурьяном поле, покачиваясь и подпрыгивая на

ухабах, дребезжа расхлябанным деревянным кузовом, по направлению к фронту бежал старенький грузовик. На его разбитых, мѣхнатых от пыли бортах можно было с трудом различить белые полосы и надпись: «Полевая почта». Огромный серый хвост вставал из-под его колес и тянулся за ним, медленно расплываясь в душном, безветренном воздухе.

В кузове, набитом кулями с письмами, на пачках свежих газет, подскакивая и раскачиваясь вместе со всем грузом, сидели двое военных в летних гимнастерках и фуражках с голубыми околышами. Младший из них, судя по новеньким, необмятым погонам,— старший сержант авиации, был тонок, строен, белокур. Лицо у него было такое девически нежное, что, казалось, кровь просвечивала сквозь белую кожу. На вид ему было лет двенадцать. Хотя изо всех сил старался он выглядеть бывалым солдатом — плевал сквозь зубы, хрипловато бранился, вертел сигарки в палец толщиной и прикидывался ко всему равнодушным,— ясно было, что на фронт он едет в первый раз и очень волнуется. Все кругом: и разбитая пушка, ткнувшаяся стволом в землю возле самой дороги, и заросший бурьяном по самую башню советский танк, и обломки немецкого танка, раскиданные, должно быть, прямым попаданием авиабомбы, и снарядные воронки, уже затянутые травой, и стопки противотанковых мин-тарелок, извлеченных саперами и уложенных ими на обочине у новой переправы, и мелькавшие вдаль в траве березовые кресты немецкого солдатского кладбища — следы отгремевших здесь сражений, следы, которых глаз фронтовика просто не замечал,— все удивляло, поражало юношу, казалось ему значительным, важным и очень интересным.

В спутнике его, старшем лейтенанте, наоборот, можно было безошибочно угадать опытного фронтовика. На первый взгляд ему можно было дать не больше двадцати — двадцати четырех лет. Но, взглядевшись в загорелое, обветренное лицо с тонкими ниточками морщин у глаз, на лбу, у рта, в его черные задумчивые усталые глаза, можно было бы прикинуть и еще с десятков. Взгляд его равнодушно скользил вокруг. Не удивляли его ни ржавые обломки битой, искореженной взрывами военной техники, видневшиеся то тут, то там, ни мертвые улицы сгоревшей деревни, по которым прогрохотал грузовик, ни даже куски советского самолета — маленькая груда серого

изувеченного алюминия с валявшейся поодаль кочерыжкой мотора и куском хвоста с красной звездой и номером, вид которых заставил юношу покраснеть и затрепетать.

Устроив себе из газетных тюков удобное кресло, офицер дремал, опираясь подбородком на странную тяжелую, черного дерева палку, украшенную накладными золотыми монограммами, и изредка, точно очнувшись от этой дремы, счастливо оглядывался кругом и жадно вдыхал всей грудью жаркий, душистый воздух. Зато, когда где-то в стороне от дороги над морем рыжего нахального бурьяна заметил он вдали две маленькие, еле видимые черточки, оказавшиеся при внимательном рассмотрении двумя самолетами, которые неторопливо, точно гоняясь друг за другом, плавали в воздухе, он вдруг оживился, глаза у него загорелись, ноздри тонкого с горбинкой носа заходили, и, не отрывая глаз от этих двух еле видимых черточек, он застучал ладонью о крышку кабины:

— Воздух! Сворачивай!

Он встал, опытным взглядом оценивая местность, и указал шоферу рукой на глинистую лощину ручейка, сереющую шершавыми лапками мать-и-мачехи и усеянную золотыми гвоздиками куриной слепоты.

Юноша пренебрежительно улыбнулся. Самолеты безобидно кувыркались где-то далеко; казалось, им нет никакого дела до одинокого грузовичка, поднявшего огромный хвост пыли над печальными, пустыми полями. Но прежде чем он успел запротестовать, шофер уже свернул с дороги, и машина, тарахтя кузовом, быстро понеслась к лощине.

Старший лейтенант сейчас же вылез из кузова и присел на траве, зорко смотря на дорогу.

— Ну что вы, право...— начал было юноша, насмешливо поглядывая на него.

В это мгновение тот бросился в траву и свирепо крикнул:

— Ложись!

И сейчас же раздался напряженный рев моторов, и две огромные тени, сотрясая воздух и странно тарахтя, пронеслись над самыми их головами. И это показалось юноше не очень страшным: обычные самолеты, наверно, наши. Он осмотрелся и вдруг увидел, что валявшийся у дороги опрокинутый заржавевший грузовик дымит, быстро разгораясь.

— Ишь, зажигательными жалуют,— усмехнулся шофер, разглядывая пробитую снарядом и уже горевшую стенку.— На машины вышел.

— Охотники,— спокойно сказал старший лейтенант, удобно разваливаясь на траве.— Придется ждать, они сейчас вернутся. Дороги бреют. Отведи-ка, друг, машину подальше, вон хотя под ту березу.

Он сказал это так равнодушно и так уверенно, как будто немецкие летчики только что сообщили ему свои планы. Машину сопровождала девушка — военный почтальон. Бледная, со слабой недоуменной улыбкой на запыленных губах, она с опаской поглядывала на тихое небо, по которому, переливаясь и клубясь, торопливо плыли яркие, летние облака. Именно поэтому старший сержант, хотя и был очень смущен, небрежно бросил:

— А лучше бы ехать, к чему время терять? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

Старший лейтенант, спокойно покусывавший травинку, поглядывал на юношу с еле уловимым теплым смешком в черных сердитых глазах.

— Вот что, друг: половицу эту дурацкую, пока не поздно, забудь. И еще вот что, товарищ старший сержант: положено на фронте старших слушать. Приказывают «ложись» — стало быть, ложись.

Он нашел в траве сочный стебель щавеля, ногтями содрал с него волокнистую шкурку и с аппетитным хрустом принялся его есть. Снова послышался рокот моторов, и низко над дорогой, переваливаясь с крыла на крыло, прошли давешние самолеты — и прошли так близко, что были отчетливо видны и желто-коричневая окраска их крыльев, и черно-белые кресты, и даже пиковый туз, изображенный на фюзеляже ближайшего из них. Старший лейтенант лениво сорвал себе еще несколько «петухов», посмотрел на часы и скомандовал шоферу:

— Поехали! Теперь можно. И давай, друг, скорее, чтобы от этого места подальше уйти.

Шофер загудел сиреной, из лощинки прибежала девушка-почтальон. Она принесла несколько розовых земляничин, висевших на стебельках, и протянула их старшему лейтенанту.

— Уже поспекает... Не заметили, как и лето пришло,— сказал он, понюхал ягоды и сунул, как цветы, в петлицу кармашка гимнастерки.

— Почему вы знаете, что теперь они не придут и можно ехать? — спросил юноша старшего лейтенанта, который опять замолчал, покачиваясь в такт прыгавшему по ухабам грузовику.

— Дело это нехитрое. Это «мессера», «Me-109». У них запас горючего на сорок пять минут, они его теперь вылетали и пошли на заправку.

Он пояснил это равнодушно, словно не понимая, как это можно не знать таких простых вещей. Юноша же стал внимательно следить за воздухом. Ему захотелось первым заметить летящие «мессера». Но воздух был чист и так густо насыщен запахом буйного цветения трав, пыли и разогретой земли, так энергично и весело трещали в траве кузнечики, так голосисто звенел жаворонок, вися где-то над этой скорбной, поросшей бурьяном землей, что он забыл и про немецкие самолеты, и про опасность и стал напевать приятным, чистым голоском очень любимую в те дни на фронте песенку о войне, тоскующем в своей землянке о далекой милой.

— А «Рябину» знаешь? — вдруг перебил его спутник.

Юноша кивнул головой и послушно завел старую песню. Усталое, запыленное лицо старшего лейтенанта подернулось грустью.

— Не так поешь, старик. Это тебе не частушка, это настоящая песня. Ее надо с сердцем петь. — И он подхватил тихонько, совсем маленьким, не громким, но верным голоском.

Машина на минуту затормозила, из кабины выскочила девушка-почтальон. Она ловко на ходу уцепилась за задний борт, подпрыгнула на руках и перевалилась в кузов, где ее подхватили сильные дружеские руки.

— Я к вам: слышу, вы поете...

Под дребезжанье грузовика, под усердное пиликанье кузнечиков они запели втроем.

Юноша разошелся. Из вещевого мешка достал он большую губную гармошку и, то дуя в нее, то подпевая и дирижируя ею, повел песню. На унылой, уже заброшенной фронтовой дороге, точно ударом кнута высеченной среди могучих пыльных, запыливших всё бурьянов, сильно и грустно звучала песня, такая же старая и такая же юная, как эти вот изнывающие в летнем зное поля, как старательное пиликанье кузнечиков в теплой душистой траве, как звон жаворонков в ясном летнем небе и как самое это небо, высокое и бездонное.

Они так увлеклись пением, что чуть было не полетели со своих тюков, когда машина резко затормозила. Она остановилась среди дороги. Рядом, опрокинувшись боком в канаву и задрав пыльные колеса, валялась разбитая трехтонка. Юноша побледнел. А его спутник быстро перелез через борт и поспешил к опрокинутой машине. У него была странная, танцующая, с косолапкой походка. Через минуту водитель вытащил из смятой кабины окровавленное тело капитана интендантской службы. Лицо его, все израненное и исцарапанное, должно быть, ударом о стекло, было цвета дорожной пыли. Старший лейтенант приподнял веко его закрытого глаза.

— Этот готов,— сказал он, снимая фуражку.— Еще там есть?

— Есть. Водитель,— ответил шофер.

— Ну, чего стоите? Помогите! — цыкнул старший лейтенант на растерянно топтавшегося юношу.— Крови не видали? Привыкайте, посмотреть придется... Вот они, охотнички-то, их работа.

Водитель оказался живым. Он тихонько постанывал, не открывая глаз. Ран у него не было видно, но, очевидно, когда подбитую снарядам машину с полного хода занесло в канаву, он грудью толкнулся о руль, а обломки кабины притиснули его к баранке. Старший лейтенант приказал поднять его в кузов. Он подстелил под раненого свою новую, еще не надеванную щегольскую шинель, которую вез бережно завернутой в кусок коленкора. Сам сел на дно кузова и голову раненого положил себе на колени.

— Гони что есть мочи! — скомандовал он шоферу.

Бережно поддерживая голову раненого, он заулыбался чему-то своему, далекому.

Уже вечерело, когда грузовик влетел на улицу небольшой деревеньки, где опытный глаз сразу угадал бы командный пункт небольшой авиационной части. Несколько ниток проводов тянулось по запыленным ветвям черемух, по тощим яблонькам, торчавшим в палисадниках, обвивало серые рогатки колодезных журавлей, столбы тынов. Возле домов под соломенными навесами, где обычно стоят крестьянские телеги да лежат плуги и бороны, виднелись помятые «эмочки», «виллисы». То тут, то там за тусклыми стеклами маленьких окошек мелькали военные в фуражках с голубыми околышами, трещали пишущие машинки, а в одном домике, куда стека-

лась вся паутина проводов, слышалось мерное потрескивание телеграфного аппарата.

Деревушка эта, лежавшая в стороне от больших и малых дорог, сохранилась в унылой, забурьяненной пустыне, будто заповедник, долженствующий показывать, как хорошо и привольно жилось в этих краях до вступления немцев. Даже небольшой, заросший желтоватой ряской пруд был полон воды. Прохладным пятном сверкал он в тени старых плакучих ив, и, прокладывая себе путь в зарослях ряски, охорашиваясь и обливаясь, плавала пара белоснежных красноносых гусей.

Раненого сдали в избу, на которой висел флаг с красным крестом. Затем грузовик пробежал деревеньку и остановился около аккуратненького здания сельской школы. Тут по обилию проводов, собиравшихся в разбитое окошко, да по солдату, стоявшему в сенях с автоматом на груди, угадывался штаб.

— К командиру полка, — сказал старший лейтенант дежурному, решавшему у раскрытого окна кроссворд в журнале «Красноармеец».

Юноша, следовавший за ним, заметил, как перед входом в штаб тот механическим движением одернул на себе гимнастерку, большими пальцами расправил ее под поясом, застегнул пуговицы воротника, и тотчас сделал то же. Теперь он старался во всем походить на своего немногословного, очень понравившегося ему спутника.

— Полковник занят, — ответил дежурный.

— Доложите, что со срочным пакетом из отдела кадров штаба ВА.

— Обождите: у него на докладе экипаж воздушной разведки. Просил не мешать. Вон посидите в садике у дома.

Дежурный снова углубился в кроссворд, а приезжие вышли в садик и уселись на старенькую скамейку над заботливо обложенной кирпичом, но теперь запущенной и заросшей травой клумбой, где перед войной в такие вот тихие летние вечера, наверно, сживала, отдыхая от трудов, старушка учительница. Из распахнутых окон отчетливо долетали два голоса. Один, хриплый, возбужденно докладывал:

— Вот по этой и по этой дорогам, на Большое Горохово и погост Крестовоздвиженский, усиленное движение, сплошные колонны грузовиков и, заметно, все в одну сторону — к фронту. Вот тут, у самого погоста, в ло-

щине грузовики или танки... Полагаю, сосредоточилась большая часть...

— Почему так полагаешь? — перебил тенорок.

— Очень большой заградительный огонь. Еле убралась. Вчера здесь ничего не было, какие-то кухни дымили. Я над самыми крышами проходил, пострелял по ним для остротки. А сегодня — куда там! Такой огонь... Явно тянутся к фронту.

— А в квадрате «зет»?

— Здесь тоже движение, но потише. Вот тут, у леска, большая танковая колонна на марше. Машин сто. Эшелонами растянулась километров на пять, так днем и шла не маскируясь. Возможно, ложное движение... Вот тут, тут и потом там засекли артиллерию, у самых передовых. И склады огнеприпасов. Замаскированы в дровах. Вчера их не было... Большие склады.

— Все?

— Точно так, товарищ полковник. Прикажете писать рапорт?

— Какой тут рапорт! Сейчас же в армию. Рапорт! Знаете, что это значит?.. Эй, дежурный! «Виллис» мой! Отправьте капитана в штаб ВА.

Кабинет командира полка помещался в просторном классе. В комнате с голыми бревенчатыми стенами стоял всего-навсего один стол, на котором лежали кожаные футляры телефонов, большой авиационный планшет с картой и красный карандаш. Полковник, маленький, быстрый, туго собранный человек, бегал по комнате вдоль стен, заложив руки за спину. Занятый своими мыслями, он раза два пробежался мимо стоявших навьютяжку летчиков, потом резко остановился перед ними, вопросительно вскинув сухое, твердое лицо.

— Старший лейтенант Алексей Мересьев, — отрекомендовался чернявый офицер, вытягиваясь и стукнув каблуками. — Прибыл в ваше распоряжение.

— Старший сержант Александр Петров, — отрапортовал юноша, стараясь вытянуться еще прямее и еще звучнее брякая об пол каблуками солдатских кирзовых сапог.

— Командир полка полковник Иванов, — буркнул хозяин. — Пакет?

Мересьев четким жестом вырвал из планшета пакет и протянул полковнику. Тот пробежал препроводительные бумаги и быстрым глазом осмотрел прибывших.

— Хорошо, вовремя. Только что же это они мало прислали? — Потом вдруг что-то вспомнил, на лице его мелькнуло удивление.— Позвольте, это вы Мересьев? Мне о вас звонил начальник штаба ВА. Он предупредил меня, что вы...

— Это не имеет значения, товарищ полковник,— не очень вежливо перебил его Алексей.— Разрешите приступить к несению службы?

Полковник с любопытством посмотрел на старшего лейтенанта и с одобрительной усмешкой кивнул головой.

— Правильно!.. Дежурный, отведите их к начальнику штаба, распорядитесь от моего имени, чтобы их накормили и устроили на ночлег. Скажите, чтобы оформили их приказом в эскадрилью гвардии капитана Чеслова. Исполняйте.

Петрову командир полка показался слишком суетливым. Мересьеву он понравился. Алексею были по душе такие вот быстрые люди, сразу, на ходу все схватывающие, умеющие четко мыслить и твердо решать. Доклад воздушного разведчика, который они случайно слышали, ожидая в садике, не шел у него из ума. По многим приметам, понятным военному человеку: по тому, как были забиты дороги, по которым они ехали из армии, способом «голосования» пересаживаясь из машины в машину; по тому, как по ночам часовые на дорогах строго требовали соблюдать маскировку, грозя нарушителям стрелять по шинам; по тому, что в березовых рощах, в стороне от фронтовых путей, было так шумно и тесно от скопившихся там танков, грузовиков, артиллерии; по тому, что даже над пустынной полевой дорогой атаковали их сегодня немецкие «охотники»,— понимал Мересьев, что затишью на фронте настал конец, что где-то — и именно в этих краях — немцы замыслили свой новый удар, что удар этот произойдет скоро и что командование Красной Армии знает об этом и подготовило уже достойный ответ,

2

Беспокойный старший лейтенант не дал Петрову дожидаться в столовой третьего блюда. Они вскочили на попутный бензовоз и поехали на аэродром, устроенный на полянке за деревней. Тут познакомились но-

вички с командиром эскадрильи гвардии капитаном Человым, хмурым, молчаливым, но, должно быть, до чрезвычайности добродушным человеком. Он без долгих разговоров подвел их к травянистым подковкам земляных капониров, в которых стояли новенькие, сверкающие лаком голубые «Ла-5» с номерами «11» и «12» на вертикальном руле. На них и предстояло летать новичкам. В душистом березовом леске, где пронзительные птичьи хоры не заглушал даже рев моторов, приезжие провели возле машин остаток вечера, болтая со своими новыми механиками и входя в курс жизни полка.

Они так увлеклись, что приехали в деревеньку с последним грузовиком уже затемно и прозевали ужин. Это их не очень огорчило. В верных «сидорах» у них хранились остатки сухого пайка, выданного им на дорогу. Сложнее оказалось с ночлегом. Маленький оазис среди мертвой, забурьяненной пустыни оказался густо перенаселенным экипажами и персоналом штабов двух стоявших здесь авиационных полков. После долгого хождения по переполненным избам, сердитых препирательств с жильцами, не хотевшими пускать новых постояльцев, после философских рассуждений с самим собой о том, как жаль, что избы не резиновые и не растягиваются, комендант втолкнул наконец новичков в первый попавшийся «дом»:

— Ночуйте здесь, а завтра разберемся.

В маленькой избе уже ютилось девять жильцов. Летчики рано укладываются спать. Керосиновая, сделанная из сплющенного снарядного стакана коптилка, какие в первые годы войны именовали «катюшами», а после Сталинграда перекрестили в «сталинградки», тускло освещала неясные силуэты спавших. Они занимали кровати, лавки, рядом лежали на полу на ворохе сена, застеленного плащ-палатками. Помимо девяти постояльцев, в хате жили и хозяева — старуха со взрослой дочерью, ютившиеся по случаю крайнего переуплотнения на громадной русской печи.

На мгновение новички остановились на пороге, не зная, как перебраться через все эти спящие тела. С печки кричал на них сердитый старушечий голос:

— Некуда, некуда! Вишь, набилось. На потолок, что ли?

Петров неловко затоптался в дверях, готовый идти обратно на улицу, но Мересьев уже осторожно

шагал через избу к столу, стараясь не наступать на спящих.

— Нам бы вот только где поесть, мамаша, целый день не ели. Да тарелку бы, да пару чашек, а? А ночевать мы и во дворе переночуем, не стесним. Лето.

Но из глубины запечья, из-за спины ворчливой бабки уже показались чьи-то маленькие босые ноги. Тоненькая, легкая фигурка молча соскользнула с печи, ловко пробалансировала над спящими, скрылась в сенях и тотчас же вернулась, неся тарелки и разномастные чашки, надетые на тонкие пальчики. Сначала Петрову показалось, что это девочка-подросток. Когда же она подошла к столу и желтый копотный свет лампы выхватил из сумрачной мглы ее лицо, он увидел, что это девушка, и девушка хорошенькая, в расцвете лет. Только уж очень портили ее коричневая кофта, юбка из мешковины и драный платок, накрест перехватывающий грудь и по-старушечьи завязанный за спиной.

— Марина, Марина, поди сюда, подлая! — зашипела на печи старуха.

Но девушка и глазом не повела. Она ловко постелила на столе чистую газету, расставила на ней посуду, разложила вилки, искоса бросая короткие взгляды на Петрова.

— Кушайте на здоровье. Может, вам порезать что или погреть? Я мигом. Только вот комендант не велел во дворе таган разводять.

— Маринка, иди сюда! — звала старуха.

— Не обращайтесь на нее внимания: это она так, не в себе немножко. Немцы ее напугали. Как ночью увидит военных, все норовит меня схоронить. Вы на нее не сердитесь: это она только ночью, а днем она хорошая.

В вещевом мешке Мересьева обнаружилась колбаса, консервы, даже две сухие, с выступившей на тощих боках солью селедки и кирпич армейского хлеба. Петров оказался менее запасливым: у него были мясо и сухари. Маленькие ручки Маринки ловко нарезали все это, аппетитно разложили на тарелках. Все чаще и чаще скользил скрытый длинными ресницами взгляд ее быстрых глаз по лицу Петрова, а Петров тоже исподтишка стал посматривать на нее. Когда же взгляды их встречались, они оба краснели, хмурились, отворачивались друг от друга, причем оба вели разговор только через Мересьева, друг к другу не обращались. Алексею было смеш-

но следить за ними, смешно и чуть-чуть грустно: оба они были такими юнцами — по сравнению с ними он казался себе старым, усталым, много прожившим.

— Вот что, Маринушка, а огурчиков, случайно, нет? — спросил он.

— Случайно есть, — тихо улыбнувшись, ответила девушка.

— А картошечки вареной не найдется хоть штучки две?

— Попросите — найдется.

Она вновь исчезла из комнаты, ловко перепрыгивая через спящих, бесшумная, легкая, как мотылек.

— Товарищ старший лейтенант, как это вы можете с ней так? Незнакомая девушка, а вы с ней на «ты», огурчиков требуете и...

Мересьев раскатисто расхохотался.

— Старик, ты где находишься? Это тебе фронт или что?.. Бабка, хватит ворчать, слезай, есть будем, ну?

Бабка, кряхтя и все еще сердито бубня что-то себе под нос, полезла с печки, тотчас же пристроилась к колбасе, до которой, как выяснилось, в мирное время была великая охотница.

Вчетвером они сели за стол и под разноголосый храп и сонное бормотанье остальных жильцов с аппетитом и вкусно поужинали. Алексей болтал без умолку, трунил над бабкой, смешил Маринку. Попав наконец в родную атмосферу бивуачной жизни, он наслаждался ею вполне, чувствуя себя очутившимся в родном доме после долгого скитанья по чужим краям.

К концу ужина друзья узнали: деревня сохранилась потому, что тут стоял когда-то немецкий штаб. Когда Красная Армия стала наступать, он удрал так быстро, что не успел уничтожить деревню. Бабка повредилась в уме после того, как гитлеровцы при ней изнасиловали ее старшую дочь, которая потом утопилась в пруду. Сама Маринка восемь месяцев пребывания немцев в этих краях жила, не видя солнца, на задворках, в пустой риге, вход в которую был завален соломой и рухлядью. Мать по ночам носила ей и подавала через волоковое оконце еду и питье. Чем больше разговаривал Алексей с девушкой, тем чаще и чаще посматривала она на Петрова, и во взглядах ее, задорных и робких, было трудно скрываемое восхищение.

Незаметно ужин был съеден. Остатки Маринка хо-

зьяйственно завернула и сунула в мешок Мересьеву: дескать, солдату все пригодится. Потом она пошептала с бабкой и решительно сказала:

— Вот что: раз вас сюда комендант поставил, тут и живите. Лезьте на печку, а мы с мамой в каморе переспим. Отдыхайте пока с дороги. А завтра найдем вам местечко.

Так же легко ступая босыми ногами через спящих, она принесла со двора охапку яровой соломы, щедро разбросала ее по просторной печи, подмостила в изголовье какие-то одежонки, и все это быстро, ловко, бесшумно, с кошачьим изяществом.

— Хороша, старик, девушка! — заметил Мересьев, с таким удовольствием растягиваясь на соломе, что захрустели суставы.

— А, кажется, ничего, — деланно равнодушным тоном отозвался Петров.

— И как на тебя смотрела!..

— Уж и смотрела, скажете! Она все с вами разговаривала...

Через минуту уже слышалось его ровное сонное дыхание. Мересьев не спал. Он лежал, вытянувшись на прохладной, сытно пахнувшей соломе. Он видел, как из сеней вошла Марина, прошла по комнате, что-то ища. Время от времени она украдкой посматривала на печку. Поправила на столе лампу, опять оглянулась на печь и тихо-тихо пошла через спящих к двери. Вид этой тоненькой красивой, одетой в рубище девушки наполнил почему-то душу Алексея грустным покоем. Вот и на квартиру устроились. Наутро назначен их первый боевой полет — в паре с Петровым. Он, Мересьев, — ведущий. Петров — ведомый. Как-то получится? Славный, кажется, парень! Вон и Маринка в него с первого взгляда влюбилась. Ну, спать так спать!

Мересьев повернулся на бок, повозился в соломе, закрыл глаза и тотчас же забылся каменным сном.

Проснулся с ощущением чего-то страшного. Он не сразу понял, что случилось, но военная привычка заставила его тотчас же вскочить, схватиться за пистолет. Он не помнил ни где он, ни что с ним. Едкий, чесночного запаха дым обволакивал все, а когда порыв ветра отодвинул дымовое облако, Алексей увидел над головой странные, ярко мерцающие огромные звезды. Было светло, как днем, и видны были разметанные, как спич-

ки, бревна избы, сшибленная набок крыша, оскалившаяся стропилами, и что-то бесформенное, загоравшееся невдалеке. Он услышал стоны, волнисто рокочущий рев над головами и знакомый противный, до самых костей пронизывающий визг падающих бомб.

— Ложись! — крикнул он Петрову, который, очумело оглядываясь, стоял на коленях на печи, возвышавшейся среди развалин.

Они бросились на кирпичи, прильнули к ним, и в это время большой осколок сшиб печную трубу, обдав их красной пылью и запахом сухой глины.

— Ни с места, лежать! — командовал Мересьев, подавляя и в себе неудержимое стремление вскочить и бежать, бежать неведомо куда, лишь бы двигаться, — стремление, какое всегда испытывает человек при ночных бомбежках.

Бомбардировщиков не было видно. Они кружили в темноте, выше подвешенных ими осветительных ракет. Зато в белесом мерцающем свете было отлично видно, как врываются в освещенную зону и неслись вниз, стремительно вырастая на глазах, черные капли бомб и как затем красные взметы полыхали во тьме летней ночи. Казалось, раскалывается на части земля и гремит протяжно: «Р-р-рых! Р-р-рых!»

Летчики, распластавшись, лежали на печи, качавшейся и подпрыгивавшей от каждого разрыва. Они прижимались к ней всем телом, щекой, ногами, инстинктивно стремясь вмяться, врасти в кирпич. Потом рокот моторов удалился, и сразу стало слышно, как с шипеньем догорают низко опустившиеся на своих парашютиках осветительные ракеты и как гудит пламя пожара, занявшегося на развалинах по той стороне улицы.

— Ну, вот нас и освежили, — сказал Мересьев, с видимым спокойствием отряхивая с гимнастерки и брюк солому и глиняную пыль.

— А они, те, что там спали? — с ужасом воскликнул Петров, стараясь утихомирить нервно дергающуюся челюсть и подавить навязчивую икоту. — А Маринка?

Они спустились с печи; у Мересьева нашелся фонарик. Осветили заваленный досками и бревнами пол разметанной избы. На нем никого не было. Как потом оказалось, летчики, услышав звуки тревоги, успели выбежать во двор и скрыться в щели. Петров и Мересьев облазили все развалины. Маринки и бабки нигде не

было. На крики никто не откликался. Куда они делись? Убежали, успели спастись?

По улицам уже ходили комендантские патрули, наводя порядок. Саперы гасили пожар, разбирали развалины, вынося трупы и откапывая раненых. В темноте сновали посыльные, выкликая фамилии летчиков. Полк быстро перебрасывался на новое положение. Летный состав собирали на аэродром, чтобы с рассветом сняться на своих машинах. По предварительным сведениям, потери в личном составе были, в общем, невелики. Ранило летчика, убило двух техников и нескольких часовых, оставшихся во время налета на посту. Предполагалось, что погибло много местных жителей, но сколько — из-за темноты и суматохи установить было трудно.

Под утро, отправляясь на аэродром, Мересьев с Петровым невольно задержались у развалин домика, где ночевали. Из хаоса бревен теса саперы выносили носилки, на которых лежало что-то прикрытое окровавленной простыней.

— Кого несете? — спросил Петров, весь побледнев от тягостного предчувствия.

Усатый степенный сапер, напомнивший Мересьеву Степана Ивановича, неся передок носилок, обстоятельно ответил:

— Да вот бабку какую-то да девчонку откопали в подвале. Каменьями пригрело. Наповал. Девчонка то ли девка, не поймешь: махонькая такая; видать, пригожая была. Камнем в грудь хватило. Дюже пригожа, точно дитя малое.

...В эту ночь немецкая армия перешла в свое последнее большое наступление и, атаковав укрепления советских войск, начала роковое для нее сражение на Курской дуге.

3

Солнце еще не поднялось, был самый темный час короткой летней ночи, а на полевом аэродроме уже ревели прогреваемые моторы. Капитан Чеслов, разложив на росистой траве карту, показывал летчикам эскадрильи маршрут и точку нового положения.

— Смотрите в оба. Зримого взаимодействия не терять. Аэродром у самых передовых.

Новая точка была действительно у линии фронта, обозначенной на карте синим карандашом, на языке,

вдававшемся в расположение немецких войск. Летели не назад, а вперед. Летчики радовались: несмотря на то что немцы снова взяли инициативу, Красная Армия не только не готовилась к отходу, а собиралась наступать.

С первыми лучами солнца, когда по полю еще тянулся волнистый розовый туман, вторая эскадрилья поднялась вслед за своим командиром, и самолеты, не теряя друг друга из виду, взяли курс на юг.

Мересьев и Петров в первом своем общем полете так и шли тесной парочкой. За те немногие минуты, что они провели в воздухе, Петров сумел оценить уверенную и поистине мастерскую манеру полета своего ведущего, а Мересьев, нарочно сделавший на пути несколько крутых и неожиданных виражей, подметил в ведомом хороший глаз, смекалку, крепкие нервы и, что было для него главным,— еще неуверенный, но хороший летный почерк.

Новый аэродром размещался в районе тылов стрелкового полка. Если бы немцы открыли его, они могли бы обстреливать его артиллерией мелких калибров и даже крупными минометами. Но им было не до какого-то там аэродрома, появившегося у них под носом. Еще в темноте они обрушили на укрепления советских войск огонь всей своей стянутой сюда в течение весны артиллерии. Красное пульсирующее зарево поднялось высоко в небе над укрепленным районом. Разрывы сразу закрыли все, точно мгновенно поднявшийся густой лес черных деревьев. И когда взошло солнце, на земле не стало светлей. В гудящей, ревущей, сотрясаемой мгле трудно было что-нибудь различить, и солнце висело в небе, как тусклый, грязновато-красный блин.

Но недаром советские самолеты за месяц до этого ползали в небесной вышине над немецкими позициями. Намерения немецкого командования были давно раскрыты, позиции и центры сосредоточения нанесены на карту, изучены квадрат за квадратом. Немцы думали, по обычаю своему размахнувшись в полную меру своих сил, вонзить нож под лопатку спящему предутренним сном противнику. Но противник только притворялся спящим. Он схватил нападающего за руку, держащую нож, и рука эта захрустела, сжатая стальными, богатырскими пальцами. Еще не отшумел шквал артиллерийской подготовки, бушевавший на фронте в несколько десятков километров, как немцы, оглохшие от грома собственных батарей, ослепленные пороховым дымом, заволакивав-

шим их позиции, увидели огненные шары разрывов в своих траншеях. Советская артиллерия била точно и не по площади, как немцы, а по целям, по батареям, по скоплениям танков и пехоты, уже подтянувшимся к рубежам атаки, по мостам, по подземным погребам боеприпасов, по блиндажам и командным пунктам.

Артиллерийская подготовка немцев перешла в мощную огневую дуэль, в которой с обеих сторон участвовали десятки тысяч стволов самых разнообразных калибров. Когда самолеты эскадрильи капитана Чеслова коснулись аэродрома, земля дрожала под ногами летчиков, а разрывы гремели так часто, что сливались в один сплошной kloкочущий шум, как будто по железному мосту тянулся гигантский поезд, шел, шел, шел, гудя и гремя, шел и не мог пройти. Бурно клубящийся дым опоясал весь горизонт. Над маленьким полковым аэродромом то гусем, то журавлиными косяками, то развернутым строем плыли и плыли бомбардировщики; и разрывы их бомб глухими рокочущими раскатами выделялись в равномерном грохоте артиллерийского боя.

По эскадрильям была объявлена готовность № 2. Это означало, что летчики должны были не покидать кабин своих самолетов, с тем чтобы при первой же ракете подняться в воздух. Самолеты вывели на опушку березового леса, замаскировали ветками. Из леса тянуло прохладной, душистой грибной сыростью, и неслышные за грохотом боя комары отчаянно атаковали лица, руки, шеи пилотов.

Мересьев снял шлем и, лениво отмахиваясь от комаров, сидел, задумавшись, наслаждаясь густым ароматом утреннего леса. В соседнем капонири стоял самолет его ведомого. Петров то и дело вскакивал с сиденья и даже вставал на него, чтобы поглядеть в сторону боя или проводить взглядом бомбардировщика. Ему не терпелось скорее взмыть в воздух, чтобы первый раз в жизни встретить настоящего врага, направить острые паутинки пулевых трасс не в надутый ветром полотняный пузырь, который тащит за собой на веревке самолет «Р-5», а в настоящий вражеский самолет, живой и вертикальный, в котором, как улитка в раковине, сидит, может быть, тот самый, чья бомба сегодня убила эту худенькую красивую, точно в хорошем сне приснившуюся девушку.

Мересьев смотрел, как суетится и волнуется его ведомый, и думал: годами они почти ровесники — тому

девятнадцать, а Мересьеву двадцать три. Что для мужчины значит разница в три-четыре года? Но рядом со своим ведомым он чувствовал себя стариком, опытным, уравновешенным, усталым. Вот и теперь Петров вертится в кабине, потирает руки, смеется, что-то кричит вслед проползающим «илам», а Алексей удобно развалился в кожаном сиденье машины. Он спокоен. У него нет ног, летать ему неизмеримо труднее, чем любому летчику на свете, но даже и это не волнует его. Он твердо знает свое мастерство и верит в свои искалеченные ноги.

Полк так и просидел до вечера в готовности № 2. Его почему-то держали в резерве. По-видимому, не хотели преждевременно раскрывать его расположение.

Под ночлег были отведены маленькие землянки, построенные еще немцами, стоявшими здесь когда-то, обжитые ими, оклеенные сверх досок картоном и желтой оберточной бумагой. Сохранились на стенах даже открытки каких-то кинокрасавиц с огромными хищными ртами и олеографии колючих пейзажей немецких городов.

Артиллерийский бой продолжался. Земля дрожала. Сухой песок осыпался на бумагу, и вся землянка противно шуршала, как будто кишела насекомыми.

Мересьев и Петров решили лечь на воздухе, на расстеленных плащ-палатках. Приказ был: спать не раздеваясь. Мересьев только ослабил ремни протезов и, лежа на спине, смотрел на небо, которое, казалось, дрожало в красноватом мерцанье разрывов. Петров сейчас же заснул. Во сне он храпел, что-то бурчал, жевал и чмокал губами и весь поджимался в клубочек, как ребенок. Мересьев набросил на него свою шинель. Чувствуя, что ему не заснуть, он встал, поеживаясь от сырости, сделал несколько резких гимнастических упражнений, чтобы согреться, и сел на пенек.

Артиллерийский шквал уже схлынул. Только изредка то здесь, то там батареи скороговоркой возобновляли беспорядочный огонь. Несколько шальных снарядов прошелестело над головами и разорвалось где-то в районе аэродрома. Этот так называемый беспокоящий огонь на войне обычно никого не беспокоил. Алексей даже и не оглянулся на разрывы. Он смотрел на линию фронта. Она была отлично видна во тьме. Даже сейчас, в глухой час ночи, она жила напряженной, незатухающей тяжелой борьбой, отмеченная на спящей земле багровыми заре-

вами огромных, расплывшихся на весь горизонт пожаров. Трепетные огни ракет маячили над ней: синевато-фосфорические — немецкие и желтоватые — наши. То там, то здесь подскакивало стремительное пламя, на мгновение приподнимая над землей покров темноты, и после этого доходил до слуха тяжелый вздох разрыва.

Вот послышался гуд ночных бомбардировщиков. Вся линия фронта сразу покрылась разноцветным бисером трассирующих пуль. Как капли крови, брызнули вверх очереди скорострельных зениток. Опять задрожала, загудела, застонала земля. Но жуков, что басили в кронах берез, это не беспокоило; в глубине леса человеческим голосом, накликаая беду, ухал филин; внизу, в ложине, в кустах, оправившись от дневного страха, сначала робко, точно пробуя голос или настраивая инструмент, а потом в полную силу засвистал, защелкал, запел соловей, захлебываясь в звуках своей песни. Ему ответили другие, и скоро весь этот прифронтовой лес звенел и пел, полный несшихся со всех сторон мелодичных трелей. Недаром славились на весь мир знаменитые курские соловьи!

И вот теперь они неистовствовали в лесу. Алексей, которому завтра в бою предстояло держать экзамен не перед комиссией, а перед лицом самой смерти, не мог заснуть, слушая соловьиную переключку. И думал он не о завтрашнем дне, не о грядущем бое, не о возможной смерти, а о далеком соловье, певшем для них когда-то на камышинской окраине, об «их» соловье, об Оле, о родном городке.

Небо на востоке уже белело. Постепенно соловьиные трели вновь заглушила канонада. Солнце медленно поднималось над полем сражения, большое, багрово-красное, едва пробивая плотный дым выстрелов и разрывов.

4

Битва на Курской дуге разгоралась. Первоначальные планы немцев — коротким ударом мощных танковых сил взломав наши укрепления южнее и севернее Курска, сжать клещи и, окружив всю курскую группировку Красной Армии, устроить там «немецкий Сталинград» — были сразу спутаны стойкостью обороны. Немецкому командованию в первые же дни стало ясно, что обороны ему не прорвать и что, если бы это даже и уда-

лось, потери его при этом были бы так велики, что не хватило бы сил сжать клещи. Но останавливаться было поздно. Слишком много надежд — стратегических, тактических, политических — было связано у Гитлера с этой операцией. Лавина тронулась с места. Она неслась теперь под гору, все увеличиваясь в объеме, наматывая на себя и увлекая с собой все, что попадалось на пути, и у тех, кто ее струнул, не было силы ее остановить. Продвижение немцев измерялось километрами, потери — дивизиями и корпусами, сотнями танков и орудий, тысячами машин. Наступающие армии ослабели, истекая кровью. Немецкий штаб отдавал себе в этом отчет, но у него уже не было возможности удержать события, и он принужден был бросать все новые и новые резервы в пекло разгоравшейся битвы.

Советское командование парировало немецкие удары силами линейных частей, державших здесь оборону. Наблюдая нарастание немецкой ярости, оно держало свои резервы в глубине, ожидая, пока иссякнет инерция вражеского удара. Как узнал потом Мересьев, их полк должен был прикрыть армию, сосредоточенную не для обороны, а именно для контрудара. Поэтому на первом этапе и танкисты и связанные с ними летчики-истребители были лишь созерцателями великой битвы. Когда враг всеми силами втянулся в сражение, готовность № 2 на аэродроме была отменена. Экипажам разрешили спать в землянках и даже раздеваться на ночь. Мересьев и Петров оборудовали свое жилище. Они выбросили открытки кинокрасавиц и снимки чужих пейзажей, ободрали немецкие картон и бумагу, украсили стены хвоей, свежими березками, и их земляная нора больше уже не шуршала от падающего песка.

Раз утром, когда яркие солнечные лучи уже падали через незапахнутый полог входа на усталый хвоей пол землянки, а оба друга еще потягивались на сделанных в стенах нишах-койках, наверху по дорожке торопливо протопали чьи-то шаги и послышалось магическое на фронте слово: «Почтарь!»

Оба разом сбросили одеяла, но, пока Мересьев пристегивал протезы, Петров успел догнать почтаря и вернулся, торжественно неся два письма для Алексея. Это были письма от матери и Оли. Алексей вырвал их из рук друга, но в это время на аэродроме часто забарабанили в рельс. Экипажи вызывались к машинам.

Мересьев сунул письма за пазуху и, тотчас же забыв о них, побежал вслед за Петровым по протоптанной в лесу дорожке, ведущей к месту стоянки самолетов. Он бежал довольно быстро, опираясь на палку и лишь слегка раскачиваясь. Когда он подбежал к самолету, мотор уже был расчехлен, механик, рябой и смешливый парень, нетерпеливо топтался у машины.

Мотор заревел. Мересьев посмотрел на «шестерку», на которой летал командир эскадрильи. Капитан Чеслов выводил свою машину на поляну. Вот он поднял в кабине руку. Это означало: «Внимание!» Моторы ревели. От ветра белела прибитая к земле трава, зеленые космы плакучих берез стлались в воздушных вихрях и трепетали, готовые оторваться вместе с сучьями от деревьев.

Еще по дороге кто-то из обогнавших Алексея летчиков успел крикнуть ему, что «танкачи» переходят в наступление. Значит, летчикам сейчас предстояло прикрывать проход танкистов через разбитые и перепаханые артиллерией вражеские укрепления, расчищать и охранять воздух над наступающими танкистами. Стеречь воздух? Все равно. В таком напряженном сражении и это не могло быть пустым вылетом. Где-то там, в небе, рано или поздно встретится враг. Вот она, проба сил, вот где Мересьев докажет, что он не хуже любого другого летчика, что он добился своего!

Алексей волновался. Но это не был страх смерти. Это не было даже ощущением опасности, свойственным и самым храбрым, хладнокровным людям. Его заботило другое: проверили ли оружейники пулеметы и пушки; не отказал бы мегафон в новом, не опробованном в бою шлеме; не отстал бы Петров, не зарвался бы он, если доведется ввязаться в драку; где палка — не потерялся ли подарок Василия Васильевича; и даже: не стянул бы кто-нибудь из землянки книжку — роман, дочитанный вчера до самого интересного места и впопыхах забытый на столе. Он вспомнил, что не попрощался с Петровым, и уже из кабины помахал ему рукой. Но тот не видел. Лицо ведомого в кожаной рамке шлема пылало красными пятнами. Он нетерпеливо следил за поднятой рукой командира. Вот рука опустилась. Закрылись кабины.

Тройка машин фыркнула на старте, тронулась, побежала, за ней потянулась другая, и уже приходила в движение третья. Вот первые самолеты скользнули в небо. Вслед за ними разбегается звено Мересьева. Уже внизу

покачивается из стороны в сторону плоская земля. Не теряя из виду первой тройки, Алексей пристраивает к ней свое звено, а сзади, впритык к ним, идет третье.

Вот и передовая. Рябая, изъязвленная снарядами земля, напоминающая сверху пыльную дорогу, на которую упали первые щедрые потоки ливня. Изрыты, вскопаны ходы траншей, маленькие прыщики блиндажей и дзотов топорщатся бревнами и кирпичом. Желтые искры вспыхивают и гаснут по всей истерзанной долине. Это и есть огонь великого сражения. Каким игрушечным, маленьким и странным кажется все это сверху! Не верится, что там, внизу, все горит, ревет, сотрясается и смерть гуляет по изувеченной земле, в дыму и копоту, собирая обильную жатву.

Они пролетели над передовой, дали полукруг над вражеским тылом, опять перемахнули линию боя. Никто не стреляет по ним. Земля слишком занята своими тяжелыми земными делами, чтобы обращать внимание на девять маленьких самолетов, змейкой летающих над ней. А где же танкисты? Ага! Вот они. Мересьев увидел, как из яркой зелени лиственного леса один за другим стали выползать на поле танки, похожие сверху на неповоротливых сереньких жучков. Через мгновение их высыпало уже много, но новые и новые лезли из пенистой зелени, тянулись по дорогам, пробирались лощинами. Вот первые уже взбежали на горку, достигли вспаханной снарядами земли. Красные искорки стали слетать с их хоботков. Даже ребенка, даже нервную женщину не испугала бы эта гигантская танковая атака, этот стремительный набег сотен машин на остатки немецких укреплений, если бы они наблюдали ее с воздуха, как наблюдал ее Мересьев. В это время сквозь шум и звон, наполнявший наушники шлема, он услышал хриплый и вялый даже сейчас голос капитана Чеслова:

— Внимание! Я — Леопард три, — я — Леопард три. Справа «лаптежники», «лаптежники»!

Где-то впереди увидел Алексей короткую черточку командирского самолета. Черточка покачалась. Это означало: делай, что я.

Мересьев передал эту же команду назад своему звену. Он оглянулся: ведомый висел с ним рядом, почти не отрываясь. Молодец!

— Держись, старик! — крикнул ему Мересьев.

— Держусь,— отозвалось ему из хаоса, треска и шума.

— Я — Леопард три, я — Леопард три. За мной! — прозвенело в ларингофоне.

Враг был близко. Чуть ниже их в любимом немцами строю — двойным гусем — шли одномоторные пикировщики «Ю-87». Они имели неубирающиеся шасси. Шасси эти в полете висели под брюхом. Колеса были защищены продолговатыми обтекателями. Было похоже, что из брюха машины торчат ноги, обутые в лапти. Поэтому летная молва на всех фронтах и окрестила их «лаптежниками». Знаменитые пикировщики, стяжавшие себе разбойничью славу в боях над Польшей, Францией, Голландией, Данией, Бельгией и Югославией; немецкая новинка, о которой в начале войны пресса всего мира рассказывала столько страшных историй, — быстро устарея над просторами Советского Союза.

Советские летчики в многочисленных боях нащупали их слабые места, и «лаптежник» стал считаться у советских асов даже не бог весть какой богатой добычей, чем-то вроде глухаря или зайца, не требующих от охотника настоящего мастерства.

Капитан Чеслов тянул свою эскадрилью не на врага, а куда-то в обход. Мересьев решил, что осторожный капитан заходит «под солнце», чтобы потом, замаскировавшись в его ослепляющих лучах, оставаясь невидимым, подкрасться к врагу вплотную и сразу обрушиться на него. Алексей усмехнулся: не много ли чести для «лаптежников» — делать такой сложный маневр? А впрочем, осторожность не вредит. Он снова оглянулся. Петров шел сзади. Его было отлично видно на фоне белого облака.

Теперь строй вражеских пикировщиков висел от них справа. Немцы шли красиво, ровно, будто связанные между собой невидимыми нитями. Плоскости их машин ослепительно сверкали, освещенные сверху солнцем.

— ...Леопард три. Атака! — рванулся в уши Мересьеву отрывок командирской фразы.

Он видел, как справа, сверху, точно бешено скользя с ледяной горы, во фланг вражескому строю неслись Чеслов и его ведомый. Нити трасс хлестнули по ближайшему «лаптежнику», тот вдруг провалился, и Чеслов с ведомым и третий из его звена проскочили в образовавшееся пространство и исчезли за немецкой шеренгой.

Шеренга немецких пикировщиков тотчас же сомкнулась за ними. «Лаптежники» продолжали идти в идеальном порядке.

Сказав свой позывной, Алексей хотел крикнуть: «Атака!» — но от возбуждения из горла вырвалось только свистящее: «А-а-а!» Он уже несся вниз, ничего не видя, кроме этого стройно плывущего вражеского строя. Он наметил себе того самого немца, который заступил место сбитого Чесловым. В ушах у Алексея звенело, сердце готово было выпрыгнуть через горло. Он поймал самолет в паутиный крестик прицела и несся к нему, держа оба больших пальца на гашетках. Точно серые пушистые веревки мелькнули справа от него. Ага! Стреляют. Промазали. Снова и уже ближе. Цел. А Петров? Тоже цел. Он слева. Отвернул. Молодец мальчишка! Серый борт «лаптежника» увеличивается в крестике. Пальцы чувствуют холодный алюминий гашеток. Еще чуть-чуть...

Вот когда Алексей с торжеством ощутил совершенное слияние со своей машиной! Он чувствовал мотор, точно тот бился в его груди, всем существом своим он ощущал крылья, хвостовые рули, и даже неповоротливые искусственные ноги, казалось ему, обрели чувствительность и не мешали этому его соединению с машиной в бешено-стремительном движении. Выскользнула, но снова поймана в крестик прицела стройная, зализанная туша немца. Несясь прямо на него, Мересьев нажал гашетку. Он не слышал выстрелов, не видел даже огневых трасс, но знал, что попал, и, не останавливаясь, продолжал нестись на вражеский самолет, зная, что тот провалится и он не столкнется с ним. Оторвавшись от прицела, Алексей с удивлением увидел, что рядом провалился еще и второй. Неужели он случайно сбил и его? Нет. Это Петров. Он тянул справа. Это его работа. Молодец новичок! Удаче молодого друга Алексей порадовался даже больше, чем своей.

Второе звено проскользнуло в брешь немецкого строя. А тут была уже кутерьма. Вторая волна немцев, в которой шли, по-видимому, менее опытные пилоты, уже рассыпалась и потеряла строй. Самолеты звена Чеслова носились между этими расползавшимися «лаптежниками», расчищая небо и заставляя врага второпях опорожнять бомбовые кассеты на свои же собственные окопы. В том, чтобы заставить немцев пробомбить свои укрепления, и состояла расчетливая затея капитана

Чеслова. Заход под солнце играл в ней подчиненную роль.

Но строй первой шеренги немцев снова сомкнулся, и «лаптежники» продолжали тянуться к месту прорыва танков. Атака третьего звена успеха не имела. Немцы не потеряли ни одной машины, а один истребитель исчез, подбитый вражеским стрелком. Место разворачивания танковой атаки было близко. Не было времени снова набирать высоту. Чеслов решил рискнуть атаковать снизу. Алексей мысленно одобрил его. Ему самому хотелось «ткнуть» врага в брюхо, используя чудесные боевые свойства «Ла-5» на вертикальном маневре. Первое звено уже несло вверх, и нити трасс поднимались в воздух, как острые струи фонтанов. Два немца сразу отпали от строя. Один из них, должно быть перерезанный пополам, вдруг раскололся в воздухе. Хвост его чуть было не задел мотор мересьевской машины.

— Следи! — гикнул Мересьев, скользнув глазом по силуэту ведомого, и выжал ручку на себя.

Земля опрокинулась. Точно тяжелый удар втиснул его в сиденье, прижал к нему. Он почувствовал вкус крови во рту и на губах, в глазах замельтешила красная пелена. Машина, встав почти вертикально, неслась вверх. Лежа на спинке сиденья, Алексей на мгновение увидел в крестике пятнистое брюхо «лаптежника», смешные лапти, накрывающие толстые колеса, даже комья аэродромной глины, прилипшие к ним.

Он нажал обе гашетки. Куда он попал: в баки ли, в мотор ли, в кассету с бомбами, — он не понял, но немец сразу исчез в буром облаке взрыва.

Машину Мересьева бросило в сторону, и она пронеслась мимо кома огня. Переводя машину в плоскостной полет, Алексей осмотрел небо. Ведомый шел за ним справа, вися в бескрайней небесной голубизне, над слоем облаков, напоминавших белую мыльную пену. Было пустынно, и только на горизонте, на фоне далеких облаков, были видны черточки расползавшихся в разные стороны «лаптежников». Алексей глянул на часы и поразился. Ему показалось, что бой продолжался по крайней мере полчаса и бензин должен быть на исходе. Часы показывали, что все заняло три с половиной минуты.

— Жив? — спросил он, оглядываясь на ведомого, который «перелез» направо и летел рядом.

Из сutoлоки звуков он услышал далекий восторженный голос:

— Жив!.. Земля... На земле...

Внизу, на избитой, истерзанной холмистой долине, в нескольких местах горели чадные бензиновые костры. Тяжелый дым их столбами поднимался в безветренном воздухе. Но Алексей смотрел не на эти догоравшие трупы вражеских самолетов. Он смотрел на серо-зеленых жучков, уже широко разбежавшихся по всему полю. Двумя лощинами они подползали к вражеским позициям, передние уже перевалили через траншеи. Выбрасывая из своих хоботков красные огоньки уже за линией немецких укреплений, они ползли все дальше и дальше, хотя за спиной у них еще вспыхивали выстрелы и тянулись дымки немецкой артиллерии.

Мересьев понял, что значат сотни этих жучков в глубине разбитых вражеских позиций.

Произошло то, о чем на следующий день советский народ и весь свободолюбивый мир, ликуя, читал во всех газетах. На одном из участков Курской дуги после мощной двухчасовой артиллерийской подготовки армия прорвала немецкую оборону и всеми силами вошла в прорыв, расчищая путь советским войскам, перешедшим в наступление.

Из девяти машин эскадрильи капитана Чеслова в этот день не вернулись на аэродром два. В бою было сбито девять «лаптежников». Девять — два, безусловно, хороший счет, когда речь идет о машинах. Но потеря двух товарищей омрачила радость победы. Выскакивая из самолетов, легчики не шумели, не кричали, не жестикулировали, с жаром обсуждая перипетии схватки и снова переживая минувшие опасности, как это бывало всегда после удачного боя. Хмуро подходили они к начальнику штаба, скупно и коротко докладывали о результатах и расходились, не глядя друг на друга.

Алексей был новым человеком в полку. Погибших он не знал даже в лицо. Но он поддался общему настроению. В его жизни случилось самое важное и большое событие, к которому он стремился всей своей волей, всеми силами души, — событие, решившее всю его дальнейшую жизнь, снова вернувшее его в ряды здоровых, полноценных людей. Сколько раз на госпитальной койке и потом, учась ходить, танцевать, восстанавливая упорными тренировками утерянные навыки пилотажа, мечтал

он об этом дне! И вот теперь, когда этот день настал, когда им сбито два немца и он снова равноправный член в семье истребителей, он, так же, как все, подошел к начальнику штаба, назвал число своих жертв, уточнил обстоятельства и, похвалив ведомого, отошел в сторону под сень берез, думая о тех, кто сегодня не вернулся.

Только Петров бегал по аэродрому без шлема, с развевающимися русыми волосами и, хватая за руки всех, кто попадался ему навстречу, принимался рассказывать:

— ...и вот вижу: они рядом, ну рукой достанешь! Ты только послушай... и вижу: старший лейтенант целит в головного. Я взял в целик соседнего. Раз!

Он подбежал к Мересьеву, бросился у его ног на мягкий травянистый мох, растянулся, но не вытерпел этой спокойной позы и сейчас же вскочил.

— А какие вы виражи сегодня закладывали! Роскошь! Аж в глазах темнело... Вы знаете, как я его сегодня долбанул? Вы только послушайте... Иду за вами и вижу: он рядом, рукой подать, вот как вы сейчас стоите...

— Погоди, старик,— перебил его Алексей и захолопал себя по карманам.— Письма, письма... куда я их дел?

Он вспомнил про письма, которые получил сегодня и не успел прочесть. Не находя их в карманах, он облился холодным потом. Потом, нащупав под рубашкой на груди хрустящие конверты, облегченно вздохнул. Достал письмо Оли, присел под березу, не слушая своего восторженного друга, и начал осторожно отрывать от конверта полоску бумаги.

В это время шумно хлопнула ракетница. Красная искристая змея обогнула небо над аэродромом и погасла, оставив серый, медленно расплывающийся след. Летчики вскочили. На ходу Алексей сунул конверт за пазуху. Он не успел прочитать ни строчки. Распечатывая письмо, он только нащупал в нем, кроме почтовой бумаги, что-то твердое. Летя во главе звена по уже знакомому пути, он иногда трогал рукой конверт. Что в нем?

Для гвардейского истребительного авиаполка, в котором служил теперь Алексей, день прорыва танковой армии был началом боевой страды. Над местом прорыва эскадрильи сменяли одна другую. Едва успевала выйти из боя и приземлиться одна, как ей на смену поднималась другая, а к приземлившимся уже мчались бензовозы. Бензин щедрой струей лился в опустевшие баки. Над горячими моторами, как над полем после теплого лет-

него дождя, колебалось студенистое марево. Летчики не вылезали из кабин. Даже обед принесли им сюда в алюминиевых котелках. Но никто не стал есть. Не этим была в этот день занята голова. Кусок застревал в горле.

Когда эскадрилья капитана Чеслова вновь приземлилась и машины, отрулив в лесок, стали заправляться, Мересьев сидел, улыбаясь, в кабине, ощущая ломоту приятной усталости, нетерпеливо поглядывая на небо и покрикивая на заправщиков. Его тянуло снова и снова в бой — испытывать себя. Он часто щупал за пазухой хрустящие конверты, но в такой обстановке читать письма не хотелось.

Только вечером, когда сумерки надежно прикрыли район наступления армии, экипажи отпустили по домам. Мересьев пошел не короткой лесной дорогой, какой ходил обычно, а кружной, через заросшее бурьяном поле. Ему хотелось сосредоточиться, отдохнуть от шума и грохота, от всех пестрых впечатлений этого бесконечного дня.

Вечер был ясный, душистый и такой тихий, что гул теперь уже отдаленной канонады казался не шумом боя, а громом проходящей стороной грозы. Дорога вела через бывшее ржаное поле. Все тот же унылый красноватый бурьян, который в обычном человеческом мире робко высовывает тоненькие стебли где-нибудь по глухим углам дворов да у каменных куч, сложенных на краю поля, там, куда редко заглядывает хозяйский глаз человека, стоял сплошной стеной, огромный, наглый, сильный, хороня под собой землю, оплодотворенную потом многих поколений тружеников. И лишь кое-где, как слабенькая травка, совершенно заглушенная им, поднимала редкие, чахлые колоски рожь-самосейка. Разросшийся бурьян тянул в себя все соки земли, пожирал все солнечные лучи; он лишил рожь пищи, света, и колоски эти засохли еще до цветения, так и не налившись зерном.

И думалось Мересьеву: вот так и фашисты хотели пустить корни на нашем поле, налиться нашими соками, подняться на наших богатствах нагло и страшно, заслонить солнце, а великий, трудолюбивый, могучий народ вытеснить с его полей, из его огородов, лишить всего, иссосать, заглушить, как бурьян заглушил эти чахлые колоски, уже потерявшие даже внешне форму сильного, красивого злака. Почувствовав прилив мальчишеского задора, Алексей колотил своей палкой по красноватым

дымчатым тяжелым головкам сорных трав, радуясь, что целыми пучками ложатся подбитые наглые стебли. Пот бежал с его лица, а он все колотил и колотил по бурьяну, заглушившему рожь, с радостью чувствуя в усталом теле ощущение борьбы и движения.

Совершенно неожиданно фыркнул за спиной «виллис» и, пискнув колесами, остановился на дороге. Не оглядываясь, Мересьев догадался, что это командир полка догнал его и застал за таким детским занятием. Алексей покраснел так, что загорелись даже уши, и, делая вид, что не заметил машины, стал палкой ковырять землю.

— Рубаем? Хорошее занятие. Я весь аэродром объездил: где наш герой, куда герой делся? А он вон, пожалуйста: с бурьянами воюет.

Полковник соскочил с «виллиса». Он сам великолепно водил машину и любил в свободную минуту возиться с ней, так же как сам любил выводить свой полк на трудные занятия, а потом по вечерам вместе с технарями копаться в замасленных моторах. Ходил он обычно в синем комбинезоне, и только по властным складкам его худощавого лица да по новенькой, щеголеватой летной фуражке можно было отличить его от чумазого племени механиков.

Он схватил за плечи Мересьева, все еще растерянно ковырявшего палкой землю.

— А ну, дайте на вас взглянуть. Черт вас знает: ничего особенного! Теперь можно сознаться: когда вас прислали, не верил, вопреки всему, что о вас говорили в армии, не верил, что выдержите бой, да еще как... Вот она, матушка Россия! Поздравляю. Поздравляю и преклоняюсь... Вам в «кротовый городок»? Садитесь, подвезу.

«Виллис» рванулся с места и помчался по полевой дороге, на полном ходу делая на поворотах сумасшедшие виражи.

— Ну, а может быть, вам чего надо? Трудности какие-нибудь? Просите, не стесняйтесь, вы имеете право,— говорил командир, ловко ведя машину прямо через перелесок, без дороги, меж холмиками землянок «кротовника», как прозвали летчики свой подземный городок.

— Ничего не надо, товарищ полковник. Я такой же, как все. Лучше бы позабыли, что у меня нет ног.

— Ну, правильно... Которая ваша? Эта?

Полковник резко затормозил у самого входа в землянку. Мересьев едва успел сойти, как «виллис», рыча и хрустя сучьями, уже исчез в лесу, вертясь между берез и дубков.

Алексей не пошел в землянку. Он лег под березой на влажный шерстистый, пахнущий грибами мох и осторожно вынул из конверта листок Олиного письма. Какая-то фотография выскользнула из рук и упала на траву. Алексей схватил ее.

Сердце заколотилось резко и часто.

С фотографии смотрело знакомое и вместе с тем до неузнаваемости новое лицо. Оля снялась в военном. Гимнастерка, ремень портупей, орден Красной Звезды, даже гвардейский значок — все это очень шло к ней. Она походила на худенького хорошенького мальчика, одетого в офицерскую форму. Только у мальчика этого было усталое лицо, и глаза его, большие, круглые, лучистые, смотрели с неюношеской пронизательностью.

Алексей долго глядел в эти глаза. Душа наполнилась безотчетной сладкой грустью, какую ощущаешь, слушая вечером долетающие издали звуки любимой песни. Он нашел в кармане прежнюю Олину фотографию, где она была снята в пестром платье, на цветущем лугу, в россыпи белых звездочек-ромашек. И странно: девушка в гимнастерке, с усталыми глазами, какую он никогда не видел, была ему ближе и дороже той, какую он знал. На обороте карточки было написано: «Не забывай».

Письмо было короткое и жизнерадостное. Девушка уже командовала саперным взводом. Только взвод ее сейчас не воевал. Он был занят мирной работой. Они восстанавливали Сталинград. Оля мало писала о себе, но с увлечением рассказывала о великом городе, о его оживающих руинах, о том, как сейчас съехавшиеся сюда со всей страны женщины, девушки, подростки, живя в подвалах, в дотах, в блиндажах и бункерах, оставшихся от войны, в вагонах железнодорожных составов, в фанерных бараках, в землянках, строят и восстанавливают город. Говорят, что каждый строитель, который хорошо поработает, получит потом квартиру в восстановленном Сталинграде. Что же, если так, пусть Алексей знает, что ему будет где отдохнуть после войны.

По-летнему быстро стемнело. Последние строчки Алексей дочитывал, посвечивая на письмо карманным фонариком. Дочитав, он опять осветил фотографию.

Строго и честно смотрели глаза мальчика-солдата. Милая, милая, нелегко тебе... Не обошла тебя война, но и не сломала! Ждешь? Жди, жди! Любишь, да? Люби, люби, родная! И вдруг Алексею стало стыдно, что вот уже полтора года он от нее, от бойца Сталинграда, скрывает свое несчастье. Он хотел было сейчас же спуститься в землянку, чтобы честно и откровенно написать ей обо всем. Пусть решает — и чем скорее, тем лучше. Обоим станет легче, когда все определится.

После сегодняшних дел он мог говорить с ней как равный. Он не только летает: он воюет. Ведь он обещал себе, дал зарок все рассказать ей или когда его надежды потерпят крушение, или когда в бою он станет равным среди других. Теперь он этого достиг. Два сбитых им самолета упали и сгорели в кустарнике на виду у всех. Дежурный занес это сегодня в боевой журнал. Об этом пошли донесения в дивизию, в армию и в Москву.

Все это так, зарок выполнен, можно писать. Но если строго разобраться, разве «лаптежник» для истребителя — настоящий противник? Ведь не станет же хороший охотник в доказательство своего охотничьего умения рассказывать, что он подстрелил, ну, скажем, зайца.

Теплая, влажная ночь загустела в лесу. Теперь, когда гром боя отодвинулся на юг и зарева уже далеких пожаров были еле видны за сеткой ветвей, отчетливо слышны стали все ночные шумы летнего душистого цветущего леса: неистовый и надсадный треск кузнечиков на опушке, гортанное курлыканье сотен лягушек в соседнем болоте, резкое кряканье дергача и вот это все заглушающее, все заполняющее, царствующее во влажной полутьме соловьиное пение.

Лунные белые пятна вперемежку с черными тенями ползали по траве у ног Алексея, все еще сидевшего под березой на мягком, теперь уже сыром мху. Он опять достал из кармана фотографию, положил ее на колени и, смотря на нее, освещаемую луной, задумался. Над головой в ясном темно-синем небе один за другим тянулись на юг темные маленькие силуэты ночных бомбардировщиков. Моторы их басовито ревели, но даже этот голос войны воспринимался сейчас в лесу, полном лунного света и соловьиного пения, как мирное гуденье майских жуков. Алексей вздохнул, убрал фотокарточку в карман гимнастерки, пружинисто вскочил, стряхивая с себя колдовское очарование этой ночи, и, хрустя ва-

лежником, соскочил в свою землянку, где уже сладко и залиvisto храпел его ведомый, по-богатырски раскинувшись на узком солдатском ложе.

5

Экипажи разбудили до зари. Штаб армии получил разведсводку, в которой сообщалось, что в район прорыва советских танков вчера перелетело крупное немецкое воздушное соединение. Данные наземного наблюдения, подтвержденные агентурными сообщениями, давали возможность заключить, что немецкое командование, оценив угрозу, созданную прорывом советских танков у самого основания Курской дуги, вызвало сюда воздушную дивизию «Рихтгофен», укомплектованную лучшими асами Германии. Эта дивизия последний раз была разбита под Сталинградом и вновь возрождена где-то в глубоких немецких тылах. Полк предупредили, что предполагаемый противник многочислен, оснащен новейшими самолетами «Фокке-Вульф-190» и очень опытен. Приказано было быть начеку, прочно прикрывать вторые эшелоны подвижных частей, начавшие ночью подтягиваться вслед за прорвавшимися танками.

«Рихтгофен»! Опытные летчики хорошо знали название дивизии, находившейся под особым покровительством Германа Геринга. Немцы совали ее всюду, где им приходилось туго. Экипажи этой дивизии, часть которых пиратствовала еще над республиканской Испанией, дрались умело, яростно и слыли самым опасным противником.

— Какие-то там «рихтгофены», говорят, к нам перелетели. Вот бы встретиться! Эх, и дали бы мы чесу этим самым «рихтгофенам»! — ораторствовал Петров в столовке, торопливо проглатывая свой завтрак и поглядывая в открытое окно, за которым официантка Рая набирала из вороха полевых цветов букеты и расставляла их в начищенные мелом стаканы от снарядов.

Эта воинственная тирада насчет «рихтгофенов» была адресована, конечно, не столько Алексею, уже допивавшему свой кофе, сколько девушке, которая, взясь с цветами, нет-нет да и бросала косые взгляды на румяного, пригожего Петрова. Мересьев с добродушной усмешкой наблюдал за ними. Но когда речь шла о деле, он не любил шуток и пустых разговоров.

— «Рихтгофен» — не какой-то. «Рихтгофен» — это значит гляди в оба, если не хочешь сегодня гореть в бурьяне. Уши не развешивай, связи не теряй. «Рихтгофен» — это, брат, такие звери, что ты и рот раскрыть не успел, а уж у них на зубах хрустишь.

С рассветом ушла в воздух первая эскадрилья под командованием самого полковника. Пока она действовала, подготавливалась к вылету вторая группа в двенадцать истребителей. Ее должен был вести Герой Советского Союза гвардии майор Федотов, самый опытный после командира летчик в полку. Машины были готовы, летчики сидели в кабинах. Моторы тихонько работали на малом газу, и от этого по лесной опушке гулял порывистый ветерок, похожий на тот, что обметает землю и встряхивает деревья перед грозой, когда уже шлепаются на изжаждавшуюся землю первые крупные, тяжелые капли дождя.

Сидя в кабине, Алексей следил за тем, как круто, будто соскальзывая с неба, снижались самолеты первой группы. Невольно, сам того не желая, он считал их и начинал волноваться, когда между приземлением двух машин получался интервал. Но вот села последняя. Все! У Алексея отлегло от сердца.

Не успела последняя машина отрулить в сторону, как сорвалась с места «единичка» майора Федотова. Парами подпрыгивали в небо истребители. Вот они уже построились за лесом. Показав крыльями, Федотов лег на курс. Летели низко, осторожно, держась зоны вчерашнего прорыва. Теперь уже не с большой высоты, не в дальнем плане, который придает всему не настоящий, игрушечный вид, а близко проносилась земля под самолетом Алексея. Что вчера казалось ему сверху какой-то игрой, развернулось перед ним сегодня огромным, необозримым полем сражения. Бешено неслись под крыльями ископанные снарядами и бомбами, изрытые окопами и траншеями поля, луга, перелески. Мелькали разбросанные по полю трупы, пушки, брошенные прислугой и стоявшие в одиночку и целыми батареями, мелькали подбитые танки и длинные груды исковерканного железа и дерева там, где артиллерия накрывала колонны. Проплыл большой, но совершенно обритый канонадой лес. Сверху он походил на поле, вытопанное огромным табуном. Все это несло с быстротой кинематографической ленты, и казалось, что ленте этой нет конца. Все говорило об

упорстве и кровопролитности сражения, о больших потерях, о величии одержанной здесь победы.

Парные следы танковых гусениц избороздили вкривь и вкось все широкое пространство. Они вели дальше и дальше, в глубь немецких позиций. Следов этих было много. Глаз видел их всюду — до самого горизонта, точно пронеслось на юг прямо по полям, не разбирая пути, огромное стадо неведомых зверей. А вслед за ушедшими танками по дорогам, оставляя за собой издали видные сизые хвосты пыли, двигались, и, как казалось с воздуха, очень медленно двигались, бесконечные колонны моторизованной артиллерии, бензоцистерн, гигантские фургоны ремонтных мастерских, влекаемые тракторами, крытые брезентом грузовики, и, когда истребители набирали высоту, все это напоминало движение муравьев по весенним муравьиным тропам.

Истребители, ныряя, как в облаках, в этих высоко поднявшихся в безветрии хвостах пыли, прошли вдоль колонн до головных «виллисов», на которых двигалось, должно быть, танковое начальство. Небо над колоннами было свободно, а где-то вдали, у туманной кромки далекого горизонта, уже виднелись неровные дымки боя. Группа повернула назад и прошла змейкой, извиваясь в глубоком небе. И в это время у самой линии горизонта заметил Алексей сначала одну, потом целый рой низко висящих над землей черточек. Немцы! Они тоже шли, прижимаясь к земле, и явно нацеливались на хвосты пыли, далеко видные над красноватыми, забурьяненными полями. Алексей инстинктивно оглянулся. Его ведомый шел сзади, соблюдая кратчайшую дистанцию.

Летчик напряг слух и откуда-то издали услышал голос:

— Я — Чайка два, Федотов; я — Чайка два, Федотов. Внимание! За мной!

Такова уж дисциплина в воздухе, где нервы летчика напряжены до предела, что он исполняет намерения своего командира порой даже прежде, чем тот успевает окончить слова приказа. Пока где-то вдали сквозь звон и свист звучали слова новой команды, вся группа парами, но соблюдая общий сомкнутый строй, уже повернула наперехват немцам. Все обострилось до предела — зрение, слух, мысль. Алексей не видит ничего, кроме этих быстро растающих перед глазами чужих само-

летов, не слышит ничего, кроме звона и треска в наушниках шлема, где должен раздаваться приказ. Вместо приказа он вдруг совершенно отчетливо услышал голос, возбужденно произносивший на чужом языке:

— Ахтунг! Ахтунг!.. «Ла-фюнф». Ахтунг! — кричал, должно быть, немецкий наземный наводчик, предупреждая свои самолеты об опасности.

Знаменитая немецкая авиадивизия, по своему обыкновению, старательно обставляла поле сражения сетью наводчиков и наземных наблюдателей, которых она ночью вместе с радиопередатчиками заблаговременно сбрасывала на парашютах в районе возможных воздушных схваток.

И уже менее отчетливо другой голос, хриплый и сердитый, пробасил по-немецки:

— О, доннер-веттер! Линкс «Ла-фюнф»! Линкс «Ла-фюнф»!

В голосе этом сквозь досаду слышалась плохо скрытая тревога.

— «Рихтгофен», а «лавочкиных» боишься! — злорадно сказал сквозь зубы Мересьев, смотря на приближавшийся к ним вражеский строй и чувствуя во всем собранном теле веселую невесомость, захватывающий восторг, от которого волосы шевелились на голове.

Он разглядел врага. Это были истребители-штурмовики «Фокке-Вульф-190», сильные, верткие машины, только что появившиеся тогда на вооружении и уже прозванные советскими летчиками «фоками».

Численно их было раза в два больше. Шли они тем самым строгим строем, каким отличались части дивизии «Рихтгофен»: шли лесенкой, парами, расположенными так, что каждая последующая защищала хвост предыдущей. Пользуясь превосходством в высоте, Федотов повел свою группу в атаку. Алексей мысленно уже наметил себе противника и, не теряя из виду остальных, несся на него, стараясь держать его в крестике прицела. Но кто опередил Федотова. Чья-то группа на «яках» зашла с другой стороны и стремительно атаковала немцев сверху — и так удачно, что сразу же разбила их строй. В воздухе началась сутолока. Оба строя распались на отдельно сражающиеся пары и четверки. Истребители старались пересечь противника линиями пулевых трасс, зайти в хвост, атаковать сбоку.

Пары кружились, гоняясь друг за другом, и в воздухе затеялся сложный хоровод.

Только опытный глаз мог разобраться в этой сутолоке, точно так же, как только опытный слух мог различить отдельные звуки, врывавшиеся через наушники в уши пилота. Что только не звучало в эту минуту в эфире: и хитрая сочная брань идущего в атаку, и вопль ужаса подбитого, и крик торжества победителя, и стон раненого, и скрежет зубов напрягающегося на крутом вираже, и хрип тяжелого дыхания... Кто-то в упоении боя орал песню на чужом языке, кто-то, ахнув по-детски, сказал «мама», кто-то, должно быть нажимая на гашетку, зло приговаривал: «На тебе, на, на, на!»

Намеченная жертва ускользнула из мересьевского прицела. Вместо нее он увидел выше себя «як», к хвосту которого прочно прицепился прямокрылый сигарообразный «фока». От крыльев «фоки» уже тянулись к «яку» две параллельные полосы трасс. Они коснулись его хвоста. Мересьев свечой бросился вверх на выручку. На какую-то долю секунды над ним мелькнула темная тень, и в эту тень он постарался всадить длинную очередь из всего своего оружия. Он не видел, что произошло с «фоккой». Он видел только, что «як» с поврежденным хвостом дальше летел уже один. Мересьев оглянулся: не потерялся ли в кутерьме ведомый? Нет, он шел почти рядом.

— Не отставай, старик,— сказал сквозь зубы Алексей.

В ушах звенело, трещало, пело, звучали на двух языках крики торжества и ужаса, хрипенье, зубовный скрежет, брань, тяжелое дыхание. Казалось по этим звукам, что борются не истребители высоко над землей,— казалось, что враги сцепились врукопашную и, хрипя и задыхаясь, напрягая все силы, катаются по земле.

Мересьев осмотрел воздух, намечая противника, и вдруг почувствовал, как у него сразу похолодела спина и волосы шевельнулись на затылке. Чуть пониже он увидел «Ла-5» и атакующего его сверху «фоку». Он не заметил номера советского самолета, но понял, почувствовал, что это Петров. «Фокке-Вульф» несся прямо на него, строча из всего своего оружия. Жить Петрову оставалось доли секунды. Сражались слишком близко, и Алексей не мог броситься на помощь другу, соблюдая правила воздушной атаки. Не было ни времени, ни места, чтобы развернуться. Жизнь товарища, стоявшая на карте, заставила Мересьева идти на риск. Он бросил свою машину по вертикали вниз и прибавил газу. Самолет,

увлекаемый собственной тяжестью, помноженной на инерцию и на полную мощь мотора, весь содрогаюсь от необычайного напряжения, пал камнем — нет, не камнем, а ракетой — прямо на короткокрылое тело «фоки», опутывая его нитями трасс. Чувствуя, что от этой безумной скорости, от резкого снижения сознание уходит, Мересьев неся в пропасть и едва заметил помутневшими, налитыми кровью глазами, что где-то перед самым его винтом «фока» окутался дымным облаком взрыва. А Петров? Он куда-то исчез, Где он? Сбит? Спрыгнул? Ушел?

Небо кругом было чисто, и откуда-то издали, с невидимого уже самолета, в притихшем эфире гудел голос:

— Я — Чайка два, Федотов; я — Чайка два, Федотов. Подстраивайтесь, подстраивайтесь ко мне. Домой. Я — Чайка два...

Должно быть, Федотов уводил группу.

После того как Мересьев, расправившись с «Фокке-Вульфом», вывел свой самолет из сумасшедшего вертикального пике, он, жадно и тяжело дыша, наслаждался наступившим покоем, ощущая радость минувшей опасности, радость победы. Он взглянул на компас, чтобы определить обратный путь, и нахмурился, заметив, что бензина мало и вряд ли хватит до аэродрома. Но более страшное, чем бензомер со стрелкой, близкой к нулю, он увидел в следующее мгновение. Из мохнатых косм пушистого облака прямо на него неся бог весь откуда взявшийся «Фокке-Вульф-190». Думать было некогда, уходить некуда.

Враги стремительно понеслись друг на друга.

6

Шум воздушного боя, завязавшегося над дорогами, по которым тянулись тылы наступающей армии, слышали не только его участники, находившиеся в кабинах дерущихся самолетов.

Через сильную рацию управления слушал их на аэродроме и командир гвардейского истребительного полка полковник Иванов. Сам опытный ас, он по звукам, несущимся в эфире, понял, что бой идет жаркий, что противник силен и упорен и не хочет уступать небо. Весть о том, что Федотов ведет тяжелый бой над дорогами, быстро пронеслась по аэродрому. Все, кто мог, высыпали

из леса на поляну и тревожно смотрели на юг, откуда должны были прийти самолеты.

Врачи в халатах, дожевывая что-то на ходу, выбежали из столовой. Санитарные машины с огромными красными крестами на крышах кузовов, как слоны, вылезли из кустов и изготвилились, стуча работающими моторами.

Сначала из-за гряды древесных вершин вынырнула и, не давая круга, снизилась и побежала по просторному полю первая пара — «единичка» Героя Советского Союза Федотова и «двойка» его ведомого. Вслед за ними сразу же села и вторая пара. Воздух над лесом продолжал гудеть моторами возвращавшихся машин.

— Седьмая, восьмая, девятая, десятая...— считали вслух стоявшие на аэродроме и со все большим и большим напряжением смотрели в небо.

Севшие машины уходили с поля, подруливали к своим капонирам и тут стихали. Но двух машин не было.

В толпе ожидающих наступила тишина. С тягостной медлительностью прошла минута.

— Мересьев и Петров,— тихо сказал кто-то.

Вдруг чей-то женский голос радостно завизжал на все летное поле:

— Летит!

Послышался рокот мотора. Из-за гребня берез, почти задев за них выпущенными лапами, вылетел «двенадцатый». Самолет был изранен, кусок хвоста выдран, обрубленный конец левого крыла трепетал, волочась на тресе. Машина как-то странно коснулась земли, высоко подпрыгнула, снова коснулась, снова подпрыгнула. Так прыгала она чуть не до самого края аэродрома и вдруг застыла, приподняв хвост. Санитарные машины с врачами, стоявшими на подножке, несколько «виллисов» и вся толпа ожидавших ринулись к ней. Из кабины никто не поднимался.

Открыли колпак. Втиснутое в сиденье, плавало в луже крови тело Петрова. Голова бессильно склонилась на грудь. Лицо было завешено длинными мокрыми прядями белокурых волос. Врачи и сестры расстегнули ремни, сняли окровавленную, разрубленную осколком парашютную сумку и осторожно вынули на землю неподвижное тело. У летчика были прострелены ноги, повреждена рука. Темные пятна быстро расплывались по синему комбинезону.

Петрова тут же наскоро перевязали, положили на носилки и стали уже поднимать в машину. Тут он рас-

крыл глаза. Он что-то шептал, но так слабо, что нельзя было расслышать. Полковник наклонился к нему.

— Где Мересьев? — спрашивал раненый.

— Еще не сел.

Носилки опять подняли, но раненый энергично заматал головой и сделал даже движение, пытаясь соскочить с них.

— Стойте, не смейте уносить, не хочу! Я буду ждать Мересьева. Он спас мне жизнь.

Летчик так энергично протестовал, грозил сорвать повязки, что полковник махнул рукой и процедил сквозь зубы, отворачиваясь:

— Ладно, поставьте. Пусть. Горючего у Мересьева осталось не больше, чем на минуту. Не умрет.

Полковник следил, как на его секундомере, пульсируя, двигалась по кругу красная секундная стрелка. Все глядели на сизый лес, из-за зубцов которого должен был появиться последний самолет. Слух был напряжен. Но, кроме далекого гула канонады да ударов дятла, туго постукивающего невдалеке, ничего не было слышно.

Как долго иногда тянется минута!

7

Враги неслись навстречу друг другу на полном газу.

«Лавочкин-5» и «Фокке-Вульф-190» были быстроходными самолетами. Враги сближались со скоростью, превышающей скорость звука.

Алексей Мересьев и неизвестный ему немецкий ас из знаменитой дивизии «Рихтгофен» шли на атаку в лоб. Лобовая атака в авиации продолжается мгновения, за которые самый проворный человек не успеет закурить папиросу. Но эти мгновения требуют от летчика такого нервного напряжения, такого испытания всех духовных сил, какого в наземном бою хватило бы на целый день сражения.

Представьте себе два скоростных истребителя, несущихся прямо друг на друга на полной боевой скорости. Самолет врага растет на глазах. Вот он мелькнул во всех деталях, видны его плоскости, сверкающий круг винта, черные точки пушек. Еще мгновение — и самолеты столкнутся и разлетятся в такие клочья, по каким нельзя будет угадать ни машину, ни человека. В это мгновение испытываются не только воля пилота, но и все его духовные силы. Тот, кто малодушен, кто не выдер-

живает чудовищного нервного напряжения, кто не чувствует себя в силах погибнуть для победы, тот инстинктивно рванет ручку на себя, чтобы перескочить несущийся на него смертельный ураган, и в следующее мгновение его самолет полетит вниз с распоротым брюхом или отсеченной плоскостью. Спасения ему нет. Опытные летчики отлично это знают, и лишь самые храбрые из них решаются на лобовую атаку.

Враги бешено мчались друг на друга.

Алексей понимал, что навстречу ему идет не мальчишка из так называемого призыва Геринга, наскоро обученный летать по сокращенной программе и брошенный в бой, чтобы заткнуть дыру, образовавшуюся в немецкой авиации вследствие огромных потерь на Восточном фронте. Навстречу Мересьеву шел ас из дивизии «Рихтгофен», на машине которого наверняка была изображена в виде самолетных силуэтов не одна воздушная победа. Этот не уклонится, не удерет из схватки.

— Держись, «Рихтгофен»! — промычал сквозь зубы Алексей и, до крови закусив губу, сжавшись в комок твердых мускулов, впился в цель, всей своей волей заставляя себя не закрывать глаза перед несущейся на него вражеской машиной.

Он так напрягся, что ему показалось, будто за светлым полукружием своего винта он видит прозрачный щиток кабины противника и сквозь него — два напряженно смотрящих на него человеческих глаза. Только глаза, горящие неистовой ненавистью. Это было видение, вызванное нервным напряжением. Но Алексей ясно видел их. «Все», — подумал он, еще плотнее стиснув в тугую комок все свои мускулы. Все! Смотри вперед, он летел навстречу нарастающему вихрю. Нет, немец тоже не отвернет. Все!

Он приготовился к мгновенной смерти. И вдруг где-то, как ему показалось — на расстоянии вытянутой руки от его самолета, немец не выдержал, скользнул вверх, и, когда впереди, как вспышка молнии, мелькнуло освещенное солнцем голубое брюхо, Алексей, нажав сразу все гашетки, распорол его тремя огненными струями. Он тотчас же сделал мертвую петлю и, когда земля проносилась у него над головой, увидел на ее фоне медленно и бессильно порхающий самолет. Неистовое торжество вспыхнуло в нем. Он закричал: «Оля!» — позабыв обо всем, и стал вычерчивать в воздухе крутые

круги, провожая немца в его последний путь до самой красневшей от бурьяна земли, пока немец не ударился о нее, подняв целый столб черного дыма.

Только тогда нервное напряжение Мересьева прошло, окаменевшие мускулы распустились, он почувствовал огромную усталость, и сразу же взгляд его упал на циферблат бензомера. Стрелка вздрагивала около самого нуля.

Бензину оставалось минуты на три, хорошо, если на четыре. До аэродрома же надо было лететь по крайней мере десять минут. Если бы еще не тратить времени на набор высоты. Но это провожание сбитого «фокки» до земли!.. «Мальчишка, дурак!» — ругал он себя.

Мозг работал остро и ясно, как всегда бывает в минуту опасности у смелых, хладнокровных людей. Прежде всего набрать максимальную высоту. Но не кругами, нет: набирать, одновременно приближаясь к аэродрому. Хорошо.

Поставив самолет на нужный курс и видя, как земля стала отодвигаться и постепенно окутываться по горизонту дымкой, он продолжал уже спокойнее свои расчеты. На горючее надеяться нечего. Даже если бензомер слегка подвирает, бензина все-таки не хватит. Сесть на пути? Где? Он мысленно вспомнил всю короткую трассу. Лиственные леса, болотистые перелески, холмистые поля в зоне долговременных укреплений, все перекопанные вкривь и вкось, сплошь изрытые воронками, оплетенные колючей проволокой.

Нет, сесть — это смерть.

Прыгать с парашютом? Это можно. Хоть сейчас! Открыть колпак, вираж, ручку на себя, рывок — и все. Но самолет, эта чудесная, верткая, проворная птица! Ее боевые качества трижды за этот день спасли ему жизнь. Бросить ее, разбить, превратить в груды алюминиевых лохмотьев! Ответственность?.. Нет, ответственности он не боялся. В подобном положении даже полагалось прыгать с парашютом. Машина в это мгновение казалась ему прекрасным, сильным, великодушным и преданным живым существом, бросить которое было бы с его стороны гнусным предательством. И потом: из первых же боевых полетов вернуться без машины, околачиваться в резерве в ожидании новой, снова бездействовать в такое горячее время, когда на фронте уже рождалась наша большая победа, И в такие дни слоняться без дела!..

— Как бы не так! — вслух сказал Алексей, точно с сердцем отвергая сделанное ему кем-то предположение.

Лететь, пока не остановится мотор! А там? Там видно будет.

И он летел, с высоты трех, потом четырех тысяч метров осматривая окрестности, стараясь увидеть где-нибудь хоть небольшую полянку. На горизонте уже синел неясно лес, за которым был аэродром. До него оставалось километров пятнадцать. Стрелка бензомера уже не дрожит, она прочно лежит на винтике ограничителя. Но мотор еще работает. На чем он работает? Еще, еще выше... Так!

Вдруг равномерное гуденье, которого ухо летчика даже не замечает, как не замечает здоровый человек биения своего сердца, перешло в иной тон. Алексей сразу уловил это. Лес отчетливо виден, до него километров семь, над ним — три-четыре. Не много. Но режим мотора уже зловеще изменился. Летчик чувствует это всем телом, как будто не мотор, а сам он стал задышаться. И вдруг это страшное «чих, чих, чих», которое, точно острая боль, отдается во всем его теле...

Нет, ничего. Снова работает равномерно. Работает, работает, ура! Работает! А лес, вот он уже, лес: уже видны сверху вершины берез, зеленая курчавая пена, шевелящаяся под солнцем. Лес. Теперь уже совершенно невозможно сесть где-нибудь, кроме своего аэродрома. Пути отрезаны. Вперед, вперед!

Чих, чих, чих!..

Опять загудел. Надолго ли? Лес внизу. Дорога бьется по песку, прямая и ровная, как пробор на голове командира полка. Теперь до аэродрома километра три. Он там, за зубчатой кромкой, которую Алексей кажется, уже видит.

Чих, чих, чих, чих! И вдруг стало тихо, так тихо, что слышно, как гудят снасти на ветру. Все? Мересьев почувствовал, как весь холодеет. Прыгать? Нет, еще немного... Он перевел самолет в пологое снижение и стал скользить с воздушной горы, стремясь сделать ее по возможности более отлогой и в то же время не давая машине опрокинуться в штопор.

Как страшна в воздухе эта абсолютная тишина! Такая, что слышно, как потрескивает остывающий мотор, как кровь бьется в висках и шумит в ушах от быстрой

потери высоты. И как быстро несется навстречу земля, точно тянет ее к самолету огромным магнитом!

Вот она, кромка леса. Вот мелькнул вдали за ней изумрудно-зеленый лоскуток аэродрома. Поздно? Остановившись на полуобороте, висит винт. Как страшно видеть его на лету. Лес уже близко. Конец?.. Неужели она так и не узнает, что с ним случилось, какой нечеловечески трудный путь прошел он за эти восемнадцать месяцев, что он все-таки добился своего, стал настоящим... ну да, настоящим человеком, чтобы так нелепо разбиться тотчас же, как только это совершилось?

Прыгнуть? Поздно! Лес несется, и вершины его в стремительном урагане сливаются в сплошные зеленые полосы. Он где-то уже видел что-то подобное. Где? Ах, тогда весной, во время той страшной катастрофы. Тогда вот так же неслись под крыло зеленые полосы. Последнее усилие, ручку на себя...

8

От потери крови у Петрова шумело в ушах. Все — и аэродром, и знакомые лица, и золотые вечерние облака — вдруг начинало качаться, медленно переворачиваться, расплываться. Он повертывал простреленную ногу, и острая боль приводила его в себя.

— Не прилетел?..

— Еще нет. Не разговаривайте, — отвечали ему.

Неужели он, Алексей Мересьев, который сегодня, как крылатый бог, непостижимым образом возник вдруг перед немцем в тот самый момент, когда Петрову казалось, что все кончено, лежит теперь где-то там, на этой страшной, скальпированной и изорванной снарядами земле, комком бесформенного обгорелого мяса? И никогда уже больше не увидит старший сержант Петров черных, немножко шальных, добродушно-насмешливых глаз своего ведущего. Никогда?..

Командир полка опустил рукав гимнастерки. Часы уже больше были не нужны. Разгладив обеими руками пробор на гладко причесанной голове, каким-то деревянным голосом командир сказал:

— Теперь все.

— И никакой надежды? — спросил его кто-то.

— Все. Бензин кончился. Может быть, где-нибудь сел или выпрыгнул... Эй, несите носилки!

Командир отвернулся и стал что-то насвистывать, безбожно перевирая мотив. Петров снова почувствовал у горла kloкочущий клубок, такой горячий и тугой, что можно было задохнуться. Послышался странный кашляющий звук. Люди, все еще молчаливо стоявшие среди аэродрома, обернулись и тотчас же отвернулись: раненый летчик рыдал на носилках.

— Да несите же его, какого черта! — крикнул командир чужим голосом и быстро пошел прочь, отворачиваясь от толпы и шурясь, точно на резком ветру.

Люди стали медленно разбредаться по полю. И как раз в это мгновение совершенно беззвучно, как тень, чиркнув колесами по верхушкам берез, из-за кромки леса выпрыгнул самолет. Точно привидение, скользнул он над головами, над землей и, словно притянулся ею, одновременно коснулся травы всеми тремя колесами. Послышался глухой звук, хруст гравия и шелест травы — такой необычайный, потому что летчики никогда его не слышат из-за клекота работающего мотора. Случилось все это так неожиданно, что никто даже не понял, что именно произошло, хотя происшествие было само по себе обычным: сел самолет, и именно «одиннадцатый», как раз тот самый, которого все так ждали.

— Он! — заорал кто-то таким неистовым и неестественным голосом, что все сразу вышли из оцепенения.

Самолет уже закончил пробежку, пискнул тормозами и остановился у самой кромки аэродрома, перед стеной кудрявых, белевших стволами молодых берез, освещенных оранжевыми вечерними лучами.

Из кабины опять никто не поднялся. Люди бежали к машине что есть мочи, задыхаясь, предчувствуя недоброе. Командир полка добежал первым, легко вскочил на крыло и, открыв колпак, заглянул в кабину. Алексей Мересев сидел без шлема, бледный, как облако, и улыбался бескровными, зеленоватыми губами. С нижней, прокушенной губы его текли по подбородку две струйки крови.

— Жив? Ранен?

Слабо улыбаясь, он смотрел на полковника смертельно усталыми глазами.

— Нет, цел. Перетрусил очень... Километров шесть тянул на соплях.

Летчики шумели, поздравляли, жали руки. Алексей улыбался.

— Братцы, крылья не обломайте. Разве можно? Ишь насели... Я сейчас вылезу.

В это время он услышал откуда-то снизу, из-за этих нависших над ним голов, знакомый, но такой слабый голос, точно он доносился откуда-то очень издалека:

— Алеша, Алеша!

Мересьев сразу ожил. Он вскочил, подтянулся на руках, выбросил из кабины свои тяжелые ноги и, чуть кого-то не столкнув, очутился на земле.

Лицо Петрова сливалось с подушкой. В запавших, потемневших глазницах застыли две крупные слезы.

— Старик! Ты жив?.. Ух ты, черт полосатый!

Летчик тяжело упал на колени перед носилками, обнял лежавшую бессильно голову товарища, заглянул в его голубые, страдающие и одновременно лучащиеся счастьем глаза.

— Жив?

— Спасибо, Алеша, ты меня спас. Ты такой, Алеша, такой...

— Да несите же раненого, черт вас возьми! Разинули рты! — рванул где-то рядом голос полковника.

Командир полка стоял возле, маленький, живой, покачиваясь на крепких ногах, обутых в тугие сверкающие сапоги, видневшиеся из-под штанин синего комбинезона.

— Старший лейтенант Мересьев, доложите о полете. Сбитые есть?

— Так точно, товарищ полковник. Два «Фокке-Вульфа».

— Обстоятельства?

— Один — атакой на вертикали. У Петрова на хвосте висел. Второй — лобовой атакой километрах в трех севернее от места общей схватки.

— Знаю. Наземный только что докладывал... Спасибо.

— Служу... — хотел было по форме «отрубать» Алексей.

Но командир, такой всегда придиричивый, преклонявшийся перед уставом, перебил его домашним голосом:

— Ну и отлично! Завтра примете эскадрилью взамен... Командир третьей эскадрильи не вернулся сегодня на базу...

На командный пункт они отправились пешком. Так как полеты в этот день были окончены, вся толпа двинулась за ними. Зеленый холмик командного пункта

был уже близко, когда оттуда выбежал им навстречу дежурный офицер. С разгона он остановился перед командиром, простоволосый, радостный, и открыл было рот, чтобы что-то крикнуть. Полковник перебил его сухим, резким голосом:

— Почему без фуражки? Вы что, школьник на перемене?

— Товарищ полковник, разрешите обратиться,— вытягиваясь и едва переводя дыхание, выпалил взволнованный лейтенант.

— Ну?

— Наш сосед, командир полка «яков», просит вас к телефону.

— Сосед? Ну и что же?

Полковник проворно сбежал в землянку.

— Там о тебе...— начал было говорить Алексею дежурный.

Но снизу раздался голос командира:

— Мересьева ко мне!

Когда Мересьев застыл около него, вытянув руки по швам, полковник, зажав ладонью трубку, набросился на него:

— Что же вы меня подводите? Звонит сосед, спрашивает: «Кто из твоих на «одиннадцатке» летает?» Я говорю: «Мересьев, старший лейтенант». Говорит: «Ты сколько ему сегодня сбитых записал?» Отвечаю: «Два». Говорит: «Запиши ему еще одного: он сегодня от моего хвоста «Фокке-Вульфа» отцепил. Я, говорит, сам видел, как тот в землю ткнулся». Ну? А вы что молчите? — Полковник хмуро смотрел на Алексея, и трудно было понять, шутит ли он или сердится всерьез. — Было это?.. Ну, объясняйтесь сами, нате вот. Алло, слушаешь? Старший лейтенант Мересьев у телефона. Передаю трубку.

У уха зарокотал незнакомый сиплый бас:

— Ну, спасибо, старший лейтенант! Классный удар, ценю, спас меня. Да. Я до самой земли его проводил и видел, как он ткнулся... Водку пьешь? Приезжай на мой КП, за мной литр. Ну, спасибо, жму пять. Действуй.

Мересьев положил трубку. Он так устал от всего пережитого, что еле стоял на ногах. Он думал теперь только о том, как бы скорее добраться до «кротового городка», до своей землянки, сбросить протезы и вытянуться на койке. Неловко потоптавшись у телефона, он медленно двинулся к двери.

— Куда идете? — Командир полка заступил ему дорогу; он взял руку Мересьева и крепко, до боли, сжал ее сухой маленькой ручкой. — Ну, что вам сказать? Молодец! Горжусь, что у меня такие люди... Ну, что еще? Спасибо... А этот ваш дружок Петров разве плох? А остальные... Эх, с таким народом войны не проиграешь!

Он еще раз до боли стиснул руку Мересьева.

Очутившись в своей землянке уже ночью, Мересьев не мог заснуть. Он перевертывал подушку, считал до тысячи и обратно, вспоминал своих знакомых, фамилии которых начинались на букву «А», потом — на букву «Б» и так далее, неотрывно смотрел на тусклое пламя коптилки, но все эти стократ проверенные способы самоусыпления сегодня не действовали. Как только Алексей закрывал глаза, начинали мелькать перед ним то ясные, то еле выделяющиеся из мглы знакомые образы: озабоченно смотрел на него из своих серебряных косм дед Михайла; добродушно мигал «коровыми» ресницами Андрей Дегтяренко; кого-то распекая, сердито потрясал своей седеющей гривой Василий Васильевич; ухмылялся всеми своими солдатскими морщинами старый снайпер; с белого фона подушки смотрело на Алексея своими умными, пронизательно-насмешливыми, все понимающими глазами восковое лицо комиссара Воробьева; мелькали, развеваясь на ветру, огненные волосы Зиночки; улыбался, подмигивал сочувственно и понимающе маленький подвижной инструктор Наумов. Сколько славных дружеских лиц смотрело, улыбалось из тьмы, будя воспоминания, наполняя теплом и без того переполненное сердце! Но вот среди этих дружеских лиц возникло и сразу их заслонило лицо Оли, худощавое лицо подростка в офицерской гимнастерке, с большими усталыми глазами. Алексей увидел его так ясно и четко, будто девушка действительно встала перед ним, какой он никогда ее не видел. Это видение было настолько реальным, что он даже приподнялся.

Какой уж тут сон! Чувствуя прилив радостной энергии, Алексей вскочил с лежака, засветил «сталинградку», вырвал из тетради лист и, поточив о подошву конец карандаша, начал писать.

«Родная моя! — писал он неразборчиво, едва успевая записывать быстро летящую мысль. — Я сегодня сбил трех немцев. Но дело не в этом. Некоторые мои товари-

щи делают это сейчас почти ежедневно. Я не стал бы тебе об этом хвастать... Родная моя, далекая, любимая! Сегодня я хочу, я имею право сегодня рассказать тебе все, что со мной случилось восемнадцать месяцев назад и что, каюсь, и очень каюсь, я скрывал от тебя. А вот сегодня наконец решил...»

Алексей задумался. За досками, которыми была обшита землянка, осыпая сухой песок, попискивали мыши. В незакрытый ходок вместе со свежим и влажным запахом берез и цветущих трав доносились чуть приглушенные неистовые соловьиные трели. Где-то невдалеке, за оврагом, наверно у палаток офицерской столовой, мужской и женский голоса согласно и задумчиво пели «Рябину».

Смягченная расстоянием мелодия ее обретала в ночи особую, нежную прелесть, будила в душе радостную грусть — грусть ожидания, грусть надежды...

Отдаленные, глухие громы канонады, теперь уже едва-едва долетавшие до полевого аэродрома, сразу очутившегося в глубоком тылу, не заглушали ни этой мелодии, ни соловьиных трелей, ни тихого, дремотного шелеста ночного леса.

Послесловие

В дни, когда Орловская битва близилась к своему победному концу и передовые полки, наступавшие с севера, уже сообщали, что они видят с Красногорской возвышенности горящий город, в штаб Брянского фронта поступило сообщение, что летчики гвардейского истребительного полка, действовавшего в том районе, за девять последних дней сбили сорок семь самолетов противника. Потеряли они при этом пять машин и только трех человек, так как двое из сбитых выбросились на парашютах и пешком добрались до своего полка. Даже для тех дней бурного наступления Красной Армии такая победа была необычайной. На связном самолете я вылетел в этот полк, намереваясь написать в «Правду» о подвигах летчиков-гвардейцев.

Аэродром полка оказался расположенным на обычном крестьянском выгоне, с которого кое-как были срезаны кочки и кротовые кучи. Как глухаринный выводок, самолеты прятались на опушке молодого березового

леска. Словом, это был обычный полевой аэродром тех бурных военных дней.

Мы приземлились на нем под вечер, когда полк заканчивал большой страдный день. У Орла немцы особенно «активничали» в воздухе. Истребителям пришлось совершить в этот день семь боевых вылетов. Уже на закате последние звенья возвращались из восьмого. Командир полка, маленький, туго перепоясанный ремнем, загорелый быстрый человек, в новеньком синем комбинезоне, с идеальным пробором, честно признался, что ничего связного рассказать мне сегодня не в состоянии, что он с шести часов утра на аэродроме, сам трижды поднимался в воздух и теперь едва стоит от усталости. Да и остальным командирам в этот день было не до газетных интервью. Я понял, что придется повременить до завтра, да и возвращаться было все равно поздно. Солнце уже легло на вершины берез, облив их расплавленным золотом своих лучей.

Садилась последние машины. Не выключая моторов, с ходу подруливали они прямо к леску... Механики на руках развертывали их. Только когда самолет уже стоял в зеленой, обложенной дерном земляной подковке капонира, из кабины медленно вылезали бледные, усталые летчики.

Последним прилетел самолет командира третьей эскадрильи. Открылся прозрачный колпак кабины. Сначала оттуда вылетела и упала на траву большая, черного дерева палка, облепленная золотыми монограммами. Затем загорелый широколицый черноволосый человек быстро поднялся на крепких руках, ловко перенес свое тело через борт, опустил на крыло и потом тяжело слез на землю. Кто-то сказал мне, что это лучший летчик полка. Чтобы не терять попусту вечера, я решил сейчас же поговорить с ним. Отлично помню, как, весело глядя мне прямо в лицо живыми черными, цыганскими глазами, в которых непогашенный мальчишеский задор странно сочетался с усталой мудростью бывалого, много пережившего человека, он сказал улыбаясь:

— Помилосердствуйте! Честное слово, с ног валюсь. В ушах гудит. Вы кушали? Нет? Ну и отлично! Пойдемте в столовку, поужинаем вместе. У нас за сбитый самолет к ужину двести граммов водки подают. Мне сегодня причитается четыреста. Как раз на двоих хватит. За столом и потолкуем, если вам не терпится.

Я согласился. Уж очень мне понравился этот открытый, веселый человек. Мы двинулись по тропке, протоптанной летчиками напрямик, через лес. Новый знакомый шел быстро, порой нагибался, чтобы сорвать на ходу черничину или поймать в горсть гроздь бело-розовых ягод брусники, которую он тут же бросал в рот. Должно быть, он очень устал сегодня, так как ступал тяжело. Но на странную палку свою он не опирался. Она висела у него на локте, и лишь изредка он брал ее в руку, чтобы сшибить мухомор или ударить по розовым султанчикам иван-чая. Когда мы, переходя овраг, поднимались на крутой скользкий, глинистый склон, летчик взбирался медленно, помогая себе тем, что подтягивался руками за кусты. Но на палку так и не оперся.

Впрочем, в столовой усталость с него будто ветром дуло. Он сел у окна, в котором виднелся холодный красный закат, по приметам летчиков предвещавший на завтра ветер; жадно, с шумом выпил большую кружку воды, пошутил с хорошенькой кудрявой официанткой о каком-то своем находящемся в госпитале приятеле, из-за которого та будто бы пересаливала всем супы. Ел он с аппетитом, много, крепкими зубами с хрустом обгладывал кости бараньего бока. Перешучивался через стол с товарищами, выспрашивал у меня московские новости, интересовался новинками литературы и постановками в московских театрах, где он, по его словам, ни разу, увы, не бывал. Когда мы доели третье — черничный кисель, называвшийся здесь «грозовые облака», — он спросил:

— Вы, собственно, где ночуете? Нигде? Ну и отлично, ночуйте в моей землянке! — Он на мгновение насупился и, помолчав, глухо пояснил: — Сосед мой сегодня... не вернулся с задания... Стало быть, лежак свободен. Свежее белье найдется, идемте.

Он был, видимо, из тех, кто любит людей, кого неудержимо тянет поболтать со свежим человеком и обязательно выспросить у него все, что тот знает.

Я согласился. Мы пришли в овраг, по обоим скатам которого в пахнущих прелым листом и грибной сыростью делях малинника, медуницы, иван-чая были нарыты землянки.

Когда полоска копотного пламени разгорелась в са- модельной лампе-«сталинградке» и осветила землянку, помещение оказалось довольно просторным, уютно об-

житым. В нишах глиняных стен, на матрацах, сделанных из набитых свежим, душистым сеном плащ-палаток, были две аккуратные постели. Молодые березки с не завядшей еще листвой стояли по углам, как объяснил летчик — «для духу». Над постелями в земле были вырыты ровные уступы; там на подстилках из газет лежали стопки книг, умывальные, бритвенные принадлежности. У изголовья одной постели смутно виднелись две фотографии в самодельных затейливых рамках из прозрачного плексигласа. Такие рамки в дни затишья во множестве вытачивали от скуки из обломков вражеских самолетов разные полковые умельцы. На столе стоял прикрытый лопушком солдатский котелок, полный лесной малины. От малины, от свежих березок, от сена, от еловых веток, которыми был застлан пол, шел такой веселый, густой, жизнерадостный запах, а в землянке царила такая славная влажная прохлада, так убаюкивающе звенели в овраге кузнечики, что, сразу почувствовав во всем теле приятную усталость, мы с хозяином решили отложить до утра и разговоры и малину, за которую было принялись.

Летчик вышел наружу, и было слышно, как он шумно чистит зубы, обливается холодной водой, крикая, фыркая на весь лес. Он вернулся веселый, свежий, с каплями воды на бровях и волосах, опустил фитиль в лампе и стал раздеваться. Что-то тяжело грохнуло об пол. Я оглянулся и увидел такое, чему сам не поверил. Он оставил на полу свои ноги. Безногий летчик! Летчик-истребитель! Летчик, только сегодня совершивший семь боевых вылетов и сбивший два самолета! Это казалось совершенно невероятным.

Но ноги его, точнее говоря — протезы, ловко обутые в ботинки военного образца, валялись на полу. Нижние концы их торчали из-под койки и были похожи на ноги прячущегося там человека. Должно быть, взгляд у меня в эту минуту был очень озадаченный, так как хозяин, посмотрев на меня, спросил с хитрой, довольной улыбкой:

— Неужели вы раньше не заметили?

— Даже в голову не пришло.

— Вот хорошо! Вот спасибо! Удивляюсь только, как вам никто не рассказал. У нас в полку столько же асов, сколько и звонарей. Как это они нового человека, да еще из «Правды», прозевали и не похвастались такой

диковинкой? Это потому, что сегодня вымотались все так...

— Но ведь это небывалое дело. Это же черт знает какой подвиг: без ног сражаться на истребителе! История авиации ничего подобного еще не знает,

Летчик весело свистнул.

— Ну, история авиации!.. Она много чего не знала, да узнала от советских летчиков в эту войну. Да и что тут хорошего? Можете поверить, что я с бóльшим бы удовольствием летал с настоящими, а не с этими вот ногами. Но что поделаешь? Так сложились обстоятельства.— Летчик вздохнул.— Впрочем, если быть точным, подобные примеры история авиации все-таки знает.

Порывшись в планшете, он вынул оттуда вырезку из какого-то журнала, совершенно истертую, расползшуюся на сгибах и бережно подклеенную к листу целлофана. В ней говорилось о летчике, который летал без ступни.

— Но ведь у него одна нога все-таки была здоровой. Потом, он не истребитель, он же летал на допотопном «фармане».

— Зато я советский летчик. Только не подумайте, что я хвастаюсь, это не мои слова. Их сказал мне однажды один хороший, настоящий,— он особенно подчеркнул слово «настоящий»,— человек... Он теперь умер.

На широком энергичном лице летчика появилось выражение ласковой, хорошей грусти, глаза засветились тепло и ясно, лицо помолодело сразу лет на десять, стало почти юношеским, и я с удивлением убедился, что хозяину моему, казавшемуся минуту назад человеком средних лет, едва ли было и двадцать два, двадцать три года.

— Я не перебариваю, когда начинают спрашивать, что, да когда, да как... А вот сейчас все вдруг вспомнилось... Вы тут человек посторонний, завтра попрощаемся и больше не встретимся, наверно... Хотите, я расскажу вам историю с моими ногами?

Он сел на койке, натянул до подбородка одеяло и стал рассказывать. Он словно думал вслух, совершенно забыв о собеседнике, но говорил интересно, образно. Чувствовались в нем тонкий ум, острая память и большое, хорошее сердце. Сразу поняв, что услышу что-то значительное, небывалое, чего потом больше уже никогда и не узнаешь, я схватил лежавшую на столе учени-

ческую тетрадку с надписью «Дневник боевых полетов третьей эскадрильи» и стал записывать его рассказ.

Ночь незаметно ползла над лесом. Потрескивала, сипела на столе коптилка. Уже много неосторожных ночных бабочек, опаливших крылышки, валялось вокруг нее. Сначала ночной ветерок доносил до нас пиликанье гармошки. Потом гармошка смолкла, и только шумы ночного леса: резкие вопли выпи, далекий стон филина, надсадная лягушечья колготня на соседнем болотце да пиликанье кузнечиков — сопровождали мерный звук хрипловатого задумчивого голоса.

Удивительная повесть этого человека так захватила меня, что я старался записывать ее как можно подробнее. Исписал одну тетрадку, нашел на полочке вторую, исписал и ее и не заметил, как побледнело небо в узкой прорези земляного ходка. Алексей Маресьев довел свой рассказ до того дня, когда, сбив три немецких самолета из воздушной дивизии «Рихтгофен», он снова ощутил себя полноправным и полноценным летчиком.

— Эх, проболтали мы с вами, а мне завтра с утра летать,— перебил он себя на полуфразе.— Заговорил я вас? Извините. А теперь — спать.

— Ну, а как же Оля? Что она вам ответила? — спросил я и тут же спохватился: — Впрочем, может быть, этот вопрос вам неприятен, тогда не отвечайте, пожалуйста.

— Нет, отчего же! — усмехнулся он. — Мы с ней оба большие чудаки. Видите ли, оказалось, что она все знала. Приятель мой, Андрей Дегтяренко, сразу же написал ей — сначала о катастрофе, а потом, что мне ноги отняли. Но она, видя, что я почему-то скрываю, решила, что мне тяжело говорить, и все время делала вид, будто ничего не знает. И вышло — обманывали мы друг друга невесть зачем. Хотите на нее взглянуть?

Он прибавил в коптилке фитиля и поднес ее к фотографиям у его изголовья. На одной, любительской, почти совсем выгоревшей и затертой, можно было с трудом разобрать девушку, беззаботно улыбающуюся в цветах летнего луга. С другой — строго смотрело худое сосредоточенное умное лицо той же девушки в форме младшего техника-лейтенанта. Была она такая маленькая, что в военной форме напоминала хорошенького мальчика-подростка, только у подростка этого были усталые, не по-юношески пронизательные глаза,

— Вам она нравится?.. И мне тоже,— добродушно усмехнулся он.

— Ну, а Стручков, где он теперь?

— Не знаю. Последнее письмо от него получил зимой из-под Великих Лук. Тогда воевал...

— А танкист этот... как его?..

— Гриша Гвоздев? Он теперь майор. Участвовал в знаменитом сражении у Прохоровки, а потом в танковом прорыве тут, на Курской дуге. Рядом воюем и не встретились. Танковым полком командует. Сейчас что-то замолчал. Ну ничего, найдется, живы будем. А что нам не жить?.. Ну, спать, спать: уже утро.

Он дунул на пламя коптилки. Наступила полутьма, уже разжиженная белесым хмурым рассветом, зазвенели комары, которые составляли, пожалуй, единственное неудобство этого славного лесного жилья.

— Мне бы очень хотелось написать о вас в «Правду».

— Что же, напишите,— без особого энтузиазма согласился летчик и минуту спустя уже сонным голосом добавил: — А может, не стоит? Попадет Геббельсу, раздует он кадило: дескать, у русских безногие воюют, то, се... Фашисты на это мастера.

Через мгновение он уже сочно похрапывал. А я спать не мог. Неожиданная исповедь потрясла меня своей простотой и величием. Все это могло бы показаться хорошей сказкой, если бы сам герой ее не спал тут вот рядом и протезы его не валялись на полу, запотевшие от росы, четко видные в белесом свете начинавшегося дня...

...С тех пор я не встречал Алексея Маресьева, но повсюду, куда ни бросала меня военная судьба, возил я с собой две ученические тетрадки, на которых еще под Орлом записал необыкновенную одиссею этого летчика. Сколько раз во время войны, в дни затишья и после, скитаясь по странам освобожденной Европы, принимался я за очерк о нем и каждый раз откладывал, потому что все, что удавалось написать, казалось лишь бледной тенью его жизни!

Но вот в Нюрнберге присутствовал я на заседании Международного военного трибунала. Шел к концу допрос Германа Геринга. Дрогнув под тяжестью документальных улик, прижатый к стене вопросами советского обвинителя, «второй наци Германии» неохотно, сквозь зубы, рассказывал суду о том, как в битвах на необъятных просторах моей Родины под ударами Красной

Армии таяла и разваливалась гигантская армия фашизма, до тех пор не знавшая поражений. Оправдываясь, Геринг поднял к небу тусклые белесые глаза: «Такова была воля providения».

— Признаете ли вы, что, предательски напав на Советский Союз, вследствие чего Германия оказалась разгромленной, вы совершили величайшее преступление? — спросил Геринга советский обвинитель Роман Руденко.

— Это не преступление, это роковая ошибка, — глухо ответил Геринг, хмуро опуская глаза. — Я могу признать только, что мы поступили опрометчиво, потому что, как выяснилось в ходе войны, мы многого не знали, а о многом не могли и подозревать. Главное, мы не знали и не поняли советских русских. Они были и останутся загадкой. Никакая самая хорошая агентура не может раскрыть истинного военного потенциала Советов. Я говорю не о числе пушек, самолетов и танков. Это мы приблизительно знали. Я говорю не о мощи и мобильности промышленности. Я говорю о людях, а русский человек всегда был загадкой для иностранца. Наполеон тоже его не понял. Мы лишь повторили ошибку Наполеона.

Мы с гордостью услышали вынужденное «откровение» о «загадочном русском человеке», об «истинном военном потенциале» нашей Родины. Можно было верить, что советский человек, способности, таланты, самоотверженность и мужество которого так поразили весь мир в дни войны, для всех этих герингов действительно был и остался роковой загадкой. Да и где было им, изобретателям жалкой «теории» о немецкой «расе господ», понять душу и мощь человека, выросшего в социалистической стране! И мне вдруг вспомнился Алексей Маресьев. Полузабытый образ его ярко и неотвязно встал передо мной тут, в этом строгом, облицованном дубом зале. И захотелось здесь же, в Нюрнберге, в городе, который был колыбелью нацизма, рассказать об одном из миллионов простых советских людей, разбивших армии Кейтеля, воздушный флот Геринга, хоронивших на дне морском корабли Редера и своими могучими ударами разрушивших разбойничье государство Гитлера.

Ученические тетрадки в желтых обложках, на одной из которых маресьевским почерком было выведено: «Дневник боевых полетов третьей эскадрильи», прибыли со мной и в Нюрнберг.

Вернувшись с заседания трибунала, я принялся разбирать старые записи и снова засел за работу, пытаюсь правдиво рассказать об Алексее Маресьеве все, что знал из рассказов его товарищей и с его слов.

Многое в свое время я не успел записать, многое за четыре года потерялось в памяти. Много, по скромности своей, умолчал тогда Алексей Маресьев. Пришлось додумывать, дополнять. Стерлись в памяти портреты его друзей, о которых тепло и ярко рассказывал он в ту ночь. Их пришлось создавать заново. Не имея здесь возможности строго придерживаться фактов, я слегка изменил фамилию героя и дал новые имена тем, кто сопутствовал ему, кто помогал ему на трудном пути его подвига. Пусть не обидятся они на меня, если узнают себя в этом повествовании.

Я назвал книгу «Повесть о настоящем человеке», потому что Алексей Маресьев и есть настоящий советский человек, которого никогда не понимал, да так и не понял до самой своей позорной смерти Герман Геринг, которого не понимают до сих пор и все те, кто склонен забывать уроки истории, кто и теперь еще втайне мечтает пойти по пути Наполеона и Гитлера.

Так возникла эта «Повесть о настоящем человеке».

После того как книга эта была написана и приготовлена к печати, мне захотелось перед публикацией познакомить с ней ее главного героя. Но он бесследно затерялся для меня в путанице бесконечных фронтовых дорог, и ни наши общие друзья-летчики, ни официальные источники, к которым я обращался, не смогли мне помочь отыскать Алексея Петровича Маресьева.

Повесть уже печаталась в журнале, ее читали по радио, когда однажды утром у меня позвонил телефон.

— Мне бы хотелось с вами встретиться,— зазвучал в трубке хриловатый, мужественный, как будто знакомый, но уже позабытый голос.

— А с кем я разговариваю?

— С гвардии майором Алексеем Маресьевым.

А через несколько часов быстрый, веселый, все такой же деятельный, своей медвежьей, чуть-чуть с развальцем походкой он уже входил ко мне. Четыре военных года почти не изменили его.

— ...Я вчера сижу дома, читаю, радио включено, но я увлекся и не слушаю, что там передают. Вдруг подходит взволнованная мама, показывает на приемник и

говорит: «Послушай, сынок, это же про тебя». Прислушался — верно, про меня: передают о том, что со мной было. Я удивился: кто это мог написать? Ведь вроде бы я никому не рассказывал об этом. И вдруг вспомнилась наша встреча под Орлом и как я вам в землянке всю ночь не давал спать своими разговорами... Думаю: как же так, это ж было давно, почти пять лет назад... Но зачитали отрывок, назвали автора, и вот решил я вас разыскать...

Все это он пояснил залпом, улыбаясь своей широкой, чуть-чуть застенчивой, прежней маресьевской улыбкой.

Как всегда бывает при встрече двух давно не видевших друг друга военных, заговорили о боях, об общих знакомых офицерах, добрым словом помянули тех, кто не дожил до победы. О себе Алексей Петрович рассказывал по-прежнему неохотно, и выяснил я, что он еще много и удачно повоевал. Вместе со своим гвардейским полком проделал он боевую кампанию 1943—1945 годов. После нашей встречи он сбил под Орлом три самолета, а потом, участвуя в сражениях за Прибалтику, увеличил свой боевой счет еще на две машины. Словом, он щедро расквитался с противником за свои утраченные в бою ноги. Правительство присвоило ему звание Героя Советского Союза.

Рассказал Алексей Петрович и о своих домашних делах, и я рад, что и в этом отношении могу дописать к повести счастливый конец.

Закончив войну, он женился на любимой девушке, и у них родился сын Виктор. Из Камышина к Маресьевым приехала его старушка мать, которая сейчас живет с ними, радуясь на счастье своих детей и нянчя маленького Маресьева.

Так сама жизнь продолжила эту написанную мной на чужбине повесть об Алексее Маресьеве — Настоящем Советском Человеке.

Нюрнберг — Москва. 1946

Борис Леонтьевич ГОРБАТОВ
НЕПОКОРЕННЫЕ

Борис Николаевич ПОЛЕВОЙ
ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Печатаются по изданиям:
Б. Горбатов. Непокоренные.—
Л., Лениздат, 1981; Б. Полевой.
Повесть о настоящем человеке.—
М., Дет. лит., 1962.

Зав. редакцией *И. Лепин*
Редактор *А. Зевзеева*
Младший редактор *Л. Крамаренко*
Художественный редактор *М. Курушин*
Технический редактор *В. Чувашов*
Корректоры *И. Пархомовская, З. Селюк*

ИБ № 1202

Сдано в набор 11. 01. 84. Подписано в печать 1. 11. 84. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отг. 24,04. Уч.-изд. л. 24,941. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1288. Цена 1 р. 20 к. Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства «Звезда», 614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

Горбатов Б. Л., Полевой Б. Н.
Г67 Непокоренные. Повесть о настоящем человеке.—
Пермь: Кн. изд-во, 1985.— 431 с.— (Юношеская
б-ка).

В очередной том библиотеки включены классические повести о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Г $\frac{70803-6}{M152(03)-85}$ 55—85

P2



1 р. 20 к.



Б. ГОРБАТОВ

НЕПОКОРЕННЫЕ

Б. ПОЛЕВОЙ

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Б. ГОРБАТОВ Б. ПОЛЕВОЙ

